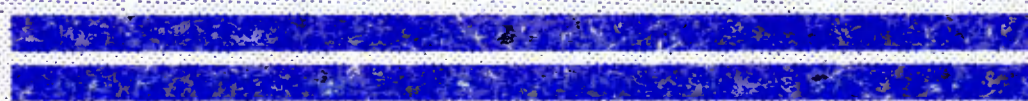


НОВЫЙ МИР

5



1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5(829)

Май, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Под деревом ночным, шумящим, стихи	3
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ — Одиссея. <i>Е. М. Мелетинский</i> . Замечания, предваряющие повесть Евгения Федорова «Одиссея»	6
ИОСИФ БРОДСКИЙ — Воздух с моря, стихи	100
МИХАИЛ АРДОВ — Легендарная Ордынка. Окончание	113
СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Сквозь разломы оконченной жизни, стихи	156

ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. КАГРАМАНОВ — На стыке времен	162
---------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. Л. ФЕЙНБЕРГ — Сахаров в ФИАНе	178
----------------------------------	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АЛЛА МАРЧЕНКО — Это было у моря...	206
------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР — Современный диалог с Гоголем	208
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

226

Дмитрий Быков. Сны Попова.

Юлия Латынина. Россия, которую мы не теряли.

Ольга Майорова. «Он ужасно неталантливо родился...»

Валерий Сендеров. Вулкан дымится.

Юрий Кублановский. Перед вторым пришествием.

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КОРОТКО О КНИГАХ:

Анатолий Кузнецов. — I. Дневники П. И. Чайковского. II. Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману. III. Д. И. Шульгин. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. IV. Валентина Чемберджи. В путешествии со Свято-славом Рихтером 246

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 251

КНИЖНАЯ ПОЛКА (2) 254

SUMMARY 256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

Господа зарубежные читатели!

Подписывайтесь на «НОВЫЙ МИР» в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР». «КУБОН УНД ЗАГНЕР» — корректность, точность, ПОРЯДОЧНОСТЬ — везде: в Европе, Америке, Японии, на Ближнем Востоке. Эти качества врожденные и проявляются одинаково во всех частях света.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «НОВЫЙ МИР»
У «КУБОН УНД ЗАГНЕР»**

Kubon & Sagner, Postfach 340108 D 8000 München 34 Germany
Tel. (089) 522027. Telex: 5216711 kusa d

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ



ПОД ДЕРЕВОМ НОЧНЫМ, ШУМЯЩИМ...



Теперь, когда так много было
И не было, со мной одни
Несостоявшиеся дни.
Такая выпала погода:
Не состоялось время года.

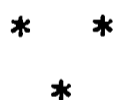
Не состоялось время дня.
Не состоялось у меня
Сорокалетье в лихолетье.

«Нет, хуже! — каркает сосна. —
Не состоялись Времена...»

К ней прислоняюсь. И рукой
Сухие прикрываю веки...

В лесу устойчивый покой
И воздух, как в библиотеке.

1968, 1988



Под деревом ночным, шумящим,
Под ветром и дождем не сильным —
Себя запомнить заносящим
В блокнот карандашом чернильным

И шум листвы и эту осень
Войны, и это ощущение,
Что сам себя в блокнот заносит
Дождь, не имеющий значенья.

Под деревом ночным, шумящим
Не понимать — какое чудо
Быть настоящим, уходящим
Невесть куда, как весть отсюда.

Но и не уходить, а, слезы
Сдержав мальчишески жестоко,
Сидеть не изменяя позы,
И видеть, как шумит широко

Дождь, принимающий участие
 В стихах, чтоб дольше сохранились,
 Чтоб эти буквы, хоть отчасти,
 Полиловели и расплылись.

Под деревом ночным, шумящим...
 Под деревом ночным, шумящим...
 О, под дождем, так бившим гулко
 По ржавым крышам переулка!

1991

* *
 *

Я в ужасе бегу от жизни
 И тихо возвращаюсь к ней.
 На цыпочках. Из-за угла
 Выглядываю: как там, слизни
 Еще ползут стезей своей?
 Все так же ль бабочку игла
 Подкарауливает тонко?
 Иль махаон подобно мне,
 С глазами умного ребенка,
 Листа шершавую изнанку
 Предпочитая спозаранку,
 Застыл в тени и в тишине?

А над лужайкой виснет чад.
 И ветки так растрепыхались,
 Как будто множеством зеркалец
 Играют дети и молчат.
 И все мерещится мне палец
 У чьих-то губ... Они кричат?

Я в ужасе бегу от жизни.
 И странно мне, что я живой,
 Что мертвый тополь в укоришне
 Еще качает головой.

1990.

* *
 *

Есть обманчиво-родные лица
 У мужчин и женщин.
 Так легко бывает ошибиться
 И ходить — увечным.

У славянок, или у евреек,
 Или у грузинок
 Лик такой узрев, я, холодея,
 Шаг смирял, как инок.

Ведь уже обжегся я, тоскуя
 После дни и ночи...
 Но опять любил я эти скулы,
 Эти рты и очи.

Боже, Боже, неужели это
Лишь пустая схожесть?
Или все мы в чем-то, как-то, где-то...
Хлопья тают, множась...

Есть обманчиво-родные лица
У мужчин и женщин.
Так легко бывает ошибиться
И ходить — увечным.

1993.

* *
*

Как будто вымерла квартира,
Такая пустота в ней.
Лишь за окном, где темь да сырость,
Играет ветер ставней.

Лишь тишина сверчка наладит,
Одна на кухне всхлипнет,
На стул со стула пересядет
Да половицей скрипнет.

Да на рояль наложит руки,
Струну задев на ощупь...
Полна печали, страсти, муки
Свободная жилплощадь.

* *
*

Как перед тайным побегом
Из дому в дебри Москвы —
Чуть приглушенная снегом
Нота густой синевы.

Начата сильным ударом
Колокола (или нет?),
Длится над городом старым
И вызывает ответ...

В лужах пора отражаться,
В стеклах квадратов и дуг,
Слыша, как хлопья ложатся
На продолжительный звук.

Эта ограда не помнит
Всех, но как чадо ничье,
Даже не выйдя из комнат,
Я уже возле нее.

1991.



ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ



ОДИССЕЯ

Замечания, предваряющие повесть Евгения Федорова «Одиссея»

С Женей Федоровым я встретился в Каргопольлаге в 1950 году. В то время ему было двадцать лет; после тяжких испытаний лагерным бытом и общими работами он трудился кочегаром на электростанции. Позже я познакомился со всей их гениальной компанией — с Кузьмой, Ильей Шмаином, Колей Смирновым, Машей Житомирской и другими, внимательно следил за ростом Евгения Федорова как писателя, знаю все варианты его романа. Рискну утверждать, что Федоров принадлежит к тем авторам, которые всю жизнь пишут одну вещь. Я читал первые рукописные редакции этого обширного замысла еще в 50-е годы; с тех пор роман рос в объеме, совершенствовался стилистически, претерпевал мытарства, во время одного из обысков попал в КГБ, был в 1972 году переправлен за границу, в 1979-м удостоен парижской литературной премии Даля. Когда настала горбачевская эпоха и Федоров пытался издать свое произведение, оказалось, что роман следует существенно сократить и выкроить журнальный вариант: вещь такого объема не годилась для публикации. Федорову пришлось заняться переделками, разбить целое на самостоятельные фрагменты. Один из них, получивший название «Жареный петух», был напечатан в «Неве» в 1990 году, признан лучшей публикацией года в этом журнале, переиздан в 1992 году отдельной книгой в издательстве «Carte Blanche», воспринят весьма благосклонно критикой.

На страницах «Нового мира» проза Евгения Федорова появляется впервые. Его повесть «Одиссея» — часть объемной эпопеи, по многим параметрам представляет собой законченное, самостоятельное произведение со своей стилистикой. Рецензент Ю. Шрейдер назвал стиль «Жареного петуха» «постмодернистическим барокко», имея в виду слияние «высокого и низкого», иронию, автоиронию, многочисленные аллюзии, пряности, перец; отметим, что «Одиссея» написана в иной, более спокойной манере.

Повесть строится на лагерном материале. Но это не привычная лагерная проза, которой мы несколько пресытились, не этнография нравов, быта, лагерных кошмаров. Автор свободно конструирует жизненные ситуации, подчиняя их художественному замыслу. Погранично-экзистенциальные условия ему нужны, чтобы обнаружить и обнажить глубину корней зла, проникающих в сердцевину личности; порою зло оказывается вдохновенным, радостно-окрыленным, даже бескорыстным — каким, казалось бы, имеет право быть лишь добро. Анализ, психологический, социальный, философский, является сутью произведения. В нем автор доходит до крайности, чтоб исчерпать те возможности, которые заключены в той или иной социально-психологической или идеологической тенденции; повествование временами приобретает характер гротеска, почти абсурда, но подобный абсурд не самоцель, а только средство познания путем «запуска перстов» в общечеловеческие «раны». Так, повесть завершается идеологической эскападой полной грозного анафематствования и гнетущих апокалипсических картин: Минаев, характерный лагерный вития, в пророческом энтузиазме заходит так далеко, что пламенную мечту эков принимает за реальность, интерпретирует незначительное событие ОЛПа — помилование бытовика-указника — как скрытую амнистию, за которой должна последовать всеобщая мобилизация, как «благовую весть», начало третьей мировой войны. Такие заскоки типичны для лагерной интеллигенции, а подобные настроения являлись плодотворной почвой, формирующей специфические лагерные мифы. Странным и даже парадоксальным может показаться другое (тема глубокой статьи Н. Коржавина «Преступление против Духа», «Новый мир», 1992, № 5): каким образом интеллектуалы, неустанно, неусыпно, с напряженным вни-

манием следящие за всеми политическими событиями в мире, претендующие на острое пророческое зрение, могут воспринимать действительность столь искаженно? Мне кажется, что Федоров не просто живописует вариант идеологической паранойи или мстительно напоминает нам наши грехи и заблуждения, а говорит нечто большее: человек всегда смотрит на мир сквозь призму идеологии и является абсолютным пленником коллективного мифа, или, перефразируя Аристотеля, — это животное, живущее мифами. А что, если и тот прекрасный символ веры, который ты, читатель, так страстно исповедуешь, вскоре окажется таким же абсурдным тусовочно-коллективным мифом?

Что касается собственно лагерной темы, то автор выступает против сведения лагеря к одним ужасам и справедливо видит в нем уродливый вариант обычной, так сказать, «нормальной» жизни со всеми ее темными страстями, завистью, цинизмом, тревогами, страхами, надеждами, мифотворчеством, возвышенным идеализмом, чистой юношеской влюбленностью.

Я настойчиво рекомендую не только прочитать, но и внимательно перечитать эту интересную повесть: в ней и богатая пища для ума, и честные, тонкие психологические характеристики, и просто серьезный материал для раздумий и осмысления. Это образец современного интеллектуального, философского жанра.

Наконец, хочется пожелать, чтобы и весь роман Федорова увидел свет. Думается, публикация в «Новом мире» приблизит это событие.

Е. М. МЕЛЕТинский.

Ноябрь 1993 г.

КАРГОПОЛЬЛАГ, ГОД 1950-й

В этом бараке наш юный, непредсказуемый, ни на кого не похожий герой, дрожащий светильничек, немного чудака, мечтатель, фантазер, ищущий философский камень, малость рыцарь без страха и упрека, Дон Кихот (таким мы его оставили и забыли в этапной камере Бутырок, где он блистал добродетелями и подвигами), малость овца заблудшая, давно обитает; давненько его заключил в цепкие, крепкие, энергичные объятия Каргопольлаг. Место Жени Васяева в самом углу барака (представьте — не поверите — внизу, на нижних нарах). Прелестный уголок — в углу, лучшее место в бараке. Васяев уверенно мастерит бушлат между нарами, отстраняется, плотно, старательно отгораживается от барака, изолирует себя: тем самым актуализируется, энтелехизируется (так заумно мог бы выразиться Стагирит, в крайнем случае Авиценна, сиди они в наше время и в нашем лагере), «отдельная квартира» (найденное словцо Шалимова, многомудрого, бывалого дневального, сволочи первостепенной). А кто не мечтает там, в бесконечно далекой, дивной, сияющей Москве, зацапать правдами и неправдами отдельную квартиру? Лютый, заядлый квартирный голод гложет злым волком белокаменную, первопрестольную. Эх, хоть бы раз еще глянуть одним глазком на Василия Блаженного, на Большой театр («На Лубянку», — подсовывает черт), разгулять тоску! В 4-й секции 26-го барака довольств хоть куда. Чисто, уютно, благоустроено. Нет клопов! Не хватает лишь буйно цветущей герани на окнах да тюлевых занавесок для полного счастья. Можно смело звать строптивых, наглых, беспардонных, коварных, вредных, вездесущих иностранных журналистов, демонстрировать, как удобно, счастливо устроились лютые фашисты и лютые уголовники. Впечатляющий полный интернационал: украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, армяне, грузины, есть цыган Мора, клянусь, все его так и зовут — Мора, ну, конечно, в достаточном изобилии представлен и старший брат, виновник торжества и злключения, на которого давно пора всех собак вешать, — русские. Впрочем, не ахти интернационал: евреев нет в этой бригаде, а Эмка Геттер, милый, славный парень со скорбно-кривым, отменным, фирменным румпелем водворится к нам позже. Здесь живут механизаторы, спецы, асы паяльников и напильников, незаменимые, те, кто обслуживает серьезный, важный объект, сердце лесозавода — местную

электростанцию. Краж в бараке нет (скажем аккуратнее, строже: почти нет). Контингент сравнительно стабилен, годами не меняется.

— Где мои тапочки блядуют? — урчит для порядка, стоически причитает себе под нос, ни для кого, беззлобно, беззубо Митя, старший машинист локомотива № 1; не угроза; уверен, что тапочки найдутся, их никто не приголубил как бесхозные, ничейные. Так и есть: прощелыга Колобок схватил, надел, вздумал в чужих на двор шмыгнуть (предупредил барак: в гальюн), мазурик, норовит непременно чужое сцапать, прощелыга бессовестный.

— Жить так можно, — неторопливо, меланхолично гонит чернуху, рта не закрывает дневальный, лагерный волк, тот еще выжига, битый фраер; кто видит его впервой, опрятного, чистенького, может принять за какого-нибудь религиозника, баптиста; елеен (внешность обманчива); дневальный — большой мастер баек, в своем роде, как и Митя, любомудр. На тумбочках хлеб вечно валяется, забыли святость пайки. Никто не берет. Оставь деньги, никто не шопнет.

Деньги, фигли-мигли, они, известно, особая материя, донельзя интересная, неуловимая, текучая, тонкая, эфемерная, изумительная, чудесная: их на тумбочке никто не оставляет. Деньги есть деньги, мощный, страшный магнит. Не клади близко, не вводи вора в грех. Но вот, получив «ящик», Женя не относит продукты в каптерку, как делал это всего год назад, а преспокойно держит в тумбочке. Целы. Никто не покушается. Даже привык, заурядица.

Оглянемся (нет, не во гневе, а как можно снисходительнее; да разве можно зарекаться, что мы были бы другие, более мужественные, что мы бы все вынесли и не дрогнули, гордо, высоко держали голову, скорее погибли бы, чем сдались, покорились лагерю и его законам), всмотримся во тьму времени, во тьму прошлого: вот он, Женя Васяев, жалкий, несуразный, невезучий, рефлектирующий горе-герой, «дитя жизненной тревоги», когда-то ученик Кузьмы, поклонник Бергсона, прозреваемый нами, но так до конца и не понятый, вот он стоит перед нашими глазами, оторопелый, в телогрейке второго срока, в кордах, смурной, со спекшейся душой.

Это лагерь, а не Бутырки. Не по плечу нашему герою оказался лагерь. А на дворе осень, примечательная осень сорок девятого года; в большом мире, что там, за колючей проволокой, наступают великие дни: наша необъятная — на два континента — держава судорожно, конвульсивно собирается отпраздновать величайшую дату в истории человечества, с которой следует начать новое летосчисление: рождение Сталина, творца вселенной, владыки мира, зодчего коммунизма, зиждителя и вдохновителя генеральной линии, дальновидца, возбудителя непомерной энергии миллионных масс, вышедших на арену истории. А наш герой только что крепенько причастился лагеря, познал вкус надежной, незыблемой реальности. В ту, вечно памятную, глухую позднюю осень мы, зэки, ждали общей политической амнистии. Да, сознаемся, было такое дело, гуляла такая липкая параша, цвело упование, обуревали иллюзии. Было, было! Может, в других лагерях оказалось за трехметровым забором колючей проволоки побольше трезвых, проницательных людей, но густое население комендантского ОЛПа Каргопольлага, грешная 58-я, ходила, волоча ноги, не видя ничего, как сомнамбула, потому что амнистией расхимерилась, а от жарких неодолимых химер имела на душе тревогу и беспокойство. Конечно, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, всякая перспектива всегда связана с сомнениями, страхами, являет собою трепетный, мерцающий жар-журавель, раду, северное сияние. А великая дата все близится, близится... Ну как было не поддаться искушению, надежде? Грезится несчастному зэку: Сталин поднял бокал (в бокале прославленное в веках киндзмараули — мечта поэта! Амбре! А послевкусие? Губа не дура! Бедный Васяев еще ни разу не пригубивал сей божественный напиток, лишь слышал о нем в Бутырках), нежно расчувствовался, рассентименталился, изменил себе и текущему моменту (бывает! чудо!), восторженно, со слезой на глазах и в

старческом хриплом голосе (все же семьдесят лет, не жук чихнул) молвит простое слово Поскребышеву (почти без акцента): «Отпусти их. Они все меня любят». Тарарам: и пресса и радио загудели, да не у одних нас, на одной шестой, а во всем мире. Праздник так праздник! Все в таком ракурсе закрутилось, завертелось, фейерверки! Все в таком разрезе! А?

Это — фон.

Нелеп, плюгав, угловат, негод для добротного лагеря оказался Женя Васяев — некачественный материал. Угораздило: зафитилил, когда на славном комендантском ОЛПе о дистрофии стали забывать. Заколедило, припух. Гас медленно, ощущал дыхание смертушки, видел ее млечный, сомнительный, двусмысленный облик и, наверное, отдал бы душу Богу, если бы не случай да помощь мамы. А попади на другой лагпункт — аккуратно гробанулся.

Нечто проявилось, приключилось уже под стук колес в «столыпине»: потрясли, попотрошили, ободрали, как липку обчистили. И — лупцевали. И все навалилось сразу после фантастического успеха в Бутырках, где он, двадцатилетний юноша, горел как факел и являл собою высший идеологический авторитет, просиял, купался в теплой ванне любви сокамерников, млел, блистал, пророчил скорое освобождение, размахивал духовным мечом. Карусель: то вверх, то вниз.

Карантин — пролог. Наплыло.

Их, значит, остановили перед воротами. Хлещется, полощется, надувается от северного ледяного ветра, как парус, выцветшее, обветшалое, когда-то бывшее красным полотно; на нем броский, вразумляющий, приветливо-гостеприимный лозунг: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» Это прямо над воротами, и Женя смотрит, пытается прочитать, смиренно, робко складывает из белесых букв непонятные, вроде даже зазывающие слова, не верит глазам. Нет, нет, он не настолько наивен, чтобы слова принимать всерьез; и не может быть, чтобы это был лагерь?! От ворот тянется и уходит в равнодушную даль заграда из колючей проволоки, вышки, на вышках эти самые, эти — с винтовками; сквозь колючую проволоку видны однообразные строения барачного типа, другие приметы: какие-то стенды, плакаты. Что на плакатах — не разглядишь, далеко. «Сюда бы!» — не к добру мелькнула мышкою трусливая мысль, а Женя испугался этой мысли, суеверно погасил ее, как зло гасят папиросу. Опять уставился. Абсурд, дребедень какая-то, двусмыслен и неуместен лозунг, да за этот лозунг можно с лихвою 58-ю схватить. Неужели не понимают? Смех да и только. Но смеяться некому, не до смеха, страшно. А если камуфляж? Маска? Маскировка?

Этап долго переминается с ноги на ногу.

Появился представительный, стремительный офицер ВОХРа, скомандовал призывно, браво:

— Воры налево, суки направо, остальным стоять на месте!

Один кто-то активно, деловито и одновременно как-то озадаченно оттек направо, двое игриво приплясывающей походочкой отошли, как приказано, налево; того, кто сухой признал себя, повели первым; Женя видел, как его ведут вдоль забора из колючей проволоки, за вышку, там — потерялись из виду.

Ворота открылись.

Из них вышла небольшая группа заключенных. С чемоданами, какие он видел лишь до войны в Качалове, с сидорами, с сумками — остановились. Сколько зим, сколько лет! Озарение: Саша! Это же Саша! Женя увидел Краснова. Малость обознался, бывает. Тот верзила, стропилина, кого Женя принял за Сашу, равнодушно оглядел их этап, скользнул равнодушным, неузнавающим, абстрактным взглядом по нему, Жене, отвернулся, смотрел на ворота, на вышки, на белеющие строения, одинаковые, скучные. «Не Саша» — так внял наш тюха. Тех, кто вышел из ворот, несколько раз пересчитали, скучным голосом предупредили, что при попытке побега конвой применяет оружие без предупреждения.

— Вали!

Попутный ветер, двинулись, зашагали, скрылись, сгнули, как и не было.

Женя на неведомой планете, несущейся в черную непроницаемую даль, в которой бытие неразделимо, нерасторжимо с небытием.

Стоит ли говорить, как всем и каждому известно теперь, что лагерь открывается карантинном, что, конечно, разумно, правильно.

Уже в карантине посланница-старуха с неподдельной косою, уверенно, настырно помахав ею, предупредив, что не шутит, прошла рядом, совсем рядом: чуть-чуть не полоснула косою. А может, так все задумано где-то? Чуть-чуть не считается.

В карантине гулял Гришка-вор, и Гришка велел, чтобы Женя принес и отдал ему пальто, к которому прицелился еще во время этапа и которое наш герой хитро и предусмотрительно сдал в каптерку. Самый хипеж разрился за несколько дней до выхода Жени из карантина. Вот если ему удастся протянуть день-два, оттянуть время, глядишь, ускользнет он от Гришки: этап или на ОЛПе останется, бортанет, без урона выйдет из переделки. А пальто-то из всего его шмотья — центр, новое, хорошее. Мало ли что может случиться. Занемог — продать можно будет, купить что-то в ларьке, обменять на продукты. Внутренне пятился. Да и с какой такой радости, здорово живешь, задарма отдать встречному-поперечному Гришке пальто?

Недостойно, неумно тянул резину, ни да ни нет не говорил, не высказывал страстного и безоговорочного желания приволочь шмотку, но и не говорил твердое нет, перехитрил сам себя, зарпортовался.

Гоп-стоп, не вертуйся. Среди бела дня при всем честном народе, у всех на глазах потерянную сомнамбулу уводят на зады карантина, а там будут кончать. Все видят, никто не заступится, слова не замолвит. Так, мол, и должно быть. Его отвели к уборной, от которой разил, шел густой дух карболки и хлорки: начальство следило, чтобы не завезли в лагерь какой-нибудь неприятной эпидемии. Двое. С ножами. Не спеша шли. На заклятие. Все время вокруг Жени круговерть, вихри.

— Гопка, не гони мне гуся, в милиции работал! — сразу быка за рога.

К нему вплотную приблизился гнилой Гришка, машет пропагандистски пикой перед носом, деться, бежать некуда, поздно, обречен; а Гришка для доходчивости и пущей популярности, что здесь слова на ветер не бросают, что разговор серьезный, крупный, крутой, ударил рукояткой ножа по голове. И еще раз, по вывеске, смазал — губу рассек, расквасил. Вздулась сразу. И кровь. Унизительно, гнусно, отвратительно. И Женя заплакал. Как в детстве. Мямлил, что не работал в милиции, что студент-химик, 58-я, политический.

— Не жалея тряпок! — поучает, вразумляет, напутствует здешний полуофициальный небожитель, сверхчеловек, судия, утверждает простой, ясный, как аксиома, лагерный императив. — Погибнешь из-за тряпок. Я тебе говорю! Жадность фраера сгубила.

Еще для убедительности недвусмысленно, наглядно помахал у носа Жени лезвием ножа:

— Кусок падлы, пасть порву, кишки выпущу, обмотаю шею, задущу. Замочу — четвертная, мне за тебя ничего не грозит.

Гришка отнюдь не шарлатанит. Сами судите: тут же выдал простой, веский аргумент — у него двадцать пять, пять и пять по рогам, предел. Если принять во внимание, что смертной казни нет, добавить уже нельзя, некуда, Гришке «все дозволено», замочит без канители Женю, отделается ШИЗО, вот такая логика, железная. Некуда от этой логики Жене деться.

Женя жалко всхлипывает в голос.

Они отправились за пальто, в каптерку. Припух, куда денешься, никто же не заступится, каждый за себя. Была слабая изначальная надежда, что их не выпустят за вахту карантина: рухнула, разлетелась в мелкие осколочки, не соберешь. Это лишь такого фраера, как Женя, не выпускали.

Гришка зло лягнул дверь. «Эй!» Дверь за милую душу открылась. Вышли. Значит, пальто пело. Дотопали до каптерки. У входа в каптерку Гришка остался ждать добычу, которую принесут ему на блюдечке с голубой каемочкой. Женя нехотя двинулся по деревянным, слегка шатающимся ступеням, так же нехотя вошел внутрь помещения, закрыл плотно за собою дверь. Жаль пальто! Куплено перед самым арестом, новое, реглан, с мамой в ЦУМ ходили, выбирали, первая покупка после войны! Упреждающая шальная мысль (утопающий за соломинку хватается): что, если попросить каптера, чтобы не выдавал, сказал бы, что не выдаются в карантин вещи, а? Крайне опасался, что Гришка услышит, поймет сговор. Без большой надежды попросил о помощи каптера, а тот с полуслова понял Женю, согласился. Гришка возмутился: как так?! Не поверил на слово, сам влез в каптерку, права качал. Нет такого правила, чтобы вещи не выдавать в карантин. Боялся Женя, что выдаст каптер его с потрохами, но каптер, видать, правильно зарядил пушку. Тверд был: начальник ОЛПа, лейтенант Кошелев, запретил личные вещи выдавать в карантин — и все тут. Гришка оглох: не выудил занозы обмана. Женя остался при своих, обратно шел в карантин. Он уже сам увлеченно повторял версию, что никому ничего в карантин не выдают.

Примостился на завалинке, сидит как ни в чем не бывало: гроза вроде прошла. На негнущихся ногах, как дикий козел, прискакал Гришка, взъерошенный остановился на бегу и, пристально глядя в растерянные, лживо искренние глаза Жени, изношенным треснутым голосом:

— Где химик?

Невдомек нашему ку-ку-обалдую, что беда, смерть рядом.

— Вот я! — вскочил навстречу простодушный созерцатель, весь доверчиво вывернулся наизнанку: в карантине химик один он, и не надо Гришке далеко искать. Открой глаза! Я здесь, рядом, перед тобой! Вины за собой Женя не признавал никакой. Гришка в двух шагах от Жени, заминка: в упор уставился, не узнает, в глазах Гришки угрюмо-темная, нечленораздельная предмысль. Необратимо ослеп, словно на Жене шапка-невидимка. Гришка побежал мимо, дальше, за угол свернул, где вход в барак карантина. За Гришкой неспешно шагали два надзирателя. И литер. В руке у Гришки та же пика. Наш оболтус так ничего и не понял, двинулся за Гришкой и надзирателями, несет его нелегкая на нож, сам лезет; шел Женя абсолютно беспечно, ничего не прозревая, дурак дураком. Гришка шпарит прямо к нарам Жени, что-то бросил соседу по нарам, а тот что-то ответил, что-то там пульнул в ответ, буркнул, возможно, какое-то амбициозное, гордое слово слетело с его языка бесстрашным орленком — никто не слышал, а видели: блеснуло неукротимое, роковое, неодолимое лезвие ножа. Кадр замедленной съемки, секунда растянулась в непереносимую вечность (Достоевский, Бергсон, Томас Манн, Борхес знали и описали этот феномен, а Эйнштейн с этой хохмой даже поехал в Токио, обыгрывал Святое писание: «...что для Бога секунда, то...»): лезвие вошло в человека, в соседа Жени. Женя открыл рот, не закрывает, передохнуть не может, не хватает воздуха — боль ощущает. Это же е г о нож, е м у предназначался. Неправдоподобно, невозможно, просто к этому нельзя привыкнуть, нельзя принять. Был человек — и нет. Столбняк прихватил, сковал нашего нерасторопного лопуха, а кто-то (надзиратель?) сильно сжал его локоть, доверительно, по-человечески, заботливо:

— Рви когти! Канай на вахту!

У нашего олуха расширились зрачки, клюнул тусклый ум, вышел из созерцательного полусна к бодрствованию; удар хлыста — смерть! Поплавок дернулся, решительно подпрыгнул. Смерть. ее форсированные приметы; на него, несчастного, обнаженного, беззащитного, смотрит весь карантин, его готовы задушить, прирезать. Он сам идет навстречу гибели, ищет гибель.

Беззвучно прокричал:

— Возьмите пальто!

Душа вопила надрывно. Ради Бога, возьмите пальто, возьмите все!

Поздно, непоправимо влетел — кур в ошип.

Рехнулся, рванул — с Ярилы сорвался. На этот раз дверь проходной карантина и для него послушно и моментально открылась, сама, по шучьему велению, и эта открывшаяся дверь вовсе его перепутала. Конец! Выскочил! Утек! Куда дальше? Соображай, быстрее, еще быстрее! Где эта чертова вахта? Куда деться? Где искать спасения? Где убежище? Он не знает географии ОЛПа, заблудился между двух сосен, не нашел вахты. Драпанул налево, припустил, дал стрекача... догонишь! Прыг-скок, легкий как дух, горит под ногами земля, точнее, грязные, равнодушные деревянные настилы; наутек, наутек, куда глаза глядят. Заячий аллюр по деревянным ветхим мосткам, минуя холодную осеннюю хлябь, непролазную; летит он, заломив рога, самозабвенно. Обежал баню, еще раз обогнул, проворно шмыгнул в нее, сидит в предбаннике — таится. Сердце гуляет, заходится. Часа четыре так сидел, пока другие мылись, стирались.

Баня закрывалась, банщик стал его гнать, а он упрашивал оставить, говорил, что ему некуда идти, его убьют; банщик выталкивал Женю, а он вцепился в лавку, напрягался до предела, все говорил, что его убьют, что за ним ходит нож, что он ни в чем не виноват, что он даже не знает, за что его убивают, что не жаловался на Гришку, худого никому не сделал, молил. Непреклонный банщик свою правду твердил, что не имеет права в бане никого оставлять, что своя шкура ему дороже, распалился, тащил Женю, которого начал трясти колотун, к двери; отстал, сказал, что идет за надзором, и ушел, внимательно заперев баню ключом. Видать, на вахте разрешили оставить Женю в бане. В полглаза кемарнул в ту ночь. Утром надзор его отвел в карантин, и здесь Женя услышал подробности, уразумел, как близок был от смерти.

Ситуация так прояснилась. Каптер не ограничился тем, что не выдал Жене пальто, а уже по своей инициативе (чего Женя не знал) разыскал начальника надзора, обрисовал картину, в карантине шумит разбой, воры отбирают последние шмотки, всю орудуют; навел надзор на Гришку, которого заметил и которого отыскали в магазине, где тот торчал чего-то; Гришку тут же хотели зацапать, но он не дался, легко устранился и, поняв, что дунул на него Женя, пошел на рысях в карантин с серьезным, определенным намерением сквитаться, порешить Женю. Дальше начинается непонятное: Гришка скорил мимо Жени буквально в одном шаге, ну в двух, остановился, вглядывался мутными глазами в Женю, видел его, спросил, где химик (в карантине был всего один химик — Женя), и Женя, ни сном ни духом не ведающий об опасности, не побежал от Гришки, а наивно, честно признался, что это он (да Гришка и сам видел Женю, не мог не узнать), покорно отозвался: «Вот я». Произошло всамделишное чудо в лучшем, чистом виде: Гришка лупил глаза на Женю и глухо не признал в обомлевшем юноше того, кого искал для расправы. А сосед Жени получает суровый нож, который честным жребием назначался не кому иному, как Жене. Лишь по недоразумению Женя остался жив. Сосед по нарам к вечеру скончался в стационаре.

Наш непутевый герой означен в фокусе, приковал к своей жалкой особе ажиотаж. Вокруг него бурное, взбаламученное море. Пальцем в него тычут. Этот. Из-за него чепе, фактурный хипеж, надзор рвет и мечет: человека убили. Гришку в изолятор увели. Страдалец. Все из-за москвича этого, химика. Армянистого вида старец — злые, острые, пронзительные глаза-янтари — преподносит Жене желчное нравоучение (если б только нравоучение!): мол, молодой, неладно лагерь начинаешь.

— Я ничего не знаю, честное слово! Святая правда! — виновато восклицает юноша. Он трусит донельзя, но он не кривит душою, говорит, как оно есть. А бывалый, выдавший виды, превосходящий Женю знанием и мудростью Восток качает восхитительно красивой головой:

— Фельтикультяписто, баклан, мочить рога пошел!

В упор уставились, жестко буравят умные осуждающие колючки: насквозь, дескать видим тебя, видим твое тухлое нутро и ни на грош не верим, да и кто поверит жидким уверткам и финтифафонтам. У Жени полная, невыразительная бескозырка. Если не ты бегал на вахту, если не ты стучал, то кто? Дух святой? Ведь не сами же надзиратели узнали? Само ничего не делается. Очевидно и не может быть двух мнений: ты! А то, что отрицаешь, умно делаешь. В этом твой шанс, последний шанс.

— Я не жаловался! — отчаянно блеет маменькин сынок.

Но нет ему веры. Какой дурак поверит, что он не причастен. Ты нам лапшу на уши не вешай! Не финти!

Мудр Восток, презирает никчемного, блаженного простофилю, нарушившего великий катехизис лагеря: не бегай на вахту!

— Крепко некрасиво получилось. Плохо, малолетка, кончишь! — сказано с акцентом и очень спокойно, докучающе, многозначительно, предостерегающе. Пронзающий укор. Сам виноват, мол. Снова восточный человек качает головою. Сколько ума и опыта в этих янтарных прекрасных глазах с синеватыми прожилками!

«Ночью пришьют!»

Женю не замочили. Судьба — индейка, поклон ей! В рубашке родился, везуха: на комендантском оставили. Он вышел из проклятого карантина с предельно приподнятым, ликующим чувством, как если бы вышел не в лагерь, не на ОЛП-2, а отпущен на волю, на солнечную, омечтанную волю, как если бы вступил на обетованную землю, текущую млеком и медом.

Он в бараке № 23; здесь обосновался в гуще народа. Нарядило ткнул его носом — верхние нары. Барак — громада, вместителен, второй этаж нар — сплошняком, муравейник, галдеж, гам, разноголосица, дым коромыслом, кисловатый запах пота, затхлость. А нашему герою не до уюта, лишь бы уйти от ножа, лишь бы никто не охотился за тобою, как за зверем, лишь бы избавиться от неврастенического обволакивающего страха. Душа пела, плясала, прыгала до потолка. Забрался на нары, подложил под себя телогрейку. Неужто ушел от смерти? Неужто все позади? Новые и новые волны безудержной, хлещущей через край радости. Отчаянное сердцебиение. Много ли надо человеку? Клопы? Черт с ними! А сколько их здесь! Столько звезд на небе во вселенной Эйнштейна — Эдингтона. число грандиозно, впечатляюще, подавляюще, но конечно. Начнешь сдуру давить, нули на стене мазать, весь срок этим делом будешь заниматься, не кончишь, всех не передавишь, работенка до коммунизма. Эх, другие живут — и мы как-нибудь. Лишь к утру Женя забылся свинцовым сном, уморился, загас в башке священный фонарь.

На вторую ночь он уже не замечал подлых неистребимых насекомых. Все говорят, что клоп ползет, что он отсасывает грязную, отработанную кровь, что в бараках с клопами смертность ниже. Может, и верно: в симбиозе клопа и человека есть смысл, предесценнированная счастливая задумка, неожиданное свидетельство о мудрости творца. В осадке лев! Можно построить доказательство бытия Божия, применив аргументацию более сильную, чем Кант.

Вскоре пришлось пожалеть, что в голову явились ернические, кощунственные мысли.

Он на шпалорезке. Отнюдь не адовый, не смертоносный лесоповал («Берегись, пошла!»), а обыкновенная работа. Женя корит тяжелые шпалы, работая под открытым небом.

Чудное дыхание и бальзамно-скипидарный, терпкий, восхитительный аромат еловой, сосновой древесины; вообще-то дождя нет, порою неуверенно прыснет: чуть. Осень. Пророчатся дожди, холода и морозы. «Поздняя осень, грачи улетели...» Что за погода, едрит твою мать! Хоть и нет дождя, а все время ждешь, что пойдет, того гляди польются с неба холодные, безоговорочные, корректно-точные струи. Оглянись! Густые, нудные, понурые, хмуро-муторные, уныло-неприветливые, язвящие, сердитые, при-

чудливо-однообразные, мелко-неинтересно-закрученные, обильные тучи стремительно, рьяно, неодолимо, уверенно, бесцеремонно-торжествующе-решительно плывут туда, все мимо, мимо, конца им нет и не может быть, ряд за рядом, велика, необозрима армада, круговорот воды в природе, — так учили всех деток в школе на Негорелой улице, а несчастный Гоголь, высунув нос из дому в такую погоду, воскликнул: «Скучно на этом свете, господа!» А великий русский писатель Лев Николаевич Толстой спятил, драпанул от жены, Софьи Андреевны, драпанул с температурой — и конец всем известен: Астахово. Туда, к югу, к Москве плывут вечные странники, а она, Москва, за тридевять земель, поди; не знает Женя, как далеко Москва. На душе его муть и квасная сивуха и крупные хронические мурашки. А беспросветные, как срок, плывучие тучи являют собою образ смердящей, испуганной души Жени, трансфизический корень которой творит кошмар (напомнить уместно, что еще английский философ Локк уверенно различал первичные качества предметов, ну там вес, протяженность, и вторичные, мнимо-субъективные, привносимые воспринимающей личностью: цвет, запахи и т. д., впрочем, и до Локка проницательные люди об этом догадывались; Шекспир соображение высказывал: «Сами по себе вещи не бывают хорошими или дурными, а только в нашем восприятии» да и греки, софисты, Протагор нечто близкое проповедовали).

Женя истово, нервически корит шпалы. Норма — тридцать, а наш слабосильный старатель едва вытягивал шесть. К концу третьей недели он выдал неверных, неполных тринадцать, чертову дюжину, хотя казалось, и десять ему никогда не осилить; затем число шпал, которые он корил за день, почему-то стало падать, устремилась срамно кривая вниз. Ой, невесело, конец света! Небо заломилось, сворачивается в свиток. Отрешен, оглушен кошмаром действительности, оглох. Он, может быть, и наверстал бы, вытянул норму, приноровился, втянулся, если бы не эти псы. Свет не мил. Они, псы лающие, кусающие, цапающие, прохода нет, псы, с кем работает смиренный юнец в одной бригаде. С развода начиналось: скачут вокруг него, скакали, будут скакать, неистово, буйно, удержу нет, не дают опомниться. Дикое скопище, морды, морды... Лают оголтелые, адские псы, сонмище, огулом.

- Отсидит срок, опять учиться будет!
- В Москву, учиться, — скалит зубы.
- Деревянный бушлат заказан, а не Москва!
- Забудь о маме!
- И бирку к ноге, номер, — ликующе, торжествующе.
- Еще неделю — и кранты, дубаря.
- Стал тонким, звонким и прозрачным.
- Хрусталь! — смех, радостное, здоровое ликование (безусловное здоровье).
- Не задержится, коня откинёт.
- Труба.
- Хитрый, обманет начальничка, срок начальничку оставит.
- Эй, чучело гороховое, проснись, на ходу спишь!
- Химик, не темни!
- Хитрожопый!
- Темнишь, падла!
- Темная ночь, очнись!
- Филон, жуткий филон.
- Студент прохладной жизни.
- Эй, нерусский, в жопе узкий!
- Образованный, что такое КПЗ? — испытывают в лагерном катехизисе.

Женя робко, неуверенно отвечает:

- Камера предварительного заключения.

Зло, ошалело, мерзко, но как бы ради высшей моральной справедливости и правды, подчиняясь зову и требованию рифмы:

— ... я тебя за такие нравоучения!

Бегло хлесть, хлесть по морде, а дальше уже вдохновенно, основательно прикладывают: живая мишень, безответная. И лад, рифма требуют действия, завершения.

— Ссыте на него — он сумасшедший.

А эти псы что кишат вокруг него, молодые немного старше нашего нелепого избранника: им двадцать три года, ну двадцать пять. Силушка по жилушкам похаживает, а уязвленный, отверженный Женя слабеет, угнетен, еле душа в теле, не их поля ягода, а сопля, студент, интеллигент, учился, белая кость, белая ворона. Нормы не выполняет, а не на штрафном, за их счет живет, за счет бригады. На чужом горбу, неистребимый паразит, едет.

— О Москве думку думкует.

— Мать-то есть?

— Убивается поди?

— Мама за рекой.

— Пусть щебенку пришлет: калории, сало.

— Напрасно старушка ждет сына домой.

— Привьется, молодой.

— Трудно первые десять лет, а потом человек привыкает.

Дружный здоровый смех, жеребята ржут улюлюкают. Вихри. Вихри враждебные.

— Химик, сдал рога в каптерку?

Он ничего не понимает. Иванушка-дурачок! Тупица. Дикий хохот, рев. Изобретательно и по-цыгански незаметно надевали на голову рога, сваргащенные на скорую руку из проволоки, а растяпа, лопух малохольный по наивности и тухлости сознания, движимый волей к бездарности и утрате бытия, пасует, невдомек, что ему рога надели. Почему все так заходятся, неистово и искренне гогочут над ним? Страдал, хирел, тускнел. Его солнечная, ангельская, впечатлительная, открытая миру, жаждущая любви и понимания душа покоробилась: заушательская злоба кругом и вокруг. И он все сильнее проникается сознанием, что он существо никчемное, лишнее, плевел, уродливое, извращенное, гниль, позор человечества, так как не приспособлен к здоровой, горячей борьбе за существование и выживание, обречен естественным отбором, дарвинизмом. Ему в сто раз было легче в кабинете следователя или у неистового, страшного Дорона, чем среди себе подобных зэков, безвестных воинов доблестных победоносных армий, своротивших Гитлера. Он, студент, вялая рохля, не работал, а учился: все основания, чтобы ненавидеть, презирать, измываться с выдумкой и садистской изощренностью. Ницше: «Желчная зависть». Как радостно сознавать, что кому-то хуже, горше, чем тебе, что кто-то гибнет на глазах. Подтолкни падающего — суть, философия всего живого, в крови это, в проклятой эволюции и биологии, в дарвиновском бессмысленном кошмаре, в миллионлетней борьбе за существование, в дурной бесконечности размножения живой клетки. Лагерная наинужнейшая заповедь: «Умри сегодня ты, а я умру завтра». Не будь последним, обреченным. Хоть предпоследним, но не последним. Лишь в самом начале Женя содрогнулся, когда увидел, и ясно, что не вытягивает лагеря, что Каргопольлаг представит для него лагерем смерти, что раздавлен и убит злобой ближнего, такого же несчастного, как и он сам, но которому чуточку, на грош лучше, легче, чем ему, москвичу, студенту. Силы быстро сдавали. По мере того, как слабела способность к сопротивлению окружающей среде, таяли и последние жалкие силенки, исчезала внутренняя тревога: психически готов к гибели. Жил той минутой, что текла, как птица небесная: апатия, равнодушие ко всему, как камень, как Будда. Потянуть до перерыва — и вздохнуть. Он корит. Время не движется. Идут в зону: как бы не упасть, не потерять равновесие. В столовой рацион однообразен, скуден. Затем ноги сами несут в барак. Залезешь с трудом на верхотуру: сморился, свалился в рыдающий

сон, полубытие. И пока дневальный или бригадир не дернет за ногу — пора, мол, мышцы напрягать, упираться. Спал на бушлате. Так и не набил матрац стружкой. Нет сил. И все равно. Все безразлично. Свое, что оставалось с воли и не было разграблено в «столыпине», в карантине, он сбыл за бесценок, покупал в ларьке то-се, но с продуктами здесь скудоба, завезли когда-то прорву дальневосточных изысканных, непонятных, никому не нужных крабов, консервы. Кроме крабов — пустые полки. А крабы не питательны, ни к чему бедному зэку, голод они не могут утолить. Женя брал в магазине крабы, алтушки быстро извелись, уплыли. Оставалось проклятое пальто-реглан, из-за которого он чуть не был убит в карантине, скопидомничал, жалел пальто, уговаривал сам себя, что бережет пальто на самый-самый черный день. А куда чернее? Чернее лишь смерть-смертушка. Она вскоре явилась в белой хламиде. На Жене обноски второго срока, б/у, лагерная роба, телогрейка, похоже, третьего срока, вовсе утиль, да и кеды не лучше. Экипирован как все, не выделяется, не приметен. Однако мимикрия не проходит ему: каким-то тонким нюхом пролетарско-классовой ищейки они абсолютно безошибочно определяют, кто этот нелюдимый заморыш: испорченная вшивая интеллигенция, обреченная мразь, гадина, Фан Фаныч. У них превосходное всемирно-классовое чутье!

Утро. Еще темень, у вахты — прожектора. Развод. Собираются лениво, сонно. Все перемешалось. Никто не знает Женю, все чужое. Он то и дело ловит на себе тяжелые, тусклые, угрюмые взгляды — высматривают. Разнюхали, распознали как меченого, настигли. Они словно с цепи сорвались, чтобы пить живую кровь и победить в борьбе за существование, преуспеть в восходящей эволюции. Сияют, ликуют! Чтобы с ходу не быть узанным, уйти в незаметность, он в этот раз не поднимал глаз, смотрел под ноги. Не прошло! Бонжур! Мое почтение! Всей осатанелой громадой еще у ворот ОЛПа на него навалились, прохода нет, рьяно треплют, без устали. Еще и еще обрушивается на него необузданный, неукротимый, красноречивый шквал злобы, ожесточения — в ухо, в горло в нос... Жесток переплет.

- Что за кикимора?
- Эй, барчук!
- Чучело, очнись!
- Упираться, упираться надо...
- На чужом х... в рай едет.
- Рожками, рожками...

В конце концов он жалко-ничтожно-нелепым жестом сбрасывает с себя злосчастные рога. Хохот — идиотский, дружный, ликующий, жизне-радостный, поросячий визг. Десятки здоровенных луженых глоток гогочут. Женя смотрит на них затравленными, сухими, блестящими глазами, полными муки. Он безвольно откидывает рога в сторону, а за такую наглость полагается полжизни отнять. Огреб. Кто-то с разбега, неожиданно и без препятствий, засадил, крепко засадил, с энтузиазмом, и Женя свалился, встает скособочившись, нужно быстрее подниматься, а то на радостях забьют. Не заржавеет у них: с увлечением будут добивать упавшего, как ядовитую, заразную змею, с сатанинским сладострастием. И бить-то удобно, ловко — ногою, удар хорош, чувствителен, беспорен, яростен, ярче, чем кулаком увесистым, особенно когда с хорошего разбега бьет бомбардир: у русских способность к футболу. Поднялся. Разбита коленка, хромота, око-рябана рука. Как корить такими граблями?

- Бей в глаз, делай клоуна!
- Эй, пошел, шевелись!

Еще заработал. И врезали, профессионально, аж бенгальские огни из глаз, как из рога изобилия, посыпались. И еще. Упал, кто-то ногой добавил, вот она — истинная встреча со святой Русью, с ее мистической, вечной имманентной народной стихией. Русь моя! Жена моя! Подоспевает вовремя начальник конвоя, отбивает у очумелой орды Женю, не дает для

общей всемирной гармонии аннулировать ошибку и брак природы. Опомнились. Те, кто от души лупил, смешались, растворились в общей толпе эков, трусливо разбежались.

От зоны до лесозавода недалеко, но пешедралом, гуртом, строем, с остановками («Подтянись!»), чтобы задние не очень отставали от тех, кто впереди, около часа пилят. Тяжка, изматывающая, непосильна работа на шпалорезке, с отчаяньем проявляется усталость, через силу тужится, окорябанными, больными, чужими руками корит проклятые тяжеленные шпалы. Все же во время работы ему легче, лучше, чем на разводе или в курилке, когда баландерша баланду привозит. На полдник — шрапнель, одна и та же, рацион не меняется. Бригадники собираются, сбились, плюнуть негде: хари, дегенераты, шалая бригада шпалорезки, шалая и беснующаяся. С ходу — приветствия, с ходу — образуется морально сильный, воинствующий единый победный фронт: «Кикимора!» Опять начинается. Бесконечная изошренная пытка, с художественной изошренной выдумкой. Чужак, инородец, изгой — удобная мишень для нападков. Не от мира сего. Метафизическая, онтологическая чуждость. И — одиночество. Сколько можно? Это можно снести один раз, ну два. Каждодневное шествие на Голгофу! Каждодневное несение креста. Измученный, истерзанный Бог? Кому это нужно? Почему в этом истина? Зачем? Зачем?

За десятичасовой рабочий день натружена спина, наломаны руки-крюки, одеревенели, ноют с непривычки, аж не гнутся в суставах. Еле волоча ноги, он шагает к столовой мимо выцветших, незапоминающихся, равнодушных лозунгов. Мол, не проходите мимо! «План есть закон!» — «Хорошо поработать — культурно отдохнуть!» — «Выполним пятилетку в четыре года!» — «Труд — это дело чести, славы, доблести и героизма! Сталин» Идет кормежка, гремят алюминиевые тарелки, гвалт. И — барак, двадцать третий, не тот, где бригада шпалорезки. Залезает на жесткие нары, растягивается. Тело стало умным, серьезным. А утром перед носом пайка, неизменная, святая, уже дожидается нашего героя, уже под носом: съешь меня. Палочкой прикреплен довесок. Женя безвольно съедает довесок.

Не прошло и месяца, а беспомощный скорбный салажонок вóвсе сдал, охудшился, не выдержав яда людского, поплыл, поплыл. Затмилось солнце, шум в ушах. Его жалкая душонка сделалась сумрачной, свернулась, как прокисшее молоко, сорвалась, гасла, фитилилась, утратила волю к бытию. Даже в санчасть нет сил идти. Но в санчасть погнал его, доходягу, бригадир, надоумив строго:

— Закуси. Должны дать.

Вот где повсюдное скопление людей! Мается очередь бесконечная мнется, подпирает стену, чуть с ног от усталости не валится. Женя маялся часа три, подошла его очередь, услышал: «Следующий!» Позвала фельдшерица Искра, которая эками считалась знающей, сердобольной, справедливой, хорошей, которую все уважали. Она что-то спросила Женю, он что-то ответил, неудачно ответил, от большого ума сказал, что падает от усталости, что изможден, что нет сил работать, сказал это бесцветным молящим голосом, заглядывал с тоской и мольбой в голубые, как у двухнедельного котенка, глаза. Глаза фельдшерицы делались все холоднее, все кошачье, злее, а когда он в черном экстазе отчаянья (моча в голову ударила) бухнулся на колени, крича несусветное, что у него, как и у нее, 58, 10, 11, что она должна помочь брату, глаза сердобольной фельдшерицы сделались совсем беспощадными. Грянул гневный женский альт:

— Свинья, вон отсюда!

Видать, он был таким легким, что она, схватив за шиворот, легко подняла, как кошку, развернула (он не сопротивлялся, не препирался), дала пенделя — и полетел воробушком наш шалопутный позорник. Она дождит своим местом в тепле, а тут этот фантазмагорический безумец, притворщик, намекает, что они повязаны одной фашистской веревочкой: 58-я, групповая. Выгнала и к врачу не допустила. От ворот суровый поворот.

Утро нового дня. Вздыбились знатные сугробы: такие лишь в раннем детстве видел. Слепящая метель. Зима вошла в силу. Стали выкликать бригаду шпалорезки, дошла и до Жени очередь, ответил срывающимся, младопетушиным голоском все, что положено. статья, срок, окончание срока: пятьдесят седьмой! Да разве дотянешь? Непосилен лагерь.

Комендантским ОЛПом заправлял в те годы небезызвестный лейтенант Кошелев, человек с каменным сердцем, слабинки никому не давал, исправный, зубодробительный служака. На хорошем счету был у начальства — сильный производственник. Кошелев каждое утро вне зависимости от погоды самолично совершал важный ритуал: бдительно всматривался в каждого зэка, выходящего из ворот ОЛПа и следующего к месту работы. Изучал, одеты ли люди. Не обворовывают ли работяг бригадиры, нарядчик? Ведь очевидно, если люди накормлены, обуты, одеты, они и работать с толком будут, план выполнят, значит, обеспечено движение вперед и выше, значит, можно требовать темпа от тяготеющей к застою, инерции массы работяг. Кошелев увидел, зацепился за тщедушную, зачахшую фигурку обессиленного мальчика. Что такое? Качается! Скелет, ноги как спички. Что за непригожество! Урон, а не рабочая сила. Волевым, раздраженно-хозяйским, уверенно-царским мановением руки срочно возвратил Женю в зону, устранил, изъял из тех, кто должен давать план. Сколько гордого величия в жесте начальника ОЛПа! Он что-то властно приказывает мастодонту, вчерашней разъяренной, негодующей фельдшернице, и фельдшерница испуганно вытягивает шею, наклоняет голову как под топор. Втык получила! Оказывается, не гуманная медицина, а исправный, твердый служака заступился за Женю, отстранил от работы, погнал на комиссию, а затем и напрямиком в ОП. Начальница санчасти пощупала жесткою компетентною рукою жалкие, съеденные голодом и беспросветностью ягодицы нашего героя, наткнулась на безотрадный, мерзкий копчик, брезгливо, с внутренним возмущением, омерзением отдернула руку. Копчик чернел, просвечивал сквозь кожу. Таким, как Женя, Ницше завещал: «...слабые и неудачники должны погибнуть. Им нужно помочь в этом...»

Подозрительно: месяц в лагере — и призрак? Первое соображение — не мастырит ли? Заинтересовался нашим квелым заморышем кум. Вызвал. Проверить всегда нелишне. Нам, зэкам, ни в чем нельзя доверять, такое племя.

— Ты уксус не пьешь?

Проформа: въедается в печенки, профессиональное прилежание. Опытным глазом сразу видит, что мастырками не пахнет. Перед ним переутомленный, нетрудоспособный доходяга с синяком под глазом, дохлятик, перышко. Неважнецкий материал для лагеря.

— Садись, — холодно, сухо; церемониал, протокол.

Женя сел. Подобающе возложил худые руки на худющие, острые, исчезающие колени. Положил так, как его вышколил незабвенный боевой Кононов. Сгущается мрак. Ему предложат сотрудничать. Шанс. Он сделает вид, что не понимает. Затем вяло, безвольно откажется. Это — конец. Минуй меня чаша сия.

— Морально себя изводишь?

— Не знаю, — слабым вялым куда-то проваливающимся голосом, впрямь умирающий лебедь.

— Статья-то какая?

Эва куда метнул! Будто не знает. Берегись! В осадке лев! Женя весь напрягся, выпустил колючки, ожесточился, быстро заморгал, наострил и без того острый слух; заикаясь, назвал статью и замолчал. Здесь надлежит молчать, лишнего не болтать. Многоопытен: отвечать надо лишь на вопросы, а не вообще высказываться.

— Как же это ты так? — уныло упрекнул опер (отеческие интонации — знаем мы вас!). — Одиннадцатый пункт — нехорошая статья. Расконвоированию не подлежишь.

Опер терпеливо, уныло, словно преодолевая сонливость (хитрит?), спрашивает, есть ли мать, отец. Помогают ли? Услышав, что наш инфантильный фитиль еще не натянул провода с домом (письма, что ли, теряются, не доходят — ни ответа, ни привета, и думать что — не знает), велит опер, чтобы Женя накатал здесь же, в кабинете, письмо матери, сказал, что сам отправит его, по «своим каналам» Женя обхезался — конечно в «высшем смысле». Каверза? К родителям подбираются? Пустяк, несколько слов нацарапал корявыми буквами, дескать, жив-здоров. И — адрес. Целую. Подвох. Пурга? Была слабая надежда, что опер через волю отправит письмо и оно дойдет. Так и случилось. Вскоре же салага получил от матери ответное письмо, а затем и посылку. Значит, опер отправил. Сотрудничать Жене не предложил. Проехало. Пронесло. Из воды сухим вылез.

Пауза, передышка: в ОП.

Сонная, вялая муха, всю дорогу в тяжелой дремоте. Спит, спит. Но спит не легким сном Заратустры, вливающим в организм бодрость и новые свежие силы, он все время как бы просыпается и в ту же секунду стремительно — в дурную, мутную, метельную кому, пронзающую его тусклое нутро. Говорят, что от сна еще никто не умирал, сон — панацея от всех бед, целителен. Имеется, видимо, в виду не такой сон, не сон-судорога. У него стынут ноги, и это худо, очень худо: он открывает глаза, видит неотчетливую неясную, размытую, млечную, эфемерную, иллюзорную, мало правдоподобную, лишенную имманентного, плотного внутреннего бытия, структуры и субстанции фигуру. Субстанция. Этот термин любит Спиноза; хороший термин, рентабелен, когда надо провести рассуждение о материальном единстве мира. Фигура сия порою исчезает, как бы растворяется в окружающей среде, расплывается. Женя отлично знает, что там, в ногах, никого и ничего нет, что это дурной, пустой обман зрения, искажение способности воспринимать окружающий предметный мир, вызванное голодом, дистрофией, усталостью, лагерем. Женя находчиво, остроумно, неожиданно дергается, быстро, рывком поворачивает голову и глаза — резко, сильно — в сторону: недоброкачественная бестелесная фигура, в которой скупо отгадывались глазницы и что-то вроде жадной отключенной пасти, обитательница невидимого, сомнительного мира так же быстро отлетает в сторону, в направлении движения его взгляда, теряет очертания, прекращая оптическую фальсификацию, подтверждая, что она начисто лишена субстанционального бытия самости, реальности, что эта гостья являет собою всецело, целиком и полностью ошибку восприятия, ошибку работы зрительного аппарата, огрех видения и зависит от того, куда направлен его взгляд. Отлететь-то в сторону, куда Женя обращает взгляд, она, безмолвная, воплощающая глубинную тишину и совершеннейший покой, отлетает, однако полностью не уничтожается, сохраняет частично свою млечность, приблизительность, обманчивость; самое же поганое и неприятное — она, являя собой субъективность, иллюзию, псевдоподобие, хоть опровергнута интеллектом, но ничуть не тушется, упрямо, неудержимо, капризно, как бы наперекор доводам разума (дефект виденья, глаз виноват!), как бы по естественной необходимости и сообразности, внятно, в порядке вещей, а не по прихоти того, кто воспринимает, медленно, с ленцой, чуть лукаво, а в то же время и просто, и бесхитростно, демонстративно (примечай!) сгущается, наплывает, возвращается на прежнее место, в холодеющие, стынущие ноги, компрометируя, посрамляя разум, который готов дезертировать, гонимый мутным нерасчлененным чувством и его самодовлеющим законом исключения третьего (в конце-то концов — или она существует, реальна, конкретна, или ее нет — это мнимость, иллюзия, звон в ушах, пустая, лживая фикция, ирреальность). Глянь, она сполна и в полной мере восстанавливает былую потерянную внятность, конкретность, уязвленную реальность, восстанавливает сильный, качественный предикат бытия и другие державные, полновесные

права, которыми пользуются бесспорно существующие предметы трехмерного материального мира. Женя вновь повторяет прием, уже хорошо проверенный, снова бесцеремонно сгоняет движением телесных глаз и головы непрошенную прожорливую гостью в белом с насиженного, охлажденного места в ногах: ку-ку! В «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин определяет материю как «объективную реальность, данную в ощущении». Когда-то наш герой поднял смело знамя против такого примитивного, неконструктивного определения. Следователь Кононов инкриминировал критику Ленина, Женя отпирался. Их дело в значительной мере высосано из пальца, и Женя встал на путь полного отрицания. Отрицал и то, что бежал в одной упряжке с Кузьмою. Не было! На самом-то деле агентурные данные, доставляемые в МГБ Маратом, были точны, факсимильны. «Объективная реальность»? «В ощущении данная»? Если вы ударили, да еще с размаха, ногою о камень, то боль в ноге доказывает существование камня. Убедительно? На первый взгляд — вроде бы. А если хорошенько подумать? Увы и ах! — боль в ноге несколько не доказывает существование камня, но в высшем смысле, в философском, не доказывает даже существование ноги. Болеть может и отрезанная нога! Да еще как болит! Мрак и ужас! Болит, падла а того, что болит, нет, отсутствует начисто, ампутировано, погладить, потереть нечего. Снова вкрадчивая, дышащая холодом посрамительница разума возвращается в ноги, повторяет повадку, притом движется неуклонно, и все старания отделаться от нее обречены на поражение. Предусмотрительный юноша сильно поджал под себя ноги, так-то надежнее, хоть избавляешься от нудящего, щемящего, давящего, истребительного холода. Контрмеры уместны, не спорьте, а то как бы форсированный мат не получить! На всякий случай и детей крестят. Не зря говорится: береженого Бог бережет. А сказала это одна монахиня, надевая презерватив на свечку. Женя прислушивается к ровным, слабым ударам сердца: четкие, ровные удары. Вроде движок работает без перебоев, как часы. Диастола-систола вновь диастола. А если остановится? Вдруг — и навсегда?

— Почему останавливается сердце? — обратился к старичку-соседу с аскетическим лицом (вечные детские почемушки!).

— Никто не знает, почему оно бьется, — услышал неожиданный ответ.

— А врачи?

— Врачи ничего не знают.

— Здешние? — Женя втягивается в разговор.

— Нет, не только здешние.

— Умирать не страшно! — после молчания испуленно выплеснул Женя.

— Душа страшится смерти, — осторожно отверг сосед. — В «Федоне» Платон уверяет нас, что философия есть не что иное, как приготовление к смерти. Отечество наше там, откуда мы пришли, там же и Отец наш.

— Не страшно! — с голым воодушевлением изринул Женя, просветленный близостью смерти, ее виденьем. — Вот она! В ногах...

Сосед внутренне отпрянул от умирающего, встревоженно глянул туда, куда безумными, сухими, сверкающими глазами красноречиво указал восковой, ангелоподобный юнец с заострившимся носом, болезненно воспринял медиумическое, темное послание. Мороз по коже! Ничего не обнаружил. Отсутствие всякого присутствия. Может, у этого несчастного мальчика перед переходом в мир иной истончилась душа и он видит то что по своей природе невидимо?

— Вы что-то видите? Какой-то предмет?

— Я давно ее обнаружил. Знаю: прелесть. Неукротимый, неумолимый призрак. Знаете, а хлопот она не доставляет. Умею с ней расправиться. На самом-то деле ее нет, фикция. Это дважды два, дефект глаз непомерный, обольстительная полуреальность. Вижу, но ее нет, я ее не принимаю во внимание. Открою душу: страх — мой спутник. У меня есть даже теория

страха. А ее вижу — и не страшно. Закрою глаза — исчезает, не обременяет ничуть. Я ей язык покажу. Не боюсь тебя!

Юноша кому-то показал язык, нервно, язвительно засмеялся.

— Не бездна страшна, а человек, ближний, сволочь! Сволочь людская! Морды, морды, быдло, гнусные, мерзкие твари. Кто-то сказал: есть ли существо на свете более отвратительное, чем человек? Нет. Прошу, не говорите мне, что это лагерь, что здесь преступники, отребье, отбросы общества. Нет, нет, человечество это.

Юноша жалобно заплакал, нервно выкрикнул:

Не стучи же напрасно у плотных дверей,
Тщетным стоном себя не томи,
Ты не встретишь участия у бедных зверей,
Называемых в прошлом людьми.

Горько, еще горше:

Ты железною маской лицо закрывай,
Поклоняясь священным гробам,
Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам!

— Знаете, — робко молвил юноша, — она пропала. Нет ее. Вот как с ней надо!

Женя смотрел себе в ноги: пустоглазой, млечной, фиктивной, незаконнорожденной фигуры не было, пшик, растворилась, исчезла. Он протер глаза, он трагически икнул, как у следователя, снова протер глаза.

— Блок меня спас.

Он закрыл глаза: джунгли под(над?)сознания, проваливается, падает куда-то; сквозь магический кристалл видит, узнает ландшафт — солнечное Качалово! Святая колыбель, истинная родина, плешка, где встречали они восход солнца; набросана яичная скорлупа; потемки и дебри, освященные скудной семейною хроникой, устные предания, глубокое и первичное непосредственно-конкретное для себя бытие: нескончаемая и повторяющаяся история, радостная тревога, погоня — они уходят на быстрых конях. Не расскажешь об этом: анамнезис проницательных греков, Платона. И сам он — косноязычен, зайка, немота сковала рот. На коне он великолепен, великодушен, бесстрашен. С ним его брат Сырчан. Уходят, взмылены быстрые лани, уйдут как пить дать, вильнули, еще раз вильнули, летят быстрее, чем заяц от орла: горький, бесподобный, пьянящий, густой дурман — чернобыль, емшан. Погоня отстает, где им, слабаки! Сырчан залег в Донских степях, Отрок в горах кавказских скрылся. Умеем ждать, терпеть. Будет и на нашей улице праздник! Грядет! Но вот скончался Мономах, Единоборец, и на Руси туга и горе... Воспряли мы духом, вдарили. Напор, удар, еще удар. Ломим, гнутся шведы. Врезали по первое число, долгожданная победа. Эх, знай наших! Емшан. Еще и опять емшан, первый сорт, божия травка.

Женя осторожно открывает чуткие, острые глаза, смотрит в ноги. Ее, смертушки, нет, всерьез и окончательно нет.

— Ушла, — говорит он.

Женя очнулся от обморока, в нем проснулась неистовая словоохотливость, приспичило, а сосед оказался замечательным, вещий ум, умница, разнообразно-универсально-феноменальная память. Бог послал Жене такого соседа в ОП.

— Как вы к Шопенгауэру прыгнули?

Но Шопенгауэр — уже прошлое, преодолен, снят; уже другой сезон и новая любовь. Что ему книга последняя скажет, то ему на душу сверху и ляжет. Еще нет своего, стержня, еще очаровательны все интеллектуальные

приключения. Бергсон, откровение. живая праматерь, материя-жизнь, которой противостоят интеллект, геометрия, мертвящее начало.

После ОП Женя пошел разыскивать Грибова, к которому успел прикипеть душой. Вошел в барак, услышал опять звон в ушах. Оно. Опять оно. Все, что он увидел, воспринималось нереально, как через какую-то пелену.

Грибов только что получил из дому продуктовую посылку, разбирает, видимо, имел намеренье что-то оставить, а основное отнести в каптерку.

— Пореже мечи, — аукнулся кто-то, пульнул словцо больше в шутку, чем имея в виду перспективу. — Похаваем?

Николай Николаевич вместо того, чтобы не моргнуть, отмолчаться, возьми и брякни (сказал с каким-то тяжким безразличием): «Бери!» Тот, нахал, схватил что-то второпях, не веря в счастье и глупость человеческую, еще схватил, другой подскочил тут же, третий: «И мне!» Цап-царап, хватали, вмиг раскурочили посылку, рвали, смеялись в лицо идиоту. Дураков в лагере надо учить! У Жени возникло странное чувство, что Грибов — это есть он, Женя, что это его судьба, что это есть встреча с самим собою что он заглянул в свое будущее. Это ощущение знакомо многим чутким людям. О нем пишет Борхес. Но явственнее, бесспорнее оно обозначено у Гёте в «Поэзии и правде»: «Я поехал в Друзенгейм, и вдруг мне явилось странное видение. Я увидел — не физическим, но духовным взором — себя самого, едущего мне навстречу по той же тропинке, в платье, которого я еще никогда не носил, — темно-сером с золотым шитьем. Когда я очнулся, видение исчезло. Самое странное, что восемь лет спустя в платье, которое привиделось мне и которое я надел не преднамеренно, а случайно, я ехал по той же дороге, чтобы еще раз навестить Фридерiku».

Женя развернулся, выбежал стремительно из барака.

Грибов испытал горячий порыв сочувствия к несуразному, экзальтированному, задумывающемуся юнцу. Подключил Витю Щеглова. А Щеглов, как известно, все мог, влиял на главбуха, через главбуха с неизменным успехом и играючи помогал, когда к нему обращались за помощью. Везуч был Витя, само ему все в руки плыло. И как такой вечно улыбающийся человек залетел в лагерь? Не зря, поди, говорится, что от сумы и тюрьмы не зарекайся. И срок-то у Вити, согласитесь, на зависть мал, всего-навсего пять лет! Скоро, уже обозримо кончает, на волю идет где-то в пятьдесят втором. О счастливчике Вите имеет смысл поговорить отдельно, во всех подробностях, но как-нибудь в другой раз. Запомним: из-за американских ботинок загудел, солдатские, крепкие, несносимые, вечные, не ботинки, а картинки, папа ходит по избе, бьет мамашу по ... Папе сделали ботинки! Щеголял в них весь срок. Заглядение!

Итак, нашему охламону сгношилась легкая работа, учетчик погрузки.

Казалось бы, чего еще надо? Счастье. Ходи себе с досочкой, выписывай на ней цифры, суммируй их, задирай нос. Физически не работаешь, а значит, будешь жив. Следи прилежно, как грузчики вкалывают. Пинтовка саней, распинтовка, дюймовка, пятидесятка, шихтовка, горбыль — делов-то! Так-то оно, может, так, но не совсем. Место, конечно, хорошее, завидное, но у нашего дичка все не слава Богу, все тридцать три несчастья! Эх ты, непутевый, жалкий заика! Кто бы мог подумать, что этот разиня оказался не в состоянии овладеть и справиться с примитивными, элементарными интеллектуальными задачами, не может собраться с мыслями, сосредоточить внимание, приметно слабоумен, путается с кубатурником, все из рук валится, лепит ошибку за ошибкой, ни умножить цифры как следует не умеет, ни сложить. Ни в зуб ногой. Ей-ей, досадное недоразумение. Неужто и впрямь не по Сеньке шапка? Как же этот охламон учился на химфаке МГУ, сдавал анализ, аналитическую геометрию, долбил роман Фихтенгольца?

Женя подолгу задумывается.

Фитиль и доходяга, дохлятик, только что заглядывал в бездну и оставил в бездне остаток умственных способностей, а теперь ничего не может.

А ведь нужно уметь определить на глаз кубатуру саней! А он чудовищно мажет, так, что ни в какие ворота не лезет. И ведь дело-то элементарное. Положительно во всем ему не хватает сметки, природной смекалки и здравого смысла, хватки. А в учете есть и свои таинства: нужно чувствовать, когда кубатуру в вагоне можно и должно зависить, обманывая потребителя, а когда нужно учет вести точно, как в аптеке, так и тут; сорок фунтов так и пуд. Ассортимент материалов — темный, густой лес для него.

— Ты мне что, вошь на лобке?! — свирепеет, справедливо злобится, дико скалит огромные, нечеловеческие, лошадиные (таких не бывает!) зубища (неужто и у английской королевы такие?). — Бажбан, что мне с тобой делать, ума не приложу. Любого грузчика поставлю, лучше работать будет. Расхлябанный, нескладный, бестолочь. Слон, топчешься как слон. Замаялся. Гнать в шею! Не нужен мне такой учетчик. Польза — как от козла молока. Что, каждую цифру за тобой проверять? Чего хлебальник разинул?

Затюканный, трогательный созерцатель дуреет от страха, тупо смотрит, трет себе лоб.

Подлиннен, безыскусствен, абсолютно искренен, глубок Шаламов, бывалый, выдавший виды лагерник, когда вещает, что не всякий опыт нужен человеку, что лагерь лучше не знать, не ведать, что падения в лагере глубоки, что все мы, кто сидел подолгу и в тех условиях, знали эти падения, переставали быть людьми. За блатарями Шаламов вообще отрицает человеческий облик, человеческую природу: нелюдь. Нельзя о лагере, о том, как ты жил и выжил, рассказать всю правду. Да тебе наши прогрессивные деятели руки подавать не будут! Не человек ты, а только числишься человеком по лагерной картотеке да у нарядчика! Все мы падлы, особенно те, кто доплыл, доходягою был. Какое там парение ума! Какие там высокие материи? Штурм неба? Святая неудовлетворенность? Дерзание? Искание истины? Бергсон? Творческий порыв? Творческая эволюция? Мисюсь, где ты? Всеобщее и всемирное счастье? Китеж, где ты? Утоп? Нашему буке из рук вон плохо, как еще не было! Дуреет от одной лишь мысли, что снова-здорово шарахнут его на проклятую смертоносную шпалорезку. Опять Голгофа, нет, не выдержит, унижение, задушение, тарарам, беспредел и радостный, здоровый смех здоровых, сильных людей, нравственно сильных, цепких, победивших лагерь. Опять на голову ему наденут рога из проволоки, улюлюканье, опять непосильный физический труд на морозе, на ветру, опять поплывет, зафитилит.

Некачественен. Из рук все валится. Уязвлен чужим, враждебным миром, пронзен лагерем, пристукнут страхом — страхом опять попасть на шпалорезку. И без того неказистые его умственные извилины запорошены, совсем запорошены. И он сегодня-завтра выйдет из строя, пойдет, пусть стреляют, пусть, один конец. Не ждать же, когда блатаря тебя будут ...?

— Бажбан тупой, а не учетчик! — ужасный лошадиный оскал; из себя вышел лютый Бармалей, беленится, держит в руке спецификацию, которую должен был подмахнуть. — Что пишешь, олень сохатый? Сколько раз я тебе кубатурник объяснял? Говоришь — понятно, а что пишешь? Непонятно — спроси, объясню. Проще самому сделать, чем каждый твой шаг проверять! Как слепой ходишь, не химик ты, а колун, тюлень, м...вошка х...ва! Нет, не видать мне учетчика, как Краснов!

Избавление от открытых, откровенных ужасов, от страха перед шпалорезкой дарует лишь та, что безмолвно являлась в белом, единосущная небытию.

Как зуб ликвидировать.

Если вы, читатель, уже изволили уяснить, представить состояние душевного хозяйства нашего хилого, лежачего, обезумевшего, удручающе быстро деградирующего героя, если вы приоткрыли окно в его душу, то враз и с возмущением от него отвернулись бы, плюнули в него, ушли не

оглядываясь прочь. Таким же он был в первую ночь на Лубянке, таким был, когда увидел избитого Гусева, но то состояние длилось лишь день-два, и вновь он вернулся к самому себе, в себя; восстанавливалась личность. А здесь уже три месяца окончательное, полное, субстанционально-безысходное падение, а впереди бездонная вечность, конца срока не видно, годы, годы... Лучше бы ему не лежать в ОП: лучше не иметь, чем потерять. А если повал: «Берегись, пошла!»? Вызовет кум, соглашусь, на все соглашусь. Блатные раком поставят, будут жарить в туза, а куда денешься? Некуда деться. Флейтист. Петух. Тот, кто шел на Голгофу, один раз шел, а тут каждый день. Зачем Голгофа? Зачем нам страдающий Бог? Страдания не очищают, а лишают подобия Божьего, разрушают образ и подобие, что даны от века. Честь? Кто это придумал? Рыцарство? Пушкин? И Пушкин стал бы флейтистом! Решусь. Нынче, на обратном пути в зону, выйду из строя, пойду в сторону, побегу. Женя представил себе, как он выйдет из строя. Шаг вправо, шаг влево считаются побегом. Побежит по снегу. Упадет, не услышав выстрела, даже не подставив рук. Элементарно, судьбоносно, по ту сторону принципа удовольствия.

На нарах лежало письмо. По почерку — от Риты. В письме ее фотокарточка. Не изменилась — та же улыбка, предчувствующая тайну, ускользающая.

Эту мудрость знает Шекспир («Буря»): «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Не слетел с учетчиков наш герой нескладный, а со скрипом освоился с таинствами учета, притерпелся, приноровился, наловчился, наблатыкался — дело спорится. Сумел взять себя в руки, понатужиться, сосредоточиться, не делает больше позорных ошибок в науке чисел, называемой арифметикой. Да и учет пиломатериала на погрузке не требует большого ума, большой сообразительности, пустяшное дело. Попросту обрел квалификацию. Ну и слава Богу! Каштанов доволен, никаких нареканий, не контролирует уже каждый шаг; вообще перестал на погрузку являться, так, на минуточку заглянет, заскочит и смотается куда-то, бесконвойник; а Женя мельтешит среди саней, заносит на дощечку хитрые цифры. Вообще-то наш герой не любил математики, без всякого энтузиазма готовил анализы, правда, умудрился сдать Тумаркину на пять и без шпаргалок. И Аристотель, говорят, не любил математики, не верил в нее. Погрузка закончена, Женя за Каштанова подписывает спецификации, насобачился, обеспечивает подпись вполне: сам Каштанов не умеет разобрать, где его росчерк, а где талантливая подделка. Не на тот факультет пошел — не химиком бы ему быть, а художником!

Сплюнь! Три раза сплюнь, спеши, пока не поздно. Рано начал ты радоваться. Одна кончилась; нашла, наехала иная дрянь, африканский аллигатор, скверна. Не это, так другое. Пока Каштанов околачивался на погрузке, мелькал, являлся то здесь, то там со своею грозною, верною палкой, пока зорко следил за новым учетчиком, а заодно и за погрузкой, Жене оставалось лишь правильно учитывать загруженный пиломатериал. Освоил и освоился. При Каштанове грузчики остерегались нагло туфтить: Каштанов не даст спуска, огребешь. Славная повадка: без предупреждения и околичностей пускает в ход назидательную ферулу, с которой, как Петр Великий, никогда не расстаётся, ревностно употребляет для общей государственной пользы, для выполнения плана — наш-то великий, справный, славный народ другого языка не понимает.

— Избаловался грузчик, — негодует Каштанов. — Спину ломать не желает. Только спать да спать.

Тщедушного, полудебильного, полуобморочного Женю никто не собирается страшиться, даже те хвост подняли, у кого заячья кровь. И вот вам первый результат: бросают доски так и сяк, чаще наискось, мало того, неподобающие, наглые прокладки между досок очень с умом кладут, прямо на глазах у учетчика-лопуха жулят. Тут бы свист издать! Два пальца в рот! Недогруз! Дисциплина пала окончательно, а наш непутевый герой все

дурью мается и свою дурь оправдывает в таких интересных идеологических категориях: «Я лишь учетчик, а не погонщик рабов!» Никого заставлять работать в условиях лагеря не намерен. Пусть другие этим занимаются. Не его дело, что недогруз. Не так-то все просто, друг ситный. Закрутка и загвоздка: железная дорога не принимает недогруженные вагоны. А грузчику с высокой колокольни плевать. С каждым днем народ наглеет. Слабину надыбали. Жене оставалось одно: оформлять спецификации так, как если бы загруз был нормальный. Вот он и бедовал. Полупустые вагоны поплыли по рельсам железной дороги в разные города нашей необъятной, великой родины, что раскинулась от Черного до Белого, от Волги до Курил.

— Учетчик, гондон сраный, — учиняет миролюбиво разнос главный инженер, хозяин лесозавода, специально появился на погрузке, чтобы выволочку учетчику устроить, умерить безобразия. — Кому говорю, брось, умник, туфту заряжать. Грузишь в два раза больше, чем завод пилит. Система. Да за такое — указ три-четыре.

Туды-растуды, а что делать? БУР, суд, новый срок. Несмотря на то, что страх изредка щекотал спину, он регулярно отправлял потребителю недогруженные вагоны, безоглядно фальсифицируя документацию. Не в свои сани не садись! Он не может грузчиков принуждать работать. Дисциплина пала, развратились все, никто не будет нынче его слушать, никто не будет повиноваться. Случай не заставил себя ждать. Он вынужден был вмешаться, сказать: «Баста!» Вагон грузился тарной дощечкой, а эту работу грузчики терпеть не могли, предпочитали увесистые доски. Часа за три-четыре весело забросать вагон, зашить — и в зону, дрыхнуть. Право, даже не туфта, а сама наглость, само хамство, дух займется: не соизволили даже создать видимость конца, порядка, ушли в курилку, наполовину не догрузив вагон. Зашивать и не собирались, сойдет.

— Ребята, что вы делаете! — детским голоском, как молодой петушок, проголосил Женя. — Железная дорога не примет.

— Соси ты мой, сифилитичный! — на блюдечке готов ответ, честный и прямой, как костыль.

Женя в боевом настроении звякнул на вахту, отменил конвой, который грузчики успели самовольно, незаконно вызвать. Каштанов утюжил этих тварей почем зря, и они его боялись, уважали, благодарны были за малейшую поблажку. Женя потакал им, смотрел сквозь пальцы, как они туфтят, и они презирали его. Они не были благодарны и признательны за то, что он облегчает им жизнь, за что ему, Жене, придется расхлебывать кашу.

За то, что звонил на вахту, получил. Несерьезно, ссадиной отделался, легкой п...дюлиной. Получай на чай. По кумполу приложили. Ушанка смягчила удар, до свадьбы заживет, говорят. Хотя он отменил конвой, но на вахте грузчики что-то наболтали, отбрехали, что-то умно объяснили. Конвой увел их в зону. Женя ожидал, что железная дорога не примет вагон, заметят халтуру, тогда, к его торжеству и удовольствию, вызовут вновь грузчиков, заставят их догрузить вагон. Но никто ничего не заметил. Махнули рукой. Женя скис. Грузчики и здесь оказались правы, а он осрамился, оконфузился. Перестраховался. На его совести неблагоприятный поступок, звонил на вахту, конвой отменял.

Наш герой всю долгую зиму мытарился на погрузке учетчиком, и не в толк ему, почему смотрят сквозь пальцы, как он без зазрения совести завывает кубатуру отгруженного пиломатериала, почему его терпят? БУРом ему не отделаться. Уже по бытовой статье, социально близкой, уголовной.

За первый квартал года лесозавод впервые за время своего существования не только выполнил план, но и перевыполнил. Особенно увеличилось количество третьих сортов, якобы распиленных заводом. Скопившиеся на бирже готовой продукции излишки были заново переучтены, засчитаны как свежий распил. Начальник ОЛПа, главный инженер лесозавода, начальник лесоцеха и прочее начальство огребли солидные премии за до-

лгожданное перевыполнение плана. Жить всем стало лучше, легче. Грузится, к примеру, вагон третьими сортами (заказ потребителя), подвернулись сани с материалом уникального распила, Женя неряшливо бросает: «Давай!» Готово: сани мигом оказываются в вагоне, получай, потребитель, нам ничего для тебя не жаль, лишь бы поменьше работать. Эх, пора бы бежать нашему герою, улепетнуть подобру-поздорову. Куда? Лагерь... Куда тебя, сохатого мозгляка, пошлют, там и упирайся.

Как-то начальник плановой части, кстати, бывший зэк, заявился собственной персоной в контору погрузки, начал о том о сем, и вскоре:

— Я лучший начальник плановой части во всем мире. А почему? Комendantский ОЛП получил красное знамя. Каргопольлаг высоко держит знамя среди лесных лагерей Советского Союза. А в других странах лагерей нет! Нет планового хозяйства. Выходит по всему: я лучший в мире. А ты, шутник любезный, думаешь, дураки кругом? Шалишь! Мое дело предупредить: горишь, как швед под Полтавой.

Одна за другой пошли на завод скандальные рекламации от потерпевшего, растерявшегося потребителя. Этого следовало ожидать. Поскольку недогруз был так очевиден, потребитель замер кубатуры проводил бестолково, без соблюдения положенных формальностей — головотяпство, казенщина. А Каргопольлаг ломом подпоясался, ошетинился весь: не признал претензий. И дело пошло в арбитраж, опять возня потребителю. Дальнейшие события разворачивались неправдоподобно и граничили с фантастикой. После бесконечной, утомительной волокиты арбитраж наперекор здравому смыслу решил дело в пользу ответчика, то есть в пользу лагеря. Это объяснимо отчасти тем, что лагерь имел более опытных, зорких адвокатов, бесовских крючкотворов (не зря Достоевский прозвал адвокатов «наемной совестью»), чем его контрагенты, отчасти тем, что наш суд решал дело в пользу родственной по духу и сущности организации, которая как бы символизировала социализм.

Все же терпение начальства лопнуло: недобросовестного, недостойного, сполна непутевого недотепу учетчика скovyрнули с должности под зад коленкой. Поколбасил, натворил бед — и хватит. На фиг вас, сказал Тарас и закрыл окошко. Так культурненько выразился нарядило. В своем падении Женя увлек и начальника погрузки Каштанова.

— Не было у меня лучшего учетчика, чем Краснов, — с притворной улыбкой, спекшийся, обмякший, уже не похожий на начальство, говорил Каштанов. — И хуже этой парши не было!

Женя попал в лесоцех на наколку. Сносно. Незамысловатая работенка, ума большого не требует. Он неторопливо подпихивает багром бревно, подает его на цепи, еще легонько, внимательно подтолкнет, цепи сами умно, легко, сильно захватят, потянут бревно, лязгают, скрипят, надрываются, волокут бревно наверх к пилораме. Остановка, встали цепи. Разнесет, разрежет бревно пилорама, проглотит его, опять заскрипят, заскрежещут, застонут цепи, дернутся, двинутся, и на них надобно вновь и шустро насадить очередное подготовленное бревно. Порядок, пошло. Стали цепи, заработала пилорама — полминутный отдых. И сердце человека, мощная мышца, говорят, отдыхает несколько секунд перед следующим качком-ударом. Работа хоть и физическая, но по силам, не сглазить бы! Все иначе, чем на шпалорезке. Бригада большая, и нет никому дела до тебя, затеряться легко. И никаких забот, никаких тревог, никаких нервов. Кончился рабочий день, гудок, пошел к вахте, хоть трава не расти, забыл обо всем до завтрашнего дня, когда удар железякой по висячему рельсу у двери КВЧ откроет грядущий день, напомним, что пора в столовую, к вахте, пора напрягать мышцы.

— Курорт, — обаятельно, мужественно, неотразимо шутит Гладковский, бригадир лесоцеха, хороший дядька, редкостный. — Прогудел гудок, воткнул багор — и колеса, с колокольни долой. А мне — голозу ломай, как наряд закрыть, как людей накормить. А леса нет, вертись, выдумывай ра-

боту. Забот — полон рот не говори. А летом здесь вообще балдоха, загорать будешь.

Нашему чудику вообще начинает мниться, что все зло от его никудышной, глупой головы, что физически работать легче, чем учитывать загрузку пиломатериала, что через физический труд он переделает сам себя, одолеет мечтательность, обломовщину. Наколка — совсем неплохо и в самый раз, и он готов до конца срока здесь упираться. Все лучше, чем жить в вечном страхе, ждать, что погоришь, что тебя спишут, снимут с учетчиков. Женя прямо без ума от бригадира: не заблатненный, а наша, родимая 58-я, бывший фронтовик. По тому, как Гладковский щеголевато носил бушлат, как чисто, ладно выбрит его подбородок, по тому, с каким достоинством он разговаривает с лагерным начальством и, наконец, по тому, как он вкушает лагерную баланду, видно, что этот не сломлен, настоящий, выплавка хоть куда, высокой пробы материал. Бьющее впечатление: гнули, но не согнули. Ощущалось, что этот человек полон осознания несломленности внутренней свободы и особой миссии. Гляньте еще раз на его осанку, на это мраморное, чуть желтоватое энергичное лицо, скульптурно вылепленные скулы, на внушительный череп — тайный, не всяким видимый царский знак внутреннего благородства. Гвардия погибает, но не сдается! Опять-таки: чистюля, неусыпно следил за собою. Цель — не опускаться, не терять человеческое лицо в любых условиях, как бы тяжелы они ни были. Многие говорили, что взвинченная чистоплотность повышает сопротивляемость повышает жизнестойкость в экстремальных условиях лагеря, способствует выживанию. К этому веселому времени наш герой не то чтобы акклиматизировался, приспособился к лагерю, а так: не фитилил, ноги, руки задница пообросли мясом; связался с домом, стал получать продуктовые посылки, ожил. Все бы ничего, да вот кажется мнительному Женю, что Гладковский как-то хуже к нему относится, не замечает, сухо, скупно улыбается, едва отвечает на приветствие, а раньше подойдет, словом перебросится, потрекают на разные темы, о ностальгической Москве вспомнят, о несравненном МХАТе, большим поклонником которого Гладковский был, знал, помнил весь репертуар еще тогда, в тридцатые; и выражение «сыры», очень осязательное, впервые Женя услышал от Гладковского, значит оно уже тогда, до войны, бытовало. Что же такое случилось-приключилось? Чем Женя провинился?

— Чего маршал на меня дуется, нос воротит? — озадаченно, несмело пытается Женя Желтухина, старшего по бассейну.

Тот многозначительно, проникновенно почесал лохматую бороду: много можно жестом, мимикой выразить! И выражением глаз! Желтухин перевернул медаль к истине:

— Пофантазируй. От тебя зависит, — пущена Желтухиным ядовитая стрела, натырка — скверная лагерная философия. И улыбочка Желтухина погана.

Наш герой, воспитанный на Ромене Роллане и Рамакришне, увлекающийся Шопенгауэром, посещавший субботы Кузьмы, мечтавший о духовном переустройстве земного шара, отверг банальную, оскорбительную подоплеку: Желтухин всех циничною меркой мерит. Желтухин — скот, изнанка, считает, что в мире нет честных людей. И я мразь (после погрузки, особенно первых дней, когда он еще не овладел тайнами учета, Женя был невысокого мнения о себе). Но не таков славный бригадир! Женя не перестает любоваться Гладковским. умное лицо, импонирующие умные глаза, волевые командные интонации голоса. После очередной харчистой посылки Женя вновь ничего не дал бригадиру, последовали оргвыводы: его сняли с наковки, перевели на сортоплощадку, поставили на ту сторону, где надо сбрасывать тяжелые доски-пятидесятки. Кому-то и здесь должно стоять: бригада Гладковского обслуживает все участки конвейера. Доски плывут на цепях, конца им нет и Женя что есть силы выкладывается; десять часов рабочий день, два перерыва по полчаса когда на раме пилы меня-

ют острые ставят; к концу смены уж не на руках, а на животе, обняв, доску тащит, порвал бушлат, торчит вата, руки ломит, хлипок, усталость накапливается, невмоготу: поток! Передохнуть нельзя — так задумано. И снова, снова, неуклюже навалившись всем телом, животом, сбрасывает пятидесятку в сани. Наломался за день, все болит, стонет. Надо было сунуть! Не жаль Жене, святой простоте, но как? Не способен он дать Гладковскому, на котором нимб неувядаемого благородства. Пал духом, мучается. Как, как дают? Научите! Покажите! Не в состоянии себя перебороть, хоть умирай! Вот так, протянуть бумажку, двадцать пять рублей: поставьте, ради Бога, меня обратно на бассейн? Дерзнул: засунул двадцать пять рублей — новенькую, хрустящую бумажку — в пачку папирос, испереживался, страдался, изнервничался, улучил момент, захватил Гладковского одного (без свидетелей), суется, заикаясь (в таком деле он опять заика), сбивчиво, разгоряченно, сумбурно (хвост — голова, голова — хвост):

— Мать прислала, думала, я приохотился к куреву, а я не курю, а вы, видел, курите, пожалуйста, мне лишнее, а я и не курю...

— Несказанно угодил, не снилось: дефицит. — Гладковский с глубокомысленным видом сунул пачку «Казбека» в карман галифе, улыбнулся приветливой, ласковой улыбкой, обнажив гнилой неизменный ужас зубов. — Предельно обязан.

Жене бежать бы скорее, бежать прочь. Дело в шляпе! Но неисправимый, неотмирный тюха-идеалист возьми да спроси о МХАТе, о великом артисте Качалове.

— Как же, как же! — Опять Женя увидел порченые, желтые зубы, неприятность которых не могли исправить никакие зубной порошок и щетка; Гладковский полез в карман за «Казбеком». — Качалов, Василий Иванович... Настоящая фамилия, между нами, девочками, Шверубович. Отличный человек. Я женат на...

Не закончил: доверчиво, недолго возясь, вскрыл пачку, раскрыл, а там — хватать! — поверх папирос радужная бумажка, позорница, сверкнула, зловеще, как молния, озарила, разломала вокруг них пространство. Женя покраснел, да как неистово, отчаянно покраснел! Дурацки, непристойно покраснел, до корней волос и слез, и всякий, увидев такое смущение чистого юноши, увидев такую безысходную растерянность, неловкость ясного сердца, понял бы, что юноша делает гадкий поступок и осознает это, осознает, что поступает позорно, а тот, кто берет у него деньги, кто вынудил его к такому подлому поступку, вдвойне подлец, втройне. Умное, благородное лицо Гладковского покрылось красными, густыми пятнами, прошибло, может быть, впервой, как он в лагере.

— Что ты, что ты — ни к чему это! Я же вижу, тяжело тебе.

Бывалый, забубенный лагерник скоро овладел собой, обрел с изыском и природной грацией олимпийское спокойствие: ловким, свободным, раскованным движением переложил деньги в карман кителя, что был под бушлатом, закурил, запыхал, затаился сладко; бодрая улыбка, прищур, еще прищур — как ни в чем не бывало.

— Не дымишь?

Угощает, мол. Охламон только что сказал, что не курит, заикаясь, еще раз повторил, что не научился.

— И хорошо, что не куришь. Дурная привычка.

Еще сладко затаился (что испытывает бывалый курильщик, затаившись, Жене было неведомо: удовольствие? какого рода? а может, снижается перенапряженность?), добродушно, отечески утешая:

— Эх, ма! Все муде-колеса, и будем считать, что ты это сделал из уважения ко мне. Из самых лучших чувств.

Вот те раз! А почему бы и нет? Эко дело, пустяк, а он-то — малодушный, рефлексирующий неврастеник — боялся оскорбить, а все оказалось проще пареной репы. Да и оскорбил своим гнусным, отвратительным видом, тем, что дико покраснел, показал, что считает — взятка есть что-то постыдное.

— Ничего, дружище, ничего, — развил обезоруживающий софизм Гладковский и как бы рукой подправил достопамятный, внушительный, прекрасный нимб, — нам грамотные люди нужны. Я подумывал тебя учетчиком поставить. Наш-то скоро ту-ту, освободится. Пойдешь на его место, — и хлопнул Женю по плечу. — Я же вижу, что человек старается, а физически не работал.

— Покурим? — подкатился кто-то.

— С начальником на разводе, — ответил Гладковский.

Размазня и великой олух так растерялся, так расстроился, что не попросил вернуть его на бассейн, на наколку. Не хочет он интеллектуальной, нервной работы учетчика. Опять ведь не справится. На нем пятно, аховая репутация: снят за систематический недогруз вагонов. Начальник лесозавода кричал, чтобы Женю на пушечный выстрел не подпускали к учету. Правда, и Каштанова сняли, но через две недели опять вернули. Нужен, незаменим. Хорошо бы завтра на наколку, с которой его сняли, сняли с педагогической, дидактической целью, чтобы внял невнимательный кутенок: следует делиться тем, что имеешь с воли. Совесть надо иметь! Неписаная архиважнейшая заповедь лагеря: бригадиру, старшему положено с каждой посылки — дай, дай.

Гладковского увещевать не требовалось: уж он-то не первый день замужем.

Никогда бы разнесчастный, непутевый бедолага не стал бы давать на лапу Гладковскому, если бы умел заглядывать в будущее, если бы знал, к чему его поступок приведет. Говорилось, что старшим на бассейне с незапамятных, троянских времен был Яшка Желтухин. Проработал Желтухин не один день, полагал, что окончит срок на бассейне. Гладковский провел энергичную перестановку, перегруппировку: Женю вернули на бассейн, а Желтухина спровадили на сортоплощадку. Только дураку могло быть не очевидно, чем вызвана столь откровенная, вопиющая несправедливость. У бригадников глаз наметан, мыслят они примитивно, но каждый раз не в бровь, а в глаз. Лапа!

Вышел из курилки на пружинистых, военных ногах решительный Гладковский, и тут вздыбилось, лопнуло, поднялось:

— Маршал на крючке.

— Вась-вась живут.

— Устрица.

— Выдвиженец.

Со всех сторон рвалось, летело:

— Лапа!

— В ажуре.

Опять нравственный перекосяк и страдание. Судят, осуждают вроде все как один. И ясно обозначают. А еще вчера учили, проповедовали, что надо в лагере идти по линии жизни, что здесь на лапе все держится. Женя спасовал. Готов лететь вдогонку за Гладковским, умолять слезно, чтобы Желтухина справедливо вернули на бассейн, а его, Женю, запутавшегося чудилу, сослали обратно на сортоплощадку или куда угодно, хоть умирать.

— Эх, химик, химик, — изобразил кривую, нехорошую ухмылку Желтухин, почесал бороду, покорно встал, надал туда, куда ему указали. Женя переконфузился. Ощущал болезненные, позорные уколы и укусы совести. Не умел истерзанный недоумок схватить одного: почему именно Яшку Желтухина бригадир снял с бассейна и шмальнул на сортоплощадку? Невдомек, почему не Держинаса? Если бы переведен был Держинас, все бы выглядело нормально и естественно. Первый перерыв. Не вошел в курилку, чтобы не слышать разговоров бригадников. Стыд таранит, терзает Женю, и сила стыда настолько мощна, что он принялся взаправду молиться неведомому Богу, чтобы все возвратилось на свои места, чтобы восстановился статус кво. Его горячая, искренняя молитва была услышана небом. Явное вмешательство высших сил, и это смутило юного героя.

Припомнил, что раз уже случилось такое, что именно стыд заставил его обратиться к Богу, молить о том чтобы все было шито-крыто: давным-давно одиннадцатилетним мальчишкой он молился Богу и его молитва была горяча и пронзительна так, что исполнилась — разразилось страшное бедствие, война, а эта война дала нужный сдвиг в сознании всех, а главное — в сознании бабушки, не до внука и его переживаний было, не заметила зоркая бабушка того, что происходило в душе внука, не заметила, что он вышел из детства, беспорочного, чистого детства, стал другим. Да, тогда, 22 июня 1941 года, душу его рвал обалденный стыд. Разве нужно более наглядное доказательство о единстве микрокосма и макрокосма, что изменения в микрокосме могут привести к серьезным сдвигам в макрокосме, во внешнем мире. Грешный опыт Жени согласуется с прозрениями Исаака Сириянина: «Кто покорил себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все». После первого перерыва лесоцех пилил шпалы, притом пилил двумя рамами, сначала старалась вторая рама, где на колке стоял Женя, затем на руках бревно переваливалось к первой раме и она налаживалась и заканчивала распил. Держинаса бросили на перевал бревен, одно из бревен сорвалось, соскользнуло, как-то вырвалось, грохнулось на руку Держинасу; изуродовало руку, левую... два пальца напрочь оторвало. Увели несчастного с конвоем на ОЛП: производственная травма. Яшку вернули на бассейн.

— Почему вас маршал на пятидесятку задвинул? — святое неведение.

— По кочану, — огрызнулся Желтухин. — Эх, химик, не темни. Такое наше дело. Вы люди богатые, от вас, бауэров, навар жирный.

Значит, и Держинас дал! Прояснилось. Вместе в очереди за посылкой маялись, но Женя лопухнулся, и вот Держинас опередил Женю. И всем, кроме нашего тихони, это ясно.

У Жени навсегда сохранилась несокрушимая внутренняя уверенность, что между событиями, включая его страстные мольбы, чтобы Яшку вернули на бассейн, включая увечье Держинаса, имеется внутренняя связь. причина связана со следствием.

Писать на верхних нарах, где всегда сумерки, неудобно, как целоваться в противогазе, но Богом избранного графомана не смущали неудобства. Женя накатал длинную славную ксиву Рите. Вдохновенное, смелое письмо в духе Чаадаева. И орлиное парение ума, и крамола буйных, молодых, пророческих мыслей о судьбах России, и всякие эсхатологические прозрения с упованиями на войну. В общем и целом, умеющий видеть — видит: в Корее пылает война, и она разрастется в большую, всемирную, с неслыханными разрушениями, с неслыханными мятежами! Сверхзадача — выжить! Рите надо бежать из Москвы, затеряться в глухой провинции или где-то в кавказских горах, подальше от промышленных центров. Разумеется, письмо такого взрывного содержания он не мог отправить обычной почтой, через цензуру, бросив в ящик у вахты. Ждал okazji, случая. Он заметил, что личных шмонов нет, этим добром, письмами, никто не интересуется. Надзиратели ищут ножи, водку. Он держал письмо всегда при себе, в боковом нагрудном кармане рубашки. Очень даже вероятно, что это был самый простой и надежный способ хранения, но жизнь готовила сюрприз, не повезло. Закручивали гайки: очередное «великое переселение народов»; вновь по неукоснительному приказу ГУЛага отделяли овец от козлиц, уголовников, бытовиков — от фашистов, и ему было велено переселиться в фашистский барак. Час от часу не легче! Опять! Он взбрыкнул слегка. Нет, не думайте, что по-настоящему взбунтовался, не то чтобы отказался, фордыбачил, протестовал, боролся за свои естественные права, а слегка, по-тихому волынил, остался на прежнем месте в бараке. В двадцать третьем. Скученность, клоповник могучий, но Женя привык к кислой мгле безбытности барака, громадного, как караван-сарай. Здесь он никем не замечен, потерялся, нет его. Словом, не ринулся занимать первым место в фашистском бараке.

— Ты еще здесь, е... фашист? — Дежурняк нежданно, как смерть, нагрнулся, подскакал, зацепил чудилу. Мразь, в чем душа держится, а кобенится, ядовитый змееныш, сто раз повторять надо! Пулей должен лететь! — Нарвался Женя. Теперь рад бы на попятную, обещает, что лишь переночует, утром обязательно перейдет куда следует, не по злему умыслу остался, устал, сил нет. Поздно, голубчик, задний ход давать. — Пошли! — Они идут. Отмеченный, подсеченный Женя и не знает, куда его, грешного, повели, что ждет его впереди, там. Привели ослушника в изолятор: тюрьма в тюрьме. Неряшлив, небрежен оказался Женя, запомнил, что в нагрудном кармане нехорошая философия, противостояние истории. А дорогой мог выбросить: шли к изолятору, надзиратель ни разу не оглянулся, уверен, что Женя идет за ним как овечка. Сто, двести раз успел бы! Оплошал, горит! Покорно стоит наш сырой неряха, поднял, раскорячил руки, дает себя обыскать, видит, как Корнейка выворачивает его грязные карманы. Не рыпается. Ничего в карманах нет недозволенного. Все, что в карманах, Корнейка на стол бросает, в кучу. Запоздалая зарница страха: «Письмо!» Поздно. Что делать? Пожалуйста бриться, вот оно, в руках у Корнейки, на стол упало вместе с ремнем, карандашом, носовым платком, который прислала мама в последней посылке, вместе с фотокарточкой Риты. Передадут письмо оперу — конец, верная четвертная, а то и расстрел: измена родине, 58, 1А. И скачут, как блохи, испуганные, быстрые, дурные мыслишки-блестки. Если не подам виду, что в письме что-то такое, не будут разбирать каракули, вернут не читая; Кононов же поленился, не прочитал дневник. За эту подлую мысль ухватился как за соломинку. А Корнейка держит письмо в руках, развернул, читает. Сейчас он дойдет до страшного: война, война и война! Бешено сверкают иступленные молнии: «Откажусь, скажу, что не мое, нашел». Душащий, душераздирающий, истерический внутренний вопль — конец! тюкнул сволочи... Дальнейшее он и сам не в состоянии объяснить и воссоздать по порядку. Вроде он резко сделал два шага (экспромт!) к удивленному и довольно-таки растерявшемуся надзирателю, вплотную встал, решительно выхватил письмо, которое надзиратель продолжал держать в руках, не сделав даже попытки отвести руки. Не совладать Жене с надзирателем, отведи тот руку, не отнять письма: дюж, буйвол, здоров. Схватил листочки письма, принялся сосредоточенно, тщательно рвать на мелкие кусочки. Рвал старательно, упорно, кусочки бумаги бросал на пол. Конечно, можно собрать, сложить — невелика хитрость. Но кому охота собирать? В изоляторе не так промозгло, как в лефортовском карцере. Ничего страшного. Увидав на окнах переплет толстой решетки, Женя вновь ощутил себя тем, кем был в Лефортовской тюрьме, ощутил ожесточение, энергию, силу, волю, что даст скорее сломать себе шею, чем отступит от принципа.

Есть два взгляда на природу зла. По Блаженному Августину, зло лично, персонифицировано, активно (сатана). По Фоме Аквинскому, нет активного, персонифицированного зла, зло лишь отсутствие добра, как тень — лишь отсутствие света. Похоже, что наш герой сдюжил зло, когда оно было лично, воплощалось в следователе Кононове, в прокуроре Дороне, но не выдержал лагерь: здесь нет до тебя никому дела, гибнешь — и гини, чхать на тебя!

На другой день, не сказав худого слова, нашего героя выпустили из изолятора, погнали на лесозавод, а изолятор не был даже оформлен приказом, вроде сидел, а вроде и нет, никаких следов, последствий не осталось в бумажном хозяйстве лагеря. После работы он поскакал в фашистский барак, не дожидаясь повторной нахлобучки. Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек! Пронесло, слава Богу!

Ни шатко ни валко первый год как-то промантулился, уже год как Женя в лагере. Томас Манн долго и изобретательно повествует, как его «избранник» смог в течение года просуществовать, выжить и не погибнуть на голой скале в открытом, огромном море, не имея ни воды, ни пищи, а

лишь непогоды и бури, а затем, объяснив, как это все получилось, делает справедливое и убедительное заключение: «Где год, там и восемнадцать».

Лагерь уловил Женю, попрали волю прекраснородушного юноши. С Гладковским Женя ладит, полная смычка; с каждой посылкой исправно платит дань, жирным куском сала закрепляет дружбу; о МХАТе почему-то разговор не возобновляется; так и не осведомлен Женя, на ком женат Гладковский, а это значит, что наш герой еще не настоящий мудрец, ему еще учиться. А пора бы проще смотреть на вещи.

На ОЛПе были организованы курсы машинистов. За Женю хлопотал все тот же Щеглов: мол, с химфака МГУ, башковит, пусть учится на специалиста. Женя на курсах, которые с отрывом от производства. Ничего не делает. За зону не ходит. Учись только. Как на воле.

Прошли месяцы учебы как звук. Что дальше? А ничего.

После занудства и скуки учебы и сдачи экзаменов (все сдали) их вернули в бригады, где они раньше работали: Женю снова на лесоцех, на бассейн, к Желтухину. Зачем же курсы? Опять на наколке, на второй раме, где когда-то Эдик Бирон стоял, опять подручный Желтухина, играет багром. Вторая зима в лагере, достается. Над бассейном пар клубится, в двух шагах и днем не видно ни зги, в сосульку превращаешься. Скорей бы лето! Наладились по одному обслуживать обе рамы, туда-сюда, успевай только, как белка в колесе. Пятнадцать минут работает — и на электростанцию, греться, оттаивать. Один в тепле на электростанции у котла от стужи обороняется, отходит, другой в это время всю вкалывает.

Учиться, учиться и учиться. Хороший урок преподавал Гладковский нашей размазне и бестолочи. В лагере все продается и покупается, берут все от мала до велика. Прицелился Женя к соблазнительному, очень подходящему, в полном смысле тепленькому местечку: электростанции. Завидный жребий! Поверьте, нет на ОЛПе-2 лучшего места, чем электростанция. Диплом машиниста в кармане, и подпись механика, и подпись начальника ОЛПа на дипломе. И печать. Законное право на электростанцию метить, и наш юный идеалист-мечтатель начал действовать — и действовал энергично, смело (еще Шопенгауэр учил: «Можно быть и философом, и не дураком в жизни»): дал на лапу старшему машинисту электростанции Шевченко (чтобы принял в кочегары), дал Гладковскому (чтобы отпустил), дал нарядчику — и очутился в выигрыше: он в тепле теперь. А диплом вообще ни при чем: все лапа!

Пар костей не ломит. Работенка, как говорится у нас в лагере, не бей лежачего. Не каплет. Мухи не кусают. И бригада показалась хорошей: дружные ребята, друг за дружку стоят горю, в обиду не дают.

На воле у Жени были романтические настроения, определяемые великой доктриной: чтит пролетариат творца новейшей истории. И настолько был без царя в голове наш безумный мечтатель, что подумывал: не поступить ли на завод (вместо МГУ), опролетариться, слиться с рабочим классом, пропитаться его здоровой психологией и через слияние с подлинной пролетарской массой возродиться духовно освободиться от интеллигентской скверны, рефлексии, сомнений, вечного скулящего хныканья, перманентной онтологической, метафизической порчи, декадентско-гамлетовских «быть или не быть». Казалось, внушалось («Разгром» Фадеева), что за всеми этими псевдовопросами нет ничего, кроме беспросветной русской лени, безволия, гнили. Леня вечная, глубокая обломовщина, прекраснородушная маниловщина, которые у интеллигента в крови, рок и проклятие, родимые, страшные пятна, грех и тьма. В самом слове «пролетарий» есть что-то плотное, подлинное, бодрящее, активное, нерусское, апокалиптическое, наступательное, победное. От этих иллюзий и диких мифов Женя еще в Лефортовке освободился, давно в его представлении развенчан пролетарий, особенно наш, российский, любитель бутылки, пьянь, порождающая олигофренов. В Бутырках он сам высмеивал романтические, мессианские иллюзии в марксизме. А тем паче в лагере, где одни подонки,

отребье. Здесь главное — выжить. Но почему-то ему было приятно себя сознавать кочегаром, рабочим, а не придурком. Лопатой шурует, веслом старается, дает на-гора электроэнергию. Пройдет время, освоится, машинистом станет, профессия на черный день.

Сколько раз с заиндеветыми ресницами и бровями, продрогнув на чертовом бассейне до костей, заскакивал Женя сюда, чтобы прижаться скорее к топке: Ташкент! Их гнали взащей: «Вали отсюда!» Посторонним не положено на электростанции находиться, закон. И Женя клял: «Поставить бы тебя, гада, на сорокаградусный мороз, забыл бы слово «не положено»!» Вытуряли, выталкивали, уходил озлобленным на весь мир. Голод не тетка, а тем паче холод: холод ломал самолюбие, гнал вновь в тепло, на станцию к котлу, хоть руки согреть оледенелые. Окоченели, того гляди обломятся, отморозил. Тот, кто в тепле, не понимает тех, кто на морозе, а инструкции, строгие положения котлонадзора облегчают это непонимание. На электростанции посторонним лицам находиться не положено. Важный объект, сердце завода! А что, если они котел взорвут? И вообще: не проходной двор, хилый отсюда, всякие тут шляются! Легко убедить самого себя, что гонишь взащей зашедшего погреться не потому, что вредный самодур, садист, а по долгу службы. Наш юный тщедушный, немощный Дон Кихот, бестолочь, решил иметь совесть и понимать тех, кто ищет на морозе. Он не будет никого гнать от котла, как гнали когда-то его самого. Ничего, что начальство им недовольно, перебьются, а замерзшего, несчастного нельзя вытолкнуть на мороз. Никому о своем высоком, благородном решении, что намерен делать добро и только добро, он, конечно, не говорил, никого не приглашал, не зазывал к своей топке: эти гады точно пронюхали — облепили, греются. Не заметил, зазевался — нет рукавиц, слямзили. Вот и делай людям добро! Пускай греются! Перед концом смены ему придется идти в подвал, топку чистить. Без рукавиц — не годится. Не от холода охраняют его рукавицы — от невыносимого жара. Пустил людей погреться, а они! Мало того, что увели новые, хорошие рукавицы (останется одно — кланяться, у кочегара соседней топки одалживаться, тот кобениться будет, не даст; тогда как?), облепили топку, негде великому гуманисту присесть, не стоять же всю смену на ногах. Женя высказался, чтобы подвинулись. Не гнал взащей, а лишь опасно попросил о малости. Понеслось, рев звериный, злобный: в рот! в горло! Слава Богу, что с соседнего локомотива увидели беду, увидели, что Женю за грудки берут, подскочили brave ребята, вложили шушере. А малый, азартно прижавший Женю к бункеру, сгреб, чуть в топку не швырнул добролюба. По заслугам огреб: поднявший меч от меча и погибнет. Воропай, Полтора Ивана, солидно приложил. Сразу успокоился, образумился, вылетел со станции. Чем бы кончилось Женино неприличное донкихотство, если бы не активная помощь бригадников? Вновь повторилось то, что и на погрузке, проклятье какое-то, карма. Не придирался, смотрел сквозь пальцы на туфту. За то и был избит, когда потребовал, чтобы грузчики догрузили вагон дощечкой. Диву даешься: Каштанов лупил их — уважали. Женя сделал поблажку — на голову себе. Подл, подл человек. Сволочи, все сволочи!

«Плевать на скучные, нудные, далекие от жизни категорические императивы, забросить всех Кантов за мельницу, быть проще, быть гибче, научиться отказывать. И при этом не переживать!»

Как говорили в XIX прекраснородном веке: «Время шло своим чередом». Срок идет! Пятидесятый кончается, канет в Лету. Наш герой жив, работает на электростанции — целая повесть, чего только не было...

Об электростанции стоит рассказать.

Луба — начальник электростанции, вольняшка, бывший зэк, в этом же лагере отбарабанил срок, монтером работал. По окончании срока никуда не уехал, остался при лагере, женился на местной аборигеночке-трескеедке, с которой сожительствовал в последний год заключения (бесконвойником был). Женя не понимал, как можно, отсидев десять лет, никуда не

уехать, а остаться при лагере, на том же месте: в судьбе Лубы как бы ничего не изменилось. Та же электростанция, то же начальство, та же женщина, хозяйством которой он пользовался, — все то же. А Луба даже не делал попытки изменить свою жизнь: уехать, найти другое место. Если Женю когда-нибудь отпустят, уедет в тот же день. Куда угодно, но уедет. Настроение, как у Жени, было у большинства. Выскочив за ворота ОЛПа, стремились умотать: сесть в поезд и ехать вдаль, куда глаза глядят, но подалее. Справедливость требует заметить, что кое-кто вскоре возвращался, вспомнив, что здесь, при лагере, ему сулили местечко какого-нибудь маленького начальника. А в родных краях, омечтанных, куда тянуло, как птицу, нет никого, кто мог бы пособить, нет родных, близких, а если и есть, если кого и помнят, то скорее опасаются, чем рады (по разным причинам и частенько не без оснований). Но Луба не ведал тоски по родным местам. Остался, с первой полочки справил себе кожанку, человеком себя почувствовал. В кожанках щеголяли аборигены, местное население, и если когда-то в прошлом такая кожанка символизировала связь с новой властью, носилась комиссарами, чекистами, то теперь, по законам естественного движения моды, ее стали носить все вольнонаемные (отметим, что вольняшки, хотя среди них было немало бывших зэков, то есть людей с подмоченными биографиями, занимали, как правило, административные посты и по отношению к зэкам являлись как бы высшим сословием; и зэк, обращаясь к любому человеку в кожанке, должен называть его не иначе как «гражданин начальник»; положение начальника приятно щекочет самолюбие, не слишком изощренное: вы, мол, нелюдь, а я в кожанке!). Луба со вкусом носил кожанку. Впрочем, он был реалистом: хозяйству придавал большее значение, чем кожанке. Дом и сопутствующие — корова, две козы, весной купил поросенка, которого нежно величал свинкой, огород. Осенью подросшего, нагулявшего сало поросенка забил, а мясо распределил среди подчиненных, на электростанции, причем зэкам дал в долг, под полочку. Опасаться нечего, отдадут, куда денутся. От него все зависят, может чуть что — и на повал шугануть. Как и другие вольняшки, он обрабатывал огород, используя заключенных-бесконвойников. Ходили ишачить к нему с превеликим удовольствием: кормили у Лубы отменно. Но куда важнее было другое: хорошие, почти семейные отношения с начальством.

Луба был начальником на электростанции, однако все, и зэки и наверху, хорошо понимали, что Луба — пустое место, просто во главе такого ответственного объекта, как станция, должен стоять вольняшка; бариновал и являлся подлинным хозяином станции старший машинист (и одновременно маршал) Шевченко: производственник, могучая личность, 58, 3 — пособничество, с немцами якшался, но что он там делал, на оккупированной территории, никто толком не знал.

Скромно, не вдаваясь в подробности, за что упекли, темно:

— На паровозе работал.

Или (не поведя бровью):

— Дуся, всем кушать надо. Бывай!

Или:

— Был бы человек, а статья найдется. Гуляй!

Тень на плетень.

Вообразите: огромный хохол, битюг, телеса — я те дам, жирный боров (тебя бы с хреном), могучие жирные плечи, впечатление силы и дородности. А ряшка — афиша. Глазенки малюсенькие, бесцветные, заплывшие жиром, свиные, но хитрющие, цепкие, коготки кошки. С позволения сказать, оказывается, и в лагере можно раздобыть! А Женя еще недавно фитилил небезопасно для своей молодой жизни, в ОП оказался доходягой, безнадежным числился. Впрочем, будем корректны и справедливы: где-то весной пятидесятого в лагере звели хозрасчет, увеличили пай питания, всего понемножку прибавили, в том числе нам, оглоодам, жиров увеличили. Очень незначительное было улучшение питания, тьфу, смеялись зэки,

но эта мелкая прибавка произвела чудодейственное воздействие на вечно голодные организмы эков. Не скажу за все лагеря, но из Каргопольлага ушла голодная смерть безвозвратно, будто вовсе не было ее у нас, как ушла она от нашего героя после того, как он прочитал стихи Блока. Не прошло и года, и непонятно почему и каким образом — вот те раз! — святой пайки, которую отнюдь не увеличили, стало хватать, и знаменитая, классическая пайка — даждь нам днесь — перестала быть всеобщим эквивалентом, заменяющим паскудные деньги. Лучше стало. А этого Шевченко как на дрожжах разнесло: масштаб, колоссальная, колоритная фигура, карикатура. При всей толщине, грузности, масштабности Шевченко был быстр, ловок, казалось, что легок: так и катается по станции; то там, а вот уже здесь. А хитрюга! — бес, вдохновенный бес, чисто шекспировский характер, Ричард III, как тот остался в памяти поколений; да родись он на ступенях трона — над миром бы властвовал. Но бодливой корове Бог рогов не дает: арена его деятельности — электростанция. Нет человека, которого бы он не облапошил. Интриги, доносы, наговоры, сколько энергии! Он жил удивительной, полнокровной жизнью, упивался хитростью и ловкостью своих проделок, выдумок, не дремал, все новые и новые выдумывал, изошренно стравливал подчиненных. Он знал все, что происходит на станции, кто чем дышит (интуиция, нюх сверхъестественный!), знал настроения, разговоры; знал и тогда, когда в выходной день лежал, нежился в бараке на нарах, предварительно сходяв в парилку. Является со смены бригада в дверях барака, а Шевченко уже в курсе, что там было без него (и откуда известно?), остер, неутомим, вездесущ хозяйский глаз (и слух):

— Выкладывай, мил человек, что — на третьей воду упустили?

Вот черт окаянный, все знает!

— Что ты, Саввич (старшего, как и дневального барака, уважительно кликали по батюшке), — была вода! Еще видна чуть-чуть. Насос сдал, инжектор сразу включили, как раз вовремя.

— Поздравляю, так и знал. Ой, чуяло мое сердце неладное! Разгильдяи, головотяпы, кутята, черти окаянные, на день нельзя одних оставить: что-нибудь непременно стрясется. Глаз и глаз за вами!

Всем (то есть не одним затырканным, потерявшим всякие ориентиры собригадникам, но и высокой лагерной администрации, вольняшкам, механику завода, главному инженеру) Шевченко сумел вкрутить баки, что электростанция держится лишь на нем. Послушать его, получается — уйди он со станции — все, встанут локомобили, наступит анархия, разруха, хаос. Ведь никому ни до чего нет дела. Никто ничего не знает и знать не хочет. Ну а Луба, известно, пустое место. Низкое спасибо ему, что еще работать не мешает, не вмещивается.

Несколько бригадников принадлежали к команде Шевченко, к его внутреннему кругу, если уместно такое выражение, и пользовались особым доверием, особым покровительством. Нет, то были не личные друзья. Какие личные друзья в лагере, да еще у Шевченко! Они подбирались по национальному признаку: украинцы, землячество. Они не были здесь козырными тузами, не занимали особых командных постов, да и особыми привилегиями не пользовались. Другое — их положение на станции было прочно. В ушлой, дальновидной политике Шевченко мог смело на них полагаться, опираться при конфликтах: они горой за него стояли, всегда ему поддакивали, верой и правдой служили. Они боготворили Шевченко, хвалу пели его организаторскому, командному гению. Работу наладил!

Нудные, как в тюрьме, ночные часы. Гудит локомобиль, шелкает мощно, однообразно ремень; Женя только что заправил топку, можно минут десять спокойно посидеть, подумать на собственные темы; уровень воды он хорошо отрегулировал, устойчив; к Жене подсел машинист соседнего локомобилия, Капустенко, выговаривает прописи лагеря и правильную резолюцию:

— Что ни говори, а прав Шевченко. Гад, гад он, но, понимаешь, не по натуре. Должность такая, здесь кулак нужен. Любой на его месте таким будет. А агрегат он лучше всех знает. И с первого взгляда.

Очень убедительно, и Женя уразумел еще по опыту работы учетчиком: не будешь жать, никто работать не будет. Закон. А дело, продолжает мысль Капустенко, спрашивают не с тебя, мазурика, и не с него, Капустенко, а с Саввича, чуть что — всех собак на него вешают. О себе честно скажу, не боялся бы Саввича, стал бы я подшипник крепить? Стучит, и х... с ним! Правду я говорю? Да гори все, пропади пропадом. Смену отстою, сдам как-нибудь машину. И каждый так считает. И ты бы топку не лез чистить, в колосниках шурыгать, на кой это тебе нужно? Книжку бы умную читал. Страх, все страх. Ругаем Шевченко, а не понимаем, что в наших интересах он нас строжит, порядок, дисциплину держит, не распускает нас. Встанет хозяйство — выгонят. На повале был? Я был. Нет, я его не сажал, я его и пилить не буду. А пилил, упирался как миленький. Забыли, как на повале, забыли пекло, Африку. Здесь зима не то что в Москве, посуровее. На бассейне был, где лучше?

— Здесь климат подходящий, в тепле. Не сравнишь, — с оглядкой, уклончиво говорит Женя, деланно улыбается, опасается — скажешь лишнее, дойдет до ушей Шевченко. Умно поступает Женя.

Опять рефрен Капустенко, как помин о смерти:

— Забыли Африку.

И та же песнь:

— Здесь не жизнь — разлюли-малина. К хорошему быстро дрянь-человек привыкает, лишний шаг тяжело ступить, подмести у топки. А уйдет Саввич на паровоз, бросит нас — хвост откинем, хана, всем хана (Шевченко время от времени грозил, что бросит все — и айда на паровоз, уверял, что начальство хлопочет о пропуске, обещали, мол, дать пропуск; а вообще-то, 58, 3, не расконвоируют). Не смотри, что он лапашник, для тебя он хорошее сделал (намек, что Женя подмазал, дал на лапу, а наш-то наивняк думал, что никто не разглядел, почему это он здесь оказался. Диплом, мол, машиниста! Дураков нет. Все все видят). В тепле сидим, под крышей, а не ценим. Не обижайся, что он на тебя цыкнул (Женя во время смены читал, а это не положено: зачитаешься, прогары начнутся, а то и воду упустишь — авария!). Он прав. Нельзя. А с посылки ему дай. Не жмись. Он любит: простой человек. Лагерь. Так надо. (Капустенко улавливал, что Женя не может уважать человека, который с него тянет; но Капустенко лишь отчасти прав: бригадир лесоцеха с его разговорами о МХАТе сразу перестал для Жени существовать после того, как Женя дал ему в лапу, но Шевченко не Гладковский, а человек иного, чуждого Жене круга; если Женя и давал Шевченко, то презирал не Шевченко, а себя; Женя предпочел бы забыть, что его положение на станции определяется тем, что он, получив из Москвы посылку, подмазывает.) Вот за что я его уважаю — в обиду нас никому не дает, печется о нас. Помнишь, Захаренко на этап дернули? Самому Карабицыну звонил, дал Бог, отстоял. Ночью звонил, не побоялся. А Луба? — Капустенко аж плюнул: мнение о Лубе Шевченко вбил им крепко, да и не трудно было, ибо соответствовало действительности. — Бздиловат Луба, далеко ему до Шевченко. Этот самого Карабицына не испугался поднять с постели. А чего бояться? Не для себя же, для дела. Сам живет и нам дает жить, таков он. Хаем Саввича (ох, не очень-то подчиненные решаются хвост на него поднимать!), а вот послушай, кто со станции на этап ушел? — Капустенко не преувеличивает — Шевченко горой стоял за бригадников, улаживал как-то дела, не допускал, чтобы кто-то без его согласия и подачи, а тем паче за спиной, людьми распоряжался. — А машину как знает! Алексеев знает. Не то. Воропай знает, Митя знает. Не то, ой не то! Вчера и Воропай, и Алексеев вторую всю обнюхали, со всех сторон: где стучит? Не поймут. А утром пришел Шевченко — и с ходу: «Подтяни коренной, правый». Подтянул в перерыв. Точно, в натуре! Вот ухо! (Чуткий, сверхъестественный слух. Женя каждый

раз поражался, как это Шевченко определяет, какой подшипник стучит. Кажется, везде стучит: куда ухо ни приложишь — здесь.) — Дохтур, прямо дохтур! — Словечко «дохтур» Капустенко произносит с иной интонацией, чем Яшка Желтухин, который в это слово вкладывает всю силу презрения русского мужика к интеллигенции, к Фан Фанычам. У Капустенко интонации уважительные, восхищенно-благодарного пациента, суеверно верующего в науку, в чудодейственность медицины и лекарств, смотрящего на врачей как на магов и волшебников, снимающих недуги и физические скорби. — Не ремонтник он, не эксплуатационник, а — угадай! — аварийник. Дохтур, настоящий дохтур! Третья вразнос пошла, помнишь? Все растерялись, и еще неизвестно, если бы не Шевченко, чем бы и кончилось. (В самом деле, Шевченко действовал исключительно хладнокровно, четко, точно, когда по каким-то причинам машина пошла вразнос, и по-настоящему рисковал, когда взвился на локомотив и закрыл главный вентиль, ломиком затянул.) Видел? Плакать горькими слезами будем, уйдет на паровоз. Ты первый заплачешь.

О, великая искренность большой лжи! Человек — сложная штука. В священном восторге кадит Капустенко, из кожи вон лезет, преподносит блюдо как высшую правду, за которую готов пострадать. Как же, рискует, назвав Шевченко гадом. Знает Капустенко, что Женя не из тех, кто побегит и доложит. Да и не для того он завел волынку, чтобы Женя передал его восторги старшему, что вот, мол, не только в глаза, но и за глаза любовь и преданность проявляет Капустенко. Ушлый инстинкт ему верно подсказывает: хвали всегда, не ошибешься, дойдет когда-нибудь до ушей Шевченко. Дело не только в этом. Он и оправдывается. Не столько перед Женей, сколько перед самим собой: себя убеждает, что лижет вовсе не из подлости, угодливости, подхалимства, лакейства, не ради спокойствия и уверенности, что завтра не очутится на лесоповале, а потому и только потому, что глубоко, искренне уважает Шевченко, относится к нему как отцу родному. А какие могут быть тайны от родного отца? И если что и передает Капустенко старшему, то не потому, что предрасположен к предательству, не потому, что с начальством у него всегда были такие отношения — и здесь, и на воле, и при немцах — а потому лишь, что Шевченко для него больше чем друг, больше чем отец. Иметь от Шевченко тайны и секреты — вот что было бы подлостью, предательством, низостью. Шевченко ему ближе всех! Не будь Шевченко хозяином станции, все одно они были бы друзьями, все равно Капустенко стоял бы на его стороне во всем. Восхищение Шевченко принимает порою форму болезненной безвкусицы. Появляется обожаемый Шевченко на станции, ласкатель возбуждается, словно любимую женщину увидел.

— Красное ты наше солнышко! — Восторг Капустенко не знает меры. — Видел, какая походка у Саввича? Легкая! Медведик, милый медведик.

Начнет Шевченко брить себе череп (лыс, остаток волос ловко сбривает, ничего не скажешь — артист, виртуоз, смотреть любо-дорого), а Капустенко рядом суетится, рассыпается мелким бесом в великом почтении:

— Научи, Саввич. Слово знаешь?

О себе Капустенко лишнего не рассказывает. За ним числится 58, 1А. Молва: полицаем был, сначала вышку дали, да заменили десятью годами. (Это когда было, в сорок четвертом, а в последнее время не за х... двадцать пять лепят: Боря Ратновский ни за что получил четвертную.)

Как-то раз, глотнув лишнее, Капустенко разговорился (многие исповедовались Жене):

— Эх, Женя, в моей жизни была одна весна! Это — весна сорок первого года!

Тихо:

— А знаешь, кто моя жена? Ее девичья фамилия знаешь какая? Шмидт! Ты понял? Сорок первый — весна моя! Сломив все на своем пути, Нибелунги двинулись с Запада.

Капустенко, Воропай (он же — Полтора Ивана), Пархоменко, Кравченко — кулики одного болота, команда Шевченко. Другой опорой Шевченко, как это ни странно, были прибалты: эстонцы, латыши, литовцы. Они не были друзьями, не принадлежали к его внутреннему кругу, жили обособленно.

— Плюнь, — советует Женя машинисту Микуцкису (наш герой все еще не научился благоразумию). — Посиди. Мы в лагере. Всю работу в лагере не переделаешь. Сам устал и меня загонял.

Не выдерживает Женя:

— Активист, вот ты кто!

В бараке Шевченко предупредил Женю:

— Тово — прикуси жало!

— В чем дело, Саввич?

— Хвост шевелишь, не дури.

— Поклеп, оговор, Саввич! — Женя пытается вида не подать, хотя с ходу уяснил, за что выволочка.

Невелик по сложности ребус: Микуцкис дунул. А позже выяснилось, что не просто фискалил, передал их разговор старшему, а потребовал, чтобы Женю не давали ему в кочегары, что он лучше один, без кочегара, будет смену стоять, а Женю — куда угодно, хоть на повал, хоть на этап, но с Женей чтобы никогда его не ставили. Скотина какая!

Безусловно, наш юный герой не прав: зачем судить прибалтов со своей дурацкой русской колокольни, предъявлять завышенные требования к обыкновенным людям, романтизировать их. Женя смотрел на прибалтов как на людей высшей человеческой породы, как на представителей и послов свободного, цивилизованного Запада, а кем они оказались? Труссы и жополизы, опора Шевченко. И еще — безумные работяги. Сосед Жени (почти рядом нары) Ульманис, латыш, огромный, немного малахольный мужик. Как-то Женя поинтересовался: «Не родственник ли диктатору?» Нет, ответил, не родственник, а может, лукавит. Женя позволил себе анекдотик. В сороковом, когда «освобождали» Прибалтику, эстонское правительство, слабое, демократическое, обратилось за помощью к фашистскому диктатору Карлу Ульманису: «Пришлите танки», — телеграмма. Ответ: «Один? Или оба?» Жене мила невеликая страна, где всего было два танка, но он задел национальное самолюбие.

— Дрек унд феффер! — осерчал Ульманис.

Очень возможно, что то, что он хотел донести, не могло быть выражено ни на одном языке, кроме немецкого (Гегель какому-то французскому шелкоперу сказал, что его философия не может быть изложена ни ясно, ни кратко, ни на французском языке). Обычно непонятные речи прибалтов пестрели русским матом. Чему-то мы их обучили!

Прошло часа два, прежде чем молчаливый, всегда угрюмый медведь-тяжелодум сообразил, что ответить:

— Не хуже вас-то жили.

И еще через час, видимо, желая ужалить Женю:

— Русские любят цап-царап.

Профилактический ремонт локомотива № 3. Ульманиса оставили на ночь, поручили установить «козу» (приспособление для очистки дымогарных труб). Обычно в ночную смену притаранивалась «коза»; полагалось все приладить, опробовать, и лишь с утра, в следующую смену, какой-нибудь Васька-Колобок начинал упираться и чистил трубы дня три. Работа считалась трудной, невыигрышной, от нее всячески уклонялись. И — грязная. Меньше чем за три дня не сделаешь. А порою, когда почему-то усиленно рвались цепи (оборудование старое, ломкое), Колобок и четыре дня с этими трубами возился. Уходя со станции, Шевченко на всякий случай бросил: «Ионас, начни». Он и Колобку-прощельге это советовал, но тот, разумеется, не успевал начать, а часа в четыре, приняв душ, спокойно смывался на бункера балды балдеть, храпака задавать. Ульманис наладил «козу», не посмел послушаться старшего, пошел навстречу его пожела-

нию, поступил не по обычаю, не как все; да и наладил, оснастил «козу» быстро, не к четырем ночи, когда не грех и на бункерах скрыться, храпка сладко давить. Совесть рабочего человека имел, начал. Серьезно начал, взялся за новое для себя дело и к утру за милую душу кончил: упорство, самоотдачу, пердячий пар, а не какой-нибудь специальный прием новаторский, рационализаторский применил. Пришла утренняя смена — трубы очищены от нагара и сажи, малая толика, в последнем ряду две остались, сейчас кончит, в душ не ходил, увлекся ненормальный старатель. Шевченко смотрит, сосредоточился, глазам не верит.

— Молодчина! Стахановец!

А что можно сказать? Безусловный, победный рекорд. Ничтяк.

Разволновался, блаженно заулыбался латыш, расцвел буйной, махровой майской розой. Как же! Старшой хвалит, отметил, выделил.

— Учись, — окорачивает Шевченко сильно заскучившего пройду Колобка. — Три дня, дурень, маешься.

Свободомыслящий Колобок посмотрел на Ульманиса как на откровенную сволочь, опасную, не ведающую пролетарской классовой солидарности, коверкающую жизнь ему, Колобку, и всем будущим поколениям. Естественно, после подвига Ульманиса взяли было принудить Колобка очистить дымогарные трубы в одну ночь. Не тут-то было. Где сядешь, там и слезешь. Васька научно доказал, что русскому человеку это абсолютно невозможно. Если бы оборудование новым было — другое дело. Цепь рвется. Как загазованный и с безумными глазами метался по станции с этой цепью Колобок, антилопу гонял, сновал, всем и каждому кряду показывал, разъяснял: не цепь, а одно недоразумение. Клепал ее, а она, подлюга, снова рвалась. Вот если бы цепь не была такой никудышной, а то всю ночь ее чинить приходится. Бесполезно — чинишь, а она ломается. Нет, не стал, продувная шкура, за одну смену бесчинную, грязную работу шустрить, но все же чтобы три дня резину тянуть, шалишь, довольно, голубчик, такой номер тебе не пройдет.

— Давай не будем, Вася, х... груши обивать, — определеннее некуда высказался Шевченко. — Не считай, что здесь, на поприще, все глупее тебя.

Шевченко не шутил.

После стахановско-геркулесовского подвига Ульманис почувствовал себя важной шишкой, решил на локомотиве должный порядок, как у себя на хуторе, навести, кочегаров подтянуть. Мало ли упущений, недостатков. Машина сдается бесстыдно грязною, как сортир. Топка кое-как чищена, безобразия. Кочегары во время смены отлучаются, на соседних машинах ла-ла-ла без устали. А Женя хоть и не отлучается, но — это же надо! — читает.

— Читай на нарах! — явочно и без предупреждения вырвал «Братьев Карамазовых», швырнул в бункер, собрался спустить книгу в топку, сжечь, но Женя успел схватить любимую книгу, с которой не расставался, читал, перечитывал. Не ждал Женя такой прыти.

— Я с тобой говорю или с пустыней? — закричал Ульманис. — Культурный, курсы кончил (внушает, что не он сам выдумал сей гнет, а есть взросло-мудрые, справедливые инструкции котлонадзора, сводящие и обобщающие опыт десятилетий). — Закон, закон!

— Спятил, быдло вонючее, — выдал сторяча Женя. — Закон, закон! Какой в России закон? Мало тебе, суке, десять лет дали. Надо бы двадцать пять вломить. Может, трудолюбивое быдло что-нибудь и поняло бы!

Не решился бы Женя на этакую агитацию, если б не улещал Шевченко с каждой посылки. Надежду имел, что все уладится, шторм утихнет, сойдет на нет: мазурик уже отлично чувствовал, когда и с кем можно вспылить, раздухариться, контроль над собой потерять, впасть в истерику.

— Сам сука! — обиделся гордый латыш.

— Чалдон, чалдон, жополиз, — распался все больше Женя, подбирая слова, чтобы больнее ранить, ушибить.

Ульманис вроде бы не шастал с жалобами к Шевченко, как то совершил неразговорчивый, угрюмый Микуцкис, и на порядочность его рассчитывал отчасти Женя, когда вспылит, наговорил лишнего. С тем же Капустенко не решился бы, не посмел. Даже поддакивать, когда Капустенко крыл украинцев, не рисковал: годил, осторожничал. И правильно делал.

— Такая наша нация, — смаковал Капустенко, с мазохистским наслаждением разъясняя черты национального типа. — Половина нас сидит в лагерях, а другая половина на вышках стоит, в вертухаях, в надзирателях. А сидим мы потому, что у немцев в полицаих служили.

Дело прошлое, а наш увлекающийся герой был сильно разочарован в прибалтах, которые для него символизировали, как уже говорилось, просвещенный мир, Европу, крестовые походы, рыцарские турниры, Великую хартию вольностей. В Англии в XIII веке был суд присяжных; какой-нибудь норвежский крестьянин, свободный хлебопашец, мог запросто объявить, что его предки никогда не были рабами. Вот тебе и «хабеас корпус». Закон, закон! Трусливая, гадкая подлость! Трудолюбие и прилежание в рабстве. Почему они, попав в наши экстремальные условия, так низко падают? Почему они менее свободны, чем мы? Да, мы — азиаты, у нас не было Великой хартии вольностей, да, лодыри, воры, но у нас нет этого подлого, рабьего отношения к слову начальства, этого страха, желания лизать любой административный зад. Странно другое: тот же Микуцкис, настучавший на Женю, пресмыкающийся перед Шевченко «партизанил», боролся с советской властью с оружием в руках.

Не суди со своей колокольни, шаткой, сомнительной.

Плясали под дудку Шевченко и людишки вроде Колобка: вообще-то типичная лагерная шестерка, гнуснейшая личность. Ему сорок или около. В прошлом — матрос. Было бы вполне уместным, если бы упекли его в лагерь по бытовой статье (по указу или за спекуляцию), но Колобка за жопу взяли по 58, 10, что-то там сболтнул по пьянке лишнего. Дело проходило через суд, и кроме законного червонца Колобок еще получил пять лет по рогам. Холуй, шерсть, мелкий шkodник, презираемый окружающими даже в условиях лагеря, где все опустились, пали, где все шkodники, шестерки. И на фоне общей деморализации, приниженности он мерзок, гадок, мразь. Как-то само собой ладилось, что именно Васька бегал для Шевченко в столовую и оттуда приносил в двух мисках обед. Другого и не выпустят из столовой с мисками, а Колобка знают: не себе, а амбалу прет, шестерит. Он и бельишко для Шевченко стирает.

Хотя на станции есть душ, Шевченко каждую неделю ходит в баню, в парилку (парится со вкусом, со вкусом), а Колобок тут как тут, спину потрет и веничек березовый для Шевченко заранее заготовит, что надо веничек! И не требуется просить: «Вася, будь добр!» Колобок на стреме. Всегда, всегда! Бросается, трет барскую спину старшего машиниста. Дrait, ублажает. Вот и Женя ни о чем не просил, а Колобок сам ему бельишко постирал, принес чистенькое (наш герой замочил да и забыл, шляпа, а белье киснуть начало). А все потому, что Женя получает из Москвы «ящик»: колбаса, сало, сахар. Может и перепасть. Себя-то Колобок не обслуживает, ходит в грязном, наплевать. Раз в месяц в бане белье меняет. Вообще-то с Колобком ухо надо держать остро, может и тяпнуть что плохо лежит, не по-крупному, а мелочь, что не сразу и заметишь. И в бараке крал, гумозник, за что не раз был бит. Но крал-то, мелкий лажонник, как-то невинно, бездумно, словно бы по ту сторону добра и зла, не ведал, что творил. Руки чесались — не мог не стянуть. Зуд. А такие чувства, как зависть, честолюбие, тщеславие, гордость, вообще не были знакомы Колобку; понятия не имел и о чувстве собственного достоинства. Словом, этот человек не обзавелся ни одним из тех чувств, которые правят миром, которые в той или иной степени присущи смертным, как бы примитивно некоторые из нас ни были устроены. И еще: очень уж небрезглив был Колобок, на удивление. Готов съесть таракана, живого. Такса — двадцать копеек. А для Шевченко — даром, за так. «А ну, Вася», — скажет старшой в

свой выходной, выпавшись. Колобок радехонек, сунул в рот, на языке покажет мухоедство (без понта, мол, не в цирке), сделает отчаянное лицо, изображая сверхъестественное отвращение, разжует, вновь покажет на языке рвотное белое месиво (следите — обмана нет!) и — хоп! — проглотил. Штукарь, артист. А желаете — мышь? Да, живую! Другая такса — пятерка. Что прикажете — готов на все. Еще редкостный обескураживающий, коронный номер: стакан съедал не граненый, а тонкий. Наливается стакан водкой до краев и даже чуть выше с учетом поверхностного натяжения. Колобок дробит зубами опасное стекло, грызет, честно глотает раздробленное во рту, запивает, прихлебывает водку. И хоть бы хны — улыбается, морщится, что-то изображает для забавы и интереса зрителей. Пошло, пошло — нет стакана. Лишь дно осталось, а дно, по условию, и должно остаться, его не больно укусишь. Победная глупая улыбка. И не болеет потом, огурчик. Неперевариваемое стекло усваивается. Не чудо ли? Притом у этой твари все наоборот: от хорошей, добротной пищи он страдает желудком, поносит. Желудок к сладкой жизни не привык, не выдерживает. Уведомим: на эффектный подвиг, связанный с поеданием стакана, не всегда Колобок шел ему был нужен настрой подъем жизненных сил, святое вдохновение.

Хроника Каргопольлага. Все помнят, да и как не помнить. Обычная картиночка — если нет надзирателей, в любой час дня стоят вдоль забора жензоны понурые фигуры зэков, нагнетая и распространяя по ОЛПу жуткую тоску. П...страдатели, как их звали. Но забудьте об этом. Воспоминания и печалования. На ОЛПе нет баб и забор сломан. Нынче — иначе. Одна фельдшерица Искра осталась, да и ту каждое утро конвой с 15-го женского ОЛПа приводит, а вечером снова уводит восвояси. ГУЛАГ безжалостен к зэку, лишил рая. Что за люди там, в Москве! Все в прошлом. Одни воспоминания и легенды, небылицы, потому что в этом деле всяк приврать любит. Жрицу любви, нашу Коллонтай, ублажительницу, пламенную Зойку Женя на ОЛПе не застал. О ней, о Зойке, пропеты стихи: «Женской нежности нет предела!» Рассказывалась в бараке еще обескураживающая история. Обитала вроде бы на комендантском ОЛПе древняя, ветхозаветная карга, божий одуванчик с больными, тяжелыми, водянистыми ногами — ей сто лет было; Туган-Барановская, огненная подвижница, эсерка — имя! Символ русской революции! Ее славная жизнь будет вписана золотыми буквами в анналы истории. О ней, не успеешь оглянуться, диссертации начнут писать, не простые диссертации, а увесистые докторские. И защищать. У нас на электростанции о ней помнили не со стороны ее героического прошлого, а с другой. А может, брех? Поверите ли, люди добрые, что эта аскетка, презирающая всю жизнь идиллии семейной жизни, пеленки, воспетые Толстым, личное счастье, мещанство всех сортов и уровней, — оскоромилась, а если яснее, по-лагерному выразиться, то гордая бабуля на старости лет подвернула нашему гумознику, бедовому Колобку. Что за комиссия, Создатель! Ей в обед сто лет (так долго не живут, а тем паче в лагерях!), совесть надо иметь, а она шуры-муры, отвратительным таинствам любви все возрасты покорны. Пожалуй, для пущей осторожности и углубленного понимания странностей, происшедших на нашем ОЛПе, узурпируем, если нет возражений, стрельно-образное выражение из Библии: «...и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось» (Быт., 18, 11). Под дубом мамврийским чудо случилось: в лице трех прекрасных юношей феноменизировался Бог, предсказал рождение ребенка мужского пола — Исаака, вернул женские способности старухе Сарре. Значит, бывает. Значит, и на нашем ОЛПе могло свершиться чудо: страхолюдство и гротесковое страшилище, каких свет давно не видывал, забывшая и думки о мужчине думать, давно не помышлявшая о сладких таинствах любви, засветилась и вся преобразилась. Чудо есть чудо, а задрипаный зэк Колобок разжег в столетней бабуле злое, дикое, грозное, адское пламя жестокого сладострастия, жгучую похоть, беззастенчиво и старательно посвятив старуху в сверхпылкие, пакостные безобразия, и она, ве-

лика революционерка, нигилистка, открыла для себя новое, бездонно-порочное, одуревала от восторга, сумасбродствовала, забыла слово «довольно». Беспросветные страсти-мордасти. Интересно, что чудеса случаются не только в Библии, но и в серой, обыденной жизни, на комендантском ОЛПе. Ура, Каргопольлаг! У славной бабули, как у библейской Сарры, возобновилось «обыкновенное женское» — месячные. Тем и величественна, бесконечна, неисчерпаема Библия, что ее архетипы пронизывают повседневность. Надо уметь видеть. Вокруг нас в подлунном мире полно чудес, но мы не все замечаем. Эротическое потрясение — старые дрожжи разгулялись, начался, как сказал Тютчев, «поединок роковой», все выше, все выше, все выше стремим мы полет наших птиц! Стальной гигант качался и стонал! А земля-мать с орбиты и чуть не улетела в тартарары: давай! давай! А что делалось с разохшимися нарами — слов нет.

— Мой Ромео! Милый, я ждала тебя сто лет!

Известно, с милым рай и в шалаше (и в лагере)! Душа птичкою летит в Эдемове обители. Любовь зла — полюбишь и козла. Итак, простой матрос, шестерка, последний отщепенец среди отщепенцев, дрянь, навоз, срань лагерная, а осчастливил великую революционерку. А спросить: что, матрос не человек? Моя любовь вас приведет к победе, хоть вы есть леди, а я простой матрос!

Уверяет нас Колобок, что бабуля была целкою. Ей-ей! Эко диво, что ляжки сырые, слоновые, неприглядные. Душа, одуревшая душа — главное. Все духовное в своих высших взлетах сверхпоэтично.

— Люблю, когда нищенка. С ходу отоварю, — развивает бесстрашный Колобок сюрреалистическую идею, оскорбляющую слух; для вящей справедливости отметим, что эта идея волновала Гоголя («Вий»: «Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. „Эге, — подумал философ, — только, голубушка, устарела”»); а в наше время интересуется Сашу Соколова («Палисандрия»). Нищенка послушна, старательна, щедра. Не променяю на стервочку, гордячку. Чем, подлючка, гордишься?

Барак, мужчины без женщин. Зубоскалит, развлекает нас Колобок, а эту трехомудию слышали мы уже не раз, не надоедает. В натуре, не всякому мужику довелось повлиять решительным образом на природу женщины, вернуть глубокой старухе утраченное вечно женственное естество и сложную женскую физиологию, вернуть то, что безжалостно компрометирует, отнимает возраст, а не это ли значит быть магом и волшебником.

— Батон отличный, — поет пройда Колобок, начинает губами причмокивать, язычок сосать, слюни пускать — артист, поэт. — Седьмая лагерная заповедь: всякую тварь на х... пяль!

Уж эти мне поэты! Получается у Колобка: то, что не по плечу тухлым, дохлым, бесперспективным вольняшкам, вохре, то запросто может наш брат — зэк, богатырь. Мы особенные, качественные. Крепка наша держава! А если мы порою и трахаем под одеялом Дуньку Кулакову, то это отнюдь не от слабости, как у вольняшек, а от силы и мощи. А то как же!

— Вась, как же у тебя встал на нее?

— Темный ты, серый, — со вкусом дает объяснения шалавый Колобок; речь не мальчика, но мужа. — Я же разъяснил: люблю утешить.

История несусветной, небывалой страсти, которая разгорелась в сердце столетней страхолюдины-эсерки к клешнику-зубоскалу (в оправдание Туган-Барановской скажем, что революционерки и из правящей партии — Коллонтай, Рейснер — были падки до матросов), имеет чисто шекспировский финал, вспомним идеальных влюбленных — Ромео и Джульетту. Был еще один этап за пределы, вывозили ту же зловонную фашистскую 58-ю, не всю, а в основном А и Б. И еще непонятно кого — новые напасти, на ОЛПе нервотрепка, лихорадка. Этим этапом ушел от нас Гладковский, бывший душка капитан, а у него 58, 10, 11, как у Жени, ушел сын знаменитого командарма Якира — Петя Якир. Гайки затягивали — одно ясно. На этот этап погнажи и старушку эсерку Туган-Барановскую. Тяжело пере-

ставляя ватные ноги, она вышла за ворота ОЛПа, оглянулась, в последний раз махнула платочком Ваське Колобку, соколу ясному, как-то безутешно, расслабленно, горько, обнаженно-скандально-романтически-театрально махнула — и грохнулась. Ну и ну! Трагическая пантомима. Фигурно, фактурно, картинно грохнулась — как в кино. Подбежали: «Вставай, сука!» А она мертва. Не пережила Джульетта вечной разлуки с милым. Все так и рассудили, так и уяснили, пропечатали в мозгах. Не от водянки досадной смерть, а от любви и разлуки. Что тут смешного? Что мы знаем о старости? Почему всегда и везде видим лишь грязное извращение? Разве нам понятна преобразившаяся любовью душа столетней старухи? Ахматова и в поздние годы влюблялась. Поэты и философы почему-то ведь нарекли Венеру, богиню любви, вечернею звездою. Бердяев вразумительно говорит о сохранении и даже умножении, росте сексуальной силы при воздержании, аскезе. И непостижимая европейским умом йога уверенно толкует то же. И проницательный Фрейд, стрельный аналитик.

Колобок всегда весел, всегда в настроении, всегда играет, в полном ладу с миром, ветер в голове, безалаберный, неунывающий человек на кривых, отнюдь не матросских, скорее кавалерийских ногах, с толстым, как арбуз, животиком, выпирающим круглою шаровидною головою, всегда с дурацкой ухмылочкой на морде. В бараке не умолкает его детский серебристый смех — безудержный колокольчик. Шалости, уморительные проделки, глупости, нет конца фокусам, все время игра — ребенок, неутомим. Собирается бригада со смены, а Колобок непременно сунет кому-нибудь в карман бушлата кирпич; дотошный надзиратель наткнется на поноску при шмоне:

— Это еще что?

— Хорек! Сучий потрох! — На лбу не написано, кто напакостил, но всякий знает Колобка повадку: ясно, дело рук его, каналы. И надзиратель посмеется, отбросит кирпич. К проделкам Колобка привыкли.

— Гражданин начальник, — до чрезмерности залетится серебристым счастливым смехом пройдоха-шалун, заходится великовозрастный балбес, остановиться не может. — Посадите его на десять суток в изолятор, чего он на производстве кирпич ворует. Указ от третьего-четвертого.

Хорьком непоседливого каналю-болтуна кроют за разнообразно-ядовитую вонючесть, все и вся проникающую. От зловония, которое обильно распространяет Колобок, приняв нормальную питательную пищу (похоже, его желудок требует битое стекло), страдают соседи по нарам, задыхаются. Можно видеть, как кто-нибудь на верхних нарах размахивает над головой одеялом, с безнадежной брезгливостью разгоняет тяжелые, забористые сгустки ОВ. Строжили Колобка. Да виноват ли он? Всякая живая тварь воняет, но это уже философский, метафизический аспект проблемы, хорошо разработанный Аристотелем, Рабле, Свифтом, а Митя полагает, что вонючесть Колобка — это плата за то, что его мощный желудок приспособлен переваривать дробленое стекло: в животе вечная революция. Нет худа без добра. До того, как в 4-й секции 25-го барака поселилась бригада электростанции, здесь была уйма клопов; выводили их, травили, все бесполезно, а появился Колобок — исчезли, ушли, не то что ушли, а бежали сломя голову. Преогромные клопы здесь водились.

— Хорек, козел вонючий, иди в сортир!

— Застыло, — отвечает Колобок.

Он спит на нижних нарах: в бригаде давно, старослужащий.

Характер Жени Колобок раскусил с ходу: взял за обычай, спасу нет, то и дело подкатывается:

— Как мы с тобой живем: вась-вась или как Америка с Кореей?

— Как Америка с Кореей, — обрезает Женя, знает, куда Колобок клонит.

— Право слово, — ноль внимания на бесперспективный посул Жени, — займи мне кусочек сахара.

— Какой ты красивый!

— В долг, говорю.

— Хватит, Вася, хорошего понемножку.

— Отдам. Честно. Слово матроса. Завтра отдам.

— Ты вчера нагрел меня. Отдал? Скажи, отдал?

Прощелыга, шкодник, поганка: надыбал слабинку, наладился у Жени цыганить. Этому упорному прощелыге Женя научился отказывать, но от-
вадить Колобка нельзя.

— Будь человеком. Я для тебя — все, — напористо наступает Колобок, а лазурно-небесные лживые глаза его полны смешинок, фарса и отчаянно-
го озорства.

— Да что ты, антилопа несчастная, для меня делаешь?

— Все! — задорно, восторженно моргая белыми ресницами. — Я для
тебя ничего не жалею, что хочешь возьми.

— А что у тебя, Вася, есть? Вшей загашник?

— Ну и сучок же ты, скопидом, куркуль!

— Ты для меня, Вася, что отец родной. Без тебя бы я Вася давно с
голоду сдох.

— Какая же ты устрица.

Колобок трясется, заходится в припадке нового озорного смеха. И чув-
ствует Женя: легко у Колобка на душе, хорошо, нет там ни одной кислой,
тухлой мурашки; счастливый человечиска. Откажет ему Женя, нисколько
не обидится, как с гуся вода. Наплюй в глаза — Божья роса. Снова вече-
ром подскочет, чтобы разжиться, запросто начнет клянчить, канючить,
уговаривать.

— Отдам. На этот раз честно. Век свободы не видать!

— А когда ты, Вася-свет, отдавал? Ты заболеешь, если отдашь. Кстати,
когда два рубля отдашь? Забыл?

— Здравствуйте-пожалуйста, какие два рубля?

— Значит, забыл?

Колобок захлопал белыми ресницами.

— Жлоб! Совесть имей.

Женя не выдерживает. Он смотрит в интенсивно лазурные, прозрач-
ные, смеющиеся, вечно лживые, пройдошистые глаза Колобка, глядит на
его круглую, как блин, веселую рожу и заражается весельем, начинает сме-
яться. Чистая душа у Колобка. И как Божий день ясно — никогда, шель-
ма, не отдаст долг. Не в силах вернуть долг. Болеть будет, если отдаст.
Знает, что в другой раз не дадут, что выгоднее отдать, но — нет! Оба — и
Женя и Колобок — почему зря, до хрипоты смеются.

— Надоел ты мне, сука, давай!

— Да ты, Вася, у меня по мелочи, по кусочкам больше, чем у Шевчен-
ко, вынул, — окончательно изменяет принципиальному знамени Женя и
дает Колобку кусок сахара, подумав, прикинув, еще добавляет. Ради крас-
ного словца сознается Женя, что подмазывает Шевченко, но в этом на
станции никто не сомневается, и один Женя думает, что никто ничего не
замечает, не понимает, не видит причину глубокой смычки со старшим
машинистом.

— Видел блядей, — хохочет в ответ липкий прощелыга, продолжая при
этом непрерывно взмахивать альбиносистыми белоснежными ресницами,
и принимает положенную, выклянченную мзду, — сам блядь, а такую
блядь, как ты, первый раз встретил.

Все это абсолютно беззлобно, к ситуации и для красного словца.

— Взасос. Оторваться друг от друга не могут — слышится корректный
голос Мити с соседних нар. — Керюхи, водой не разольешь.

Митя не раз и с нескрываемым удовольствием наблюдает такие сцены.
Митя прав: по-своему Женя даже любит дуралея стрелыца.

При Шевченко, как при дворах испанских королей, состоял шут, Ва-
силий Иванович Жилев, немолодой уже человек, за пятьдесят, скудоум-
ный, тупой, дремучий, чурка. Однако как и задрыга Колобок, умудрился

залететь в лагерь по знаменитой интеллигентской балалайке: 58, 10. Еще о Жиляеве можно сказать, что он не только туп и глуп, как бабий пуп, но к тому же завистлив, тщеславен. На воле у него было все как у людей, семья. Ни писем, ни посылок он не получал. Забыли беднягу. Жиляев каждый раз, когда читали письма, напряженно, наморщив идиотический лобик, с серьезным видом прослушивал список. Не то что он с упорством фанатика ждал, что произойдет чудо и его окаянная жена, которая давно его бросила и забыла, напишет ему или там пришлет «ящик», но слушал для того, чтобы показать, что он не какой-нибудь хрен собачий, вроде Колобка, но человек: семью имеет, ждет писем, посылку, беспокоится. Порою могло показаться, что он действительно верит, что его вспомнят, что придет долгожданное письмо. Колобок — дрянь привадившаяся, рысь вездесущая и тут как тут — сазана пасет. Обедню портит.

— Василий Иванович, с добрым утром. — Сияющая, лучезарная улыбка, улыбающееся солнце. — Слушай, бацилла, похаваем?

У Жиляева око угрюмой, тяжелой злобой засветилось, отпрянул, повернулся спиной: сыч.

— От кого, Василий Иванович, подогрев-то? От бабы? За ящиком пойдешь, возьми мой сидор. Может, пособить, донесешь ли?

Колобок забегает с другой стороны, сияет в сто сорок солнц.

— Василий Иванович, хитрец! Штрафую!

Жиляев надулся, насупился, глядит на Колобка так, как если бы и впрямь ему, Жиляеву, пришла посылка, а этот глазастый щипач-гуможник пронюхал, расцокал; раззвонит теперь, шухер поднимет, придется делиться с тем же Шевченко, и не сможет Жиляев в одиночку раскумариться.

— Оторвись, — раздраженно, мнительно турнул.

— Никелируешься? Друзей забыл? — прилип пиявкою цепкою ротовой, донимает, вошел в роль.

— Отстань, говорю. Уйди, жу-жу! Шпана!

— Да кто тебе, Василий Иванович, пришлет? — не выдерживает взятой линии ера-Колобок, заливается, заходится смехом. — Брянский волк?

— Пошто так говоришь? Пошто? Грубиян! — сильно, серьезно обижается, начинает строжить Жиляев. — Давай не будем. У Василья Ивановича семья есть, деточки-кровиночки, девочки, не чета тебе. Не моряк ты, тьфу, урка с мыльного завода.

— Твою халяву теперь следовательно е..., — не унимается никак фигляр презренный: серебристый, детский смех. — В кабинете. На тарелочки поставит, раком. Понял, как мужик бабу донял?

Жиляев толкает телегу, что, дескать, на воле машинистом работал, опыт солидный. Так это или трет уши, тюльку гонит, как сивый мерин, трудно сказать. Машины-то этот кадровый, убежденный машинист совершенно не знает. Все ерундово, никудышно знают, самоучки, но Жиляев как-то особенно не знает, хотя на станции уже лет пять, мог бы и понатореть, научиться за это время. Его в кочегарах упорно держат. И разумно. В случае болезни кого-нибудь из машинистов Шевченко ставит его на подмену: для смеха. Не может же Жиляев локомотив в одну смену утробить! Да и опытный кочегар за ним присматривает. Возможно, если бы даже и загубил локомотив, все одно Шевченко ради зрелища поставит на подмену.

Цирк обалденный, бесплатный, на колесах. Удод, надутый удод на сырых, тухлых ногах поднимается на локомотив. Картинка с выставки. Капитан на капитанском мостике. Что-то мухлюет, ритуально малерупы заправляет, бестолково подшипник коренной шупает, все это с уморительно серьезным видом. Вот добавил масла в масленки, приосанился. Кончил, но с верхотуры не сходит. Пусть все видят и знают, что ему большой агрегат доверили. Слез. Не прочь к кочегару начать цепляться, прие...ваться, плешь проедать. Не работают, баклуши бьют, обнаглели совсем. Жопу оторвать не могут. Ужо займусь вами.

— Парок держи.

Наклонит голову, натужно, хлопотливо в глазок топки заглядывает. Всюду непорядок, недогляд.

— Стекло продувал?

Хотя кочегар заверяет что продувал, Жилиев как бы не верит, педантично, скрупулезно проверяет кочегара, сам продувает водомерное стекло, качает головой: непорядок! Порядка не вижу! Разгильдяйство, глаз да глаз нужен за долб...ами.

Опять лезет на локомотив, долго оглядывает с высоты электростанцию, голову держит надменно, величественно — натуральный верблюд, собравшийся в вас метко харкнуть. Наполеон, триумфатор. А Шевченко собрал бригадников на спектакль: побачьте, а? Хорош? Кричит снизу, сложив руки в рупор:

— Ну как? Порядок?

— Ништяк, — отвечает Жилиев, и гордость распирает его грудь. — Полный порядок.

— Орел по-крупному! — снизу орет в рупор Шевченко, перскрывая шум. — Когда ты стоишь, сердце мое спокойно.

А пока Шевченко подогревает амбиции Жилиева, пока забивает баки, сулит, что в машинисты двинет и еще сорок бочек арестантов, предприимчивый, шухерной, вредный Колобок, вечно веселый пакостник, азартная чертяка неутомонная, втихаря выпускает утло-полный шприц машинного масла на поршневой сальник, над локомотивом поднимается облако густого, едкого, шибящего в нос бело-рыжего дыма. Тарарам! А счастье было так возможно, так близко.

— Стой! Стоп!

— Авария!

— Крути взад баранку, останавливай!

Кругом горлопанят.

— Васька, какого х... — Шевченко ринулся к локомотиву, закрывает пусковой вентиль. — Спишь, п... мух ловишь!

Жилиев интенсивно, фактурно зеленеет, словно из картины Шагала выскочил. Подняться на такую высоту, а затем с треском рухнуть! Шанс был машинистом остаться — и навсегда. В кои-то веки доверили машину, а тут — хайка, невезуха, авария. Провал грандиозный. Значит, конец, все, не видать лычки машиниста как своих ушей. Еще и со станции взашей с позором выгонят. Уж лучше в кочегарах сидеть, не рыпаться, лучше не иметь, чем потерять, чем с такой высоты пасть. Дух вон!

— Отключай! — командует непогрешимый Шевченко, бог электростанции, уверенно закручивает до отказа пусковой вентиль, хотя знает, что аварии нет, что все в порядке, что заряжена туфта. Дежурный электрик суматошно забегал около щита, вырубает рубильники, останавливает объекты, которые обслуживает электростанция: шпалорезку, цех тарной дощечки Маховик локомотива долго еще вертится по инерции, потом останавливается. Телефонные звонки:

— Какого х...? Почему стоим? План горит.

Ну отвечаем, что большая нагрузка, автоматы выбило. Опилки мокрые, со снегом. Что вы там пилите!

— Подключим мигом, не робей, убогий!

Тучный Шевченко с гаечным ключом в руках медленно, степенно, важно, царственно поднимается на локомотив, под новеньким комбинезоном колышется животище, студень, желе, аж смотреть противно, что-то подкручивает, делает вид, понарошку.

— Дуся, крепил сальник?

— Саввич, нет, честно, — отвечает заторможенный Жилиев.

— Как нет? Я же вижу: перекосил!

С понтом наверху ворожит, вроде отпускает сальник, центрирует: коварен сальник!

— Запускай! Давай, поехали!

Опять завертелся тяжелый маховик, отменно, отчаянно захлопал ремень, защелкал, оплеуха за оплеухой, гулкие шелчки, набрал скорость (убавь! убавь!) — хоп, подключили генератор в общую сеть, заработало. Разбитной, догадливый, прыткий Колобок придумывает шуточку похлеще, новенькую, девственно свеженькую. На сей раз исподтишка обливается маслом труба, идущая от пароперегревателя к гудку. Снова-здорово над локомотивом эффектно, зловеще взрываются клубы густого, интенсивно рыже-белого дыма, еще шикарнее картина, чем в первый раз, уже ни зги не видно, не поймешь, что случилось и где, всю станцию плотно заволокло дымом видал миндал?

— Васька, спишь?!

— Останавливай!

На этот раз локомотив не стопорится. Шевченко лениво шупает коренной, добавляет масло в масленку, капельницу регулирует.

— Спишь! В масленке масла нет, не видишь? Цинкую: не спи на ходу! Когда я вас обучу работать? Все из-под палки. Головотяпы. Без помочей ходить не могут. На минуту нельзя оставить, поесть не дадут, как на привязи. Что-нибудь непременно случится.

Поразительно, что все это повторяется поди в сотый, а то и в тысячный раз. Одни и те же несусветно глупые выдумки: ставят Жилыева на подмену, вроде старший, а затем заводят. Неужто Жилыеву невдомек, что это никакая не авария? Эх, дубина стоеросовая! Как не сообразит, что смеются над ним? Женя начинает подумывать, что Жилыев в глубине души имеет знание, что это не серьезно, пройдет. Хотя зеленеет подлинно: дает о себе знать трусливая заячья кровь (а что, если на этот раз так легко не сойдет, что, если и впрямь авария?). Да, смеются над ним, но его, а не Женю, машинистом на подмену ставят. Пусть Жилыев не отдает себе ясного отчета, но знанием животного знает, что будь он другим, не таким запуганным, обидчивым, тщеславным, не ставили бы его на подмену. Рассказывают, что президент США Вильсон, вдохновитель Лиги наций (его детище!), в детстве считался дефективным ребенком, умственно отсталым. Дураки взрослые любили проделывать с ним такую шутку — предлагали взять из двух монет одну, выбирай: высокого номинала, но маленькая по размеру, или крупная, вроде нашего дореволюционного медного пятака. Каждый раз идиот мальчик тут же хватал большую, что у многочисленных зрителей вызывало добродушный смех. Как-то один сердобольный дядя решил вразумить и просветить недоумка, спросил, неужто тот не в курсе, что ценность и покупательная способность денег определяется не их размером, что маленький золотой тянет больше, что он увесистей, чем большой, скажем, медный пятак. На что идиотик ответил просто. Он это прекрасно знает и понимает, что эту высшую математику он вполне постиг, но он также знает, что если хоть раз сделает другой выбор, схватит золотой мизерного размера, то с ним раз и навечно перестанут взрослые дяди играть в такую интересную, увлекательную, обоюдно всех устраивающую игру.

Смена кончилась.

— Кинь эту хреновину Ваське, — властно говорит и подмигивает Шевченко Колобку, а баламуту, дурню все в охотку, не устает шельма, рад; одну железяку уже сунул втихаря, ловко Жилыеву в сумку, еще сует, угождает старшему машинисту, зачинщику, а кирпич в сумку положил. И всю эту тяжесть, непонятно как не обнаружив, Жилыев покорно таранит в зону, проходит незамеченный на вахте.

Вернулись в барак, Шевченко подкалывает:

— Василий Иванович, вовсе не кнокаешь меня. Что в сидоре-то? Сальце? Витамин О? Жлоб, я к нему всей душой, как к корешу, а он, вот те раз, получил ящик, зажал, жрет сало, а старшой соси х... А я-то думал его в машинисты двинуть.

Жиляев с готовностью, поспешно, беспечно лезет в сумку, чтобы доказать, что ничего в ней такого нет: ей-ей пуста. Хвать, бац — кирпич! Откуда? Смех, утробный, заразительный гогот барака. Вот дурак!

— Хорек! Шестерка! — рвется бомбой Жиляев. — Позорник! Паразит!

Зло швыряет на пол барака кирпич, ворчит, обнаруживает еще в кармане железяку — тоже бросает. Направляется в столовую, а тем временем и кирпич и железяка ему под матрац аккуратно суются. Неугомонен мазурик.

Еще сильный, впечатляющий, запомнившийся номер-клоунада.

К нарам Жиляева подходит Шалимов, лицедей, непроницаемое выражение лица без всякой улыбки, внушительен, по внешности напоминает президента США Трумэна.

— Фамилия? Жиляев?

— Ну, я, — нерешительно, еще не догадываясь, куда вырвется, куда клонит.

— На вахту, — говорит дневальный.

— Балуй, старо.

— Быстро! — командует дневальный.

— Прекрати! Сейчас же прекрати.

— Дура-лошадь, — участливо вмешивается Шевченко, — писал заявление? На паровоз? Дуся, забыл?

Как забыть! Самому же Шевченко честно отдал заявление, а Шевченко должен был механику передать с резолюцией, что не возражает (и не думал передавать). Долгожданный вызов на паровоз — расконвоируют. Значит, идет в гору, значит, утрет всем нос: Шевченко, Колобку, значит, ухватил за хвост жар-птицу.

— Шнель, шнель! С вещами.

— Ах, вот бы такую карьеру мне — ту-ту!

— Не завидуй, сглазишь, — гнусавит Жиляев, собирая вещи.

— Везет дураку!

Странно — сработало. И впрямь поверил, в душе зажглись огни. И как не поверить? Паровоз — вечный предмет вождления, идефикс, страсть, затмевающая разум, страсть, не знающая границ, меры, золотой середины, заставляющая во все верить; пунктик, мечта-страсть толкает человека на безумства, делает его не от мира сего, вне очевидных, все проникающих законов падшего, умеренного, грешного, объективного мира; она безмерна, губит, испепеляет, разрушает, но в ней и дерзновенная, всепобеждающая воля к инобытию, к высшему и прекрасному. Жиляев укладывает шмотье, спешит, суматошен, лицо красное, кирпичное, глаза безумные, ничего не видят.

— Не забывай друга, — подскуливает Шевченко с понтом (голос нагло-елейный, фальшивый), — керя, замолви словечко, похлопочи.

— На кой х... ты ему нужен! Он большим человеком стал, а ты кто? Букашка! Как есть букашка!

— Вася, друг, помоги, — упивается, тянет слова, драматизирует, педантирует ситуацию Шевченко, предвкушая грядущее удовольствие. — Помоги, гибну. Одним бушлатом укрывались, одного клопа кормили. Старания мои не забудь. Я же тебя машинистом сделал, выдвинул.

У Жиляева в башке фонари зажглись, как от хмеля: с места срывается, из глаз безумие брызжет. Отчалил с вещами. На крыльях долгожданной победы стремительно помчался, скорит на вахту, а барак гомерически рвет животики, захлебывается, заходится до усеру, всю гогочут разгулявшиеся, развеселившиеся зэки, и Женя хохочет вместе со всеми, зараженный бациллой смеха, и никогда в жизни не будет он так смеяться. Ой, не скучно в лагерях! Круглый, набитый дурак! На вахте, естественно, ни сном ни духом ни о чем не знают. Злой, неприкаянный, хилает Жиляев назад, ни на кого не смотрит, что-то бормочет, улегся на нары, уткнулся в подушку. Вздрагивают плечи — плачет?

А под занавес — гротескная трагикомедия.

— Вася, дружище, подь, подь! — это Шевченко свистает Жилыева к себе в угол на толковище. — Садись, посиди со мною рядом, землянична моя.

Шевченко прочувствованно улыбается. Знаменитая жирная улыбка! Дорого бы дал каждый из нас за такую улыбку. Рублем дарит. Если тебе так улыбается старший машинист, нечего тебе тужить, беспокоиться за завтрашний день. Ты у Христа за пазухой, отбудешь срок, горя не хлебнешь. Может, этот дефективный тип не так уж непроходимо глуп и поумнее Жени. Интеллект — инструмент приспособления к действительности, к среде существования, и в поведении Жилыева есть свой расчет, своя система, обеспечивающая выживание. Женя сует Шевченко с каждой посылки, но еще не было, чтобы Шевченко так улыбался ему.

— Садись, кореш, — берет властно Жилыева за плечи, усаживает с собою на нары. Прямо-таки телячьи нежности! Начинается между ними теплый, задушевный разговор, гутарят тихо, смеются чему-то, изливания, лирический треп; судачат, журчит ручеек полусонно, ровно, ласково. Разительно странна, непонятна, непредсказуема психика человека, по какому-то извилистому закону души (тут гений Достоевского нужен) в тот самый момент, когда Шевченко к Жилыеву всей душой развернулся, Жилыев начинает капризничать, своенравничает, как избалованный ребенок, выдает курьезы, кобенится, козлит, позволяет себе быть обиженным, уязвленным. Буркнул тихо, но слышит весь барак:

— Душегуб.

— Легче на поворотах.

— Душегуб! — орет на весь барак Жилыев.

— Что ты, Вася! — Шевченко доверительно, лениво цедит слова. — В натуре, я — как все. Ни за что захоботали. Ни за понюшку табаку. Рабочий человек.

— Кончай агитацию. Фуфло гонишь. Срамник, другому рассказывай. Хрюкало немецкое, — словно кто на тайные уды Жилыеву соли насыпал, распалился.

— На паровозе работал, простой рабочий.

— Не е... мне мозги, боров, — теснит Жилыев, увесисто, грубо прижимает, наседает.

— Дуся, мил-человек, кушать было надо. Оккупация три года — конца не видно. На параше три года не просидишь!

Жилыев без всякой боязни заходит с севера, глаза беспощадны, злы:

— Не финти мне. Снаряды? Снаряды?

— Какие, дуся, снаряды? Бывай! — отрешивается, выкручивается Шевченко.

— Не заряжай пушку, знаем. Он не помнит! Овечка. А кто к Сталинграду снаряды подвозил? Кто? Шалишь! На немцев, гад, старался!

Да, Жилыеву в эту теплую минуту разрешается то, что другому с рук не сходит.

— Упырь, вурдалак! Не держи меня. Грабли поганые убери, кровосос. Убери клешню, говорю! Барал я тебя, боров немецкий. Лапашник, хапуга, насос.

Шевченко не унимается, горячо обнял Жилыева за плечи.

— Прости, дружок, куда ты?

— Мироед!

Они и в самом деле безусловно друзья, хотя ни один, ни другой в этом никогда не признаются: они нужны друг другу, созданы природою друг для друга, симфония. Как бы Шевченко коротал и скрашивал долгие годы лагеря, если бы не Жилыев, шут гороховый, полудиотик?

Вскоре Шевченко надоедает пресная тягомотина, куражу охота. У каждого барина своя блажь, а у Шевченко она неисчерпаема, и самодур-привередник неприметно, предательски мигает Колобку, дескать, пора. Анафема-клоун, без царя в голове, мерзкая рожа, круглая, смеющаяся, конеч-

но, тут как тут, с ходу неугомонный понял, чего от него ждут, — всегда готов разогнать вселенскую тоску зэка. И посмел. Да и как не подмахнуть Шевченко, старшому? Да Колобку, малому дитяти, живчику, вечно играющему от избытка сил, это все равно что рыбку съесть. рад-радехонек выдать черный юмор. Перемахнул нары — готово: бросает презерватив, который они подобрали, когда в зону возвращались, в банку с сахарным песком Жилияеву. Будто бы говорилось, что в бараке краж нет? Жилияев спокойно держал продукты прямо на тумбочке. В стеклянной банке, культурненько, закрывал, завязывал ее, копил сахар.

— Вася, дружище, — предвкушает гурман новое наслаждение. — Ложечку сахару? Ей-ей, завтра верну. Забыл на работе. Чаю попить охота.

Кошунство. Это чересчур! Увидел Жилияев презерватив в сахарном песке, сначала страдальчески улыбнулся. И — завыл, истошно завыл, чумовою, ненормальной волчицей выл, от сердца. Вызверился, психанул. А с пронеры Колобка взятки гладки, дал тягу на всякий пожарный случай, чтобы не попасть под горячую руку; нет его — в нетях. Ищи ветра в поле. Дурным голосом воет Жилияев. Шевченко сделал человеку гадость, больно — и расцвел, подошел к плачущему, неблагозвучно голосившему другу, обнял за плечи, и снова Жилияев все простил: улыбается сквозь горькие слезы. Опять промеж них великая, нерушимая дружба, опять тихо балакают.

Снова слышит барак:

— Лапашник. Вафлист немецкий! Бесстыжее, окаянное хрюкало!

Отбой. Сползает в сон Жилияев, на душе тихо, спокойно. Эх, все злоключения — это лишь сущий вздор, раз старшой тебя обнял: за завтрашний и послезавтрашний день ты спокоен.

— Уркаган! Хорек! Убью! — это на другое утро, после подъема, полным ходом комедия продолжается: Жилияев обнаружил под матрацем кирпич. На кирпиче счастливо проспал ночь.

— Занемог, думал, прострел, — кряхтит, трет старательно больной бок; барак опять неистовствует, гогочет. Всю ночь, значит, спал, а кирпич в бок ему углом вонзился. Бревно, дурында, сообразить не мог, обхохочешься. Что ни говори, а потрясно глуп. Не допер, что на кирпиче спит, — надо же! Больно, должно быть, резал всю ночь!

Взбрыкнет ли когда-либо этот законченный, природный кретин? Сойдет ли с привычной колеи шута к правде? А может, и так можно жизнь прожить? Чем плохо? В каждом человеке есть непредсказуемое, темное, иррациональное начало. Никто человека до конца не постиг, и сам он себя не знает. Всегда человек может выкинуть неожиданный фортель. Гераклит: «...пределов души не находишь, исходив все ее пути, — так глубоко ее ноуменальное основание».

Говорилось (да так, в сущности, и есть) — на электростанции царил, господствовал всесильный Шевченко. Открыто против него никто не пер. Лагерь. Здесь кое-чем да против ветра заниматься не следует. Заповедь. И весьма полезная. Можно все же просветить читателя, что на станции кое-кто был достаточно независим, высоко держал бритую зэчью голову. Это немногие, кто умел ремонтировать локомобиль в условиях жгучего дефицита запасных деталей. Умельцы с золотыми руками. Они-то в социуме электростанции представляли независимое начало. Сам Шевченко работать не любил, и если порою ему приходилось взять в руки гаечный ключ или там напильник, то риторики об этом событии было не на одну неделю. При всей своей гордости и достоинстве эти незаменимые не рисковали бунтовать, прекословить Шевченко, а тем паче не мечтали его спихнуть и самим усесться на его место. Алексеев, к примеру. Женя его еще по лесоцеху знал: рамщиком Алексеев тогда работал. Обидится Алексеев на Шевченко, шипит, что терпеть больше не намерен, обязательно уйдет в РММ. Уйдет, а не то чтобы бросить смело вызов: еще посмотрим, кто кого! Шевченко умел дело поставить так, что золотые руки подчиненных,

Алексеева придавали блеск и славу его имени, а это и значит быть хорошим руководителем, организатором человеческих воль. И беспутному Алексееву он дает шанс проявить себя, отличиться, но запойного бунтаря надо обуздать, ткнуть носом в его же говно. Не ткнешь — ничего не будет вовремя сделано, расползется, развалится; безалаберщина и хаос. Самое большее, на что непутевый Алексеев может рассчитывать, это на то, что Шевченко подойдет к нему, похлопает по плечу: «Молодец!» Словом, выделит, отметит, а отметить Шевченко не забывает. Хорошая работа должна поощряться. Смотрите: Шевченко дарит ему улыбку, ласкает, и они, обнявшись, прогуливаются по электростанции, и Алексеев доволен, начал блаженно улыбаться, растянул рот, счастлив, можно подумать, что большего счастья, чем похвала старшего, он не знает, что не догадывается, что Шевченко такой же зэк, как и он, Алексеев. И другие на них смотрят, завидуют, однако все понимают, что Алексеев — ничто, так, шалый сорви-голова, запойный, несерьезный, загульный малый, которым руководить постоянно надо, направлять, поддерживать морально, обуздывать, не давать окончательно спиться.

Алексеев — удачливый боевой летчик, тьма боевых вылетов, вся грудь в орденах (орден Ленина имел!), казак хоть куда, из себя видный, заметный, молодец, статен, хлыщеват и даже симпатичен, обворожительная улыбка положительного героя кинофильма, а работник упорный, деловой, руки отличные; нет, не на первый взгляд, но и на второй, и на четвертый — хороший парень, человек. Слабина — любит поддать, а выпьет на копейку — другим стал, угрюм, вздорен, задирист, криклив, чуть что — руки без оглядки распускает. Ворошиловские сто грамм меняют напрочь летчика. Вот такие, как Алексеев, войну и выиграла. Дело его довольно типичное, сильнее можно сказать: типовое. Война, которая казалась столетней, кончилась, отгремели победные салюты, отпалили в воздух недельные запасы патронов и попила водку и спирт солдатня во славу, наступили мирные времена, а Алексеев, шальная, буйная головушка, и по окончании войны продолжал жить свободно, смело, по законам войны, когда никто не заботился о завтрашнем дне — будешь жив или нет, не задумывались, забот хватало на сегодняшней день, а не по законам тухлого, отвратительного, затхлого мирного времени. Во время войны, чтобы ты ни совершил, если ты не 58-я, никуда тебя дальше фронта, передовой не пошлют. Не повезло Алексееву, утраздило. Надо же! Обычное, с кем не случалось: гулял в ресторане. После первой стопки взгляд его засветился воинственной патологией (природа его такова, ничего не попишешь), искал, к кому прицепиться, а на ловца и зверь бежит, как известно. Против природы не попрешь. А дело было в Польше, полк его здесь стоял. Неверно, что Леха перебрал, перегрузился, надрался и бухой был. Нет и нет. Повторяю и раскрываю секрет: трезвым он сравнительно ничего — покладист, добродушен, приветлив и по-своему справедлив; но стоит ему выпить сто грамм — полная метаморфоза, иная вылезает единственность, психопатом становится. А «диспозиция» (его выражение) в ресторане такая сложилась... Хотя лучше сделать шаг назад: к полякам он питал сильную неприязнь и не любил он их за дело — торгоши похлеще евреев, родную мать продадут в базарный день, жуть, а при этом гонористы, не такие они, как наш брат, русак, хоть кровь их славянская, а чужды они нашей доброты, мягкости, бескорыстия, словом, барыги, каких свет не видывал, ничего, кроме денег, не понимают и не любят. Возможно, все дальнейшее почудилось Алексееву со скудоумно-придирчиво-нетрезвых глаз (польского языка он не знал), а может, и на самом деле было: слышит наш бесстрашный летчик-патриот, у которого иконостас на груди, притом внушительно сияет орден Ленина, как какой-то вшивый полячишка, хлюст, тщедушная сопля, указующе шепнул спутнице, изрядно холеной стерве: «Русская свинья!»

Оскорбление! Закипал с минуту — колотун Алексеева начал трясти. Он их, гадов продажных, подлых, освободил, а они, неблагодарные, насмеха-

ются над боевым русским офицером, героем. Да у кого не разыграется благородная молодая кровь? Все мы знаем, как деликатен национальный вопрос, как к нему следует подходить осторожно, на цыпочках. В запроваженную, хмельную голову шибанула кровь — ату! И недолго думая, в хлесткой, удалой, уверенной, красивой манере он выхватил документ — вона:

— Измена!

И — раз! — пульнул в люстру, ого-го как зазвенела люстра, весело, задорно, осколки на пол посыпались. Предупредительный выстрел, все почестному: благородство. Такой выстрел положен по неписаному уставу у летчиков. Иду на вы! Не то что ваш брат, полячишка, в спину стреляет из-за угла, изобретатели кривых ружей!

— Я тебе покажу, сука, русскую свинью!

Давно надо было преподать пристойный урок вежливости этим подлецам, пфеферу задать, окоротить спесь, прикурить дать благородным панам, взбаламутить польский гонористый нужник. Пусть помнят! Помнят псы-атаманы, помнят польские паны конармейские наши клинки! Алексеев заставил всех, кто в этот печальный вечер искал отдохновения в красивой жизни ресторана, включая прекрасных, молодых нимф, дышащих духами и туманами, включая гордую, прекрасную полячку, блондинку, спутницу того хмыря, что обидел Алексеева, роскошную женщину неземной красоты, источник всех бед и зол со времени сотворения мира (о женщины! ваша красота погубит мир!), встать и безропотно, неуютно маячить, переминаться весь долгий вечер у своих столиков, перемогаться, пока он, гордый росс, развязно, развязно продолжал обжираловку. Наган уложил рядом, на стол, под правую руку, предусмотрительно, для острастки, чтобы не вздумали рыпаться и на всякий пожарный случай: пусть видят, что пушка рядом, пусть гипнотизирует. И уже собирался великодушно закончить кураж, на рыцарский манер, по-русски, подобру-поздорову отпустить паскудников с Богом по домам да и самому по-тихому убраться. Не тут-то было. Человек предполагает, а судьба играет человеком. Представляете, какая-то тварь, земля, русский, замшелый, несвежий, немолодой лейтенант-тик, явный шпек, пытается унять дебошира, предпринял попытку подкрасться к Алексееву сзади, схватить, скрутить отважного гордого сокола; не тут-то было: хоть к этому времени и изрядно налился наш злыдень, хоть и чумна была голова, но вовремя пресек обстоятельства и дерзкий неприятельский маневр с заходом в тыл, успел обернуться, упреждающе схватил плавник и — развязка коротка! — сделал заваренную кашу не водевилем, а драмой: почти не целясь всадил пулю наглецу, последнему паскуде и предателю, прямо в поганое мурло; пожалуйста, выстрелил с иступленно-холодной, угрюмой страстью, а привычки колебаться в поддатом состоянии не имел. Лейтенант-смельчак в львином прыжке был — так и болтанулся набок. Собаке — собачья смерть! Наповал, разворотило морду. Пакость — и ахнуть не успел, взъерошенный волчий хвост отбросил. А дальше — показательный суд, свидетели, да разбушевавшийся летчик и не отрицал свою дерзкую выходку: что было — то было. Не вовремя история стряслась: раньше все бы замяли, не такое списывали, а после войны, когда немец разбит, капитулировал безоговорочно, кому нужен бесстрашный летчик? Родине герой не нужен. Натворил — получай сторицей на чай: нежданый, немилосердный чирик — хлоп! Слупили погоны, боевые ордена, словно и не воевал, словно не играл со смертью в прятки, словно не он, Алексеев, спас многострадальную Россию от лютого немца, словно не боевые вылеты у тебя за плечами, а пятый ташкентский, и ты — тыловая крыса: «Не допустим немца, гада, до родного Ашхабада». А есть что вспомнить герою Великой Отечественной войны, капитальные дела творил он и в Польше и в Германии, погулял, покуролесил, попил. Пока был нужен, все ему было как с гуся вода, все сходило, а настали новые времена — новая жатва, затычка, плачевный конец, черные дни настали, припух, поплыл по этапу в Каргополь. Да и не одного Алексеева такова участь, вагонами везли разудалых, бесшабашных воинов в северные лагеря. Загадочная славян-

ская душа Алексеева, летчика-героя, не только не раскаивалась, что ни за что порешила насмерть человека, который хотел прекратить буйное бесчинство в ресторане, укоротить, но лишь ощущала глубокое удовлетворение выполненного тяжелого долга, кичился злобно-сладострастным выстрелом в ресторане. Так было надо. Так было, так будет.

Шевченко муссировал и ваплил всюду, что Алексеев беспутный, беспробудный пьяница:

— И когда ты, Леха, взрослым станешь?

С укоризной отчитывает:

— Не зашибал бы ты, Леха, не дурил, цены бы тебе в базарный день не было. Уж больно ты с ней неосторожен. Уж больно шибко ты ее любишь. Напьешься — и сеттером, а кочегар за тебя всю смену ишачит. Я же все знаю. От меня ничего не скроешь.

Что и говорить, руки у Алексеева умелые, мастер что надо, а вот даже на локомотив, где стоит машинистом, старшим не поставишь. Митя старшой. Очень Алексееву такая несправедливость обидна. Капает: мол, не тянет Митя на старшого; открывает нам, какой Митя работник. И одно не ясно: почему Шевченко не видит что Алексеев сильнее как машинист, чем Митя?

— Старшой называется, — по обыкновению катит бочку бывший летчик на Митю. — За что ни возьмется, испортит. Давеча подшипник крепил, пришлось в перерыв останавливать, отпускать. Грется, еле до перерыва дотянули. Говорю, не тронь. Не лезь. Легче сразу сделать, чем весь бардак за ним переделывать. Как же: старшой!

Обуреваем Алексеев желанием сделаться старшим на локомотиве № 1, да и пора лычку получить, не мальчик. Но кто такого беспутного малого и пьяницу горького старшим поставит? А на роль старшего всей электростанции где громадное хозяйство (три локомотива), может претендовать только самостоятельный, трезвый человек, у кого не одни знания и умение работать слесарем высокого разряда, но и опыт работы с людьми, а какой у Алексеева опыт? — характер вздорный, драчун без околичностей, крикун.

Мудр Шевченко, бдителен: крайне сокрушается, но накладывает свою резолюцию:

— Хорош ты, Леха, работник, ничего не скажешь, золотой, а вот старшим тебя не назначишь. Надрывается мое беспокойное сердце, когда ты в ночь стоишь, особенно после полочки. Эх, мил человек, прости, не могу старшим на локомотив поставить. Не основателен ты, гуляка.

Локомотив № 1 — самый могучий. На нем старший — Митя. Как и героический, бесстрашный летчик Алексеев, Митя тоже убивец. Кончает срок, осталось каких-то три года. О себе Митя не очень-то распространяется, никто толком не знает, при каких таких обстоятельствах он порешил человека, а Женя порою даже забывает, что Митя кого-то кокнул, что способен на такое. Не верится. В Мите степенность, серьезность. Хороший работник, локомотив знает, зря о нем Алексеев базлает: завидует Мите, зависть черная. И Женя считает, что хлыщеватый Алексеев не тянет на старшего: нос не дорос. Не фигура Алексеев — и все тут.

О Мите всяк скажет: «Самостоятельный человек». А что скажешь о лихом, вздорном забулдыге, головорезе-авиаторе?

Шевченко уходил на две недели в ОП (такой боров — и в ОП?), за себя оставлял Митю. Правильно. А кого же еще? Всем это кажется и естественным и разумным. Митя тот человек, на которого можно положиться. И перед Шевченко не заискивал, не плясал под его дудку. И на электростанции давно, ветеран. Да, это вам не взбалмошный, беспутный скандалист, смутьян и пьянь Алексеев, которого запросто можно подбить на любую пакость и гадость, поставь лишь поллитровку. Ой, пить здоров! А спьяну Алексеев храбр до всевозможного безумия, гладиатор просыпается в нем, раззудись плечо! Нет, Митя умсет отмолчаться, отказаться, устоять, произнесет свое кремнистое: так не пойдет! Мол, в эти игры не играю,

увольте. Притом всем и каждому очевидно, что говорит он «нет» не потому, что струсил, а потому, что сам и без вас знает, где ему надо принять участие, а чего следует зело сторониться. Любит Митя пошутить, хотя шутки его плоски. В шутках знает край, это не Колобок, пустой, безудержный выдумщик. Митя не станет в чужой сахар, по натырке Шевченко, презерватив бросать — не такой. Получает Женя «ящик», а Митя ухмылочку изображает:

— Лучшая рыба — это колбаса! Все люди братья, люблю с них брать я. Я — великий математик, умею отнимать и делить. — Затем серьезно, прилично пояснит, чтобы Женя как раз не подумал чего не следует, на дармовщину он не набивается: — Шучу!

Приходит утром на смену:

— Как дела? — И сам же стоически, неторопливо резон выдаст: — Как сажа бела. Эх, скорей бы утро да на работу. Шучу. Эх, жестянка!

Митя любит меланхолически пофилософствовать, поиграть сокровищами народных софистических премудростей и жемчужин, задаст вам интересный вопрос, свидетельствующий о пытливости его ума:

— Что значит ч е с т н о е слово? Скажи? А к о р о в а чем не честное слово? Что есть в е р б л ю д? (От таких вопросов не следует отмахиваться: аналогичной проблемой мучился Григорий Сковорода в светлое воскресенье 1774 года в Бабаях: «Горбач пить приступая всегда возмущает воду. Но олень чистой любитель».) Верблюд, а если баба — как? Не знаешь? Верблядь? — Силой Сковороды сдобрит: — Шучу.

Подойдет к топке, начнет тары-бары, чтобы ночь быстрее короталась и летела прочь, всегда прелюдия:

— Лучше маленький Ташкент, чем большая Колыма. Дай картошки соль доест. Шучу.

Барабанит дождь, жалкая, сырая погода — от Мити услышишь:

— Дождик, дождик, перестань, я поеду в Арестань.

Несуетлив, нетороплив, степенен. Не навязчив. Большой резонер, и с выдумкой. Услышит, что по радио передаются «последние известия», обязательно сделает вставочку: «Больше не будет».

Как такой положительный человек мог оступиться, угодить в лагерь, да еще за убийство? От сумы и от тюрьмы... Митя положителен, степенен, очень взрослый. Всякий человек загадка. Одна сцена приподняла завесу над загадкой. Они стояли в столовой, стояли тихо, и тут произошло э т о.

Какой-то фраер (позже Митя о нем отозвался: «Фрей с гондонной фабрики, а еще грубит!») возьми да и полезь вне очереди перед Митей; Митя философски взглянул, миролюбиво, без дураков отстранил его, уверенно и спокойно (руки у Мити сильные, как хвост обезьяны), а тот взбеленился, полез права качать, горлопанить. Вдруг осекся, смолк, отступил, трухнул. Женя увидел, как в студенистых, бараньих, бесцветных глазах солидного, трезвого Мити сверкнул черный, внушительный, квадратный мрак, за всей степенностью и сдержанностью выиграло оно: дьявол. Абсолютный дьявол, ненормальный и агрессивный. В следующий миг Митя справился с собой, изгнал взашей дьявола и, по-видимому, сам испугался за себя, испугался того безумия, которое выглянуло, прорвалось и чуть не овладело им, безумия, которое он все эти годы обуздывал, подавлял, побеждал. Однажды и навсегда принял Митя решение: завязал, железная воля. Из лагеря решил выйти. Он подчинил свою жизнь единой цели. Он должен не терять разума и уметь подавлять, угнетать в себе злую стихию. Если Алексеев знал за собой всячинку, знал, что достаточно для него ста граммов, как находит оно, фонари зажигаются, и любил себя в пьяно-приподнятом состоянии неукротимости, буйнопомешанности, бесстрашия, любил, когда ему море по колено, полагал, что под воздействием винных паров пробуждаются неведомые и лучшие стороны его бойцового бурного темперамента, что в такие моменты он освобождается от косной, мертвящей, развращающей душу обыденности. Истина русского человека — в

подпитии, в неутомной приподнятости. И Женя весьма опасался пьяного, норовистого Алексеева. Нет, Алексеева бы он, Женя, никогда из лагеря не выпустил. Напьется, опять кого-нибудь намертво уколошит. То ли дело Митя: этот неистово боролся с самим собою, укрощал, смирял ловавшую его черную силу. И хотя Митя никогда не хвастался, что, мол, чуть что — и будешь горбатым, но многие инстинктивно чувствовали за ним силу, уступали. Ворчали, но уступали. Уступали не потому, что видели Митю таким, каким увидел и прозрел его Женя в очереди, а непонятно почему, как бы сказывался инстинкт зверя, шестое чувство. Митю широко уважали отнюдь не потому, что у него 169-я статья. Алексеева так не боялись, как Митю, а пожалуй, Алексеев был более опасен: в загул войдет, натворит дел, дров наломает. Важен, как говорили у нас в лагере, человек, а не статья. Возьмем наугад, ну Малышева. Тоже кокнул живого человека, тоже статья, как у Алексеева, еще один вояка, разгромивший Гитлера. Сравните с Алексеевым — другой пошиб. Перед вами жалкий фанфарон, к каждому слову прибавляет, что я-де такой: чуть что — пускаю нож, у меня не задержится, напевает, сидя на верхних нарах:

И не боялся ни с кем стычки,
Убить, зарезать — хоть бы что!

О своем деле:

— Сержанта убил на х...!

— По пьянке? — Женя подбирает версию, смягчающую вину: убийства по пьянке и не считаются преступлением на Святой Руси.

— Не, — бравирует Малышев, — так...

— Орел! — подначивает Митя.

— Я такой! — не улавливает подъялдыкивания и насмешки, напускает на себя Малышев: не лыком, мол, шит, не пальцем делан.

— Орел, — причесывает Митя, — орел не из тех, кто летает, а из тех, кто х... глотает.

Хоть и убивец Малышев, а никто к нему серьезно не относится. Уж это точно — птица неважнецкая, шобла, шантрапа, пустозвон, трепло поганое. Здесь его знают как облупленного. Да и вообще никто его никогда не страшился, кроме несчастных баб, русских, полячек, немок. Погулял же он во время войны, покуролесил, напахал! Есть что победителю вспомнить. Нагнал на баб густого страха. Знай, псицы, наших!

— Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй! — шуткует в выходной Шевченко, выпавшись как следует. — Неужто тебя, лопуха, генеральская дочка любила? Бреешь, чай? Врушка.

— Вот те крест! — темпераментно, с полуоборота завелся Малышев, в сотый раз хвастает, как успешно справился с шестнадцатилетней девчонкой, дочкой немецкого генерала. — Направил автомат — мигом поумнела, шелковой стала, юбочку задрала, сама и трусики сняла. Жизнь дороже велосипеда! (Женин следователь подарил сентенцию: «Если насилие неизбежно — расслабьтесь!») А автомат — лучший пароль, открывает любую дверь. По первое число изрешетил бы! — говорит Малышев и для убедительности зло вращает глазами.

— А ты без автомата, — опять гогочет барак (как мы смеялись в лагере, до упаду, заходились!), — с автоматом-то и дурак сможет.

— На войне как на войне, — парирует Малышев.

И то правда, что тут такого? Не играет роли: с автоматом или без. А все-таки была у него генеральская дочка, девочка, сладок медок, везуха. Памятное, самое знатное событие в жизни, звездный час. Надо принимать жизнь, живую жизнь, такую, как она есть, не мудрствуя. А мир хорош! Гуляй, душа! Стоит жить на белом свете!

Таких, как Митя да Алексеев, знающих себе цену, весомых, на станции раз-два и обчелся. Основная масса — гниль, пешки, шобла без всякой позиции, куда ветер ветку клонит. Возьмем под микроскоп соседа

Жени по нарам — Демиденко. Это украинский националист, бандеровец. О его деле лучше не вспоминать, жуткая история. В их поселок (это где-то там, на Западной Украине) пригнали по распределению учительницу младших классов: маленькую, худенькую, невзрачную, две косички торчат, а в этой местности шла беспощадная война на выживание, и трое героев — Демиденко и его дружки — подстерегли училку, схватили, затащили в лес, дружно, бойко пропустили, натешились, как пауки, а дальше — больше, настоящий Шекспир, барокко: бритвою груди отрезали, на спине вырезали грозный лозунг: «Хай живе Степан Бандера и его сообщники!» Утробный крик издала девочка: «Мама!» И никто ей не ответил из бури. «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Чтобы живому делу не мешала, не орала, Демиденко пиджаком глотку ей заткнул, на голову сел. Очень и без передышки старались хлопцы, чтобы лозунг жирным виделся, судорожно кромсали кожу на спине, сломали четыре лезвия сами порезались: к беде неопытность ведет! У дороги бросили истекающее кровью, обезображенное тело. Не сдаемся! Месть! Кровавая месть! Не забывай, кацапы как мы вас любим! Так будет со всяким москалем! Нет пощады! Нет прощения! Никому! Ни взрослым, ни детям! Всем смерть! Не хотим вашего империализма, вашего языка, вашего Пушкина! Не хотим вашей культуры! Нашли разукрашенное тело учительницы уже мертвым. «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов»: отловили террористов-романтиков, влындили безнадежную, неизбывную, астрономическую, бессрочную четвертную. Смертной-то казни нет.

У Демиденко статей — воз и маленькая тележка, весь кодекс собрал. И измена Родине, и террор, и банальное, классово близкое, понятное изнасилование. Если не знать этой безобразной истории, если смотреть на детскую физию Демиденко, его детские, светлые глаза, на румяные щеки — полнокровный персик, любая девка позавидует этим щекам, сияющему румянцу, — то никак не скажешь, что перед нами изувер, извращенец, фанатик, садист, нелюдь, монстр. Открытый, простой, славный, тихий, даже добрый парень. Отнюдь не злобное чудовище. Компания всему виной, в которую он попал. И — слепящая идея. Заметим такой нюанс: где собрались двое (перифразируем дальше) и не во имя Мое, там среди вас третий, с рогами и копытами, там возникает новое бытие, новая онтология, черная соборность, не сводимая к робкой, тихой, индивидуальной психике. К барочно-кровавому делу следует подстегнуть идею, озаряющую, оправдывающую деяние. Самостийная Украина! Давно склоняли мы главы под предводительством Варшавы, под самовластием Москвы. Вполне естественна относительно Демиденко была бы такая дефиниция: он сидит в лагере только за то, что любит Украину! Надо думать, на националистической идее свет клином не сходится, и многие другие идеи способны дать блаженное ощущение высшей правды и высшей справедливости. Нам-то, русским, идеологам террора, наследникам Бакунина, Ткачева, Желябова, Ульянова, «Народной расправы», «Народной воли» не трудно уяснить психологию террора.

Черствым, с навалившимися и умножающимися бедами, был для Жени первый год лагеря. В этот год наш простофиля, жалкая немочь, невзрачный, запуганный цуцик, в кино, которое на ОЛПе показывали в месяц раза два, а то и три, ни ногой. Не мог. Заглянул было раз — физически больно видеть на экране улыбающиеся лица, особенно женские, видеть обычных, простых людей, живущих нормальной человеческой жизнью, хоть целиком и придуманной, а все же похожей; даже в КВЧ не заглядывал. Срок тек. Зима — лето. И постепенно он выкарабкался из кризисной ямы, врос в лагерь, притерпелся, забыл думать о предстоящем необъятном сроке, смирился. Раз он набрался духу открыл дверь в КВЧ, взял подшивку «Правды» за последние три месяца, примостился у окна, пугливо, прозорливо осмотрелся. В КВЧ сидели гнилые Фан Фанычи, как на подбор, в очках, вчитывались в газетные строки, что-то жаждали прочесть между строк, разгадать кроссворд будущего. И у всех, заметил, открыта послед-

няя страница подшивки. Да разве можно нас выпускать? Нет и нет! На этот счет двух мнений быть не может.

«Разделена Германия! Китай слопали, везде коммунизм торжествует. Зарвались, голубчики!»

После КВЧ Васяев и в кино наведалься. Ничего, смог до конца спокойно досидеть, еще сходил, повадился, зачастил, не пропускает фильма. Выровнялся, значит, как все.

Мама шлет из Москвы блага, замечательная у Жени мама!

Как кум королю! Важно еще раз подчеркнуть, что он имеет положение на электростанции, хороший кочегар. С ним готовы и любят стоять машинисты, особенно он хорош в ночную смену: легко бодрствует, на него можно положиться. А пар умеет держать, как никто. Он и сам не понимает как это у него получается. Отодвинет глазок, пристально следит за цветом пламени: оно красивое, клокочущее, гудящее, оно интересно меняет окраску — сначала бурое, шумно-говорливое, затем голубовато-розовое, красное, ослепительно, бесконечно красное, затем значительно пуще красное, краснущее, и наконец — белое, изумительное. Эту натурфилософию досконально знают все, любой кочегар вам это с удовольствием расскажет, азы, пустяк, общее место. Однако после того, как пламя сделалось ярко-белым, слепящим, не зевай, максимально долго держи его таким, но не передержи, не дотяни до того, как появятся обидно черные, мечущиеся, танцующие, бацающие, сукинсыньски прыгающие прогары («как у бабы в печке»), когда пламя лопнет, разорвется на куски, затрепещет отчаянно черными, кашляющими языками — промашка, ляп: ворвался холодный воздух. Во всех отношениях важно вытянуть лишнюю секунду, зашуровать до появления траурных, холодных языков. Особенно ценится сноровка держать пар при больших нагрузках, когда напряженка, «пар не стоит», предательская стрелка манометра падает, а локомотив перестает тянуть. А как долго можно держать белое пламя — неизглаженная тайна, наитие, интуиция, навык, профессионализм. И все беспомощны, все, но не Васяев. Все-таки хоть что-то он умеет.

В бараке у него подходящее место, даже не по чину; не то что совершилась вопиющая несправедливость, а около. И не по возрасту. Просто-напросто купил. Куприянов, машинист, с которым Женя одно время стоял на локомотиве № 3, должен был месяца через три идти на волю, кончал срок, и Женя обменялся с ним: Куприянов полез на верхние нары, а Женя лег на его место, в углу, за столбил за собой закуток. Люкс! И всего за пятерку, неплохо. Малышев зарился на нижнее место, делал попытки чинить помехи, грозил с задором, что вышвырнет химика с нижних нар, коль скоро Куприянов за вахту идет. Не по праву и не по очереди, мол, у Жени генеральское место, а он, Малышев, на верхотуре. Насчет прав тут бабушка надвое сказала. Он такой же кочегар, как и Малышев, и на станции раньше Малышева. Правда, по возрасту он всех младше, но разве из этого следует, что он весь срок должен куковать на верхних нарах. Бутырки он помнит. Да и как не помнить. Его там встретили на ура и с помпой, с ходу и вне длинных очередей и табелей о рангах даровали царское место. Герой! Из молодых, да ранний. Диадема и орден! Он принял орден, не моргнув глазом, с достоинством. Заслужил, хоть еще молоко на губах не обсохло. Надел на голову венец из солнца. Разомлел в Бутырках от славы, как в теплой ванне. А здесь, в лагере, Малышев всю разоряется, согнать угрожает, захватить уютное логово. Заметил Малышев, что Митя во всем потрафляет Жене, привечает, настроившись на философский лад, болтает с химиком, ласково студента «сучарой» зовет — поубавил пыл, заткнулся. Наша взяла! Пороху мало! Хобот тонок. Митя в большом авторитете. Слетела самоуверенность, заткнулся, отрекся от прав, не возникает. Шалишь, браток, знай свой шесток. Мое место — и все тут. Может, затаил шакал — трусливая, паскудная падаль, хамство, но от Жени отстал, признал льготу.

У Васяева, значит, глухой закуток на нижних нарах, а возмечтай он о пещере («Заратустра» Ницше), о норе (Кафка) о пустыньке (Серафим Са-

ровский) — извольте, патентовать можно; взгромождает бушлат между нами — готово, в самый раз экологическая ниша для устрицы. Чем не келья отшельника, чем не мыслильня Сократа, чем не конура, где можно по-человечески одиночествовать, самоустраняться, абстрагироваться от железных, крепких, несокрушимых объятий лагеря, парить мыслию о судьбе светил, погружаться в блаженное ничегонеделанье (развившаяся в одиночке Лефортовской тюрьмы мечтательность давала о себе знать), думать думы о высоком и прекрасном, о трансцендентальном Боге, о вечности и гробе, порою предаваться буйно-радостным фантазиям, видеть как наяву, что поднимается этакий бурый сказочно гиперболизированный гриб, напоминающий таинственное изображение на гравюре Дюрера, поднимается над проклятым городом, который далеко на юге, где-то там, за шестьсот километров, а небо энергично сворачивается в свиток да в обыкновенный рулон!

«Проклятый режим! Проклятый Вавилон! От тебя лишь пепел останется! Выровняем, гравием, песочком засыплем — и обелиск, и надпись. „Здесь был город Москва, он возлюбил зло”».

А нынче вечерком Женя зашагает вместе с бригадой дружной, бодрой, веселой толпой к столовой; захватив скамьи в курилке барака, они двинутся в кино. Эх, завалятся, будут смотреть фильм «Индийская гробница». Говорят, трофейный, приманчивый, говорят, одно отдохновение.

В вечной книге не зря, поди, сказано, что Царство Божие в нас. Эту мысль варьировали и греки, стоики, Эпиктет, Марк Аврелий. Эпиктет говорил: «Вот жезл Меркурия. Прикоснись к чему хочешь — все превратится в золото». И разжевывает, что «жезл Меркурия» не что иное, как презрение ко всему, что не в нашей власти.

А на «кузьминках», 31 марта, двадцать лет спустя у Васяева вылупится и выскочит неожиданное для него и для всех словцо, и он со слезами пьяными на глазах объявит, что самым счастливым, светлым временем его жизни был год лагеря, когда культбригада привезла на ОЛП неизгладимые райские напевы и он влюбился в артистку Веру Карташову. Никогда уже на его душе не будет так спокойно, светло, как в ту зиму, никогда уже он не будет так жить, без оглядки, так внутренне свободно, как в тот год лагеря.

А какие Фан Фанычи собрались на комендантском ОЛПе! Сливки! Звезды! Полубоги! Не ОЛП, а вторые Дельфы, пуп Земли!

Минаев — властитель дум, наиболее полное воплощение духовных сил России, а рядом требовательный к себе и к людям Гладков, грустный Рокотов, гневный Померанц, Кузнецов, Финкельштейн, Казарин, Лупанов, Мелетинский, конгениальный Пушкину по огнедышащему темпераменту Альшиц, больная наша совесть Грибов, Эдик Бирон (впрочем, его еще нет на нашем ОЛПе, он на шестнадцатом, но скоро будет). И молодняк хорош: гениальный Базиков, поэт и виртуозный баянист Магалиф, автор захватывающей поэмы «Шея Змеи, Одиссея» (эпопея), Васяев, Стороженко, Макаров, Федоров, Леня Васильев.

Все как на подбор!
Богатыри, не вы!

Первый бодрый, кусачий, царапающий морозец прихватил непролазную, поколенную грязищу ОЛПа — ранняя зябкая зима; ночь крутило, курило, хлопотливо гудело, под утро стихло, выпал приличный снежок, бело, сверкает; зэки протоптали заметные тропинки, туда-сюда, а то как же? К столовой нужно! — к вахте, а тем паче в санчасть. Зима так зима. Не первая нам сдалась и уж не последняя. Сдюжим. Старательное, дотошное, добросовестное описание дней обычной зимы и другой дряни ОЛПа будет куцом, если мы забудем упомянуть, что на праздник всем без исключения дали пироги («и работать нужно, и работать дружно, и тогда пирог дадут»); не один пирог так взвихрил, всколыхнул сердца на комендантском ОЛПе,

вместе со снегом и зимою нагрянула культбригада, артисты, а среди них явилась новая, несравненная звезда — Вера Карташова, москвичка, столичная штучка, заглядение, молоденькая, 58-я, талант, и, естественно, весь ОЛП, красюки, как один человек, забыв о несокрушимой и легендарной Зойке («Не твое, мамаша, дело!») — с глаз долой, из сердца вон, как прошлогодний снег, — честно втюрился в Веру. Наваждение! В молодых, буйных головах родились, расцвели, вспыхнули беспрестанные, назойливые миражи, мир вдруг сделался до неузнаваемости прекрасным, словно мы не в лагере отбываем срок сурового наказания, а на седьмом небе. Даже однолюб Финкельштейн не выдержал линии верности жене, готов был за один взгляд Веры превратиться в кучу золы и пустое ведро, подобно гоголевскому псарю Миките («Сгорел человек!»). Красота мира Божьего впрямь корреспондировалась с обильным девственным снежком, выпавшим изрядно прошлой ночью, запорошившим ОЛП, состряпавшим впечатление чуда жизни. Трепетно, отчаянно растерялся Васяев и клюнул, как и следует, на Веру, а ведь наш герой, как и Финкельштейн, был однолюбом: из-за Риты чуть было в петлю не сунулся, загляделся теперь на ножки Веры в черных шелковых чулках, загляделся, как она выкаблучивает танец среди мечей и быстрой ножкой ножку бьет. Ее расфуфыренная фигурка, змеино-гибкая, женски податливая, обволакивающая, ускользающая, эти змеино-пронзительные глаза (они-то и сшибли Финкельштейна) — чудо! А куда было деться Васяеву? Захваченный огненно-ритмической пластикой пляски артистки, он жмурился от яркости сияния, идущего от Веры: «Такая страшная, сверкающая красота!» Ведь он из того же теста, как все, как другие, азартные, дерзкие орлы! Вера убедительно, рожно, отчаянно играла бесенка, стерву ломаку, себя играла! Очень личила ей роль строптивой, взбалмошной, предательски-капризной крали. Зрительный зал (то бишь мы — истосковавшиеся зэки, давно не видевшие прекрасного женского лица) стонал и ахал: «Вей-вей-вей!» Чувство восторга не знало границ и предела, взрывало условность театра, всю эту нарочитую странную мейерхольдовщину с неестественным буйством красок декораций, с откровенно поддельным небом — выдумка, которой так гордился Гладков. Зритель был наивен, примитивен, забыл зритель, что на сцене не сама жизнь, а умелая, ловкая, провокационная подделка. Надо думать, не одно эстетическое чувство владело нами, и тот восторг, который вызвал спектакль, Аристотель вряд ли посмел бы назвать катарсисом (теория громоотводной, очистительной физиологии катарсиса недостаточно разработана Аристотелем). Да и в столовой комендантского ОЛПа игралась не великая греческая трагедия, не Софокл, а какой-то жалкий водевиль с музыкой Дунаевского. Бойка, отрадно знойна была Вера, и ей передались наши неумеренные чувства, пусть примитивные, пусть раздевающие, но искренние, ведь мы забыли о бесконечной женственности и благодати Зойки, мастерицы на любовь; другой у нас идеал: Вера! Мы видим, как на сцене прямо на наших глазах забутонилась и расцвела деваха, прямо заневестилась, чудо первой свежести, юна, очаровательна, легка, воздушна. Потом мы долго умно судили-рядили талант артистки, охотно соглашались, что талант ярок, осязателен, бесспорен, что красота ее сочна, благодатна, мажорна, лучезарна, ослепительна, терпка, интенсивна, что она задорна и внутренне свободна; она в «Вольном ветре», которым нас одарила культбригада, возглавляемая маститым Гладковым, взвинтила и взвихрила наши уснувшие было чувства. И шухер смутный пронесся, что Вера еще девственница. Затмила юная богиня-девственница щедрую, сверхнародную Зойку, полностью затмила.

Гладков подтвердил, что Вера еще блюдет гордость. Значит, не ошиблись, верен слух. Дополнительные сведения: у Веры есть справка. Да, на этот счет и манер у нее есть справка, и сей сугубо деликатный, серьезный документ она вынуждена время от времени возобновлять и предъявлять: «Нате выкусите!» Без промаха, стопроцентная девственница! Возобновлять? А это значит опять идти за бумажкой в санчасть, процедуры прохо-

дять, техосмотр, отбиваться от совершенно наглых, канючащих, гоношащихся врачей. Туда же, примазываются! Фиг! Накоса выкуси! И в культбригаде, сами понимаете, вечные интриги, оговоры, подсижки, борьба за роли. Театр есть театр, и нашу лучезарную Веру норовят правдами и неправдами несправедливо очернить, оклеветать, затереть, завидуют таланту; завидует ей даже сама Окуневская, которая, может, читатель еще не знает, тоже у нас, в Каргопольлаге, в культбригаде, а Окуневская, это-то читатель должен знать, — знаменитость, вообще первая красавица мира, из-за нее сам Тито «уронил в причастье кружева». Она и у нас в лагере фасон давит. И вот — на тебе! — самоцветная, блистательная девственница Вера Карташова наперекор злобе неумных, кровожадных завистников высокомерно сует бюрократический мандат, дубликат бесценного груза-сокровища: «Сосите по девятой усиленной! И чтобы голова не качалась! Все, за семью печатями!» И вновь сверкает и бряцает непререкаемым преимуществом, выдает безумный танец среди мечей.

Волнующи, незабвенны лагерные встречи! Васяев дает кругалю с Гладковым по ОЛПу; они отмахали километров так с шесть, а то и побольше. Гладков в ударе, распространяется; Женя, благодарный слушатель, уши развесил. Денек выдался что надо. Белым-бело, снег первозданно чист, как-то особенно веществен, сверкает, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Пейзаж обычен: в глаза нарочито лезет и что-то напоминает надменно-гигантская труба лесозавода — дымящаяся, дымит вовсю; она безжалостно рвет пространство надвое, правее от нее сияют бараки, им нет конца и края, левее — неправдоподобно красивая, назидательно-риторическая запретка, за ней — густая колючая проволока, нелогично нежные, ажурные, голубые тени на запретке ласкают глаз; нужные, грозные, державные вышки, на них попки, денно-нощно педантично бдят, чтобы мы не взвихрились, не всколыхнулись безрассудством, не вздумали утечь странствовать в леса и там неминуемо и безвозвратно сгинуть: за колючей проволокой, сами судите, сурово манифестируется характерная перспектива, то бишь бесчеловечно-траурно-мрачная архангельская природа, там мороз-воевода дозором обходит владенья свои, там прокурор — медведь, там, куда ни запулишь взгляд, зимовье на Студеной, безмолвье, холодина, хаос, кома, мрак безобразия, реальное небытие, царство смерти всеразрешающее, всепоглощающее. Лес, его тучная, дремучая, пугающая чернота конфликтно контрастирует со сверкающей приподнято-праздничной белизной выпавшего здесь, у нас, снежка, с предвечно небесно-синим шелком неба, с явлением на ОЛП культбригады. Здесь жизнь бьет ключом, здесь наша благословенная Вера, здесь цветут Вера, Надежда, Любовь! И мать их Софья! Премудрость Божия! Беззубый Гладков радостно возбужден, чувствует себя именинником, на него со всех сторон сыплются поздравления; замшелые, обычно свисающие вниз, как у моржа, усы, неподобающе, дикобразно топорщатся вверх, стреляют в сияющее солнце.

— Эра режиссера настала не сегодня, — риторически шамкает Гладков. — И даже не вчера. Уже в тридцатые годы мы бегали смотреть постановку, режиссеров, а не игру пусть и вкусных актеров. Спектакль понимается как целостное произведение. Его не должна рвать игра пусть и талантливой индивидуальности. В пределе так. Вчерашней удачей я счастлив. Блеск, лучшее, что мною создано. Готов утверждать, что это самая сильная, новаторская послевоенная театральная постановка. Вы не можете судить. Вы не театрал. А жаль! Во вчерашнем спектакле и вы и другие видели одну Веру. Да, Вера — моя находка, вкусная находка. Клад. Поверьте мне, что этот эффект есть задумка, фокус факира, мой фокус с учетом атмосферы и настроения зрительного зала, с учетом злобы дня и каждого сантиметра сцены. Это трюк в манере доселе неизвестной, неведомой. Это, как сказал бы Пушкин, возвышающий обман. Вера свою роль сыграла вкусно. Ее танец и куплетик — вершина единого контекста, вершина замысла, под который подогнан спектакль, и он прошел без сучка, без задоринки. Еще прошлый век, еще Несчастливцев у Островского зна-

ет, что театру прежде всего нужна актриса! Сию простую, очевидную истину твердил и Всеволод Эмильевич. Я все учел. Спектакль с триумфом пройдет по Каргопольягу, и я очень надеюсь, что его нам удастся показать в Вологде и Архангельске. Есть такая хитрая задумка. Нас поддерживает гражданин майор Носова — «мама Саша», как мы ее называем. О нашем театре она намеревается писать Поскребышеву, а ее муж видный чекист, в этом смысле она на земле, большая реалистка. Кстати, вы знаете, как дела у Альшица? А если спектакль будет судьбоносен? Кто знает! Примадонна от спазм зависти лопнет, не говори. Думала, что без нее наступит крах, что я с ней сюсюкать намерен. Брозтитутка! Взбалмошная, капризная, злокозненная бабенка, кликуша, закоперщица всех склок и конфликтов. Не сахар. Думала меня скушать. Испугала! Ей чадру пора носить, а она на себя одеяло тянет, возмечтала играть мою вкусную Шуру. Не чувствует возраста. Она, видите ли, Шуру будет играть — благодарю покорно! Ну и огребла по нежному месту мешалкой. Ой, не приведи Бог иметь дело с вышедшими в тираж фифами. Всеволод Эмильевич умел стареющим гримзам на хвост наступать. Шел до конца, не уступал.

Женя слушает. Его мысли: «Да и у вас, Александр Константинович, мафусаилов возраст. А сколько лет было Мафусаилу? Надо спросить у Николая Николаевича». Затем сумбурные, неопрятные мысли Жени пошли скакать высоко, далеко, и он почему-то принялся прикидывать, насколько «чудесный грузин» старше его. На целых пятьдесят лет! Они, грузины, долгожители. У него харч хороший, киндзмараули — залейся.

— Пусть пеняет на себя, — говорил Гладков. — Ничего, попашет на общих — умнее будет, охладит гонор и пыл в снегах архангельских лесов. Я зла ей тоже не желаю и сердца на нее не держу, но работать с ней — сыт по горло. Нет, покорно благодарю!

— В высшем смысле — Вера талантлива? — с надеждой пытается Женя.

— Исключительно гениальна, — не колеблясь ответил Гладков, стал уточнять свою мысль: Вера — потрясающая актриса. И ум, и живое дыхание, и пластика. Понятлива. Безошибочная точность в каждом движении, изящна, вкусна. И все ей дается даром, не нужно тренажа; свободна, раскованна, легка, легкое усилие — и летит через всю сцену. Исполнение ее заразительно и с сильным внутренним вольтажем. С изюминкой. Не увлекается гримом.

Бальзам на душу. Жене хотелось и дальше говорить о Вере, знать о ней все, разложить по косточкам: «Умоляю, еще, еще о Вере!» Но он был молод, застенчив, стыдился выдать взволнованный, пристрастный интерес к артистке, не решился ничего сказать, спросил вдруг о Саше Краснове, который, как Жене стало известно, на тридцать седьмом, и получилось как-то так, что, хотя Гладков был готов еще говорить о театре, Женя перебил его, направил разговор в другое русло.

— Доложу вам, что это редкий фрукт, забавный, невозможный. Великий спорщик, иконоборец, — начал Гладков. — Наши отношения сложились не вполне зеркально. У вашего друга начисто отсутствует вкус к шутке, отсутствует чувство юмора. Чем-то похож на Померанца, всегда с книжкой: с Гегелем. По моей очень удачной классификации Краснов относится к типичным — не спутаешь! — представителям нового поколения молодежи — поколения развязных недорослей, циников, которые ни в сон, ни в чох не верят. У вас нет идеалов. Уж поверьте мне как художнику — насмотрелся. Таких, как ваш друг, я вижу насквозь, изучил современную молодежь. Нет, мы не такие были. Мы — романтики.

Огляделся шухерно по сторонам, дает намек, что кругом стукачи; сипло, с догматической уверенностью — бу-бу-бу:

— Революцию задумывали безумцы, делали герои, а ее плодами пользуются подлецы. Это знали и Маяковский, и Всеволод Эмильевич: «Клоп»! Мечтаю «Клопа» поставить. Новый театр, все должно быть по-новому. Моя душа рвется к эксперименту. Я же вижу, что и Краснов, и Бирон, и Васильев, и Стороженко, и вы — ни во что не верите. Для вас нет ничего

святого. Для вас и революция, и гражданская зойна с ее трагической грозною красотой, бурные двадцатые годы — это то же, что современное безвременье, затхлость, казенщина. Вы считаете, что сплошь и всегда был один обман. Не перебивайте, успокойтесь, на электростанции ваш Саша, в тепле, что-то там делает, работенка не бей лежачего. Очень кичится, что работает не в конторе, не придурком, не в культбригаде. Уличает меня, что я в культбригаде. И ты, Брут, продался большевикам! Пристал, как фурункул. Да, я режиссер, увлечен. Да, я — с искусством. Без искусства я задыхаюсь, как рыба, вытасченная из воды. Да, я с Пушкиным, а не с декабристами, не с политикой. Если вам угодно — здесь лучший, самый талантливый зритель в мире! Мне позавидует любой режиссер. Абсолютной свободы нигде нет. И нигде в мире режиссер не свободен так, как здесь, в лагере. Парадокс, да? Пушкин бы меня сразу понял, не случайно у него выплеснулось: «...и гений — парадоксов друг». Невероятно: с гражданином майором Носовой согласуется лишь пьеса, а интерпретация пьесы никого не интересует, полная, безбрежная свобода. Всеволод Эмильевич никогда не был настолько свободен, как я.

А для вашего Краснова быть режиссером в условиях лагеря — это преступление, все равно что быть стукачом. Даже подлее. Русский максимализм в его самой омерзительной форме. Или все, или ничего. Сколько дров из-за максимализма наломано! Краснов не в состоянии понять, что человек и в лагере может быть творцом, может создавать изысканные духовные ценности. Вам же очевидно: то, что вы вчера видели, — подлинный, вдохновенный шедевр. Надо помнить, что актер каждый спектакль играет по-разному и сколько спектаклей, столько творений искусства, что актер в четверг играет не так, как в понедельник. В этом и ущербность, и особая прелесть, привлекательность театра. Произведение искусства пестуется при тебе и для тебя, зритель! Оно умирает, когда опускается занавес. Спектакль живет столько времени, сколько играется пьеса, а в следующий раз будет другое творение, может быть, лучшее, а может быть, актеры не подымутся на ту высоту, зрителем которой вы были. Потому театр вечен. Кино никогда его не убьет. Вчера вы были свидетелем сценического чуда, какое бывает раз в сто лет. Уж поверьте мне. Я-то знаю, насмотрелся на своем веку. Я знаю и люблю театр, а Краснов ни черта не смыслит в театре, невозможный субъект. Подумаешь, новоявленный моральный проповедник нашелся! Для Краснова не один я, смиренный режиссер культбригады, но весь авангард, Маяковский, Мейерхольд — двурушники, подлецы, вонючая сволочь. Все разом валит в одну кучу. Предельно глупо, исторически ошибочно. Нигилизм, кощунство.

Гладков высвободил руки из карманов пальто (на нем не лагерные доспехи: артистам разрешается носить свое: счастливики!), делает ими широкий, добродушно-патриархальный жест, лепит:

— Чушь собачья, несусветная. Какая-то белиберда в квадрате. Я весь на виду, а он превратно толкует мою жизнь, мою работу. Мой девиз, как у Пушкина: «Веленью Божию, о муза, будь послушна!» Творца можно судить лишь по законам, им самим над собою признанным. Слова опять-таки Пушкина.

Следующее сопровождается уверенно-величественным жестом:

— Неинтересно! Уши вянут. Ваш Краснов юмора не понимает, так и хочется пустить суворовское: ку-ку-ре-ку!

И еще крепкий удар по шляпке гвоздя доканывает окончательно, всаживает, как последнюю точку, хрип, напоминающий сип старого патефона:

— Пошло!

На этом бы ему кончить тему, но Гладков перемудрил, не замечая, что снижает эмоционально-пробивную модальность филиппики:

— У Краснова вермишель в голове. Все продалось, он один знамя держит. Согласитесь, электростанцию и таракан не назовет общими работами. Подумаешь, святой нашелся! Если такой принципиальный, иди на повал,

лучок бери в руки, упирайся. У Мериме в «Кармен» есть пословица, ее любил Всеволод Эмильевич: «Удаль карлика в том, чтобы дальше плюнуть». Я утверждаю, что в могучие творческие эпохи прошлого не было свобод, что искусства цвели, когда поэты были придворными, а актеры и актрисы — крепостными. При Августе так было, при Людовиках, при Екатерине, при Николае. Как я люблю «Бориса» и эту сцену. Спаситель Пушкин!

П о э т

Великий принц, светлейший королевич!

С а м о з в а н е ц

Что хочешь ты?

П о э т

(подает ему бумагу)

Примите благосклонно
Сей бедный плод усердного труда.

С а м о з в а н е ц

Что вижу я? Латинские стихи!
Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом полунощным,
Но мне знаком латинской музы голос,
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Его ж они прославили заране!
Приблизься, друг. В мое воспоминанье
Прими сей дар.

(Дает ему перстень.)

Гладков прерывает выразительно-шепелявую декламацию для акцентировки высокого смысла и подобающей лично-интимной парадигмы:

— Гениально! Какая точность! Снайперская! Сильный, точный язык.

Воодушевившись вниманием юного слушателя, чешет дальше, все на память, с выражением:

Когда со мной свершится
Судьбы завет, когда корону предков
Надену я, надеюсь вновь услышать
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн.

Хриплый голос Гладкова лезет вверх, срывается, стареющий режиссер трогает плесень под носом:

— Муза венчает славу, а слава — музу.

После вразумительной паузы:

Итак, друзья, до завтра, до свиданья.

В с е

В поход, в поход! Да здравствует Димитрий,
Да здравствует великий князь московский!

Пушкина раздражало, возмущало, невыносимо злило беспардонное вмешательство в его личную жизнь, но поверьте мне — я хорошо знаю эту вкусную эпоху, эпоху моей Шуры, — и не верьте басням: Пушкина роль придворного устраивала. Само собой разумеется — и любой бы на его месте, — он предпочел бы быть не камер-юнкером, а камергером, как Вя-

земский, который хоть и старше годами, но как поэт ниже Пушкина сортом. И Фет мечтал о камергерстве. И — получил. Я его понимаю и серьезно одобряю. Последние слова Пушкина, уже умирающего, царю: «Останусь жить, весь твой буду».

Интересны, волнующи, благословенны лагерные встречи и разговоры, но поучительнее, загадочнее невстречи. Ахматова, Пастернак с любовью обыгрывали, эстетизировали эффект невстречи, злого сарказма, рока. Васяев окольными путями, проведя сложные изыскания (тютелька в тютельку сошлось), установил, что та орясина, верзила, каланча, что минарети-лась над жалкою кучкою жалких зэков, что эта гипербола, которую он рассматривал, когда их этап подошел к воротам комендантского ОЛПа, был не кто иной, как его дражайший друг Саша Краснов, исправный со-товарищ когорты Кузьмы. Как Женя, с его крепкой, цепкой зрительной памятью, мог не признать Сашу? Задним числом виделось, что Саша ни на волос не изменился, такой же, каким он выглядел на славных субботах Кузьмы в сорок седьмом году, ни с кем не спутаешь. Бьет в глаза, сшибает готика роста. Душу за други своя! У нас так. И какую бы кислую морду ни кривил Рапопорт — так! В осенний разнузданно-северный ветреный денек, когда робкого идеалиста-бергсонианца подвели к вахте ОЛПа, произошла роковая невстреча: Сашу Краснова вывели из ворот ОЛПа, увели куда-то вдаль, этапировали на другой лагпункт. Что сие значит? Как понять? Есть ли смысл и глубина в невстрече? Разлучили их так безжалостно отнюдь не потому, что как-то развели, что они оба школы Кузьмы, друзья еще с воли (сговорятся, нырнут в побег, ищи-свищи, гоняйся с собаками). Никто не вычислил, что они короткие, основательные, закадычные друзья, повязаны на всю жизнь, что тот философский шалман, которому они присягнули, святее святого и последнее, чему можно изменить. На поверхности событий мы видим лишь слепой случай, воспетый чрезмерно еще царем Соломоном, непонятная, неразгаданная его игра. Не пересеклись их лагерные биографии и — а ривидерчи, приветик! — не свиделись, не обнялись. Однако хотя Саши Краснова и нет на комендантском, но как бы и есть: с некоторых пор Саша незримо, тайно присутствует, предопределяет судьбу Васяева: Женя шлепает по пятам Саши, человека с сильной, выдрессированной волей, вступает в след, проигрывает кем-то предписанный сюжет, наполняя его обидно пародийным материалом: Саша начал со шпалорезки — маятниковая пила, чего стоит ее душу надрывающий вой. Саша оказался двужилен. А чем для Васяева обернулась шпалорезка? Утюжили почем зря, и вообще он во многих отношениях оказался не на уровне, слабак, а людская орда вдохновенно измывалась, издевалась над ним. Растерявшийся, занюханый, затурканный, с тускнеющим сознанием, он теряет себя, а его все лупцуют и лупцуют, доканывают, мишень для издевательств, проклятые позорные рога надевают, смех. Не выдержал каждодневного шествия на Голгофу — поплыл. Вай-вай-вай! Бр-р! В ОП угасал убогий фитиль, выглядел смертушку в белом, чувственный образ небытия, был в ее пасти, прошел сквозь игольное ушко. И Саша Краснов и Женя получили место на погрузке через Витю Щеглова. Саша — учетчик по призванию, благодарная память о нем еще долго сохранялась в бригаде. Женя — обиженный Богом дохлятик, беспомощный, нескладный, затюканный, согнутый буквой «Г», дебильный, нервнобольной, захлебывающийся от излишков самодостаточного экзистенциального опыта, — провалил учет. Уникальный случай — долой из придурков, вылетел. Здесь, на погрузке, он ощутил и осознал себя тупым, ничего не соображающим, гибнущим идиотиком; кармическая безысходность, пароксизм души, мразь, бездонность падения, крест на себе как личности поставил. Он теперь знал, что нет такой подлости, которую он бы не мог совершить. Он понял, что ничем не лучше других, а даже хуже, мерзее, что в глубине сердца нет нравственного закона, а лишь ничто и тьма безбожная, и Кант, Достоевский, Соловьев, выводившие Бога из нравственности, должны бы сделать вывод, что Его нет, а они это не сказали из трусости и бесчестнос-

ти, а возможно, не имели истинного, обнаженного экзистенциального опыта. В осадке лев! Достоевский, написавший «Записки из подполья», имел этот опыт, но скрыл правду, а кабинетный, благополучный, проживший 80 лет Кант мало что смыслил, пустышка. Ницше сказал: «Своей болезни я обязан своей философией». Женя перефразировал Ницше: всем, чем я есть, я обязан своему падению. Следующий шаг: и Краснов и Васяев кочегарят. Что сие значит? Как понимать? Получается, вновь Женя влопался в след Саше Краснова. Духовная, философская биография Краснова, упрямого и бесстрашного фанатика, волнующе ярка. Оказывается (версия Щеглова, который боготворил Краснова: сидели в одной камере на Лубянке, дружили в лагере), Краснов и в лагере оставался воинствующим марксистом, звенел шпагой, горел идеей, развил, углубил великое учение, наметив путь к социальной гармонии через систему лагерей. Проснулся, пробудился Саша после нешуточного события: на его глазах доходяга рубанул себе руку. Утопия, населяющая его мозг, рухнула. Женя слушал милягу Витю, думал. «Узнаю друга Сашу». Женя, осененный Бергсоном, слушал, а про себя улыбался: «Глубже, глубже всмотритесь!» Складно и гладко получалось у Вити: Саша преодолел закидончик, мол, мужчины частенько пасуют, не выдерживают клюквенно-тошнотно-удушливого вида крови, наотмашь и позорно грохаются в обморок (женщины не так нервно относятся к крови). Гёте устами чернокнижника Фауста предупреждает, что кровь — это «жидкость совсем особая», мистическая. Получалось так, что вроде и сам Краснов связывал крах мировоззрения с тем событием. Правдоподобно, что сверкающие кровью обрубки пальцев замутили сознание, сдвинули мировоззрение, но это лишь поверхностная сторона, только часть правды. Да никакая кровь не в состоянии шелохнуть универсальную, безусловно взвинчатую идею Утопии или там самоотийной Украины! Фанатик скажет наперекосяк: «Прочь неврастеники! Прочь слабонервные!» А хануриков саморубов в лагере видимо-невидимо, пруд пруди. Никто их не замечает, отворачиваются, как от падали, мерзости, как от нелюди. Живая кровь, отрубленные пальцы — что за невидаль, да еще в лагере! Факты не могут опровергнуть идею, если она имеет внутренний пафос, опирается на старообрядческое упрямство. Как говаривал Достоевский, Фома Неверный поверил не потому, что вложил перст в рану Христа, а потому, что х о т е л п о в е р и т ь. Захватчица, гибель, присуха, учетчица-полька дурила головы мужикам, зачумила и Сашу, и, говорить нечего, влип интеллеktуал и догматик, как муха, подняться хочет — и не может, а где пучина страсти нежной, где занозистый, докучливый инстинкт, шило в мешке, нудит, ой, о чем речь, тише, не будем вскрывать сакраментальный смысл событий. Как это? Дымящийся Бергсон, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа! Великий бог любви, великий бог деталей, Ягайлов и Ядвиг. Свирепый, гибельный шок разверз глаза Саше Краснова на то, что унижал, принижал Гегель, — на простые, конкретные, индивидуальные явления жизни: на частное, личное, неповторимо-единичное. Штудируйте «Творческую эволюцию», там все есть. Это органон, универсальный ключ, распахивающий любую дверь, притом запросто. Ирена, юбка, птичка-невеличка, виновница прозрения Саше, освобождения его мрачного, холодного сознания от доктринерских схем и воинствующей надмирной схоластики. Из ряда вон абсурдный побег-бзик, повреждение ума, заворот становится на свое место, прорезается смыслом и внятностью, видится в новом ракурсе.

— Веселое имя Пушкин, — шепелявит Гладков. — Блок отлично сказал. И я всегда проверяю свою жизнь Пушкиным. Как бы поступил Пушкин на моем месте? Ну, пора. По внутренним часам — пора. Надо работать, заболтался. Жуткий цейтнот. В поход, в поход! Да здравствует великий князь московский!

Гладков пояснил, что на репетицию должны прийти артистки. Женя, услышав об артистках, рванул к вахте. У вахты собралась толпа человек в триста — четыреста, приспичило, народ шебутно прибывал, со всех сторон

офонарело, очертя голову летели сексуально озабоченные зэки, прослышали, пронюхали. Они топтались у вахты, ждали Веру. Жене вспомнилось детство, первый день войны, но о войне еще никто не знает; они, мнительная мелюзга пузатая, у которой еще женилки не выросли, и ребята постарше ждут восхода солнца (не то на Ивана Купалу, не то на Ярилу); Женя был трезвым свидетелем странного, непонятного, загадочного танца солнца: оно, как радостный детский мячик, подскакивало, давало свечку над горизонтом, флиртowało, плясало, дразнилось; отчаянный флирт солнца на что-то намекал, на что-то непристойное, чего еще не охватил его детский ум. Что это было? Качаловский дрочь-комбинат, мистерия?

Сначала появился надзиратель, за ним просияла Вера, чистый, редкостный бриллиант, драгоценность, украшение, утешение Каргопольлага. Наш юный герой глянул на Веру — чуть в обморок не хлопнулся: как хороша! Юная богиня, само изящество, эльф, она пропорхнула и не заметила охваченного священным трепетом юношу, не увидела за спинами толпы зэков; не встретила с его горящим взглядом. Улыбнулась всем, в том числе и ему. Она расточала. пуляла во все стороны флюиды. Ее змеиные, гипнотизирующие глаза сияли. Наше солнце!

Васяев полон, до потери сознания озарен, одарен, просветлен улыбкою Веры.

ОДИССЕЯ, ГОД 1952

По волнам, волнам, волнам,
Нынче здесь и завтра здесь!

Из замечательной поэмы нашего трубадура-псалмопевца, славного баловня Музы Бори Магалифа¹.

У нас на комендантском, помилуйте и не обессудьте за откровенность, без перемен, живем вне времени, вне сюжета, ничего не происходит, живем, слава Всевышнему, обыкновенно, заурядно, сносно, без сполохов и событий, житуха течет без волнующих, запоминающихся, велеречивых и говорящих за себя суперхудожественных азартных передраг, без разбитных «ой-ля-ля!» и гоб-доб, не вертухайся: глухомань, статика, беспризорность, золотая пора лагеря и, само собой, сравнительная, относительная Божья благодать, мир, «возлюбленная тишина», труды и дни, дни и труды, день. ночь — сутки прочь, четкий, упорядоченный ритм (в философской терминологии: лад) жизни, скрипим помаленьку, срок идет, струйка песка сыплется в песочных часах, безукоризненная, полная покорность душно-иррациональной судьбе-индейке. Видать, там, в Москве, в ГУЛаге, затык бюрократический: забыл ГУЛаг о нашем существовании напрочь, медлит насылать в вечное зэчье царство злокозненных, ознобляющих, допекающих, ретивых, жестокосердых, категоричных, последовательно зубодробительных (только держись!), непререкаемых, непреклонных, необоримых, правильных, как сама подавляющая, непреложная, абсолютная Истина, комиссий по проверке и радикальному, рациональному устройению и ужесточению режима. Лагерь — не курорт! Мне не нужно, чтобы ты работал, мне нужно, чтобы ты мучился! Закрут: бескомпромиссно ригористичен, емок, метафизически полноценен, выверен, честен, мужествен. Классика! Как мы живем? А куда деться, вышки. План гоним, знай вкалывай. Упираемся. Все смешалось и перемешалось в Каргопольлаге, глядь, разной масти и статей сушии фашисты (этого добра здесь, разумеется, хватает) лежат на нарах бок о бок преспокойно с бытовиками, с указниками (Указ от 3 —

¹ Б. Магалиф. Шея Змеи, Одиссея, эпопея, 1950 г., авторское исполнение под аккордеон. Изумительно, неподражаемо! Ср. пс. 90.

4 июля 1947 года популярен истинно народен. «Кого ни спросишь, у всех указ»), с беззаботными, веселыми, неунывающими урками — явный недогляд, безобразие, непорядок; а кое-кому начинает казаться, что иначе и быть не может, норма. Женя Васяев разбужен (напасть!), выдернут и изъят из тихого, сладкого, нужного сна: теперь не уснуть, а надо. Пытка, сущее проклятие, не может уснуть! Какая-то подлая сука хамски, здорово живешь, бесчинно включила на сухо-дребезжащую громкость эту штуку ненавистную, проклятую поповскую выдумку. Да лучше бы ее вообще не было! Жили же люди без нее, обходились, неплохо жили Пушкин. Не иначе как шалавый безмозглый дурак Жилев воткнул вилку. Есть такие любители культуры (их у нас в бараке большинство; тем паче политическое большинство), которые вообще готовы не выключать тарелку, непрерывно и бесконечно хавать потоки культуры. У этих любителей свой резон. хочешь спать — уснешь как миленький. Притом слово не расходится с делом. Великолепно дрыхнут под радио. А наш-то, видите ли, тонко организованная натура, цаца, принцесса на горошине, рефлексирующий неврастеник, покоя жаждет. Ишь чего захотел голубчик, в лагере! Не надо совершать преступлений! Хвала бесконечному Богу, в десять часов вечера моргает лампочка в бараке и одновременно с этим любезным миганием, подмигиванием, намеком отключается тарелка, там, где-то там, на вахте. Нашлись строптивые, свободомыслящие правдолюбцы, которые в этой грубой акции усмотрели ущемление естественных прав человека, попрание достоинств личности, ходили в КВЧ, на что-то жаловались, что-то доказывали, но наш герой-неврастеник мысленно благодарил гражданина начальника лейтенанта Кошелева, что тот оказался тверд, непреклонен: упрямо держит порядок, укорачивает несносную балаболку. Ты начальничек, носик-чайничек, низкий поклон тебе! Чем мутнее выливается из «Рекорда» гадство, тем сильнее страдает несчастный неврастеник: уши затыкает. Да разве скроешься от истошных, невыносимых «Поддубинских частушек»? Да они раскупорят ухо, как ни закрывай. Кто написал? Мучитель. Мрак вечный, сверлящий мрак. Нежному Жене Васяеву не дано сегодня поспать. Нет спасения, усилия напрасны. Бают, слышал, есть хитрая молитва от бессонницы, очень помогает, да вот не учен, не учили в детстве молитвам, эпоха была не та. Может, спросить у Николая Николаевича. вещая всезнайка. Подумать только, стук веселых костяшек в курилке, гам, галдеж, сладкое, счастливое хрюканье Колобка и его выкрик: «Рыба!», смог матерщины удалой отнюдь не помеха хрупкому сну, как все естественные шумы и звуки, как вой северного ветра, барабанная дробь града в окно барака, не гонят прочь сон, а убаюкивают, как ласковое мурлыканье матери, как ее вкрадчивая, спокойная песня; спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Проклятый режим, поганая зэчья жизнь, не жизнь, а жестянка. Смирись, гордый человек! Пора, пора, друг ситный, тебе смириться и ко всему привыкнуть, пора достичь совершенной виртуозности в приспособляемости к лагерному бытию. Идиотски устроен человек, не просто ему подставлять левую щеку, когда саданули по правой, не просто любить соседа по нарам. Женя Васяев открыл глаза, взгляд его скользнул, уложился-прилег, прилип-застрял на картинке, которую Демиденко замысловато прикнутил к стене на уровне верхних нар. Красный угол! Цветная картинка из «Огонька», уют. Поди, над такой же красоткой сей лирик истый, настоящий украинец, творил справедливое торжество, укротил, принудил: жадно соединился. Первый раз в жизни: девственник. Справил грязное мужское дело, уступил место товарищу по оружию. Подлинное, простое, бесспорное. Опрятное сердце, мужское, честное, жертвенное. Не будем в их подвиге видеть лишь прелесть и неумеренный юношеский идеализм. Чик-чирик, исполосовали грудь, воздвигли на нежной девичьей спинке святые слова. Они борются за свободу народа, за освобождение Украины от насильников, супостатов, угнетателей. Украина — страна сказочной жар-птицы, и она никогда не обрусее, не исчезнет с лица земли, она устоит, обретет свою государственность, и она имеет на это право!

Почему мы не имеем права на свободу? Украина тихо волновалась, давно в ней искра разгоралась. Вот мы, русские, понимаем Святого Сергия, благословившего московского князя Дмитрия на брань с Мамаем так извольте понять, принять Демиденко. «На его месте мог оказаться и я, и Саша». Идеология, марксизм, национализм либерализм, подлинность молодого чувства, подлинность утренней зари, вера,двигающая горами. И наш впечатлительный Женя принял в свое сердце наивного, прямодушного, безоглядного украинского патриота, истинного украинца Да и как не внять восходящим, горячим мечтам простодушного юноши о несчастной, поращенной родине? Одна, но пламенная страсть! Демиденко и сам льнет к Жене, провожает Женю влюбленными глазами, хоть Женя и москаль, водиться очень желает с Женей, поддакивает, во всем потрафляет. Без друга зыбко, зябко в лагере. В лагере нужен друг. Тут на днях Демиденко в экстатическом порыве поцеловал Женю в плечико: знак уважения, прилежной, глубокой симпатии. Доброе слово и кошке приятно. «Очень внушаем», — думает Женя о Демиденко. Хороший парень открытый, искренний, с чистым сердцем, с внутренним достоинством и природным тактом — драгоценные качества и не только в условиях лагеря, в условиях тесноты, скученности.

У Жени Васяева и Демиденко общая тумбочка на двоих, и живут они душа в душу, уж чужого-то Демиденко не цапнет, свое Жене готов отвалить, добрая, щедрая душа, благородная, высшей пробы. В образе. И чем глубже Женя воспринимает соседа, тем сильнее утверждает в приязни и разумении, что перед ним не дракон, не жестокое чудовище, не трафаретный, банальный убийца подлого, грязного, вздорного плана, не какой-нибудь сталинский сокол Алексеев, даже не Митя, а юноша, преданный музыке и высоте ясной сверхличной цели, обнаженным категориям правды и великой любви, человек с простым, наивным, но сильным, дорическим, мужественным сердцем. Экзальтированная, взвинченная революционная воля, круговая порука, дух рыцарского братства, помноженного на романтизм двадцатилетнего возраста (старше Жени на несколько месяцев), мертвая хватка сверхличной харизматической идеи привели к порче нормального инстинкта, позвлили этому, в сущности, славному парню отбросить естественную нравственную щепетильность и с веселой злостью, с чистым сердцем переступить страшную черту, посягнуть на хрупкую невинную жизнь. На войне как на войне. Свергнем с трона розовый, болтливый (все эти «слезинки ребенка»), малодушный гуманизм, не будем комплексовать, примем зло: оно не зло, а вектор добра, справедливости, свободы. Вспомним «Три разговора» Соловьева, вспомним Данте: «И я (ад) сотворен Великой Любовью». Постигнем вечные ценности и вечные обещания, которые даны Украине. Глас народа — глас Божий. Страшное преступление с утехами, жестокость не царапнули, не оставили следа в сердце Демиденко: оно чисто, наивно, мужественно. За праздничное действие сильных, энергичных рук он угодил к нам в Каргопольлаг, с достоинством нес терновый венец — двадцатипятилетний срок. Уют, любо-дорого. на картинке из «Огонька» девочка, пионерка-скороспелка в легкой белой кофточке, глазки озорные, с поволокой и зноем, бутон, мечта поэта, да и прозаику подошла бы. Подлая мысль, мысль-укоризна: для сеансов? А что если встать, пробежать стройный, строгий ряд нар, мятежно выключить, ко всем чертям собачьим, радио? Оборвать провод? Зачем гусей дразнить? Включат. Не поймут. Тот же Жиляев включит, да и другие, большинство за то, чтобы всегда орало и на полную мощь. Проклятое большинство!

— Суки травоядные! — дико выпалил Женя, шумно перевернулся на другой бок, еще раз перевернулся, да так, аж вагонка отчаянно запела, закрипела. Отклеился вовсе сон Слетаю в столовую пока народу мало.

Оп-ля!

Спустил ноги с нар, подхватил новенький бушлат, который сыграл, как всегда, на пол, тряхнул его, еще тряхнул, сойдет, опрятен. В ночь так в ночь; на работу так на работу. Эх, трын-трава. Все вздор! Это дело пере-

курим как-нибудь. Не впервой. Наполеон спал четыре часа в сутки, ничего. Тыр-пыр. Женя растолкал себя, размял члены, наспех согнал плохость, остатки сна, сдул досаду, что разбужен не вовремя, и прочие болячки. Бодр. Он легко заражается мерихлюндиями, мухоморством, банями с пауками, но научился заживлять, освежать душу. Говорят, каким в колыбельку, таким и в могилку. Нет, в двенадцать лет, в канун войны, его душа изменилась. А как изменилась Наташа Ростова, став женою, матерью! Все течет и ничего не стоит. Мы помним Женю другим, обиженным судьбою, потерянным, затырканым, затюканным, пришибленным, затравленным, нескладным, никчемным, с застывшей полуидиотской улыбкой: безусый, несчастный юнец повержен, остолбнячен оскалом бездны и неминуемого окачура (узнал, ранимый, почему фунт лиха!).

Лагерь, карантин, наколка, учетчик погрузки (о, Гефсимания, лучше не вспоминать, выбросить из памяти; каждый творит лагерь по своему образу и подобию): доходил, пропал совсем, припух. Обломилось дохлятику в первый год каргопольского лихолетья, как никому. Крепко уделали. Но теперь перед нами совсем и вовсе другой человек: он нашел свое место в лагере, кочегар на электростанции, уж не воняет мерзким страхом, не утопен, эластичен, почти неуязвим, пригладен, отличные лагерные манеры, хотя по-прежнему скверно худ, гремит молодыми костями, чуть затянут. Будешь затянут! Дышит, подлец!

У ворот вахты топчется, переминаясь с ноги на ногу, ночная смена, нога о ногу постукивает. Самое начало апреля, светло, а еще вчера выходили в темень непроглядную, лишь фонари одинокие уныло на запретке горели, внушая почтение к бессмертному, грозному гению лагеря. Суета, наши будни. прискакал изрядно заспанный нарядило, беспомощно, неслушающимися руками перебирал замызганные, замусоленные карточки, упростил до минимума ритуал. Выкрикнули и Васяева, отозвался, отрапортовался по протоколу: привычка. Вышел за ворота; скучная, давно знакомая рутина. их, как водится и полагается, сосчитали, еще раз пересчитали, конвой принял по счету, снова пересчитал (сдавать-то по счету придется). Наш юный герой огляделся окрест, однако страданиями человечества не была уязвлена душа его: на душе легко было. Бросил взгляд на окна комнаты свиданий, там, в окне, он разглядел молодую женщину в пестром платочке и шебутную старуху: к кому-то приехали на свиданку, всматриваются в нас, изучают наши неприглядства. К Витьке Щеглову в январе жена приезжала, милая девочка, ее Женя выглядел и хорошо разглядел сквозь ворота ОЛПа: птичка-невеличка, кроха, с ноготок, миниатюрное создание. Витька влюблен в жену, и она ему глубоко предана, Пенелопа, сто лет будет ждать, дождется. Витька восторженно говорил о жене: Психея. И к тому же изумительная стряпуха. Повезло ему с женою. После последней комиссии из ГУЛага со свиданиями у нас скверно стало, хуже некуда, всего на два часа разрешают свидание, ну, на другой день могут дать еще столько же, а могут и отказать, катись, мол, от ворот поворот. А для свиданий одна общая комната, перегородки снесли, не положено, по углам рассядутся несчастные, шушукаются каждый о своем. А каково на глазах всех с женою устраиваться? К этой, что в платочке, к молодухе, хехе, мужик придет, законный, а к бабе Яге, старушенции, сыночек, ужас. «Будьте великодушны, отвернитесь! Мы — мигом, как кошки. Справим нужду, живые же, хочется, законная жена, простите за выражение, приехала, привезла самое дорогое — велосипед». А тот, что с матерью, подглядывает с жадным любопытством, как там у них получается. Хам! Не побезумствуешь. Не украдешь у начальничка счастья. А как-то надо ухитриться. А может, и не получится ничего, бывает, говорят, в такой ситуации часто ничего не получается. Досада! Позор! С женой — и не получается, удавиться можно. После такой неудачи жена может бросить. Решит, что припух, импотент. Зачем ждать импотента? Витьке Щеглову очень повезло, они одни с Пенелопой оказались в комнате свиданий; опять пишет жена, Нинкой вроде зовут, что уехала пустой; Витька опять о себе с

грустью сказал (шарж, пошлость, неинтеллектуальные интонации, но и грусть, грусть глубокая, грусть свирепая):

— В неволе не размножается.

И еще выразительный казус нашей экономики: в Москве в помине нет дальневосточных деликатесных крабов (сразу после войны полно было, на каждом шагу!), а в наш лагерный ларек завезли по недоразумению сущую тьму экзотических консервов, видимо-невидимо у нас крабов. Витькина жена повезла в столицу добрую авоську консервов. Говорят, с ними салат хорош, вкусен. Нам бы что попроще.

Дотошный педант начальник конвоя еще раз пересчитал нас, стучал дощечкою прилежно каждого правофлангового по плечу: для полной, точной арифметики. «Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения! Понятно?!» — «Понятно!» — гаркнули не в лад несколько молодых, звонких, бравых, дурашливо-нахальных голосов, нахально-весело гаркнули. «Следуй вперед! — и винты на изготовку. — Шире шаг!» Колонна двинулась, шли почем зря шаркая ногами, нарочно шаркали, нарочито, кому-то назло, наперекор, растянулись на полкилометра; время от времени начальник конвоя останавливал нас, задние подтягивались, нехотя, мешкая, тут же снова становились толпою, оптом шли, как стадо; а дневная смена (народу-то в три раза больше) еще не так растягивается. Мы шли. Где-то совсем поблизости, совсем рядом озеро, неправдоподобно рыбное, странное озеро, но из зэков его никто не видал. Лесозавод — рядом; какой-нибудь Агасфер, пешеход знаменитый, бывалый ходок, легко пехтурой за десять минут добрался бы, мы же на это тратим чуть ли не час, дневная смена еще больше часа. Мы упрямо, упорно идем толпою: веселый, бесшабашный протест. Бывает, что какой-нибудь настырный служака, неукротимо злобный, поусердствует, заставит нас разобрататься по пятеркам, чтобы мы шли на трудовой подвиг державными, стройными, красивыми рядами, но это редко, да и кому охота по доброй воле с нами возиться. Смуцу воспоминаниями о прошлом: жареное. В сороковом, славном довоенном (темно предание, слава Богу, все в прошлом, былшем поросло!), разыгравшийся, раздухарившийся конвой (молодые парни, кровь кипит и сил избыток!) заставлял зэков в жирную, живописную грязь бухаться, а тех, кто очень горд или замешкался, выбирает местечко посуше, враз хлопнут: убит при попытке к бегству; а еще прежде, во время оно, на нас убойную силу оружия испытывали, не то что научно испытывали, а так, дурачились, баловство. А почему бы и нет? Пуля, девять грамм, всемирно славной, безотказной винтовки-трехлинейки образца 1891 года, чудо-винтовки — ей-ей, лучшая в мире! стебель, гребень, рукоятка, берет за милую душу троих безымянных зэков (независимо от национальности, перед пулей все равны) навывлет, четвертого лишь ранит, не смертельно. Какова винтовка! Очень для своего времени удачная конструкция. И не случайно она не сходила с вооружения нашей армии чуть ли не до конца последней войны. Помните фильм? Человек с ружьем? Чего только вам зэки не расскажут, как только свою судьбу не распишут. Слушайте их. Наш многостранствующий и многострадальный Улисс, Женя Васяев, всех этих страшных сцен и страстей не видывал собственными глазами, дальше комендантского он не бывал, а лишь слышал такую притчу, за что купил, за то готов продать, словом, все это — предание, святое предание (протестантизм отрицает предание, но мы же православные, греческой веры). В лагере современной формации канва и рисунок сильно отличны, что-то деградировало, смягчилось несмотря на суровость сигналов из ГУЛага (но ГУЛаг далеко, за лесами и полями: в Москве), рязмякло, конвой не тот, злоба не та, а с нами без строгости и суровости нельзя, к нам нельзя подходить с позиций гуманизма и либерализма: зэк, сволочь такая, наглеть начинает, немилосердно, грубо наглеет. Нет, я вам честно скажу, что зэк — это жуткая сволочь! Дорога до лесозавода умощена плотной щепой, чтобы в болоте мы не увязли и дошли до работы. Многие годы в болото щепы сыпалась, утрамбовывалась нашими ногами. Почуял

зэк, сволочь рваная, что с ним конвой по-человечески стал обращаться (слабину дает?), — враз начались безобразия, начался изобретательный, несусветный идиотизм. Вздумали мы в ответ на послабление бросать в конвой щепу, что под ногами валяется. Надо же такое выдумать! Раз чуть в голову направляющему не угодили, ну, разумеется, чуть не считается, рядом, мимо пролетела. Почти. Ведущий быстро развернулся, его дура описала правильный полукруг, уперлась стволом в нас, а самую гущу строя: не промахнется. Хрякнул затвор, и этот отвратительный, нестерпимый, истерический звук очень сконфузил нас, произвел отрезвляющий эффект, молниеносный, убедительный, уплотнил реальность и время, привел в чувство шалое, разгулявшееся, наглое, отвратительное людское стадо. Опомнились, голубчики. Во-во, другого языка мы не понимаем. Шквал злобы обрушился на озорного, бесшабашно-шалавого архангельского флибустьера-клешника, это, конечно, он бросил щепу, шельма вечная, Колобок голубоглазый, он, он отчубучил, скотина безмозглая, дурак, большой, а без гармошки: он старался. А ведь сами только что балду гнали, подзуживали, подогревали, подбадривали мазурика: «Вали, вали, Вась, вот эту хреновину кинь, гожа, тяжелее!» А наш белобрысый, как альбатрос, лучезарный, великовозрастный юродивый-идиотик, вечные хиханьки да хаханьки, рад стараться, в своей стихии, ума-то своего нет, дуралей он и есть дуралей. Все продолжает лыбиться, как солнышко ясное, уши-то громадные, как у того животного, на котором наш Господь Бог в Иерусалим въезжал, вернее, как у слона, краснющие лопухи, преогромные хрящи: по народному поверью, трудно вылезал. В голубых глазах (прямо-таки святой, рублевский голубец!) вечный бесенок: пустая, глупая, очарованная душа. Есть еще присказка, в зубах конвою навязла: «При невыполнении законных требований конвоя или попытке к побегу конвой применяет оружие! — и засим существенная добавка, весомая: — Без предупреждения!» Васяев, наш юный герой (он все еще очень юн), не видел, чтобы кто-нибудь из строя со всех ног на рывок рвал, петляя, как заяц, хоронясь от горячей пули конвоя. Побег на рывок неканоничен для лагеря, осуждается. В бараке как-то судачили, что в 47-м году какой-то священник спятил вроде, вышел из строя («Батя, рехнулся малость! — Ку-ку»), не хоронясь, безоглядно, абсурдно и не спеша двинул в сторону, к лесу, не бежал, а шел ковыляющим шагом по снегу; его окрикнул, нагнал начальник конвоя, умело приласкал рукояткой револьвера, вернул в строй, ко всеобщему удовлетворению, обезумевшего, закуролесившего батю, на этом все и кончилось вроде бы, лишь шишка ой-ой-ой на голове вскочила. Говорят, что этот священник преспокойно тянет срок на 46-м, говорят еще, что это не кто иной, как Иоанн Кронштадтский. Нет, никакой не Иоанн Кронштадтский. Тот давно умер, ровесником был Льву Толстому, осуждал Толстого, как нового Ария: эпоха прошлая. Перепутали наши умники. В тот незапамятный первый год лагеря и нашему герою залетало в голову: выйти вот так из строя, пусть кокнут, чем быстрее, тем лучше, не вмоготу! Один конец, шлепнут — и лады, затихающая, смертью смываемая боль, утихание боли (те, кто видят насквозь и глубже — Будда, Платон, Шопенгауэр, Фрейд, — считают, что по ту сторону принципа удовольствия и жизненного порыва лежит воля к смерти, к небытию; и великие наши писатели-психологи знали эту истину, Достоевский (Свидригайлов), Толстой («всем хочется сладкого, вкусного, нет конфет, так грязного мороженого. И Кити так же: не Вронский, так Левин»; Анна Каренина постигла высшую мудрость и смысл бытия — бросилась под поезд). Не вкусил бы Женя блаженного небытия, если бы вышел из строя, а угодил на сорок шестой, воровской, ОЛП, в самую что ни на есть жаркую Африку, к опомнившемуся Иоанну Кронштадтскому. Если кто и идет в побег, так это воры. У них явочные квартиры, взаимопомощь, организация. А куда побежишь без связи с волей? Паспорт, прописка? Прошлым летом был побег, но не с нашего ОЛПа, а с воровского. Отловили, быстро и до единого. Трупы беглецов выставили напоказ для всеобщего обозрения у вахты, окровавленные, обе-

зображенные, собаками истерзанные. Нам в назидание. Неповадно будет! Чтобы соблазнов не было! Мы проходили мимо трупов, разлагающихся, смердящих, глядели, кумекали, прикидывали, что с каждым будет, если сдуру возжелаешь воли: наглядная педагогика, вразумительная дидактика. А у одного беглеца глаз-то, глаз-то вроде бы мужественным, бравым, энергичным штыком насквозь проколот, страшная, злобная рана, сильный, злобный удар, штык, поди, легко прошел глазное яблоко, глазунью сделал, устремился в мозг; безобразие! какой ужас! Кровь стынет. Женя отвернулся. А Саше Краснову, как и Иоанну Кронштадтскому, побег сошел с рук, и слава Богу! А еще рассказывали, опять-таки в прошлом году, весной: на 46-й воры прорыли хитрую сапу под землю, но не затем, чтобы на волю вольную утечь с концами, а на соседний лагпункт, женский, который был рядом, видимо, дразнил, через дорогу. Шуточное ли дело, в поте лица работали несколько месяцев, бессонными ночами, охотка пуще неволи: инстинкт-провокатор, воспетый поэтами, двигал их волею. И — весна! Без воли-свободки жить можно, без глаза жить можно, а без бабы не поживешь. А в ГУЛаге сволочи внятно нам объявили: узлом завязывай! морским! Забудь и мечтать о бабе. Еще Кононов предупредил (ехидно!), мол, десять лет живой ... не увидишь! Дежурная фраза. Кто из подследственных такое не слышал. Лаз на другой, женский, ОЛП был плох, говорили, с инженерной точки зрения, обвалился, не начав функционировать, весенние вредные воды подмыли его, и пропали труды, так и не попали воры на сладкий ОЛП. И о самоубийствах в нашем Каргопольлаге не слышно. Да все потому, что скотина зэк, беда с ним, воспринимает окружающую его реальность — бараки, столовку, колючую проволоку, вахту, изолятор — не как абсолютно подлинные и бесспорные явления, а так, как должен был бы воспринимать христианин ценности сего мира, имей он веру с горчичное зерно: впереди жизнь вечная! А он, христианин, все о здоровье печется. Зэк — это жуткий монстр, не любит своего рока, под слоем цинизма, грубости, трезвости вразрез со здравым смыслом и очевидностью тлеет болеутоляющая надежда. Ждет чуда. Что-нибудь да должно непременно случиться, и факты, и статистика, и рассказы тех, кто сидит здесь с тридцатых годов, с довоенного времени, не изгонят надежды. Нет, мы весь срок сидеть не будем. И наш герой, как запойный, горький пьяница, тянется в КВЧ, мнительно открывает, листает подшивку газет, суеверно открывает еще страницу, как голубоглазая, светловолосая прощелыга и бестия Колобок открывает игральную карту, когда идет по банку, к хорошей карте, к десятке, чай, прикупает счастье. Вот бы! Эх! Еще два в Аделаиде Ивановне гуляют. Вот бы туз! Хватит. Себе! Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз! Умом-то юный Женя ясно понимает, что никакой амнистии для нашего брата, 58-й, не жди. Лучше никуда не писать, а то еще добавят. Сиди тихо. Он громко и во всеуслышанье смеется над теми, кто еще ждет амнистию политическим. ЖОПА. Емкий, точный термин. Нас и не следует выпускать. Глупо. Все погубим. Мы же растлевающая зараза, злая чума. Если нас выпустить, заразим всех. Если кесарю кесарево, мы должны сидеть вечно, беспросветно. Слаб человек, слаб: душа в конфликте с рассудком, тянется к губительным ядам надежды. В мечтах живет Женя. Идет он под конвоем к лесозаводу, смотрит на гигантскую трубу электростанции, видит ее ясно, но галлюцинирует наяву: не труба это, а обелиск, грандиозный, вокруг обелиска желтый песочек. И надпись, скромная: «Здесь был город Москва, он обидел Женю Васяева!» Не слышно у нас о самоубийствах. Впрочем. Их бригаду рассчитывала вольняшка, жена заместителя начальника ОЛПа, нервная, стареющая особа, очень безвкусная, кричаще крашенная, вся такая из себя цирлих-манирлих. Раз Женя зачем-то зашел в контору, спросил о чем-то. «Вы москвич? — заискивающе глянула в глаза Жени расчетчица, и, когда он подтвердил, что москвич, восторженно уставилась на него, как на диво. — Как бы я желала в Москву, в Большой театр!» Лицо Натальи Николаевны перекопилось, лимон заглотала, разрыдалась, прикладывала к глазам, как промокашку, быстро сыреющий батисто-

вый платочек. «Вы любите музыку?» — Женя решил, что перед ним провинциальная меломанка, мечтающая послушать пленительного, сладкоглагого Лемешева или еще кого-нибудь из светил и знаменитостей. Наталья Николаевна категорически, сердито отвергла предположение: нет, музыку она не любит. Так зачем же ей в Большой театр? Женя делает наивно-вопросительные глаза. Наталья Николаевна пока что занимается своими слезами, все прикладывает к глазам платочек, который давно пора хорошенько выжать; трагически, полной грудью вздохнула, выдавила фальшивую улыбку, противную, хотела что-то сказать, но слезы снова, с новой неистовой силой, еще пуще, обильнее, хлынули из глаз, которые были на чухонских болотах, наклеила на лицо страдальчески-жеманную, фальшивую улыбку. «Насмотрелась бы я на жиры!» — сказала. Ее неприятно-страдальческое, стареющее, морщинистое лицо страшно, неправдоподобно вытянулось, до полной неузнаваемости исказилось, как в кривом зеркале в комнате смеха. Она уже не вытирала слез: шлюзы открылись, разверзлись хляби небесные, всемирный потоп, ковчег для спасения нужен: человек на девять десятых состоит из воды, по составу близкой к морской (моча, кровь). «Меня муж не любит, — доверительно жаловалась женщина, смутив застенчивого юношу (наивно-вопросительная, внимательная поза нашего Улисса спровоцировала ее на откровенность: родная душа, поймет), только женских слез ему не хватало. — Жиров у меня нет! — дальше развивала она идею, объясняющую нелюбовь мужа, вламываясь в сферу непристойной откровенности. — Мне бы жиры!» — застонала она. Это все были привходящие обстоятельства, случайно ставшие известными Жене. Наталья Николаевна ловко ухватила льготную путевку (по профсоюзной линии) в подмосковный санаторий, отвалила в отпуск туда, где жиры, вдоволь и всласть насмотрелась там, в санатории, на жиры и осуществила, так сказать, заветную, лучезарную мечту: в последний день отпуска, когда пора было уже о Севере думать, когда недогадливо-равнодушные соседи по комнате (Ремизов: «человек человеку бревно») дружно умотали в кино (фильмец шел интересный, и ее звали, отговорились, что собираться должна), она взяла и повесилась. Успешно. Вот так-то. Это уже не анекдот, а дрянь, истовая патология. Как понимать прикажете? Не все дома? Смятение? Накатило? Климакс? Отпуск соседям по комнате испортила вконец. Кому приятно созерцать удавленника, у которого язык синющий до пола вывалился, громадный, как у коровы, не дай Бог приснится. Не для того приехали, чтобы такое созерцать, да еще за свои-то денежки. Совести нет. Могла бы и дома повеситься. Вот тут решайте сами, где лучше и где хуже — в лагере или на воле. Где потеряешь и где найдешь. Сиди Наталья Николаевна в лагере, никогда бы не удавилась. Здесь бы ею никто не брезговал, нашелся бы Колобок, осчастливил. И Туган-Барановская нашла в лагере свое счастье. Ничего, что шире маминой юбка новая, полосатая. Да ведь и Женя чуть не удавился из-за любви, там, на воле.

Мы шагаем на завод. Нашей колонне наперекосяк движется какая-то женщина, очень даже ничего, в самой поре. Хищный глазомер. Она останавливается, замирает под нашими раздевающими жадными взглядами. Она переживает, когда пройдет колонна. К вахте шла, на свиданку приехала. Чья-то небось жена. По облику не местная, не аборигенка. Все: вяпалась, голубочка! Озаботила, раззадорила, вдохновила нас. Ненавидим мы вас, вольняшек! Убить готовы! В оборот берем. Захват. Трам-бам-бам, понеслось, лавина. Мы стерженеем.

— Моя жена! — надсадно рявкнул неусыпный, неутомонный, вредящий Колобок, обалдуй, белобрысый пройдоха. Оглушил прямо.

В глазах женщины недоумение, испуг.

— Милая, что ногу отставила, печенка выскочит.

— Машка, зараза, печенку-то тяжело назад вставлять!

— Красючка, век свободки не видать, шли с нами!

— Выбирай. первые красюки!

Три рубля даю!

— На хор поставим, помнить всю жизнь будешь!

— Жинко, что с ногою говори сука?

— Прокурор натер?

— Протезом!

Глотки у нас лужены, прездоровы. Мы молоды, восторженны, не обличаемы совестью. Жизнь бьет ключом, избыток сил. Дружно раскатисто поем символ веры:

— Халява моя!

— Сучка, скважина. Позорница!

— М...вошка!

— Гумозница, шмакодявка ...ева!

— Кобёл грязный! Мордоворот, лахудра. Страшнее войны!

— Тебе мерещится залупа конская!

— Трехстволка, паскудина!

— Вам на воле цена три копейки.

Хор, лик (ликовать? — ликуем), дружно, словно заранее хорошо отрепетировано, спелись, словно прошли студию МХАТа:

— В лагерях вам дадут три рубля!

— Зарастут ваши ... бурьянами!

Прошли. Показали себя. Мы живы, кипит наша алая кровь волной неистраченных сил. Туча, гром веселья. Удальцы. И жизнь кипит, и сил избыток. Все они курвы, бляди, проститутки продажные, позорные. Все до одной! Наплевали сучке в душу, напились крови — праздник, подъем, ликует сердце. Потому что у нас каждый молод сейчас! Местные-то бабы знают нас, старательно, корректно далеко обходят колонну, чтобы не попасть в едистос, а какая дура замешкается, случится рядом — под процедуру попадет, волна радостного улюлюканья поднимется. Рявкнем и разнесем. Мы — такие. Мы без женщин, а потому злы на них, прохода не даем. Аборигеночки видят в нас исчадь ада, отвратительных, грязных скотов, утративших человеческий облик и подобие, да мы такие и есть, отребье, расхлестанное, разнузданное отребье! Берегись! Всмотритесь в наши тупые, хамские, раскрасневшиеся морды, и вам станет страшно. Мы не люди! Средний возраст где-то двадцать пять, в самом соку и мужской силе. Выпусти нас из лагеря — худо будет, разнесем все, всех перенасилуем. Нас в узде держать надо, кто залетел в лагерь, тот должен в нем навек остаться: что Бог соединил, того человекам не разлучать. А еще сказано: не напрасно он носит меч. Где же это сказано? Женя не мог вспомнить. На поверхность сознания выплеснулись чьи-то жалостливые слова: когдаходишь к женщине, вспомни, что это может быть твоя сестра, мать. Тьфу. Засоренная память. Идеализм. Женя разыскал глазами в колонне зэков Колобка: неймется неутомонному, неутомимому мазурику, дурью все мается заводной, вечно что-то вытворит — забавы, шуточки. Вот кому-то на голову рога, сделанные из проволоки, норовит накинуть, крадется сзади тихой сапой. Удалось! Рад! Положил шар в лузу, шустер, шкодник. Старику накинул рога, на кепку. Гогот, жеребцы опять гогочут, развлекаются клюют старика, который и не поймет, в чем же дело. Потешаются. Как не помнить нашему Улиссу нестерпимую круговерть, лихоманку грозного первого года лагеря. Зелен. Бука. Посмешище. клоун. Хлебнул, страстотерпец. Хотелось бы из памяти изъять унижительные картины: гадко, постыдно! И с отвращением читаю жизнь мою. Изъять, изъять! Но как? Наша душа, наше ускользящее «я» насыщено, завалено картинами прошлого и так же чревато будущим, закодированным, зашифрованным. Эту мысль слышал от Грибова, а Грибов приписал ее великому Лейбницу. Лейбниц? Когда он жил-то? Лейбниц? Монады? Индивидуальное зеркало вселенной. Наш мир лучший из возможных миров. У Вольтера это проповедует Панглос. Год сорок девятый, осень: только что за вахту вышли, кто-то с разбега, видать, крепко всадил Жене пинок, Женя в кого-то врезался, кто спокойно шел в строю перед ним; тот оглянулся, обозлился,

хлобыск по морде, еще хлобыск. «Закатай ему в глаз!» Женя увертывается, инстинктивно и панически закрывается руками — где там, не закроешься его мощно сбивают с ног, прынул, сыграл, повержен наземь, упавшего, лежащего бешено лупцуют ногами кто во что горазд; проходят, и каждый горазд всадить с новыми, свежими силами и энергией, свидетельствует от всей души, с безумным неистовством, с азартом и искренним рвением: по почкам, по печенке, по бокам, по мягким местам; доканывают, забивают юнца, забористо, остервенело, интенсивно, увлеченно, со вкусом, прицельно и снайперски точно, каждый вносит свою крепкую лепту, увесистую, в общее дело. В дикий раж вошли. Кранты, забивают до смерти (Женя закрывает голову, инстинктивно виски зажал), долго ли доконать, если стараться всем миром, прикончили бы, да ангел-хранитель, начальник конвоя, подскочил, спас, не дал убить насмерть мальчишку. Старатели мигом разбежались, перепутались в строю, нет их, кто бил, не поймешь: мы били! Все вместе! Все виноваты, значит, нет виноватых. Какой пассаж! Над Женей нагнулся заступник, помог впечатлительной, растерянной, сверхчувствительной очарованной душе, воспитанной на Ромене Роллане, Рамакришне и любви к людям, подняться. Ссутулившийся идиотик теперь корчится от боли в три погибели, догоняет строй, идет сзади всех, преодолевает в горле спазмы, икает. Вот она, встреча с Истиной! Среженье. Золото, золото сердце народное! Познайте истину — и истина сделает вас свободными. Кто некогда любил людей, потом слегка побаливала печень: Прометей! Путь Истины! Если бы не начальник конвоя, от юного Улисса осталось бы мокрое место: кровавая мимоза. Еще раньше, в карантине, навалились на него злключения и кармы: лагерь с первых же дней обнял его, как обнимают руки молодой, страстной женщины. В стационар попал Женя: душа знобилась, печалилась, скорбела, а медицина считала (опыт), что загнется, непременно и в самое ближайшее время, на пятке чернильным карандашом номер напишут, бирку к ноге: по чистой! Зафитилил убогий — скоротечная дистрофия, и появлялась малоприятная фигура в белом, сверхчувственное видение, смертушка, первая очная ставка и флирт со смертью, да, та фигура из области духов, охмуряющих привидений, фикций с неясным словарем потребовала в явочном порядке принимать всерьез свое бытие и бесспорность, несомненность, но тут нам непредсказуемый неврастеник, полный рефлексий, совершил прыжок, выскользнул из костлявой, когтистой лапы неминуемой: сам Женя не мог объяснить, как ему удалось не отбросить копыт. Оклемался: потрафило. Самое страшное не виденье смерти, а когда тебя, истощенного, растерзанного, упавшего, забивают. Женя теперь другой, ловко, фокуснически подменили его.

Мы подвалили к воротам рабочей зоны: они закрыты на щеколду, кто-то намеревался отбросить щеколду, пройти, шагать дальше к рабочему месту. Одернули. Мы быстро разобрались по пятеркам, взяли руки назад, стоим, тупо смотрим на закрытые ворота, прилежно, убедительно изображаем быдло, кто-то даже пробует мычать, нет, не собираемся открывать ворота, нам не положено и не будем, баста, заставим открыть начальника конвоя, пусть, его работа; мычим дружно: несуразная, безгласная, бессловесная скотина перед вами. Прибежал Цербер, гавкнул (... в рот), а мы свои права туго знаем, руки назад держим, не собираемся за щеколду браться. Прошли, очень собою довольны. Женя направился на бассейн, где когда-то работал. Куда спешить? Спешить ему некуда, ночь длинна. Сдается, леса нет? Электростанция работает на отходах лесоцеха, опилками топимся. Когда лес есть, лесоцех пилит, опилки сами наполняют бункера, их транспортеры тянут, умно сбрасывают, техника, механизация, а у кочегара одна лишь забота — поболтал веслом в бункере, зашуровал топку, сиди смотри на водомерное стекло, ватерпас. Но вот нет лесу, стоит лесоцех, как быть? Приходится опилки доставать из завала, лопатить, с пола в топку лопатой бросать — кому это в радость? Достается, выматываешься за смену я те дам. Бассейн был пуст, ни бревна. Штиль. Шибанул в

нос запах гниющей древесины, чем-то напомнил запах браги бурды самой, специфический запах. Брагу надо бы заварить, не упустить Шевченко, всучить сахар.

Леса не было, и все же Женя спросил.

— Как насчет леса?

— Нема, — ответил Желтухин.

— Что, обещают?

Желтухин пожал плечами:

— К утру.

Яшка Желтухин, семнадцатая республика, наш давний знакомый.

Вошел на станцию. Так. Его локомотив «вертится». Значит, всю ночь пахать. Женя подошел к Шевченко, передал ему две пачки сахара, по килограмму, на глазах всей бригады отдал, при всем честном народе. Не втихаря. Отнюдь не лапа, а бормотуху вместе заваривают, вместе причащаться дурману будут, еще других лизоблюдов и дармоедов угостят, на всю... братюю хватит. Шевченко с важным, представительным-державным видом хозяина жизни принял сахар, держит в руках не таится.

— Заделаю утром.

Не больно верится, что эта прижимистая сквальга, рвач и хват доложит свой, кровный, — галоши заливаает, всегдашняя плутня. Но Жене все одно, чихал. С тринадцатого этажа чихал. Кукусик. Честь имею. Суворов платит.

— А дрожжи?

— А то нет, — улыбается Шевченко, буравит Женю умным свиным глазом. — Поищу, пошукаю по сусекам. Будет и белка, будет и свисток.

Плоть непомерная, нажрал хобот, разнесло!

— Берете в компанию? — то Алексеев подскочил, приволок в огромном куле сахарного песка. Так, теперь-то довольно будет, с избытком.

— Выбродить дать надо, — с настоящим, правильным знанием дела и соблазнов отпустил реплику Женя, улыбнулся новой улыбкой, подкашивающей собеседника. — Начинаем на третий день пробовать, отцеживать. Не даем поспеть. Чтобы как штык: десять дней.

Если бы Женя сегодня выскакивал за ворота на пресловутую волю и уже был абсолютно независим от Шевченко, все одно не мог бы фордыбачить, кобениться, послать Шевченко куда подальше: магия власти! Впрочем, умный человек должен до последней секунды жить по законам лагеря. Боря Ратновский рассказывал, как небезызвестный Виктор Луи всю дорогу под расслабленного волочил ноги, на костылях ходил; пришло освобождение, дошел на костылях до вахты, получил справку, вышел за ворота на костылях, отбросил их, бодрым шагом, уверенно, энергично зашагал к станции. Вот это да! Вот это натура! В Шевченко была гипнотическая сила: предназначен командовать людьми, рожден для власти. На душе твоей светлее становится, когда Шевченко подарит тебе снисходительную улыбку. И хотя Женя на станции не последний человек, не отставной козы барабанщик, а проверенный, правильный, многоопытный кочегар, в авторитете (любой машинист, самый придиричивый готов стоять с Женей смену), однако, получив посылку из Москвы, Женя не может не отвалить Шевченко — таков закон. Вот Алексеев, на что золотые руки, независим, а получил с воли «ящик», взгромоздил, как и Женя, бушлат между нар, позвал Шевченко и там, отгородясь от посторонних глаз, потчевал старшего: гужевались, крякали. Дают в лагере все. И не Жене, слабаку, нарушить великий, четкий порядок. Женя может перечить, вякать, пререкаться. глотничать с Капустенко (непосредственный начальник, машинист, с которым его всегда спаривают: сработались, спелись), может конфликтовать с самим Шевченко, отказываться выполнять работу, которую навязывают, но которая, согласно тем же неписаным обычаям, должна выполняться не им, кем угодно, но не кочегаром локомотива № 3. К примеру, не его дело обихаживать мотор, который стоит рядом и уход за которым ни с того ни с сего стал вменяться в обязанность кочегару локомо-

бия № 3. Да, можно биться за правду и справедливость, умно доказывать что этот чертов мотор ему не нужен и вытирать его он не собирается. Сойдет: поймут примут. Одного Женя не может — не давать обыкновенную лапу, получив продуктовую посылку от мамы. Борьба за свои неотменные права и высокую справедливость — это одно. Кочегары локомотивов № 1 и 2 только за котлом следят ничего не делают сверх того а почему беда на кочегара локомотива № 3? За какие провинности? Да, с Шевченко можно глотничать, но вот «не уважить» старшего с посылки — срам. «Маю трошки, тильки для себя!» — не годится: опасен, опрометчив, чреват путь. Этот номер не проханже. Очевидно всем и каждому, что грех поступать таким макаром в лагере. Не допустит никто. И докажут тебе промах, как дважды два. Было бы у старшего желание, а повод для нареканий и придинок всегда найдется, начнет проедать плешь. почему пол у топки не подметен? А если его подметать, всю смену только этим и будешь занят, не посидишь и минуты, язык высунешь в конце смены. Топку заправляешь, достаешь опилки из бункера веслом, они мимо фартука то и дело на пол сыплются. Что, каждый раз подметать? И котел у тебя грязный! А как ему не быть грязному? Масло всюду подтекает. С коленчатого вала брызги летят, вытрешь, а через пять минут, снова-здорово, подтеки масла, замучаешься, если всю смену вытирать. К тому же на станции всегда есть невыгодная, грязная работа, от которой все отбрыкиваются, спихивают на соседа. И эта работа будет доставаться непременно тебе, если ты такой дурак, начальство не уважаешь, получил от мамы посылку, бессовестно обманул ожидания старшего. Кто-то должен выполнять и грязную работу, тот же мотор драить. Что, Шевченко должен драить? А соседний локомотив встал на промывку? Конечно, промывкой заниматься должны те, кто обслуживает локомотив, но кого-то дадут в помощь, чтобы дело быстрее ладилось. Если начальство имеет на тебя зуб, этим кем-то будешь обязательно ты. Так и знай. И сказать нечего, пойдешь, куда денешься. А возразишь — Саввич, совесть имей, я в прошлый раз был. Был? А кто прошлогодний снег помнит? Был — еще пойдешь: прошел месяц, все забыто. Помнят другое: получил «ящик», зажал, сожрал, подлец, один. При текущих выходных и пересменке начальству нетрудно тебя обжать, лишнюю смену вывести. Будешь пахать, а кто умный, на нарах в бараке будет валяться, храпака сладкого давать. Кто-то работает больше, кто-то — меньше. Требовать, чтобы график составлялся справедливо и у всех было одинаковое, равное количество смен в месяц, — это все одно, чтобы добиваться, чтобы начальство больше и лучше работало: ведь график не сам составляется, само ничего не делается, Шевченко кумекает, сидит над ним полдня, мухлюет, волхвствует, да все не так, не то получается, что хотелось бы, все мимо. Да и за графиком следить нужно, сбивается график — кто заболел, к кому приедут на свидание. Ты рад филонить, но и твое начальство из того же теста, тоже не намерено лишнее упираться: да Шевченко сто раз проще легче тебя лишнюю смену вывести на работу, чем ломать голову, справедливо распределять, разверстывать смены. Если начальство плохо к тебе относится, лишние смены достанутся именно тебе, не сомневайся. «Не залупайся!» — путная, нужная лагерная заповедь гремит. Не начинай всерьез борьбу за справедливость, за улучшение труда: ровным счетом ничего не добьешься, а условия труда станут безбожно хуже, тяжелее. Это — непременно. Как-то так устроено в мире, что высшая справедливость всегда на стороне начальства, и если с тебя спрашивать по справедливости, то окажется, что ты не только не перерабатываешь, как тебе, дураку, почему-то кажется, а, напротив, недорабатываешь, ты и жив-то в силу перманентного попустительства начальства: просто начальству обрыдно с тобой бороться и глотничать, обрыдно угнетать тебя, обрыдно дрючить тебя, соблюдать ту самую справедливость, за которую ты от большого ума взялся бороться. Найдется обязательно какая-нибудь инструкция, которую начальство забыло применить (нарушает тем самым закон и справедливость), по которой беспризорный драндулет должен выти-

рать именно ты. А если нет такой инструкции, то есть другая, где будет сказано, что ежедневно ты должен чистить авгиевы конюшни, а этой работы начальство с тебя почему-то не спрашивало, и объем работ по очистке авгиевых конюшен существенно превышает тот, который с тебя спрашивали. Уж лучше протри раз в смену этот мотор. Никто и не требует, чтобы ты его всю смену драил, языком лизал. Все инструкции написаны против тебя. В ночную смену машинисты дрыхнут без зазрения совести, а ведь случается и тебе, вышколенному кочегару, часок прижать: сжалится твой машинист, поблажка, льгота. Вздремнуть хорошо, освежает, восстанавливаются силы. Часок сна очень даже не лишен. А ведь ты знаешь, чай, экзамен сдавал, подписывал инструкцию: строжайше запрещено тем, кто обслуживает котел, кочегарам, отлучаться от котла, дрыхнуть. Преступление это, но за тебя в ответе машинист, который дал тебе поблажку, отпустил на бункера вздремнуть. А чем может кончиться? На курсах страшали, показывали развороченные котлы (фото). Взрыв. А почему? Упустят воду, идут против инструкции, рискуют, включают инжектор, качают, думают что пронесет нелегкая. А надо гасить топку, остужать. А как славно хоть на пятнадцать минут забыться, если ночь стоишь, если из-за какого-нибудь Жиляева вырван из сна, не выпался днем перед сменой. Прикорнешь — вновь голова свежая, бодр, бледен, опять хорошо на душе. Машинист-то залезет на машину, пригреется, носом клюет, но это не твое собачье дело, хоть по инструкции и машинист не имеет права спать во время ночной смены. Не дай Бог станет известно и на тебя подумают фискалом, стукачом прослывешь. Вспомни историю в карантине. Чуть что — на этап полетишь воробышком, и никто о тебе слова доброго не скажет. Все инструкции, вся справедливость направлены против тебя. Закон о труде — это муде. Не гони волну, художник. И если ты жив до сих пор то лишь потому, что до ГУЛага далече, высоко. Это небезызвестное учреждение в далекой Москве, а местное начальство нерадиво, лениво, работать лишнее никто не хочет, это вам не Германия с ее бездушным, сухим, немоллимым орднунгом. Слава тебе, Господи, мы не немцы, не фрицы. Так не буди зверя, не напоминай начальству о своих правах, не валяй Ваньку. Знай край, да не падай. Не залупайся. Не ломай понапрасну копья.

Жене в напарники и помощники придан Американец.

— Гоняй его! — напутствует Шевченко. — Не слезай, не давай поблажки. Бери дрын и дрыном.

«Сам бы и гонял», — подумал Женя, но ничего не сказал вслух.

Дневная смена дружно отвалила, нет ее, корова языком слизала к вахте жарят, а то, поди, задрав хвост в зону чапают. Отсюда не видно. Бывают дни, когда фортуна круто, резко от тебя отворачивается, все скверно, плохо, из рук все валится, бунт вещей. не выпался, впереди тяжелая ночь а тут еще Американца в напарники сунули. Дали бы Колобка — другое дело, поделили бы ночь, не перетрудились бы, любо-дорого, а стоять с Американцем — маета. А все почему? Этот дурак залупается, на Шевченко хвост поднял, нарушает космос электростанции. Из-за Американца Женя страдает. На этого дурака котел не оставишь, обязательно воду упустит. А Женя старший, взыскивать будут с Жени. Колобок, прощелыга на бункера спать намылился, бушлат захватил. Здорово у ворот Егорова, а у наших у ворот все идет наоборот. Ой завидки берут! А этот гад ползучий вместо того, чтобы взять лопату в руки - и айда-пошел, весь в тшании: норовит из бункера опилки достать. На конец смены оставь! Другие кочегары всегда так поступают, так работу планируют, а эта сука умничает больно красивый, надеется, что Женя за него в конце смены будет вкалывать, ушлый больно, привычку взял на чужом горбе в рай ехать лукав раб да ленив. «Я за него не нанялся ишачить. Натуральная сволочь! Подлюга сушая!»

Американец ловко поджал по-турецки мускулистые, короткие ноги, уселся по-турецки на скамейке зажмурил глаза, как противный кот, запел,

запузыривает, голос вызывающе нахальный, гнусный. Ну — распелся! А слух есть. Смотри, музыкален. И питекантропы были музыкальны.

Принесли безрукую домой!
Клепу рыжего схватили,
На кол жопой посадили.
И поник он рыжей головой.

Гёте верил в физиономистику, да и как не верить. Рождает же мать-земля чудовищ. И под сильным микроскопом не обнаружишь капли благообразного, человеческого, нелюдь, а не человек: нависшие брови заросли дикой, жесткой щетиной, переходят в низкий, узкий, острый, стремглав убегающий назад лоб, тяжелая мощная челюсть, жуткие глаза в глубоких глазницах, шея бычья, руки дремучи, в шерсти, курьезно длинные руки, как у форменного орангутана, обезьяньи руки; ей-ей: недостающее звено в эволюционной таблице, неудача эволюции, регрессия, провал. А вы говорите, что не доказано, что человек от обезьяны произошел. Смотрите!

Убегающий назад лоб!

Топка прогорала, пар уныло садился, Американец и в ус не дует, прохлаждается, заливается во всю ивановскую, что-то иное выводит с чувством, навзрыд, с сердцем, как в церкви; наше выводит, лагерное, убогое, со слезой (закон жанра: блатная лагерная песня всегда со слезой, сердцещипательна; романтизм!):

И над сырою могилой
Плакал отец прокурор!

Совсем мышей не ловит. «Хочет, чтобы я за него всю ночь упирался. Так у нас с тобой дела не пойдут, дудки. Обнаглел. Не буду за него спину ломать. Не буду, хоть тресни, пропадай все пропадом: и все четыре колеса! Да какого черта я за Американца должен лопатить! Предупреждаю по совести и честь честью: мизинцем не пошевелю. Хамству нельзя потрафлять — раз! На всякую хитрую жопу ... с винтом найдется». Злоба зрела, спела, подымалась как на дрожжах, бурлила, пеной брызгала. Женя встал, демонстративно вперился в манометр, а когда манометр стал показывать плачевные девять «ат» (надо двенадцать), заглянул в топку, да и не нужно заглядывать, так очевидно, что там: чернота, отдельная искорка. Не вынесла душа поэта! Женя взял лопату, начал кидать с пола опилки, а этот паразит. харя поганая, увидел, что студент за него лопатит, запел еще гнуснее, громче, наглее, вызывающе. «Легче самому бросать, чем заставлять эту сволочь! — думал наш слабовольный, ущербный раззява. — За неотесанного фраера держит. Оленем считает. Да я олень и есть. Плохо, ой, плохо». Колобку, голубоглазой пройде, все само в руки плывет, а Жене нет везенья. Вообще-то Женя всегда готов помочь напарнику, но здорово живешь всю смену за Американца вкалывать — слишком. Так не пойдет, друг ситный.

Слава тебе, Господи, Американец наконец замолчал, сморился, заглох; кончилась чувствительная, мелодраматическая самодеятельность: с завидной невозмутимостью, без зазрения совести уложил голову на пудовые, свинцовые кулаки, уткнулся, засопел во все обезьяньи сопелища, похрапывает демонстративно как-то, нагло; храп делается ровным, спокойным. «Сволочь! Найду на тебя управу!» Женя злился на себя и продолжал лопатить за Американца. Парок поднялся. Все хорошо, нормально. Скотина какая! День-деньской забивает домино, дубасит костяшками, а на работе — нате, наше вам с кисточкой. Дрыхнет. Разбужу — и все тут. Почему я должен за него до утра спину гнуть? Заявлю утром Шевченко, чтобы не ставил меня с Американцем. У Шевченко не заржавеет, без канители в порошок сотрет, пропесочит. Двое машинистов от этого умника уже отреклись, и мне не нужен такой напарник. Пользы, как от козла молока. Буду созерцать манометр с буддийским спокойствием, годить (один глаз в Арзамас, а другой на ватерпас); топка прогорит, пар сядет, автоматы выбьет —

пусть, начнется шухер, что-то отключат, клепку (лесоцех и так стоит: леса нет), начнут выяснять — что и почему, вот тогда-то влепят по первое число, полетит ласточкой со станции, выдворят. Наглец, ни в какие ворота не лезет. На душе нашего неврастеника было отчаянно скверно, отчаянно поганно. Да, не годится Женя Васяев в старшие, не умеет Американца приструнить, вздрючить, пришпорить, принудить к труду, а как последний идиот за напарника ишачит, бросает опилки с пола. «Гадина! Манеру взял! За сохатого меня держит, верхом сел и едет. Да я и есть сохатый!» Женя весь с головой погрузился в вязкую трясиину раздражения, презирает себя, все сильнее, отчаяннее рефлексит, растравляет печень (в глубине души знает, что не доведет дело до того, что автоматы выбило, не пойдет утром с кляздой к Шевченко. А надо бы!). Вообще-то работенка посильна, можно одному всю смену пахать, сдюжит, пустяковина, научиться бы ко всему относиться философски, стоически, не раздражаться, раз ничего сделать не может. Лопатить — не шпалы корить на шпалорезке. Когда-то он не потянул работу ученика погрузки. Позор, позор! Опять эта проклятая погрузка, огнедышащий Каштанов. Вечная изжога. Не садись не в свои сани. «Вашто протезе, что, в углу портянку сосет?» У Жени от страха вся душа покоробилась, свернулась кровью, мазал ошибку за ошибкой, путался в кубатурнике, ходил по погрузочной площадке, как сомнамбула. Страх, дичь, чушь, утратил образ и подобие Божие. Нет истины в пограничных, страшных ситуациях: душа изъедена ужасом, как молью, захлебнулась им Ты не человек. Ты глядишь в черную пасть небытия.

Зашел покалякать, потрепаться и оттаять Яшка Желтухин; Женя согрел ему чайку на железяках. Посудачили. Желтухин вспомнил о Эдике Бироне. На местный этап ушел Бирон. Языки лениво чесали, толкли воду в ступе. Посиделки. Приволокся к топке голубоглазый ушастый флибустьер и гальюнщик: продрог до костей на бункерах, зеленый весь, на носу сопля с горошину. Урвал ночку Колобок. Глаза трет, сонная тетеря, задрыга, лажовник. Хорошо ему, выспался. Каналья, прячет рукавицы у Желтухина, которые тот сушит. Желтухин заметил. Оба хохочут. Без рукавиц-то на бассейне сдох бы Желтухин. Легче топку без рукавиц вычистить, чем там, на морозе, багром играть.

— Эх, Ташкент! — прижался Колобок к топке, прогревает кости. — Эхма, да не дома, дома, да не на печке. Буди его, чего смотришь! — показал пройдошистыми, смеющимися глазами на Американца. Светлы, лазурны глаза у Колобка, девке бы такие глазки — цены бы ей не было! Нашто, балда неврастеничная, уныло, безвольно махнул рукою: мол, себе дороже. У Колобка самочинный порыв, хоть ему-то без надобности, никакого прока и навара. Так, озорничает, развлекается, не может не колобродить. Моргнув ноздрей, убрал соплю:

— Эй, мужик, гутен морген, подъем, совесть имей, поднимай пердильник, сучье вымя, бери лопату, поломайся малость, не развалишься: здоровый лоб.

Женя не мог по нравственно-идеологическим причинам принуждать в лагере человека к работе, но, когда это делал Колобок, отстранился, не мешал бедовому Колобку будить Американца: индийский факир не может убить змею, змея священна, но для вашей потехи затравит змею мангустой: тайны Индии. Когда-то Женя был весь в индийской философии. Женя смотрит в пронзительно-голубые глаза Колобка — «сияющий эфир», Индия, Книга природы, голубое небо, образ бесконечности. В глазах Колобка — смешинки, брызги шампанского, чиста, светла душа идиотствующего шкодника, архангельского флибустьера. Женя встретился взглядом с Американцем: тупой, свирепый, злобно-угрюмый, тяжелый, пещерный взгляд, люто смотрит на Женю, поднялся, хватил (как перышко, невесомая!) совковую лопату, на задоре принялся бросать опилки — разминочка после крепкого, здорового сна, ручищи мощнющие, такими задушить гаврика — раз плюнуть. А уж это ни к чему! Американец, не спросив Женю, не глянув в топку, провел заправку. Бездарь, дубина стоеросовая, тюха-ма-

тюха, мазила, портач, головотяп. Ничего, кроме лопаты, доверить нельзя. Не лезь не в свои дела, без тебя заправят Заставь дурака Богу молиться! Как назло! А сила в руках — будь здоров. Злоба в руках. Не сдержался Женя — бзик. Подмигнул Колобку, со вкусом подлил масла в огонь, роскошь себе разрешил:

— Шнеллер! Шнелль! В темпе!

Американец гневно отшвырнул лопату, и она глупо улетела в опилки, застряла; у Жени с кончика языка успела слететь, точно приземлиться подначка:

— Штандер!

Типун на язык. Рискованное остроумие, перебор: можно и по морде схлопотать. Знай край, да не падай. Еще этот Колобок залился глумливым, дурашливо-заразительным смехом: мол, студиозус умеет поддеть, ехидна, язва. Американец аж заклокотал, остервенел, ест бешеными глазами Женю, а в глазах огненное море, мрачный огонь, тьма-тьмущая, черная. Медуза Горгона. Лопнет сейчас. Не шутит. Кулачищи страшные, как муху, прибьет, мокрое место останется. Женя ходит по краю пропасти.

— Ты кочегар как из моего ... оратор, — выговорил с трудом Американец.

«Не гавкай. Отзынь» — это так, про себя, а вслух:

— Тебя-то получше машину знаю.

— Химик ...ев! Начальства развелось — некогда на ... послать.

Теперь взгляд Американца ясно выражал простую мысль: еще слово — и будешь горбатым. Женя замолчал. А может, еще есть запас прочности?

— Ты занимаешь чужое место! — сказал Американец.

Женя не ответил. Заглянул в топку. Сделал несколько бросков. Яшка Желтухин и Колобок удалились. Женя тупо смотрел на манометр.

— Ты занимаешь чужое место, — с непонятным идеологическим накалом второй раз выстрелил Американец.

— Собственно, почему?

— По ... да по кочану. Да по капусте.

— В чем, собственно, дело? Да что ты ко мне при...ся? Рожна какого?

— Вонючка, ты занимаешь чужое место!

— Где мое место?

— В конторе, пером скрипеть.

— Я хороший кочегар. Свое дело знаю.

— Навоз ты! Твое место в конторе. Оно пусто. А человек, который должен работать здесь, на повале гибнет, кочурится.

Лагерь продолжается.

Ишь куда метнул. Так. Вот оно что. А Американец, музыкальное ухо, не прост. Поди ж ты, питекантроп, а унюхал в Жене чужака, чуток, проницателен, усек, что Женя выламывается из социума электростанции, из другого теста, иной, чем все, — белая ворона. Да, разные группы крови, чужеродное тело, не ихний брат. Вот оно, безошибочное классовое чутье. Образованный, книжки читает, интеллигенция. Не наш. Тебя в «воронке» и в «столыпине» привезли сюда за тридевять земель, водят под конвоем, а все одно: чужак. Женя ощутил ядовитый укол, мутная досада, укусила мушка собачку. Будем честны, признаем, что хорошо Американец причесал нашего героя. Женя ясно сознавал, что в бригаде его не воспринимают своим, но знал (чувствовал) и другое — что он как-то примелькался, прижился, что относятся к нему не только терпимо, но просто хорошо, уж не хуже, чем они относятся друг к другу. Каким-то непонятным способом, не слишком подыгрывая, оставаясь самим собою, книжным, нерешительным, узкогрудым, он привлек их сердца: ладил. Смирил. Он ощущал себя уверенным, искусным, бесстрашным дрессировщиком, подчинившим своей воле неправильных, диких, громогласных тигров, может решительно, смело, спокойно входить в страшную клетку, расхаживать среди сверх-телесных, необузданных, коварных, непредсказуемых тварей, становиться к ним беззащитной спиной — и ничего. Сжился, натурализовался. Люди

как люди. Митя, Колобок даже расположены к нему. И Капустенко. Чушь, здесь его место. Мимикрировался. Вась-вась. Звери ведут себя так, как это его вполне устраивает, охмурил всех. А Американец еще новичок, разнюхал, распознал интеллигента, студента. Сжевал и выплюнул. Досада на Американца быстро отлетела, испарилась. Ладно, вздор. Пусть ядом дышит. Женя в своей тарелке, запускает улыбку, говорит ласково-ласково:

— Сосал бы ты

Впопад.

И тебя приручу, очарую. Женя взял лопату, набросал полный фартук опилок, зашуровал, снова набросал, умело подрегулировал водичку, чуть-чуть подвернул вентилек: умеет. Подсел к Американцу.

— Так ты что, по правде в Америке был?

— А то нет, — хамски, очень хамски.

Американец взъерошен; его угрюмое раздражение растет, углубляется, выливается в назойливые подковырки: почему Женя в лагере, как сел? Женя отбояривается, отмахивается. Был студентом, химик, сел за политику, фашист, навертел языком на восемь лет. Не рассказывать же Американцу о субботах, о кумире их юности Кузьме, о ночных радениях и о том, что он, Женя, замахнулся на Ленина, опроверг его знаменитое определение материи как объективной реальности, данной нам в ощущении, а затем вылез на комсомольском собрании с прославлением Рамакришны, Индии духа. Кузьма, Рамакришна, Гумилев. Шопенгауэр — давно это было. Сколько наивного, глупого.

— Не понимаю, за что тебя взяли? — говорит Американец.

Женя с лукавым простодушием цепляется, в свою очередь спрашивает:

— А тебя за что?

— Есть за что!

Как сказано! Высокомерно, гордо, вызывающе.

Все. Ключнул. Ты ключнул, а я подсек. Мой, на крючке, заглотал, уловлен. Крепко сел. Используется привычный ласкательный прием, который с некоторых пор не знает промашек; ланитные мышцы Жениного лица складываются в наивно-удивленно-внимательную улыбку. Нет, он не лицедей. Ему действительно интересно, что расскажет Американец. Искреннее любопытство: ведь у Американца максимальный срок, четвертная, пять и пять по рогам. В бараке его нарекли с ходу Американцем. Рассказал Колобку, что был в Америке, жил там.

Американец забулькал, заклокотал, без перехода, объяснения, подготовки, с кондачка, мускулисто:

— Я их вагонами душил!

А ручищи-то — поверишь. Женя испытывает прилив вдохновения, загорается живейшим интересом к судьбе напарника, к перипетиям жизни, неповторимой, загадочной, как любая жизнь. Как? Кого душил? Выкладывай, выливай, не стесняйся. Не томи душу. Иго мое легко. Еще раз Женя пускает в ход дьявольски чарующую, шармирующую улыбку, ланитные мышцы без труда изобразили ее; с последней, предельной заинтересованностью слушателя смотрит на Американца; очень забавно и любопытно наблюдать, как в глазах Американца появляется просветленное, почти осмысленное выражение, преобразается взгляд, становится человеческим. Так-то. Женя надыбал слабинку, всадил в яблочко, Американец сам уже ломится на откровенность, потчует Женю, врачевателя, сюжетом, как «вагонами душил» коммунистов — партизан, словом.

— А что с ними делать? — озаренка в глазах. — Не солить же?

Хороший коммунист — мертвый коммунист — аксиома, не требующая доказательства. Понял? Раздухарился Американец. Ба! Поди ж ты! Глянька, Ванька, пупыр летит, а взаправду, если честно разобраться, выходит, что напарник-то хоть куды, крупномасштабен, в своем роде художественная натура, а если не поскупимся на эпитеты — гениален! Шлегель: «К чему есть вкус, есть и гений». Из молодых, да ранний! Не привирает ли часом? А что, если колокол льет? Самореклама? Все одно безумно инте-

ресно слушать исповедь взволнованного, юного сердца. И гений, и ... — с этой образиной на узенькой тропинке лучше не встречаться — каннибал. Обезьяний лоб, острый-острый, пайку можно резать запросто. Где-то когда-то Тургенев нам пропел, как хороши, как свежи были розы, и еще ввернул как великое откровение: человек ни о чем не говорит с таким воодушевлением, как о самом себе. Уж это точно! Женя заслушался. Звенящая баллада воина, богатыря, и поется она с жаром и убеждением. Абсурды, бессмыслицы, дебри недавней войны, неизвестные ее страницы, год сорок второй, затем сорок третий. Для Жени это эвакуация, Казань, общежитие на Клыковке, школа, на стене уборной он рисует спаривающихся коней, пойман с поличным. Каждому свое, у каждого свои внешние обстоятельства, своя пространственно-временная зависимость, свой социально-исторический контекст. Так-то оно так, но можно сказать, что каждая душа человека имеет свой замысел и этим замыслом она предстоит перед Всевышним. Наполеон сказал: «Политика — это судьба». Стань самим собою. Фихте: «Личность — это все!» Американец мальчишкой очутился на оккупированной территории, и можно сказать, судьба разверзлась, как неотвратимая бездна, а можно сказать, что она была преподнесена ему на блюде с золотой каемочкой: гитлерюгенд. Вот где проявились и расцвели его природные задатки, вот где паренька заметили, руку дружбы подали. Преуспел, быстро, круто пошел в гору нет полных шестнадцати лет, можно сказать, совсем пацан, а у него уже гордая, кичливая лычка, командует людьми, сверстниками и теми, кто постарше, главарь карательного отряда. обрел себя, используя выражение Гёте, скажем, «совпал с самим собою». С нами случается то, что должно случиться, и мы обязаны не упустить шанс (Святое Писание рекомендует не зарывать талант в землю (притча о талантах), и Американец смело шел навстречу самому себе, и его таланты развились, трансформировались в сверхъестественные способности, а сие означает, если следовать философии Ортеги. «встретиться со своей жизнью и не изменить ей»). При таком редкостном, феноменальном пасьянсе жизнь достигает высшей точки мистического напряжения: жизнь как полностью воплощенное художественное произведение (такими книгами заполнена библиотека Бога, София, Премудрость Божия), яркая, бенгальская, полная риска, игры, удач. Изобретательные засады, капканы, западни; Американец умел притаиться, терпеливо ждать, вытянуть до секунды, которая давала быстрый, решающий успех. Дело мастера боится, а Американец не жалел сил на борьбу с партизанщиной, которая в его сознании символизировала абсолютное зло. Пассионарность: себя не жалел. Дар: везуч, земля храбреца легко носила, быстрота, орлиный глаз, глазомер натиск, военный гений, маленький Суворов, ведь, вспомним, и прославленный в веках генералиссимус за Пугачевым гонялся, изловил, в клетке бандита вез, как опасного, дикого зверя. Есть упоение в бою! Есть! Безумству храбрых поем мы песню. Точно рассчитанная операция, короткая схватка, мертвая хватка, хмель победы. В юношеском сердце разгорается священный огонь преследования; стремительный, радостный, крылатый гон вшивых супостатов бешеный гон, восторг, кураж. Где спаянный, удалой отряд Американца, бич Божий, появлялся — хенде хох! Победа! Конец партизанщине мир, тишина, покой воцарялись в этом краю, гуманизировалась жизнь, нормализовался быт достигалось согласие, консенсус в форме, внятной и желанной для простого труженика. Сорок третий год. бурное, богатое захватывающее время. Восхождение от подвига к подвигу. Верный себе и своему предназначению, послушный Высшей воле, улавливаемой глубинным центром души, где зреет и раскрывается ипостась и творческое ядро личности, Американец упрямо, настойчиво, неумолимо, маниакально, хвалу и клевету приемля равнодушно, вылавливал, вешал партизан; последовательно, принципиально, без всяких разговоров на шею намыленную веревку накидывал, с азартом и аппетитом творил справедливый суд. Да с этой вшивой мразью (партизаны, по словам Американца, все до единого были вшивыми: в лесу живешь — завши-

веешь!) и злом так и должно обращаться. И искоренил бы черную чертову партизанщину, восстановил бы мир и порядок по всей Белоруссии, да и войну бы запросто и на едином дыхании выиграл, если бы... Не здесь решались таинственные судьбы войны и мира, судьбы старушки Европы: немецкие войска откатывались, рок какой-то, а с немцами уносил ноги и отряд Американца. Драпали умело, деловито, без урона и паники, дисциплину, основанную на ощущении отряда как единого организма, в котором каждая атомарная единица знает свое место, не растеряли; толковость, спаянность, боевой дух — не сломались, не выдохлись. умно оттекали.

— Огонь забористый, ладнее, отлаженней, качественней, порядку больше, толку больше, а — не пойму! убей вот! — отступаем!

Немцам придется отдать должное: держали себя благородно, тевтонцы, рыцари, входили в тухлое положение гитлерюгендовцев, а под конец разрешили сдаться американцам. Отряд сложил оружие, жоака не предал, а сволочи американцы, позорники, предали их Сталину с потрохами. Первоначально вроде бы ничего, как к военнопленным отнеслись, повезли в Америку, поместили в лагерь для военнопленных, мариновали там: ходил работать на кирпичный завод; легкая работа, не требовалась норма... Вдруг, здорово живешь, колдобина — цинично передали советским властям как «военных преступников».

Свое волнительное повествование Американец закруглил словами с которых начал:

— Сколько этих вшивых гадов я перевешал, не счесть! У баб под юбкой вшивота пряталась, в спину стреляла. Хороший коммунист — мертвый коммунист.

— Ты зверь, — изрек Женя, опытный канатоходец, не боится высоты, не боится сверзиться. Острые углы не обходит.

— У меня нюх на них за версту, как у ищейки, — с человеческой интонацией, простодушно.

— В Америку как, на пароходе везли? — в порядке любопытства, без худого умысла, непредвзято спросил Женя. Тон взят верно.

— Не, — неохотно, словно что-то подозревает.

«Выходит, на самолетах? Ой ли?» — трахнулся, как о камень, наш тюха. Вот те раз. Брешет, уши вянут, чушь собачья, смех, врать-то горазд. Туфта, барон Мюнхгаузен, Хлестаков. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмаршалы! Есть чему дивиться. Предположим, мальчика на девочку положим, пусть у Америки великолепный воздушный флот, в Берлин на самолетах каменный уголь возили, когда наши бобики им перекрыли железную дорогу и наземные пути снабжения. Помним, отлично помним, прославились американцы, нет спору, удивили, потрясли мир сверхъестественной мощью техники. Это — да! Ай да американцы, сукины дети, что придумали: воздушный мост. Но не слишком ли будет жирно военнопленных, как графьев, на самолетах катать? Дичь.

— На самолете? — осторожно уточнил Женя.

— Не, — оскал: весь вызверился Американец, зубы-то обезьяньи (вообще-то наш герой не очень-то представляет, чем зубы человека отличаются от зубов обезьяны). Вопреки логике и элементарному здравому смыслу и этот вариант отвергнут.

— Так как же? — всколыхнулся Женя: сбит с толку (да и ты, читатель, преклони слух, вздрогни!). Вроде все исчерпано, все возможности перебраны.

— В товарняке, — окончательно и бесповоротно выдал Американец, что называется, приложил, припечатал. Гоголь: «У, Русь!.. неестественной властью осветились очи...»

Вот те да!

Да не ослышался ли? Исправно ли работает слуховой аппарат?

— Что? — взвыл, как сумасшедший, Женя, простосердечно всплеснул руками. Ку-ку, ахинея, буксует разум.

— Через плечо. — щелчок по носу, получай на чай, умник.

— Как на поезде?!

Все неладно окоlesiца бред горячечный собачий, бред сивой кобылы в лунную ночь. Нонсенс! Ошпарен, весь выбрыкнулся из себя

— А оксан? — последний довод униженного интеллипуца.

Нет океана, — взлет прометеевского духа, категорическим глаголом умудренного, убежденного очевидца огрел Американец оранжерейного, книжного юношу. Так. И не иначе. Видел воочию, сам видел. В моем мозгу пусть две извилины, но они мои: протуберанцы! Знания не из книг, а из жизни, конкретно. Нет океана, опоясывающего Европу. Во тьме живете, грамотей.

— Нельзя на поезде, — скок-поскок, выболтнулось, само выговорилось, еще рыпается наш алхимик-книжник, еще возражает, развивает мысль. — Вода много воды, океан, соленый, теплое течение Гольфстрим.

— В школе учили? — с откровенной, гадливо-ехидной, высокомерной, охульно охаивающей издевкой задан вопрос.

— Ну — в школе.

— Облобызай мой, сифилитичный, — хлесткий, звонкий киндермат Утер Жене нос. — Да что с тобой говорить? Да ты супротив меня что маргарин против сливочного масла! Да я свой ... в твоих мозгах полоскать буду! Студент — тьфу! — Уж зело суров ригоризм. Получилось, что Женя, ученая голова, вместе со всем МГУ имени Ломоносова в калошу сел, в подметки не годится человеку, повидавшему мир, жизнь. Распутица Ой, дурно, воды! Наш герой пронзен силою убеждения. Американец уверенно заявил, что никакого океана, который мог бы быть дан нам в ощущениях, нет. Нет ничего между Европой и Америкой. Ну, нет как нет. И все тут Сплошная суша. А ведь Женя был не очень силен в географии, тройку имел, со времен качаловских дней не терпел глобусов, мурь эдакой, стихийный, необъяснимый страх испытывал перед глобусом. В детстве напуган логопедом. У логопеда в кабинете почему-то гигантский глобус стоял. Вспоминается немудрое детство, кабинет доктора, Женя держится за красную юбку бабушки, они робко входят в кабинет к знаменитому доктору. Турнули их крепко, вылетели как пробка. А все-таки? Нет, четвертуйте живьем, как славного разбойника, воспетого в песнях, Стеньку Разина, лопни глаза, выйди душа, но не может Женя допустить, что и в этом советская власть его надула, что на самом деле нет Атлантического океана, что все блеф, что в 1492 году Колумб не открывал новый материк, что не было никаких Магелланов, никаких великих, потрясающих основы христианского мировоззрения географических открытий. Сокамерник Гусев почти убедил Женю, что витаминов нет, что это химера, выдумка большевиков. Когда речь заходит о витаминах, значит, просто жрать нечего.

Американца не собьешь, могуче повествует, как власть имущий. Да, на поезде привезли в Америку. Отступали, было дело. Польшу помнит, одна полячка его любила. Затем Германия, затем сложили оружие, умно, форсированно сдались американцам: их загрузили в товарняк, ту-ту, поехали. Куда? Никто не знает. Оказалось, в Америку привезли. Вспомнил Американец полячку, разгорячился, сказанул, что партизанкой она была, что спас ей жизнь. прятал. Очень приглянулась, хороша была, честная, благородная, фигуристая, белогрудая.

— Как шальная любила меня, — браво, наигранно, героически заявлено. — Обабился было с ней.

Женя вспомнил Ницше: женщины любят всегда и везде только воинов. Как же! Знаем, как вас, лихих и доблестных воинов, женщины любили. И в воздух чепчики бросали! Под автоматом. Наш Коккинаки, доблестный сталинский сокол, и не скрывает этого, всю Германию перепыхал: орел. Все они, вояки, единодушны. И Малышева генеральская дочка, благородная, любила. У Малышева, если угодно, на этот счет целая теория есть. Не терпит Малышев, чтобы баба сразу, не брыкаясь, без игры, ложилась. Бабу надо силой брать, чтобы все, как в армянском анекдоте. В вагоне армянин приказывает проститутке: «Одевайся, сопротивляйся!» Дореволюционный анекдот: «Порт-Артур, сдавайся!» — «Не сдамся! В атаку!» На вкус и цвет товарищей нет, у бедного Гоголя воспет на все лады и во мно-

гих повестях иной идеал. «Вий». Блестящая красотой покойница, абсолютная пассивность женщины, абсолютная фригидность. Гоголь, чудак странных повадок, не был женат, страсть как боялся женщин, был болезненно целомудрен, бежал от любви. Несчастный Гоголь. Все мы вышли из гоголевской шинели.

А Американец, видите ли, полячку, партизанку прятал.

Кроме парадоксальной, опрокидывающей глобус осклизлой, невообразимой истины, что между Европой и Америкой нет океана, еще одним бушующим абсурдом презентовал Американец Женю:

— Партизаны запрещены!

Сказанул крепко — неуступчивый, непоколебимый, повелительный старший козырь швырнул: последняя правда, взрывающая.

Ёксель-моксель!

Ахнул Женя. Ахнешь с таким, как Американец. Как запрещены? Что сие значит? Обалденье. Нет океана, запрещены партизаны — что такое? Женя очухаться, прийти в себя не может, как от свирепого удара в поддых. Кто запретил? Как это можно? В каком смысле могут быть запрещены партизаны? Э, простота, студент! Да вот так, запрещены — и баста. Заколодило Женю. А Американец и дальше свое величает, все взаправду вроде получается: и газы, и пуля дум-дум, и рваные штыки, и партизаны (единосущные объекты?) запрещены Женевской конвенцией, которую подписал якобы и Советский Союз, а из этого противоестественного, противоречащего здравому смыслу положения логически и математически следует, вытанцовывается, что партизаны являются преступной нечистью, партизан не только не возбраняется вешать и уничтожать, но это прямая обязанность честного, цивилизованного, просвещенного человека. Изволь, чай, грамотный! Да, запрет на партизан принимает все культурное, светлое, лучшее, что есть в мире, вся Европа. Да, Американец был в антипартизанах, истово боролся с супостатами, прочесывал белорусские леса, устраивал засады, удручал сволочей, бесчинствовал, лютовал, вешал, подметки рвал — нет в том его вины, нет преступления, а есть лишь заслуга. Это путь вдохновенной правды, а вина на том, кто сидит в Кремле («насекомое!»), нарушает общечеловеческие нормы, забыл совесть, стыд, разжигает, инспирирует партизанское движение, дубину народной войны, и все делается затем, чтобы немцы на наше мирное население озлобились, окрысились. Ус виноват, а не он, Американец, блистательный, окрыленный охотник за партизанами, жертва обмана, несправедливости, оскорбленная добродетель, а не военный преступник. И крыть нечем. Логично? Вполне. Мертвое, рациональное, холодное царство логики, как у Канта, Лапласа; впрочем, и сам Американец как истинно русский не вполне доверяет логическому юридическому заключению со ссылками на ла-ла-ла права человека. Почему-то заявил, что есть за что ему сидеть в лагере: погулял на славу, а за окаянство надо расплатиться сторицей (так же осмыслили свою жизнь и Разин, и Пугачев), а вот партизанку прятал, спас жизнь девчонке — вот это да! В этом что-то есть! Это его обеляет. Милосердие. Не зря, видать. французы считают, что у нас, русских, с логикой не все в порядке, хромает у нас логика, нет у нас Кантов, Декартов, Лагранжей, а лишь Толстые, Достоевские. Розановы, в огороде бузина в Киеве дядька.

В истории, как в бараке, бесприютность, сквозняк, разноголосица.

Ни шатко ни валко, а время течет, время гонит лошадей, хоть через пень колоду, а гонит, трусят лошади чередом, все туда, в одном-единственном направлении, из прошлого в будущее, минуя настоящее. Глядишь, ночь одолеем, остались сухие пустыки, сутки прочь: в зону. Разговоры говорили, за балаканьем остаток ночи быстро вылетел. Опилки дружно бросали, вместе, честно, споро. Двоим бросать опилки — не работа, а посиделки. Американец очень укоротился, расслабился, перестал нагло филонить, даже предложил Жене, что почистит топку (не его обязанность, а Жени, кочегара). Вот и Алексеев запустил свой драндулет, самый мощ-

ный на станции, завертелся тяжелый маховик, защелкал, забацил, зашлепал ремень, напоминая грубые шлепки и хлопки кнута лихих качаловских пастухов. Женя в раннем детстве мечтал в пастухи заделаться, коров, овец пасти (вот счастье, вот права!). Фырчит пытит локомотив № 1, шток вовсю старается, туды-сюды, как по сараю воробей, мечется, снует (парадокс: какую-то долю секунды скорость движения штока равна нулю — как это так?) что-то предвосхищает подразумевает напоминает, что-то грубо-отчаянно-целестремленное жизненный порыв, единый, нерасчлененный поток, о котором так вдохновенно писал Бергсон. На локомотиве № 1 полный бункер опилок, хватит с лихвой до конца смены, еще останется. Локомотив № 3 остановлен. Женя погнал Американца в душ, сходил в подвал, вычистил топку, отволок золу, подмел для блезира пол у котла, обтер концами котел, топку. Сойдет. А ко сну тянет, мозги туманятся, дает о себе знать бессонная ночь. Слаб человек: ночью должен спать, природою положено. Ничего. Схожу в душ, ободрюсь. Двинул в душ, долго мылся, тянул время, резину до тех пор, пока Колобок не пульнул, чтобы закруглялся и быстро эвакуировался. Пулей! Вылетай! Нас, видите ли, осчастлививает своей собственной персоной механик завода, вольняшка, помыться намерен, дежурит, смену кончает. Женя вынырнул из подвала. За водой сходить, что ли? Дело. Спозаранку хорошо чаек снарядить, побаловаться.

— На колодец слетаю, стрелюю.

— Дуй, — великодушно и милостиво разрешил Американец, причмокнул при этом, булькнул, вновь ловко уселся на широкой скамейке по-турецки, сноровка требуется, чтобы так сидеть. Надо попробовать. Ну, дружба. Улыбается Женя.

Парок ладно посажен, воду подкачал инжектором, все в порядке, лук на грядке, ничего не стрясется, отлучусь, можно даже не подстраховываться, не просить, чтобы Колобок глаз бросил, можно расслабиться. Все же заглянул в топку. Так, для порядка и по привычке. Деликатно и меланхолично отметил: превосходно! замечательно! Чернее черного, как у негра в ж... , в двенадцать часов ночи. То-се, взял бадью. Вырвался наконец со станции. Виват. Милое дело утречком прошвырнуться, набить полные легкие сладким свежим архангельским воздухом, первоначально чистым. Эх! Ноги сами несут, сами передвигаются. Да никак весна? Любо-дорого! Весна проглядывает, пахнуло. Скоро, скоро. Грубо, вульгарно подмигивает шарлатанка, одурачивает хмельными запахами талого снега, пленяет, какие-то робкие, неуверенные запахи, сокровенные, напоминающие нежные запахи арбузных корок. А там, на юге, в сияющей Москве, теплынь, поди? А там, в Москве (иронический, внутренний голос закончил), МГБ, ГУЛаг, страшный, могущественный, с кабаньими адскими клыками, омерзительный, сера и огонь из ноздрей; исчадь ада: Дорон — жуткая власть, интеллектуал. Далече вы, за шеломом. Грозный, беспощадный Дорон сулил, что вздрючит Женю, и по первое число. Руки, видать, оказались коротки: у ГУЛага свои резоны, свои непререкаемые планы: суверенность, другое ведомство, бюрократизм, русская безалаберность спасли нашего героя. Весна, очная ставка с Кузьмою. Творог тверже тверди. Сорок девятый год, теперь пятьдесят второй время идет. Срок идет. Весна, свисают порядочные по размеру, вычурные сосулищи, капель вовсю, а в зоне, в сортире выросли за долгую суровую морозную зиму как результат каждодневных молодых зэчьих стараний гигантские сталактиты, смело вздымаются со дна ямы на три с лишним метра, возникли, высунули острые шпильки из дырок, патетично, талантливо, все стреляет вверх, в крышу сортира; сталактитовые иглы напоминают шпиль Петропавловского собора в Ленинграде, созданного великим зодчим Трезини: начало восемнадцатого века, вкусная эпоха, как скажет Гладков. А снегу-то кругом навалило, накрутило — я те дам! Весною пахнет, не бывать злым, нещадным, хватающим, как собака, за ляжки морозам, проехали, пережили еще одну зимку. Слава Богу! Сталактиты, готика, Кёльнский собор, щегельской Петропавловский — время

все разрушит. К теплу дело. Накрылась кое-чем злыдень-зимушка. Может, еще ударит морозец, но так, перебьемся. Именно. Да ведь на электростанции летом-то еще похуже, чем зимою, — жарища, плотный чад, хоть топор вешай над машинами. До лета красного, жаркого далеко. Как-нибудь. Нашего Женю угораздило двинуться к колодцу не под бункерами, как ближе, как обычно ходят все умные люди, как привычные: он наладился конечности размять, убить время, прохладиться, проветриться; он решил (на беду!) обойти станцию, пройти мимо бассейна, где работает Яшка Желтухин, спешить-то некуда, а последние часы особенно тяжелы, тягомотны: ждешь, никак не дождешься, когда тебя сменят, когда явятся упираться другие, дневная смена, — время ползет черепашьим шагом. Маета, да и только. Как скоротать эти поганые часы? Не спрашивайте, зачем и почему понесла нелегкая нашего героя на бассейн. Поглазеть, подали ли лес? Так, надо себя куда-то деть. Вот и пошел. Плетется не спеша. Последние струи ночи, первые намеки утра. Бездыханно прекрасная тишина, никаких лишних шорохов, вслушивается в свои одинокие, осторожные шаги, слух чуток: скрип-скрип — простодушно, звонко, звучно шаги пререкаются с тишиною, быстро, натурально поглощаются ею. Бассейн полон, лес подали ночью. Как сельди в бочке — метафора. Вдали у одинокого мерцающего, плывущего импрессионизмом фонаря Яшка Желтухин, орудует багром. Пар над бассейном. Человеческая фигура плохо выявляется. По всему выходит: днем лесоцех пилить будет. Женя придиричиво-взыскательным глазом причастного знатока обшарил бассейн, отметил: хороший лес, сортный, ровный. Ночь сказывается, оглушен. Мысли тусклые, тухлые, клеклые. Он трусит дальше, увяз в странных образах, старается представить Атлантический океан, который, по представлению книжных, образованных людей, должен был бы омывать берега Европы, но которого, как оказалось на самом деле (объективная реальность, данная нам в ощущении, — материя!), вовсе нет, о чем безусловно, четко свидетельствует беспристрастный (какая ему корысть, есть там океан или нет?), глазастый очевидец: Американец. Все эти отвратительные глобусы, на которых изображен обязательный путь Магеллана, есть не что иное, как сплошное наглое надувательство, очередная туфта, даже не большевистская, а просветительская, интеллигентская. Изощренный обман, коварный, глубокий, тянувшийся века. Океан — ложь, чистое, абсолютное ничто, дьявольская закавыка, которая выдается за безначальный источник жизни. Ничто глубоко, черно, переходит на периферии в какофонический хаос, пронизанный всепожирающей энтропией. Древние считали, что из Океана вылезла, вырвалась жизнь. Да, глубоко. Океан аморфен, безлик, безвиден, бездонен, темный Хаос; да, он ужасен, свиреп, безграничен, пуст, но в нем, в глубине небытия, заключается заговор против небытия, закладываются все потенциалы, все потенциальные интимные энергии, вся веселая, совокупляющая буза, вся наполняющая землю скользкая тварь, которая, как считает поэт, может почуять на плечах нераспустившиеся крылья. Ан нет! Американец сказал, что нет океана, нет ревностного, угрюмого, мрачного защитника косного, защитника обезлички, всемирного равенства, скуки, агрессивного противника жизни, нет черной дыры, в которую этапируется в конце концов вся тварь дрожащая, все, что из него вырывается. Энтропия вселенной стремится к максимуму! Женя проходил под окнами кабинета механика завода, замешкался чего-то, малость притормозился, ненароком и в полудреме, — что-то кольнуло, черт дернул! — круто задрал голову, словно намерен в зените невидимого неба ворон считать. Ку-ку. На том берегу! Женя разинул рот, чтобы вскрикнуть, но так и остался с разинутым ртом, остолбенелый. Куку-реку! Вровень с высоким, недоступным вторым этажом что-то замерещилось Жене, что-то двусмысленное, зыбкое, подозрительное, бредовое, шизофреническое, глупо-невразумительное — теряющее очертания бесплотное пятно, резво, активно меняющее размер и предформу, невнятно-распадающаяся, растворяющаяся эклектика, что-то ищущее возможность воплощения, материализации. Наконец

Женин глаз подцепил нечто, сделал открытие, внес идею в бесформность: во тьме ясно фосфоресцируют, как у кошки, глаза, пылают, мерцают углички! Что се такое? Призрак? Дух? Привидение? В центре расплывающегося, черного, зловещего, приобретшего подвижную форму гигантской шестиконечной звезды — глаза! пылающие очи! Живая душа? Человек? Высота-то какая, — поднебесная. Акробатика. Номер!

— Жень, сгноши чаек, — родился из колеблющегося, густого, чернеющего пятном мрака и отчаянной, гадкой тишины симптоматично знакомый голос; наплыл голос, глухой, рваный, разорвав едкую, мутную тишину. Да ни дать ни взять наш Коккинаки! В осадке лев! Он, он, сукин кот, сукин сын, камаринский мужик, широкая натура, загадочная славянская душа, казак лихой, дебошир — словом, Алексеев, машинист локомотива № 1. Точно, он, бесстрашный летчик, кавалер ордена Ленина! Чего мудрует? Пятно, имеющее форму плоской, бесплотной шестиконечной звезды, оскulptурилось, приобрело форму, соответствующую новой идее, которую подсунил рассудок: Алексеев, человек, человеческая фигура. Точно!

— Ой, это ты? Что ты там делаешь? — по наивке, негожей, неподобающей старому лагернику, вскрикнул Женя. Говорят, любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Ответа не последовало. Екнулось и нашему олуху, в чем тут дело. Мать твою за ноги! Напасть, как сговорились все кругом. Перехлест настроений: душа превратилась в зайца (задать стрекача, да некуда), и Женя выдавил дефективную улыбку, которую в темноте нельзя было различить, без оглядки рванул дальше, на колодец, почти бегом несли его трусливые ноги, которые сразу же сделались резвыми, позорно резвыми. Он у колодца. Зачерпнул воды. Назад, на станцию. Легче на повороте. Подсуропилась нелегкая, опять закрут. У чижика-пыжика все не слава Богу. Сполох на сполохе. Надо же: засветил Алексеева! А этот выжига, непреклонный характер, горячая голова, штуку выкинул: накачался водки, под пьяную лавочку занесло стервятника-перевертыша в молодецкое поднебесье — помыть задумал механика. Вольняшку! Женя — свидетель, единственный. Черти накачали. Что будет? Душа Жени вибрировала, как овечий хвост, судорожно искала выхода. Можно сгинуть не за понюшку табака. В карантине он чуть не погиб. Да, вляпался. Пахнет жареным. Закрутка. Швах. Женя продолжает панически казниться, что избрал не ближайший путь к колодцу, а через бассейн. Обрато он поспешает под бункерами. Да что толку. Не исправишь.

Подсуетился. Раскалил добела в топке локомотива № 1 железяку, аккуратно, осторожно поставил на нее кастрюлю с ключевой водой. Алексеев тут как тут: появился. Потянуло холодком. Блудливая, полупохабная улыбочка завершается нехорошим пьяным оскалом; жесткий, колючий, уцепчивый глаз, воплощающий подгляд: не глаз — злая колючка.

— Как насчет чайку? — аукается, словно в лесу, словно не видит Женю. — Ведро воды заменяет сто грамм масла.

— Залетай. О чем речь. Делов на рыблю ногу, — с жалостно-постной, затухающей, нерешительно-зыбкой, агонизирующе-вымученной улыбкой ответил Женя: заскучал. Из огня в полымя. Фу-ты ну-ты, ситуация. Твою налево. Опасен волк-одиночка. Со всячинкой.

— Чай не водка, много не выпьешь, — пустая присказка: балду гонит Алексеев. А на уме что?

Весело было нам. Веселый разговор. Алексеев не уходит, расселся, развалился, экивоки, завел шарманку, пустую бодягу гонит и гонит, пьянь, опять повторил, что ведро воды заменяет сто грамм масла, о цене на водку до войны сообщает. Говорит, а сам стрижет Женю пакостным, прицельным, пытливым взглядом, нагнетает утрюмость. Пьянее вина, обуян духом алкоголя.

— Лех, я ничего не видел, — упредил, предвосхитил Женя. — Я этих твоих дел не знаю.

Так-то. Лагерный домострой и его каноны навязли в зубах, Женя сыт ими по горло, стаж солиден, а посему делишки Алексеева его не колышут.

Лучше вообще не знать, не всдасть, зачем пошел летчик озоровать, зачем дерзнул залететь на второй этаж в кабинет механика завода. Тебя не ... , ты не подмахивай. Наше дело сторона. Помалкиваем в тряпочку. Надо уметь ничего не видеть, ничего не знать, безмолвствовать.

— Я могила, — торопливой скороговоркой, закившим голосом продолжил Женя, нашел ритуальное заклинание. — Не первый день в лагере.

Ва-банк! Оседлаю я горячего коня, авантюрно, с воодушевлением энергично боданул:

— Леха, дурья башка, ну зачем тебе? Зачем эта блажь?

Не словом боданул, а шаманской интонацией. Вопиющая наивность, мистический дар нечаянности, опережающая благодать. Так-то и таким макаром. Превосходно!

— У меня свое самолюбие, — скорчил рожу Алексеев; затем рывком ликвидировал всякую подозрительность, а с нею и похабно-пошлую улыбочку. Сработало. Волшебнo-сказочный сезам открыл дверь, подошел тот же банальный ключ. Маг и чародей, укротитель злых духов. В этот последний год нашему герою без особых трудов удастся построить в нужный момент телепатическую ситуацию, получить телепатическо-гипнотический эффект — не знал раньше за собою таких нужных, полезных способностей, раскрылись на второй год лагеря. Такая оказия, Алексеев делается словоохотливым, его распирает желание высказаться, выговориться, разоблачиться, а перед ним контактный, на редкость одаренный, благодарный слушатель, который давно ждет его рассказа, половину и так знает, разумет, видел, понял. Узы полного доверия: и Женя награждается сердечною дружбою. Дело, мол, прошлое, а тут, если уж говорить начистоту, то — заклинило, бзик, с небом гордая вражда. Значит, год назад, еще во время ремонта локомотива № 1, нашего умельца, искусника, зубра Алексеева сурово обидели, не дали заработать, провели по ведомости не седьмым разрядом, а пятым, как какого-нибудь задрыгу Колобка, между тем все знают, что Алексеев первоклассный слесарь. («У меня с детства к технике нежность!») Нормировщик был новичком, с нескрываемым удивлением глянул на Алексеева, с педантичною основательностью объяснил, что ту работу, которую выполнил Алексеев, объективно нельзя ценить седьмым разрядом, простенькая работенка, от силы пятый разряд, а если Шевченко такой добрый, пусть он в эту графу поставит другую цифру, не два, а шесть, и он, как нормировщик, подпишет. Но Алексеев продолжал долдонить свою, рабочую, пролетарскую правду: он, мол, слесарь седьмого разряда и, что бы он ни делал, изволь ему ставить седьмой разряд. Душ буду мыть — все одно седьмой разряд! Не собьешь. Есть логика. Нормировщика, большеголового очкарика, Алексеев не уважал, за человека не считал, а потому даже хамства против него не затаил. Сухой долдон, маленькие ручки, противные, потные, красные, гаечного ключа в руках не держали, кукольские ручки. Эх, Гитлера бы на вас! За правдою Алексеев отправился к механику завода, к вольняшке, но тот отнесся невнимательно к уникальному самородку, умельцу русскому, который и блоху подкует, объявил, что нормировщик прав, что теперь так всегда будет: «Запомни!» Гордое, горячее сердце Алексеева не снесло позора, взорвалось, вломился в блажь, в тяжелую штопорную амбицию: метнул в вольняшку угрожающее, мятежное слово. Морда перекошена; пообещал подлянку подбросить, посчитаться («И небу будет тошно!»), черная перспектива впереди. В сердце Алексева загудел примус, глаза потекли зеленой сквозной злобой. Что может ээк? Да ничего. Ты здоровяк, плечист, дюж, силач-бамбула, буйвол, ты псих, холерик, скандалист, лихой, рисковый человек, но ты ээк, а потому зря хорохоришься, зря языком мелешь, балаболишь. Здесь приземлят любого, крепко приземлят. Но есть же исключения из правил. Душа Алексева защемила неуголимой, черною злобой, родилась воля к мести, и ангел мести терпеливо, упорно ждал своего часа. И час приспел. Рано или поздно должно было совпасть все: механик завода дежурил этой ночью, решил воспользоваться душем электростанции; Алексеев оказался после

получки, накачался до высокого градуса, то есть был в том состоянии, когда душа под влиянием спиртного приобретает прямую осанку и рвется к подвигу, к опасным выходкам и выкрутасам (трезвый — рубаха-парень, добряк; хлебнет, родимый, — меняется, вселяется в него сатана, вспоминает о прошлых обидах, делается дерзким, бесстрашным, боевитым). А кто не испытал сладости мести, тот зря жил на белом свете, тот не жил, а кис, прозябал, гнил. Итак, наш Коккинаки, будучи уже поддатым, увидел механика завода спускающимся в душ, раздул костер мести, расщекотал сам себя: сдвиг по фазе. Проснулась жгучая, необузданная страсть, проснулась воля к мести, жажда мести — позыв; и, потеряв полностью контроль над собою и инстинкт самосохранения, двинул. Вот он, праздник жизни! Молния в мозгу осветила путь, себя не помнил, каким-то непостижимым, непонятым чудом, нарушив закон гравитации, который великий Ньютон и последующие поколения естествоиспытателей считали абсолютными (случаи левитации, хождения по водам следует интерпретировать символически), взвился до недоступного второго (очень высокого!) этажа. Стена-то отвесна, зацепиться не за что. Все дальнейшее, как по нотам, само ладилось: открыл дверцу форточки, похотливо проник вглубь, в кабинет, сорвал со спинки стула кожанку, с хорошим уловом в руках все действия проделал в обратном порядке, спрыгнул со второго этажа в сугроб. Кожанку швырнул в топку, а в кожанке ключи, документы, бумажник с деньгами. По Канту, эстетически прекрасно будет все то, что нас влечет, но к чему при этом мы сохраняем незаинтересованность. Чистейший идеализм, искусство для искусства, зло в чистом, незамутненном виде: месть. «Святая месть» (Пушкин). Во время рассказа лицо Алексеева искажалось гримасой, судорогой сладострастия, глаза горели восторгом.

— Силен! — у Жени вырвалось из глубины души: непритворно восхищался Алексеевым, как можно восхищаться кровожадным тигром, исчезновение которого с нашей планеты обеднило бы жизнь. Что за жизнь без мамонта, без саблезубого тигра! Не христианин я и не раб, обид прощать я не умею. Летчик выговорился, вовсе поручнел, почувствовал к Жене полную сердечную расположенность.

— Водка — мой внутренний враг, — печально пропел реквием-афоризм Алексеев.

— Еще говорят: Руси есть веселие пити, — скромно, уместно ввернул Женя.

К своему локомотиву Женя отходил с бессовестно веселым сердцем. Пронесло. Отделался легким испугом. Отбой!

Продолжение драмы, а Женя лишь зритель. Сцена у локомотива № 1. Не беда, что за шлепками приводного ремня и сгустками шума нельзя разобрать всех слов: пантомима. Гоп со смыком. Полундра. Наш бесстрашный Гастелло, виновник шухера и бурной свистопляски, всю жестикулирует, машет руками, сквозняк; не человек, а ветряная мельница. А на станцию уже заявились и начальник конвоя, и механик завода, и Луба, начальник электростанции; подняли бедного Лубу с постели, еще тепленький. Психанул Алексеев, всю глотничает с начальством, несет их и в хвост и в гриву. Борец за правду, ей-ей!

— Вредители! — угадал Женя. Изображает Алексеев поруганную невинность. Оскорблен подозрением. Горяч, горяч Леша. Визг, фиглярски волчий оскал.

Ну и ну.

Переполах, буча из ряда вон. ЧП так ЧП.

Главный механик распознал визитную карточку Алексеева. Пой, птичка, пой. Учинили шмон по всей электростанции, раскурочили, пораскрывали все ящики, погром полный, чего только не нашли, чего иметь не положено; на бункерах шарили, опилки перерыли (опилок-то мало, всю ночь лесоцех стоял), в подвале, в душе шныряли. Нет кожанки, как не бывало. Куда заховали? Куда затырили? Нетути. А ведь не иголка. Нет на электростанции укромных мест. Деться ей, падле, некуда. Так как же? Не

может предмет исчезнуть бесследно. Материя вечна. в одном месте убудет, в другом прибудет Шныряли, основательно искали, куда только можно заглядывали Ищейки-то опытные, нюх отличный Не укладывалось, что непотребство может быть вдохновенно, искренне, бескорыстно, самодостаточно, чуждо корысти и прагматизма. Не пришло в голову, что искать надо в топке, ключи не сгорели, остаться должны.

Конец бдению: хором, оравой, весело ввалилась дневная смена. Против обыкновения, не припоздали, как ни старались, заявили тютелька в тютельку по гудку; задрезжал, зашумел потогонный лесоцех, заскрипели, залязгали, заблеяли транспортеры. Всё — в зону, домой! Напасти, приключения ночи, дребедень позади, увернулся от Американца, уловил Алексеева. Применил свой канон, без особой натути получилось. я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Трын-трава, колеса. Все в руках Провидения, мягкий, утешительный фатализм покоряет душу. Сказывается бессонная ночь, усталость. «Я как Колобок». Вот они уже хилуют в зону. А мысли нашего героя далеко, далече-далече. Опять он поглощен вязкими думами о мировом океане, которого, как оказалось, нет. А что есть? Есть озеро. Оно где-то рядом, оно блаженно и непомерной глубины, но его никто не видел. Невидимка. Летом слышен плеск волн, а в эту пору оно подо льдом. Лед на нем стоит, поди, до середины мая. А карасей страсть сколько, как в великих качаловских прудах, как у Витовых. А может, там, в озере, хоронится до поры до времени трансцендентальный Китеж? Наш Китеж, славянский. Электростанция из озера воду сосет, заглатывает, значит, должна быть насосная станция. «А стрелок меня младше!» — дивится наш герой (все, с кем ему приходилось встречаться и пересекаться с момента ареста, были старше его!). Они шагают: ошметки ночной боевой смены. Их одиннадцать человек; ведет начальник конвоя и стрелок, пенек, воинская повинность, совсем зеленый, сосунок. И Женя мог так попасть конвоировать зэков. Службу не выбирают. Начальник конвоя идет рядом с зэками, о чем-то толкует с Колобком, нарушены все инструкции. Не дозволяется так конвоировать, а на тебе! Никаких шаг вправо, шаг влево, либерализм Колобок что-то объясняет, горячо говорит. В России нет закона, есть столб, а на столбе корона. Может, и хорошо, что нет закона, что инструкции не выполняются.

— Зоя, не давай стоя! — возопил как ненормальный вездесущий Колобок: и мозги, и аура набекрень, чертяка, матрос полосатый, прощельга, обормот. Зорек, пострел, везде поспел, разглядел наше чудо, каргопольскую кралю. — Как дела, ... разбойник?

— Мои дела в спецчасти, там, недоносок, шукай. — Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Точно, она, наша маруха, прогремевшая красотой Зойка. Она! Остра на язык. Мы оценили. Нас хоть мало, одиннадцать человек, но мы дружно, восторженно улюлюкаем, входим в раж.

— Во, бля, прокурор!

Бритва, а не язык!

Шип-шип прямо.

Радует и волнует зэчьи сердца юная царевна, сверкающий солитер, наш бриллиант. И мы вдохновляем Зойку — красивым, грудным голосом кричит:

— Выйду в поле, закричу: караул, ... хочу!

Для нас старается. Насмешница, бой-баба. А она еще выдала фонтан красноречия, само льется, не ищет, не подбирает слов:

— После пальчиков не захочешь мальчиков!

Перед нами явление былинно-фольклорного мира, сияющая, сверкающая Зойка, краса и гордость Каргопольлага, которую в захлебывающем восторге эпос возвел до седьмого великолепия. Чудо женственности, перл создания, ура! И еще раз: ура! Бей, барабан! Нашу колонну (да какая там колонна, дрянь, полусонные бобики) пережидает возчица с пятнадцатого, женского, лагпункта Зойка. Мы увидели Зойку — мир преобразился, зафаворился, сердца забились радостью. Представьте: огромная кобылица, не-

померный, неправдоподобный битюг, не лошадь, а слон, таких битюгов после войны сюда из Германии туманной пригнали, доставили; битюг впряжен в сани, а в санях на ящике сидит наша царевна, вожжи держит, улыбается нам рубли дарит, в санях бидоны, начальник конвоя: нельзя без начальника конвоя, срока еще не прошло достаточно, пройдет полсрока — расконвоируют. Простота нравов, либеральность, келейность цветут пышным цветом: мы обступили битюга и Зойку, начальники конвоя отошли в сторону, о своем балакают, стрелок в стороне стоит, тоже на нашу красючку зырит: молодой, пусть на наших баб поглазет, сеансов наберется, онанировать будет, пусть, дозволяется. Изголодался, как и мы, сосунок. Перед нами чудо чудное, как тут не ополоуметь; и мы все ополоумели, ушиблены, липнем, сгрудились.

— Говорю, начальничек, носик-чайничек, да я в своей жизни ничего, кроме .., в руках не держала, — рассказывает Зойка, как баландершей стала.

Гостинец, лакомая встреча, фарт, праздник, ланци-дритци. Наш юный герой, наш Одиссей с благоговейным, блаженным удивлением взирает на Зойку, загляделся, забылся. Знакомые, прекрасные черты женского лица, строгая красота, иконописная. Майский день, именины сердца! Сон, усталость как рукой сняло, сердце зашлось, пялся в оба, зри в три, созерцай лучезарную, безупречно стройную, цветущую, гордую красоту. Глаз не оторвать, мощнейший магнит. Очень иконописна, очень правильные черты лица, это не Рита, не броско-сдобно-настырная красота счастливой артистки Веры Карташовой, а что-то абсолютно совершенное, бесспорное, колдовское. Она в грубых лагерных доспехах, в бушлате, в ватных штанах, а все одно люкс, сеанс, эталон, богиня. Знает себе цену, задается. Под напаянным на телогрейку бушлатом угадывается, дразнит, ранит и выводит из строя наш раздевающий глазмер змеино-гибкая, ладная, крепкая и в чем-то эфирная (на все вкусы!) фигура. Зойка — безбожная хохотунья, самозабвенно-искренний смех от избытка природных сил. Сколь бронбойна природа женского канальства! Сколь разнообразно лукава и изощренно-капканиста женственность! Во время оно, уже в доисторическое время, в неполные шестнадцать лет — о ужас! — глаза нашего героя разверзлись, прозрели источник гибели, увидел девочку в школьном коричневом платице и скромном белом воротничке: дух захватило, сломалось сердце, отравлен, убит безумием и мощью испепеляющего, всеразрушающего чувства: рок, судьба, мистический архетип, вечный, проклятие их рода, пра-матерь Ева, что из ребра. Почему из ребра? Что-то в этом есть! Присуха, неразгаданная тайна, метафизика женственности: в Египте будь! И пошло, поехало, навалилось, кручина и ужас, душа ныла и страдала, как от воспаленного зуба, рехнулся, да что там страдания молодого Вертера! Помутнение мозгов, нашел решение, как уйти от непереносимой боли: в петлю! Черная, непрерывная, неутихающая, густая, густеющая боль, себя не вытащить из трясины ужаса и боли: в петлю! Неизвестно, чем бы страдания кончились, если бы не спасительный звонок в дверь, в полночь: ГБ. Бесноватый Кононов грохнул державным кулачищем по столу — все, потух пожар души, который с такой мощью разгорелся в сердце юноши из-за десятиклассницы-суфражистки, что играла русой косой, не косой, а косичкой. Женя в детства, с пеленок был баснословно влюбчив, но роковой встречей с Ритой был повержен, испуган, понял, что это до гробовой доски, что может унести это чувство и в иные миры, если они есть там. Канкан Кононова — спасение. А в лагере — десант культбригады, и Женя нежданно-негаданно и без памяти втюривается в артистку Веру Карташову, целую неделю полон ею. Но то была иная любовь, чем к Рите, то была прекрасная, легкая любовь, платоническая, да он уже и сам боялся влюбиться, как в Риту: включился мудрый инстинкт самозащиты, не дал разгореться великому, всепожирающему, всепоедающему пламени; а уехала артистка-ведьма, дразнящая зэков справкой о невинности, — с глаз долой — из сердца вон, развеялась легкая чара. Вот перед Женей Зойка: ко-

ролева, чистый бриллиант, сияющая звезда, светило, восходящее к высокому символу. И силы ее неистошмы. Наш герой очумел.

— Глянь-ка, химик-то е...ло разинул, ...уел. О, маячит! С дымящимся! — гаркнул над Жениным ухом неисправимый бесогон Колобок холера ему в бок, прокаженный, курвец проклятый, вечно бы ему озоровать, зараза; гаркнул, запустил костлявую руку, схватил Женю за это самое, что в Великих Четьих-Минях называется «тайный уд», вытолкнул робкого раззяву девственника в первый ряд, прямо под нос разбитной бабе-тигрице на растерзание: Женя повис над бездной. Зойка капризно повела плечиком, подгляд в упор, живой, подлинный интерес зырк, упорный, внимательный взгляд, взмах ресниц, властный и сладкий. Смотрины. Что за заморское чудо?

— Я бы ему дала, — свежий, обнаженный взгляд, таю, лапушка, зайчик ненаглядный.

Она брызнула щедрой, доброй, прохватывающей улыбкой. вынула сердце юноши, выжгла в нем след.

— Целка! — со вкусом, ретиво расхваливает дурошлеп клешник Женю, как расхваливают на рынке красный товар. Студент, химик, грамотей, ума палата, не ум, а Моссовет. Целка, а в костях ломота. Как волк хочет, а просить боится: заяц. А посылки какие — качественные, куркуль. Каждые две недели ящик. Куры не клюют. Сало, масло, колбаса, как в торгсине на витрине.

— Вась, уморил! Гад ты ползучий! Да что я, проститутка? Да я самая что ни на есть честная давалка. Блядь я! Я тебя сейчас тресну.

Она подняла кнут. Взрыв веселого смеха. Гогочут, опять за животики взялись, бедного, несчастного Женю вперед еще подпихивают, прямо на Зойку: хошь, так ешь, хошь с маслом.

— Только по любви, только зэкам. Вольняшкам не даю, — обнародовала Зойка свою программу. Через какие-то два года эта программа сделается знаменем всех лагерей.

У девственного зайчонка на щеках интенсивно, бурно расцвели великолепные, счастливые розы, душа размякла, распарилась, как в бане, на лбу, несмотря на температуру едва плюсовую, пот грубо выступил. Продлись, продлись, очарованье. Он слышит райские напевы, он на седьмом небе. Так и в обморок можно хлобыстнуться. Над ним и юной царевной сомкнулся невидимый шатер: нет конвоя, бригадников, Севера, они одни на всем белом свете. Сердце Жени запузыривает оду радости. Выражение глаз Зойки меняется, теряется озорной пыл и неуживчиво-воинственный раж, глаза делаются любопытными, внимательными, милеют, обнажаются.

— Нравлюсь, что ли? — Ее как подменили, перестала ломаться, совсем другая, доверчивая, милая, простая улыбка.

Трепетная истома: онемел, язык присох, рад до смерти, готов урчать от неожиданного счастья, так бы и стоял всю жизнь, смотрел на Зойку, как на невиданную, прекрасную, свежую розу. Скромник лишь головой кивнул, что должно было означать, что Зойка ему нравится, и очень. Роза роз! Как изуверства не коснулись души Демиденко, так веселая жизнь Зойки не задевала глубин ее души. Она бы эту мысль выразила иначе, проще: не из мыла, не измылится!

— Очень? — строго спросила.

— Я послал тебе черную розу в бокале, — еле слышно пробормотал наш счастливый герой, а Зойка вся просияла, заглянула в глаза девственного юноши, тихо улыбнулась. Боже, как хороша! Она делает царско-магический пасс, как бы отпускающая юношу, освобождая из-под чар:

— На сегодня все!

— Не Женя, а конь с яйцами, — кричит где-то рядом Колобок. — Красюк, первый красюк ОЛПа!

— Врачи у вас хорошие, — кому-то говорит Зойка. — Надо залететь, подлечиться. Лех, что ты такой? Что квелый, как Лазарь что губу надул, не узнаю.

Алексеев что-то хочет ответить, его совершенно измятое мурло делается горьким, словно хину глотнул, а запить нечем. Глаз вырви. Великий, лютый, неукротимый бабник и блядун, Лука-Мудищев, закис, отвлеченно, понуро стоит в стороне, не принимает участия в радостном гаме веселого праздника. Развезло, трезвение, бездарно стух, поджал подлый хвост: мокрая курица. На ОЛПе расплата ждет, не отвертится. Где твое львиное сердце?

— Не до тебя Лехе, — ответил за Алексеева шалавый балбес, шут гороховый.

— Мама, я летчика люблю, — крикнула Зойка. — Мама, я за летчика пойду. Летчик делает посадки и ... без пересадки. И за это я его люблю!

Покедова, юная богиня! Разъятие, хорошего понемножку, чап-чап, каваем дальше, трусим легкой трусцой, выворачиваем головы назад, чтобы еще раз увидеть ЕЕ, запомнить на веки вечные. Зойка издали посылает Жене чувствительный персональный воздушный поцелуй: рублем еще дарит. Женя шею себе готов свернуть, все оглядывается, легко на сердце, светло, тихо. Весна не за горами.

— С тебя магарыч. — Это Колобок Женю под бок пихнул: глаза веселые, лживые.

— Лиха, лиха баба.

— Сука рваная.

— Оторва.

— Оторви да брось.

— Зойка человек, наша!

Все это не ново, было. Не раз Зойку разбирали по косточкам, не раз пелся гимн во славу Зойке. Царь-баба!

— Базлают, на завод пригонят пятьсот баб, — развлекается пустомеля Колобок, опять чернуху травит. — Снег чистить.

— Пятьсот баб, и у каждой ... ! — кто-то сокрушенно и вполне философски умозаключил. Классификация под статью аристотелевской, по существенным признакам.

На вахте оборотня Алексева захомутали, субчик-голубчик, стой, не балуй, спалился, изолятор, посмотрим, как ты там запоешь! Дешево не обойдется. Так тебе, гнида, хорохор, подлюга, и надо! Низкий тип. Когда водки нажрется — страшен. Не залупайся, мурло поганое, злопамятное, знай свой шесток. Обломают рога, черт рогатый. Дурь выбьют. Не мог сдержать натуру, теперь поучат. Другой раз неповадно будет лагерный катехизис нарушать. За буйный набег надо отвечать. Алексеев обреченно шел за надзирателем.

— Гоп-ля!

— В зоне теплее!

Мы как черти влетели в зону. Скопом, всей оравой бросились во весь дух к столовой. Сосет под ложечкой. Жми-дави, нарезаем мимо изолятора, мимо гигантской колоннады, недавно отгроханной начальником; вот — двери, нахрап, ломим, гнутся шведы, у входа в столовую оттолкнули — ах, не обессудьте! — замшелых, нерасторопных, задрипанных Фан Фанычей: шваль, шушера с обиженной мордой, дать бы по морде, по очкам, да некогда, в другой раз, успеть первым к окошку. Обогнали Укроп Помидоровичей, полные сил и энергии, вломились в столовую — не зевай, гласит важнейшая заповедь, а то одни эфеля достанутся. Эх, чудесное ощущение удачи, успеха, молодости, победы. Валим валом, а у раздаточного окошка разобрались по одному, в нитку, здесь уже порядок. Жизнь есть борьба, выживание сильных, ловких, здоровых, ушлых, достойных жизни. Аппетит — шапка слетит. Знаете ли вы, что такое чревонеистовство? Со страхом и трепетом приступите! Навалились! Готово!

— Реже мечи!

Сверкают ложки. Звенят алюминиевые миски, благовест раздаётся и слышен по всей Руси великой, как от ростовских колоколов.

Хоть бы хны. Трали-вали, все в ажуре. Живы будем — не помрем. Женя уверенной, беззаботной рукою варганит бушлат между нар, утверж-

дая автономию суверенитет. Готова отдельная кабинка! Он разоблачился до исподнего, улегся на лежбище зэчем, потянулся, расслабился. Он беззаботен, счастлив. Царство Божие внутри нас. Жить надо просто, жить надо простою растительной жизнью, как птицы небесные. Ништяк. Сойдет. Эх, зэчий фарт. В душе зазвучали райские напевы, замелькали годы: зима — лето, зима — лето! Эх! Он камнем проваливается, летит в сон. А от сна еще никто не умирал. Он дрыхнет молодым, крепким, сладким, блаженным сном без сновидений, как спит медведь в зимней спячке, как спит праведник. Хорош сон именно в детстве, в неразумном, недогадливом, безгрешном детстве, пока глаза не напорются на спаривающихся коней. Грандиозная картина, потрясшая мир. Гибель Помпеи. В Качалове то было, накануне войны, давным-давно. Крепко, непробудно спит Женя, спит часа четыре. Без задних ног. Дальше сон делается менее плотным, стабильным, глубоким, в него проникают робкие, несуразные завихрения, тени неясных образов, они еще монохромны, диффузны, проникают друг в друга, сливаются, они наслаиваются друг на друга, они начинают вытягиваться в сюжет. И вот результат: в сновидениях проросла и властно о себе заявила блистательная Зойка. Она, королева, явилась во всем блеске и великолепии, устранила, уничтожила бесцветные, блеклые тени предшествующего сна. Ощущение туточности, бесспорное, яркое, красочное: Зойка в его закутке, положила на плечо Жени руку, взывает нежным, глубоким голосом: «Проснись, соня!» Она легко, как гуттаперчевая, сгибается, наклоняется к нему, жадно, сладко целует шею, снова докучливо, ревниво, своевольно трясет плечо, еще награждает поцелуем, который одновременно и жарок, искренен и платонически бесплотен, и от этого последнего поцелуя Женя пробуждается, силится продолжить сон, удержать выскальзывающее, растворяющееся сновидение, хотя уже знает: если заглянуть в зазеркалье сна, то там Зойки не окажется и в помине, а останется пшик, тень, которая растворится, исчезнет в небытие, несмотря на весь агрессивный, напряженный платонизм. А может?.. Кто-то грубо, уверенно, бесцеремонно, как Зойка, дергает его. Хамство, черт знает что!

— Вай-вай, соня! — урчание, переходящее в патетический стон. Американец! Что надо? Только этого мне еще недостает! Скотина! Опять чалится. Друг, видите ли, объявился, друг на веки вечные, керя лагерная. Живодер, убийца поточный. Партизанку прятал!

В зашоре. Не разберешь со сна.

— Федя на волю идет! Федя!

Сюрприз!

Вот так так!

Остаток сна, где царила Зойка, сдернуло, как могучей шевченковскою дланью. Женя чуть с нар не свалился. Галопирующее смятение, тревога, взвихрились бедные нервы зэка. Воссияла надежда. Да она не гасла никогда, она притаилась, а теперь поднялась во весь рост: она на цырлах. Сонто в руку! Нелегко объяснить, какова связь сновидения, где яркая Зойка дарила поцелуи, с тем, что для Феде открылись ворота ОЛПа. А вслед за Федей и нас всех выпустят под бравурную музыку! Оковы тяжкие падут, темницы рухнут! Кроме Феде еще трое помилованы. С ума сойти! Правда, бытовики. Но кто знает?..

Всем четверем счастливым бумага на имя Председателя Верховного Совета писал Витька Щеглов! Вот это да! Ну, отличился! Ну, легкая рука! Невероятно. Эпатирующая фантастика. Да отродясь такого не было. И не могло быть. Где и в каком мире мы живем?

С неба звездочка упала!

Каков Витька? Слово знает? Искусствовед, восторженный поклонник далекой античности, никакого отношения к юриспруденции, а посрамил наших крючкотворов юристов, не только наших, а всех юристов настоящего прошедшего и будущего. Остается всплеснуть, развести руками. Скоро к Витьке начнется паломничество, как в Мекку. Всем отчаянно на волю охота. У подлого зэка нет никакой гордости. Пойдут канючить:

— И мне настрочи. И мне!

И наша жизнь на сон похожа! — на полном серьезе пустил сквозь века Шекспир, слава ему, вечная слава! Буря. Нам бы Просперо, заклинателя бурь, издателя счастливого конца.

А вот и он, Минаев!

Давно мы сидели тихо, спокойно, ничего волнительного в нашей подлой зэчьей жизни нет, сжились со сроками, золотая пора лагеря, и вот ни с того ни с сего. бах! Сверхсюжет. Пошло-поехало, извольте бриться, навалилось, накатило, несуразица, закрут, залихорадило ОЛП, разбудоражило воображение метелями слухов, натянуло и без того натянутые нервы зэков; еще нагрузка на печень. Четыре зэка идут на волю! Слыхано ли? Видано ли? Старые лагерники говорят, что такого не было и быть не может. Но сие отнюдь не игра случая, а знак, невнятное послание Провидения. Сменилась мигом атмосфера комендантского ОЛПа, другим стал наш лагерь, поднялась неслыханная сейсмическая волна. Можно смело и уверенно говорить, что с того умопомрачительного события пошло великое смятение и брожение умов и еще черт знает что, другими словами — поэтика и непререкаемо-субстанциональная крепость нар рухнули, пошел закидончик на закидончике, обуянность на обуянности. И все это сопровождалось неврастеническими мучениями, тоской зеленой, непереносимой. Зэки ополоумели, повальное безумие, патология, дурдом. Кто не пережил этой остросюжетной захватывающей ситуации, тот не в состоянии нас понять, тот лишь воскликнет: что, в конце концов, такого случилось у них? С какой это стати весь этот малярный озноб?

В тот первый, памятный день наша интеллектуальная элита, щуплоногие очкарики, цвет Каргопольяга, собрались в сквере, что супротив столовой. Какую столовую начальничек нам отгрохал — дворец о восьми колоннах, что твой Большой театр, не хватает лишь квадриги на верхотуре да Аполлона! Мы собрались во имя разгадки неотступного сияющего иероглифа: собор. Да, не побоимся этого слова: первый собор! Мы расчистили от слежавшегося за зиму снега скамейки, что-то подложили себе под задницы, чтобы с ходу не схватить неприятный, мучительный радикулит, уселись вокруг Минаева, нашего Просперо, заклинателя бурь, шекспировского персонажа, сгрудились, смотрим ему в рот, как Мария Магдалина смотрела на Христа. И окладистая борода с проседью, и сверкающий шрам над бровью прекрасны, но главное — его слово, имеющее полную ясность, определенность и равноапостольскую силу, самое яркое, пламенное, прочувствованное, преподобное слово высветило для нас за мишуру, случайностью, за прагматикой события духовно-мистическое ядро, завладело зэчьими сердцами, и мы всем нутром, прямо на клеточном уровне постигли, что мировая история, пасынками которой до сих пор мы являлись, круто меняет курс: и для нас расцветет алыча, и для нас взойдет солнце.

— Господа, надо уметь читать газеты!

Обжигающий глагол бьет прямо в сердце, сочные интонации нагнетают напряжение. Вот что значит живое слово! Нежданная, смелая стратегия доводов строит в наших воспаленных мозгах высшую реальность духовного плана. Если сказанное перевести на обыденный язык, можно свести к тезису: главный и кардинальный вопрос эпохи, вопрос войны и мира, вопрос о судьбе большевизма решился. Битва битв, третья мировая война, о которой мы, зэки, пламенно мечтали все эти глухие, жуткие годы, которую вышептывали, вымаливали у Всевышнего Абсолютного Бога, которую предчувствовали, предугадывали, прозревали, ГРЯНУЛА! Наш безумный лепет, наши тайные страстные молитвы услышаны, сбылись, стали конкретной плотью, грубой, вульгарной реальностью, историческим фактом, эмпирической, материальной действительностью. Раскройте очи ума! Джинн выпущен из бутылки. Свершилось! Корея в огне! Мы присутствуем при первом акте сверхисторической драмы. Скандально и безотлагательно, как по щучьему велению, вверглась в войну Америка, все еще прикрывая

свои вооруженные силы фиговым листом голубых знамен ООН. Вслед за США неминуемо, несмотря на оппортунизм, несмотря на мировое общественное мнение и разные подлые, лживые, ядовитые Стокгольмские воззвания, сверзится все НАТО, все пятнадцать государств мещански предательской, торгашеской, подлой Европы, весь так называемый релятивистский, прозаический, растленный цивилизованный мир. Канада причисляется к Европе. А куда им деться? Рок выше людской воли. Настало время Богу действовать. Уже поскользнулся, уже сползает в пекло войны гигантский Китай, а за ним туда, в ад и пепел, рухнем мы, Советский Союз. И это не гадание на кофейной гуще, не химера, не фантом, не зэчья прелесть, не потенция, не метафора, а явь во всей полноте, наготе, актуальности, онтологическая реальность. Это так же реально, как дорическая колоннада столовой, изолятор, вышки, бараки. Тот же ракурс и тот же черед, что и в предыдущую войну, тот же пророчески-назидательный повтор событий. Вторая мировая война началась не в сорок первом году, как думают слабоумные, идиоты, слепые и злобные клеветники, а в тридцать девятом! Не требует доказательств, пригубите истину: в тридцать девятом! Наше внимание фокусируется на том, что в Советском Союзе объявлена скрытая, тайная мобилизация, военнотрудовых не отпускают в отпуска, в лагерях, где по минимуму содержится пятнадцать миллионов, проводится негласная, но достаточно широкомасштабная амнистия. Ах вот оно что! Имеющий уши да услышит! Имеющий глаза да увидит! Амнистируются бытовики, социально близкий, благонадежный контингент, как это было и в ту злополучную войну. Так! Четверо амнистированных на нашем ОЛПе, иероглиф, растревоживший наши сердца, расшифрован, все легко, удачно, конкретно, просто встало на свои места, нелепая, бессвязная, ускользающая, скандально-абсурдная мозаика фактов мигом сложилась в стремительный, огненный сюжет, имеющий метаисторический смысл. Как же иначе разгадать, растолковать Шверника? Трюк? С какой это самоочинной радости он великодушно подмахнул четыре прошения? Добренький? Шверник — добренький? Да он пустое место! А просто так и вороны не летают.

Большой день. Великий!

Священная война, в наидостойнейшем смысле слова — священная. История сдвинулась с мертвой точки, набрала динамизм, скорость, сорвалась и понеслась вскачь. Берегись, пошла! Тарарах! Такова реальность, реальнейшая из реальностей. Такова новь. Грядет час и ныне есть. Эх, дубинушка, ухнем. Последний парад наступает, разверзлась драма мировой истории, и Божия правда видима для всех, видима, как сказал бы Декарт, ясно и отчетливо. Место — Армагеддон! — и мы, зэки, готовы к огненному катарсису, к воскресению из пепла, из мертвых. Минаев в патетическое, страстное слово привносит высокую, звонкую нравственную ноту. Лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. В России всегда все честные, мужественные мыслители принимали войну: Данилевский, Леонтьев, Бердяев. Они усматривали в войне достойный способ решения великих проблем. Час пробил. За последним ураганом войны, за великой космической бурей, за огненной очистительной драмой наступит густое, сплошное, плотное хилиастическое время, 9-я симфония Бетховена, обнимутся миллионы, на землю спустится Небесный Иерусалим, наступит тысячелетнее Царство Божие, о котором уверенно говорит Апостол, возлягут лев рядом с агнцем, раскроются все псевдонимы и тайны. В осаде лев! В этом умысел Творца, в этой тайной композиции истории, которая творится не причинами, а целями, Промыслом. Россия встанет на утерянную в революции и гражданской войне колею, скажет уставшему, обезумевшему от пошлости, лжи, преступлений миру новое, свежее слово, простое, великое слово, выполнит историческое предназначение, высокую, богоносную миссию, осуществит русскую идею — идею Царства Божия на земле и великого братства народов. Россия вновь воскреснет, воспрянет и будет светить миру. А мир ждет ее света!

Едрена вошь!

Долго ждали этого дня, отчаивались. И день настал.

Мы слушаем, впитываем в себя доктрину Минаева, и нет среди нас Фомы Неверующего, сердца наши поют оду к радости. Наконец-то мы ощутили великое, как океан, дыхание истории, в то время как хаос, гнетущая тьма, калейдоскоп бессмыслицы, невнятица политических событий рассеялись, сверкнул огненный меч войны, рассек густые, свинцовые тучи, блеснуло ликующее, могучее, вечное солнце, обнаружилось, приблизилось вплотную ноуменальное бытие, явилось совершенное время, которое полностью элиминирует абсурды и бессмыслицы, дает оправдание мировой человеческой комедии. И не напрасны наши страдания и мучения. Сказано: «не напрасно». Перед глазами нашими, зрячими, разверзлась истина теодицеи.

Минаев утверждает, что человечество квантуется нациями; вновь глаголит о России, о ее предназначении и движении на северо-восток «по ледяным пустыням», говорит о тайнах народной жизни. Россия — сфинкс. Блок тонко чувствовал женское начало России. Россия не хочет и не может быть мужественным строителем жизни, предназначение и предикаты ее иные, ее природа пассивна, женственна. Не один Блок, но и другие чуткие мыслители, поэты подметили женское предназначение, предназначение России. Розанов, Бердяев. Россия тиха, кротка, смиренна, безмолвна. Не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный. Но через ее слабость, женственность осуществляется великое предназначение. Се Раба Господня, да будет мне по воле Твоей! Россия — свет миру, будущее исторического процесса, его истина, звезда, являющее солнце. У нее есть падения, срывы. Какому хочешь чародею отдай разбойную красу. Но в этом Промысел Творца. Замысел России в том, чтобы Царство Божие на земле созидать. И непременно чтобы всем вместе. Уж это обязательно! Россия прельстилась, отдалась апокалиптическому зверю, поскользнулась, пала, поругана. Хочется крикнуть вместе с Леонтьевым: зачем нам Россия, когда она не православная и не самодержавная? Не нужна нам такая Россия. В ветхом облиии, в грехах, Россия достойна только гибели, она пройдет экстремальную ситуацию воспламенения, пройдет через огненно-очищающий катарсис, сгорит, испепелится. Этого жаждет наша любовь к России и к ее ноуменальной, богоносной сущности. Любовь и жжет, и губит. Из недр ее души да будет изгнан соблазнитель сатана, огнем изгнан. Она вновь воскреснет, как птица Феникс: новая, омытая, юная, прекрасная Россия преобразится, очистится от скверны коммунизма, преодолит духовные болезни, болячки, массовый психоз, одичание, густой мрак и мерзость большевизма. Она очнется от тридцатилетнего кошмара, стряхнет пепел и тлен. Все пожрет огонь, но в то же время сказано, что не все погибнет от испепеления, а треть, остаток, святой остаток — спасется. В святом остатке — соль, соль земли, это мы, зэки. Мы спасемся, а высокие бараки сгинут. Нет, не прольется второй раз кровь Авеля. Что сгорит, достойно гибели, сказал Гёте. Умри и восстань — его же слова. Остаток спасется, а через остаток спасется целое. Шестьсот шестьдесят шесть с избытком от каждой тысячи погибнет. Нашей святой родине, великой Руси, послан терновый, тяжелый венец, тяжелый Крест. Бог посетил. В рабском виде Царь Небесный исходил благословляя, и Россия должна принять высокую трагедию, Голгофу, безумие Креста, сгинуть с лица земли, воскреснуть из тьмы и пепла, воссиять великою иконою преображения, до конца реализовать свое историческое предназначение, вступить в новую космическую эру, включиться в тайну Христа в начале вечной жизни, весны духовной, весны вечной. Претерпевший, раскаявшийся до конца спасется. Аминь. Да будет так.

ИОСИФ БРОДСКИЙ

*

ВОЗДУХ С МОРЯ

* *

*

Голландия есть плоская страна,
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с дружкой по-голландски,
убеждены, что их свобода — смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней — оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв — тем более. Воспоминанья —
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,
чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.

* *

*

Ты не скажешь комару:
«Скоро я, как ты, умру».
С точки зрения комара,
человек не умира.

Вот откуда речь и прыть —
от уменья жизни скрыть
свой конец от тех, кто в ней
насекомого сильней,

в скучный звук, в жужжанье, суть
какового — просто жуть,
а не жажда юшки из
мышц без опухоли и с,

либо — глубже, в рудный пласт,
что к молчанию горазд:
всяк, кто сверху языком
внятно мелет, — насеком.

В окрестностях Атлантиды

Все эти годы мимо текла река,
как морщины в поисках старика.
Но народ, не умевший считать до ста,
от нее хоронился верстой моста.

Порой наводнение, порой толпа,
то есть что-то, что трудно стереть со лба,
заливали асфальт, но возвращались вспять,
когда ветер стихал и хотелось спать.

Еще были зимы одна лютей
другой и привычка плодить детей,
сводивших (как зеркалом — платяной
шкаф) две жизни к своей одной,

и вообще экономить. Но как ни гни
пальцы руки, проходили дни.
В дело пошли двоеточья с ё,
зане их труднее стереть. Но всё

было впустую. Теперь ослабь
цепочку — и в комнату хлынет рябь,
поглотившая оптом жильцов, жилищ
Атлантиды, решившей начаться с лиц.

Дедал в Сицилии

Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал.
То для критской царицы искусственную корову,
чтоб наставить рога царю; то — лабиринт (уже
для самого царя), чтоб скрыть от досужих взоров
скверный приплод; то — летательный аппарат,
когда царь наконец дознался, кто это у него
при дворе так сумел обеспечить себя работой.
Сын во время полета погиб, упав
в море, как Фазтон, тоже некогда пренебрегший
наставленьем отца. Теперь на прибрежном камне
где-то в Сицилии, глядя перед собой,
сидит глубокий старик, способный перемещаться
по воздуху, если нельзя по морю и по суше.
Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал.
Всю жизнь от этих построек, от этих изобретений
приходилось бежать, как будто изобретенья
и постройки стремятся отделаться от чертежей,
по-детски стыдясь родителей. Видимо, это — страх
повторимости. На песок набегают с журчаньем волны,
сзади синеют зубцы местных гор — но он
еще в молодости изобрел пилу,
использовав внешнее сходство статики и движения.
Старик нагибается и, привязав к лодыжке
длинную нитку, чтобы не заблудиться,
направляется, крикнув, в сторону царства мертвых.

Песня о красном свитере

Владимиру Уфлянду.

В потетеле английской красной шерсти я
не бздюм крещенских холодов нашествия,
и будущее за Шексной, за Ворсклою
теперь мне видится одетым в вещь заморскую.

Я думаю: обзаведись валютою,
мы одолели бы природу лютую.

Я вижу гордые строенья с ваннами,
заполненными до краев славянами,

и тучи с птицами, с пропеллером скрещенными,
чтобы не связываться зря с крещеными,

чьи нравы строгие и рук в лицо сование
смягчает тайное голосование.

Там, в клубе, на ночь глядя одноразовый
перекрывается баян пластинкой джазовой,

и девки щурятся там, отдышался чтобы я,
дырявый от расстрелов воздух штопая.

Там днем ученые снимают пенку с опытов,
И Файбишенко там горит звездой, и Рокотов,

зане от них пошла доходов астрономия,
и там пылюсь на каждой полке в каждом доме я.

Вот, думаю, во что все это выльется.

Но если вдруг начнет хромать кириллица
от сильного избытка вещи фирменной,

приникни, серафим, к устам и вырви мой,

чтобы в широтах, грубой складкой схожих с робою,
в которых Азию легко смешать с Европою,

он трепыхался, поджидая басурманина,
как флаг, оставшийся на льдине без Папанина.

9(?) февраля 1970.

Новая Англия

Хотя не имеет смысла, деревья еще растут.
Их можно увидеть в окно, но лучше издалека.
И воздух почти скандал, ибо так раздут,
что нетрудно принять «боинг» за мотылька.

Мы только живем не там, где родились, — а так
все остальное на месте и лишено судьбы,
и если свести с ума требуется пустяк,
то начеку ольха, вязы или дубы.

Чем мускулистей корни, тем осенью больше бздо,
если ты просто лист. Если ты, впрочем, он,
можно пылать и ночью, включив гнездо,
чтоб, не будя, пересчитать ворон.

Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь,
сделают карандаш или, Бог даст, кровать.
Но землю, в которую тоже придется лечь,
тем более — одному, можно не целовать.

Посвящается Чехову

Закат, покидая веранду, задерживается на самоваре.
Но чай остыл или выпит; в блюдце с вареньем — муха.
И тяжелый шиньон очень к лицу Варваре
Андреевне, в профиль — особенно. Крахмальная блузка глухо
застегнута у подбородка. В кресле, с погасшей трубкой,
Вяльцев шуршит газетой с речью Недоброво.
У Варвары Андреевны под шелестящей юбкой
ни-че-го.

Рояль чернеет в гостиной, прислушиваясь к овации
жестких листьев боярышника. Взятые наугад
аккорды студента Максимова будят в саду цикад,
и утки в прозрачном небе в предчувствии авиации
плывут в направлении Германии. Лампа не зажжена,
и Дуня тайком в кабинете читает письмо от Никки.
Дурнушка, но как сложена! и так не похожа на
книги.

Поэтому Эрлих морщится, когда Карташев зовет
сразиться в картишки с ним, доктором и Пригожиным.
Легче прихлопнуть муху, чем отмахнуться от
мыслей о голой племяннице, спасающейся на кожаном
диване от комаров и от жары вообще.
Пригожин сдает как ест — всем животом на столик.
Спросить, что ли, доктора о небольшом прыще?
Но стоит ли?

Душные летние сумерки, близорукое время дня,
пора, когда всякое целое теряет одну десятую.
«Вас в коломьянковой паре можно принять за статую
в дальнем конце аллеи, Петр Ильич». «Меня?» —
смущается деланно Эрлих, протирая платком пенсне.
Но правда: близкое в сумерках сходится в чем-то с далью,
и Эрлих пытается вспомнить, сколько раз он имел Наталью
Федоровну во сне.

Но любит ли Вяльцева доктора? Деревья со всех сторон
липнут к распахнутым окнам усадьбы, как девки к парню.
У них и следует спрашивать, у ихних ворон и крон;
у вяза, проникшего, в частности, к Варваре Андреевне в спальню,
он единственный видит хозяйку в одних чулках.
Снаружи Дуня зовет купаться в вечернем озере.
Вскочить, опрокинув столик! Но трудно, когда в руках
все козыри.

И хор цикад нарастает, по мере того как число
звезд в саду увеличивается, и кажется ихним голосом.
Что, если в самом деле? «Куда меня занесло?» — думает Эрлих,
возясь в дощатом сортире с поясом.
До станции — тридцать верст; где-то петух поет.
Студент, расстегнув тужурку, упрекает министров в косности.
В провинции тоже никто никому не дает.
Как в космосе.

Провинциальное

По колено в репейнике и в лопухах,
по галош в двухполоске, бегущей попасть под поезд,
разъезд минующий впопыхах;
в сонной жене, как инвалид, по пояс.
И куда ни посмотришь, всюду сады, зады.
И не избы стоят, а когда-то бревна
порешили лечь вместе, раз от одной беды
все равно не уйдешь, да и на семь ровно
ничего не делится, окромя
дней недели, месяца, года, века,
чем стоять стоймя, лучше лечь плашмя
и впускать в себя вечером человека.

Итак

Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал,
не признаться, что рад, а что одичал.

Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.

Твой пацан подрост; он и сам матрос.
И глядит на тебя, точно ты — отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.

То ли остров не тот, то ли впрямь, залив
синевой зрачок, стал твой глаз брезглив;
от куска земли горизонт волна
не забудет, видать, набегая на.

Иския в октябре

Фаусто Мальковати.

Когда-то здесь клекотал вулкан.
Потом — грудь клевал себе пеликан.
Неподалеку Виргилий жил,
и У. Х. Оден вино глушил.

Теперь штукатурка дворцов не та,
цены не те и не те счета.
Но я кое-как свожу концы
строк, развернув потускневший рцы.

Рыбак уплывает в ультрамарин
от вывешенных на балкон перин,
и осень захлестывает горный кряж
морем другим, чем безлюдный пляж.

Дочка с женой с балюстрады вдаль
глядят, высматривая рояль
паруса или воздушный шар —
затихший колокола удар.

Немыслимый как итог ходьбы,
остров как вариант судьбы
устраивает лишь сирокко. Но
и нам не запрещено

хлопать ставнями. И сквозняк,
бумаги раскидывая, суть знак —
быстро голову поверни! —
что мы здесь не одни.

Известкой скрепленная скорлупа,
спасающая от напора лба,
соли, рыхлого молотка
в сумерках три желтка.

Крутя бугенвиллей вснзеля,
ограниченная земля,
их письменностью прикрывая стыд,
растительностью пространству мстит.

Мало людей; и, заслышав «ты»,
здесь резче делаются черты,
точно речь наподобье линз
отделяет пейзаж от лиц.

И пальцем при слове «домой» рука
охотней, чем в сторону материка,
ткнет в сторону кучевой горы,
где рушатся и растут миры.

Мы здесь втроем, и, держу пари,
то, что вместе мы видим, в три
раза безадресней и синей,
чем то на что смотрел Эней.

* *
*

Она надевает чулки, и наступает осень;
сплошной капроновый дождь вокруг.
И чем больше асфальт вне себя от оспин,
тем юбка длинней и острей каблук.
Теперь только двум колоннам белеть в исподнем
неловко. И голый портик зарос. С любой
точки зрения, меньше одним Господним
Летом, особенно — в нем с тобой.
Теперь если слышится шорох, то — звук ухода
войск безразлично откуда, знамен трепло.

И лучше окликнуть по имени время года,
если нельзя удержать тепло.
Но, видно, суставы от клавиш, что ждут бемоля,
себя отличить не в силах, треща в хряще.
И в форточку с шумом врывается воздух с моря —
оттуда, где нет ничего вообще.

17 сентября 1993.

Цветы

Цветы с их с ума сводящим принципом очертаний,
придающие воздуху за стеклом помятый
вид, с воспаленным «а», выглядящим то гортанней,
то шепелявей, то просто выкрашенным помадой, —
цветы, что хватают вас за душу то жадно и откровенно,
то как блеклые губы, шепчущие «наверно».

Чем ближе тело к земле, тем ему интересней,
как сделаны эти вещи, где из потусторонней
ткани они осторожно выкроены без лезвий —
чем бестелесней, тем, видно, одушевленней,
как вариант лица, свободного от гримасы
искренности, или звезды, отделавшейся от массы.

Они стоят перед нами выходцами оттуда,
где нет ничего опричь возможности воплотиться
безразлично во что — в каплю на дне сосуда,
в спички, в сигнал радиста, в клочок батиста,
в цветы; еще поглощенные памятью о «сезаме»,
смотрят они на нас невидящими глазами.

Цветы! Наконец вы дома. В вашем лишенном фальши
будущем, в пресном стекле пузатых
ваз, где впору краснеть, потому что дальше
только распад молекул по кличке запах,
или — баять, шепча «пестик, тычинка, стебель»,
сводя с ума штукатурку, опережая мебель.

Персидская стрела

Веронике Шильц.

Древко твое истлело, истлело тело,
в которое ты не попала во время оно.
Ты заржавела, но все-таки долетела
до меня, воспитанница Зенона.

Ходики тикают. Но, выражаясь книжно,
как жидкость в закупоренном сосуде,
они неподвижны, а ты подвижна,
равнодушной будучи к их секунде.

Знала ли ты, какая тебе разлука
предстоит с тетивою, что к ней возврата
не суждено, когда ты из лука
вылетела с той стороны Евфрата?

Даже покоясь в теплой горсти в морозный
полдень, под незнакомым кровом,
схожая позеленевшей бронзой
с пережившим похлебку листом лавровым,

ты стремительно движешься. За тобою
не угнаться в пустыне, тем паче — в чаще
настоящего. Ибо тепло любое,
ладони — тем более, преходяще.

Февраль 1993

Надпись на книге

Когда ветер стихает, и листья пастушьей сумки
еще шуршат по инерции или благодаря
безмятежности — этому свойству зелени, —
и глаз задерживается на рисунке
обоев, на цифре календаря,
на облигации, траченной колизеями
ноликов, ты — если ты был прижит
под вопли вихря враждебного, яблочка, ругань кормчего —
различишь в тишине, как перо шуршит,
помогая зеленой траве произнести «все кончено».

* *
*

Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня,
воздуха с вкрапленным в оный криком «не тронь меня!»,
рвущимся из растения, впоследствии — изо рта,
чтоб ты не решил, что в мире не было ни черта.
Потом в нем возникли комнаты, вещи, любовь в лице,
сходство прошлого с будущим, арии с ТБЦ,
пришли в движение буквы, в глазах рябя.
И пустоте стало страшно за самое себя.
Первыми это почувствовали птицы — хотя звезда
тоже суть участь камня, брошенного в дрозда.
Всякий звук, будь то пенье, шепот, дутье в дуду, —
следствие тренья вещи о собственную среду.
В клетоте, в облике облака, в сверканье ночных планет
слышится то же самое «места нет!»,
как эхо отпрыска плотника либо как рваный SOS,
в просторечии — пульс окоченевших солнц.
И повинуюсь воплю «прочь! убирайся! вон!
с вещами!», само пространство по кличке фон
жизни, сильно ослепнув от личных дел,
смещается в сторону времени, где не бывает тел.
Не бойся его: я там был! Там, далеко видна,
посередине стоит прялка морщин. Она
работает на сырье, залежей чьих запас
неиссякаем, пока производят нас.

* *
*

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе солнце, если ты куришь «Шипку»?
За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

1970(?).

* *
*

Наряду с отоплением в каждом доме
существует система отсутствия. Спрятанные в стене
ее беззвучные батареи
наводняют жилью неразбавленной пустотой
круглый год независимо от погоды,
работая, видимо, от сети
на сырье, поставляемое смертью, арестом или
просто ревностью. Эта температура
поднимается к вечеру. Один оборот ключа,
и вы оказываетесь там, где нету
никого, как тысячу лет назад
или несколько раньше: в эпоху оледененья,
до эволюции. Узурпированное пространство
никогда не отказывается от своей
необитаемости, напоминая
сильно зарвавшейся обезьяне
об исконном, доледниковом праве
пустоты на жилплощадь. Отсутствие есть всего лишь
домашний адрес небытия,
предпочитающего в итоге,
под занавес, будучи буржуа,
валунам или бурому мху обои.
Чем подробней их джунгли, тем несчастнее обезьяна.

Памяти Клиффорда Брауна

Это — не синий цвет, это — холодный цвет.
 Это — цвет Атлантики в середине
 февраля. И не важно, как ты одет:
 все равно ты голой спиной на льдине.

Это — не просто льдина, одна из льдин,
 но возражение теплу, по сути.
 Она одна в океане и ты один
 на ней; и пенье трубы как паденье ртути.

Это — не искренний голос впотьмах саднит,
 но палец примерз к дизелю, лишен перчатки;
 и капля, сверкая, плывет в зенит,
 чтобы взглянуть на мир с той стороны сетчатки.

Это — не просто сетчатка, это — с искрой парча,
 новая нотная грамота звезд и полос.
 Льдина не тает, точно пятно луча,
 дрейфуя к черной кулисе, где спрятан полюс.

Февраль 1993.

Ответ на анкету

По возрасту я мог бы быть уже
 в правительстве. Но мне не по душе
 а) столбики их цифр, б) их интриги,
 в) габардиновы́е их вериги.

При демократии, как и в когтях тирана,
 разжав объятия, встают министры рано,
 и отвратительней нет ничего спросонок,
 чем папка пухлая и бантики тесемок.

И в свой черед невыносим ковер с узором
 замысловатым и с его подзолом
 из микрофончиков, с бесцветной пылью смешанных,
 дающий сильные побег мысли бешеных.

Но нестерпимее всего филенка с плинтусом,
 коричневость, прямоугольность с привкусом
 образования; рельеф овса, пшеницы ли
 и очертания державы типа шницеля.

Нет, я не подхожу на пост министра.
 Мне все надоедает слишком быстро.
 Еще — я часто забываю имя-отчество.
 Наверно, отрочество мстит, его отрочество.

Когда ж о родине мне мысль приходит в голову,
 я узнаю ее в лицо, тем паче — голую:
 лицо у ней — мое и мне не нравится.
 Но нет правительства, чтоб с этим чувством справиться,

иль я не член его. Я мог сказать бы проще но
во мне, наверно, что-то так испорчено,
что не починишь ни отверткой выборов,
ни грубым кодексом, ни просто выпоров.

Лишь те заслуживают званья гражданина,
кто не рассчитывает абсолютно ни на
кого — от государства до наркотиков, —
за исключением самих себя и ходиков,

кто с ними взапуски спешит, настырно тикая,
чтоб где — естественная вещь, где — дикая,
сказать не смог бы, даже если поднатужится,
портрет начальника, оцепенев от ужаса.

Приглашение к путешествию

Сначала разбей стекло с помощью кирпича.
Из кухни пройдешь в столовую (помни: там две ступеньки).
Смахни с рояля Бетховена и Петра Ильича,
отвинти третью ножку — и обнаружишь деньги.

Не сворачивай в спальню, не потроши комод,
не то начнешь онанировать. В спальне и в гардеробе
пахнет духами; но, кроме тряпок от
Диора, нет ничего, чтобы толкнуть в Европе.

Спустя два часа, когда объявляют рейс,
не дергайся; потянись и подави зевету.
В любой толпе пассажиров, как правило, есть еврей
с пейсами и с детьми: примкни к его хороводу.

Наутро, когда Зизи распахивает жалюзи,
сообщая, что Лувр закрыт, вцепись в ее мокрый волос,
ткни глупой мордой в подушку и, прорычав «грызи»
сделай с ней то от чего у девицы садится голос.

Послесловие к басне

«Еврейская птица ворона,
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?»

«Нет! Чуждый ольхе или вербе,
чье главное свойство — длина,
сыр с месяцем схож на ущербе.
Я в профиль его влюблена».

«Точней, ты скорее астроном
ворона, чем жертва лисы.
Но профиль, присущий воронам
пожалуй, не меньшей красы».

«Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свой профиль на сыр со слезой».

* *
*

Что ты делаешь, птичка, на черной ветке,
оглядываясь тревожно?
Хочешь сказать, что рогатки метки,
но жизнь возможна?

Ах нет, когда целятся из рогатки,
я не теряюсь.
Гораздо страшнее твои догадки;
на них я и озираюсь.

Боюсь, тебя привлекает клетка,
и даже не золотая.
Но лучше петь сидя на ветке; редко
поют, летая.

Неправда! Меня привлекает вечность.
Я с ней знакома.
Ее первый признак — бесчеловечность.
И здесь я — дома.

Архитектура

Евгению Рейну.

Архитектура, мать развалин,
завидующая облакам,
чей пасмурный кочан разварен,
по чьим лугам
гуляет то бомбардировщик,
то — более неуязвим
для взоров — соглядатай общих
дел — серафим,

лишь ты одна, архитектура,
избранница, невеста, перл
пространства, чья губа не дура,
как Тассо пел,
безмерную являя храбрость,
которую нам не постичь,
оправдываешь местность, адрес,
рябой кирпич.

Ты, в сущности, то, с чем природа
не справилась. Зане она
не смеет ожидать приплода
от валуна,
стараясь прекратить исканья,
отделаться от суеты.
Но будущее — вещь из камня,
и это — ты.

Ты — вакуума императрица.
Граненостью твоих корост
в руке твоей кристалл искрится,
идуший в рост

стремительнее Эвереста;
облекшись в пирамиду, в куб,
так точится идеей места
на Хронос зуб.

Рожденная в воображенье,
которое переживешь,
ты — следующее движенье,
шаг за чертеж
естественности, рослых хижин,
преследующих свой чердак,
в ту сторону, откуда слышен
один тик-так.

Вздыхая о своих пенатах
в растительных мотивах etc.,
ты более для сверхпернатых
существ насест,
не столько заигравшись в кукол,
как думая, что вознесут,
расчетливо раскрыв свой купол
как парашют.

Шум Времени, известно, нечем
парировать. Но в свой черед
нужда его в вещах сильнее, чем
наоборот:
как в обществе или в жилище.
Для Времени твой храм, твой хлам
родней как собеседник тыщи
подобных нам.

Что может быть красноречивей,
 чем неодушевленность? Лишь
 само небытие, чьей нивой
 ты мозг пылишь
 не столько циферблатам, сколько
 галактике самой, про связь
 догадываясь и на роль осколка
 туда просясь.

Ты, грубо выражаясь, сыто
 посматривая на простертых ниц,
 просеивая нас сквозь сито
 жил. единиц,
 заигрываешь с тем светом,

взяв формы у него взаймы,
 чтоб поняли мы, с чем на этом
 столкнулись мы

К бесплатному с абстрактным
 зависть
 и их к тебе, наоборот, —
 твоя, архитектура, завязь,
 но также плод.
 И ежели в ионосфере
 действительно одни нули,
 твой проигрыш, по крайней мере, —
 конец земли.

25.XII.1993

М. В.

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
 щепотка сегодня, крупица вчера,
 и к пригоршне завтра добавь на глазок
 огрызок пространства и неба кусок.

И чудо свершится. Зане чудеса,
 к земле тяготeya, хранят адреса,
 настолько добратсья стремясь до конца,
 что даже в пустыне находят жильца.

А если ты дом покидаешь — включи
 звезду на прощанье в четыре свечи,
 чтоб мир без вещей освещала она,
 вослед тебе глядя, во все времена.



МИХАИЛ АРДОВ
(протоиерей)



ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА

XVII

В нашей столовой на диване две фигуры, лица повернуты друг к другу и сияют счастьем. Это — Ахматова и ее сын..

Нет, не так надо начинать...

На диване рядом с Ахматовой сидит застенчивый, бедно одетый человек — и плачет, с трудом сдерживает рыдания, и слезы капают с его лица в тарелку с бульоном.

На Ордынке — обед. Мы все сидим за столом, а этот гость явился неким предтечей Л. Н. Гумилева, предвестником его скорого освобождения.

Он поэт, еврейский поэт, пишущий на идиш. А фамилия у него совершенно не подходящая ни к облику, ни даже к профессии. Его зовут Матвей Грубиян. Он только что освободился из того самого лагеря, где сидит Лев Николаевич, и вот явился к Анне Андреевне с приветом от сына и со своими рассказами о тамошней жизни. Слезы текут по его лицу, слезы на глазах у Ахматовой, у всех нас, сидящих за тем памятным мне обедом.

Это было в феврале 1956 года.

А сам Гумилев появился на Ордынке ясным майским днем того же года. Он был в сапогах, косоворотке, с бородою, которая делала его старше и значительнее. Бороду, впрочем, он немедленно сбрил, отчего сразу помолодел лет на двадцать.

Анна Андреевна попросила меня помочь приобрести для Льва Николаевича приличное платье. Мы с ним отправились на Пятницкую улицу и там в комиссионном магазине купили башмаки, темный костюм в полоску, плащ...

С этого эпизода началась моя многолетняя дружба с Гумилевым. Нам вовсе не мешало то обстоятельство, что он был старше меня на четверть века. Я всегда относился к нему как почтительный ученик к учителю. Да к тому же Л. Н. чувствовал себя много моложе своих лет.

— Лагерные годы не в счет, — утверждал он, — они как бы и не были прожиты.

Лев Николаевич сидит на тахте. Поза — лагерная, коленки возле подбородка. Во рту дымится папироса. Он говорит:

— Моим соседом по нарам был один ленинградский филолог. По вечерам он развлекал нас таким образом. Он говорил. «Очень скоро произойдет мировая революция, и город Гонолулу переименуют в Красногавайск... Разумеется, там начнет выходить газета «Красногавайская правда»...» И дальше импровизировал, сочинял статьи и заметки, которые будут печататься в этой «Красногавайской правде».

На первое время Гумилев поселился на Ордынке в нашей с братом «детской» комнате. В те дни я общался с ним едва ли не пятнадцать часов

в сутки. Я жадно ловил каждое его слово, впитывал всякое его суждение. Мы с ним ходили в пивную на Пятницкую, пили водку у нас в «детской»... Выпив рюмку-другую, он сейчас же закуривал и задирали ноги на тахту...

Сталина (а его личности разговор касался частенько) он называл полагерному — Корифей Наукович, свои лагерные сроки — «моя первая голгофа» и «моя вторая голгофа».

Мы едем с Львом Николаевичем по Ордынке в «шестом» автобусе. Пассажиров совсем немного. Вдруг я замечаю, что одна из наших попутчиц — высокая старая дама — смотрит на Гумилева не отрываясь и на лице ее смятение.

И тут я узнаю ее. Это Грушко, старая поэтесса, она живет неподалеку, в Голиковском переулке. Имени ее теперь никто не знает, но многие помнят одно из ее стихотворений, его положил на музыку и пел Александр Вертинский, — «Я маленькая балерина».

Дома я говорю:

— Анна Андреевна, мы ехали в автобусе с Грушко, и она буквально пожирала глазами Льва Николаевича.

Ахматова усмехнулась и произнесла:

— Ничего удивительного, у нее был роман с Николаем Степановичем, а Лева так похож на отца.

Лев Николаевич с детства обладал сильным сходством со своим родителем. Это видно на широко известной фотографии, об этом упоминает в своих воспоминаниях В. Ф. Ходасевич... Но в зрелые годы Гумилев стал похож на мать. Этому способствовало некое приключение на фронте. Было это, если я не ошибаюсь, в Польше. Лев Николаевич попал под минометный обстрел. Одна из мин угодила в какой-то деревянный настил, взрывной волной оторвало доску, и она угодила Гумилеву в самую переносицу. В результате этой травмы нос у него стал с горбинкой, точь-в-точь как у Ахматовой.

Анна Андреевна говорила:

— Лева рассказывал о войне: «Я был в таких местах, где выживали только русские и татары».

А сам Гумилев мне как-то сказал:

— Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские это могут, немцы — нет.

— В Ленинградском университете, — рассказывал Лев Николаевич, — шел экзамен. Одной студентке достался билет, в котором был вопрос о воззрениях Руссо. Ей подкинули шпаргалку. Но тот, кто это писал, букву «д» выводил, как «б», с хвостиком наверх... И вот вместо того чтобы сказать «человек по природе добр», студентка заявила экзаменатору — «человек по природе бобр»... Это не только забавно, но и не лишено смысла. Я в этом убедился на собственном опыте. Как бобер возводит плотины и хатки, которыми ему, быть может, не придется воспользоваться, так и я писал в лагере научные труды без малейшей надежды на публикацию.

Лев Николаевич прочел мне коротенькое стихотворение. Но при этом подчеркнул, что автор не он. Строки эти я запомнил с его голоса, сразу и на всю оставшуюся жизнь:

Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять,
Это мало — чекистов,
Карателей,
Стукачей, палачей,
Надзирателей...

Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять,
И прежде всего —
Писателей.

Однажды Гумилев рассказал мне, что еще в юности решил стихов не писать, ибо превзойти в поэзии своих родителей он бы не мог, а писать хуже не имело смысла. Однако же способности к стихосложению были у него незаурядные. Я вспоминаю такую фразу Ахматовой:

— Мандельштам говорил: «Лева Гумилев может перевести «Илиаду» и «Одиссею» в один день».

Мы со Львом Николаевичем идем по Тверской улице и смотрим на памятник Юрию Долгорукому. (Мой спутник, вероятно, видит его первый раз в жизни.)

— Да, — произносит он, — об этом князе истории достоверно известны лишь три факта: то, что он основал Москву, а также, по словам летописи, был «зело толст и женолюбив».

Лев Николаевич говорит моему брату Борису:

— Я знаю, что такое актерский труд. Я вам так скажу: зимой копать землю труднее, чем быть актером, а летом — легче...

Гумилев рассказывал нам, что где-то в архиве хранится экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» с пометками императрицы Екатерины II.

— Радищев описывает такую историю, — говорил Лев Николаевич. — Некий помещик стал приставать к молодой бабе, своей крепостной. Прибежал ее муж и стал бить барина. На шум поспешили братья помещика и принялись избивать мужика. Тут прибежали еще крепостные и убили всех троих бар. Был суд, и убийцы были сосланы в каторжные работы. Радищев, разумеется, приговором возмущается, а мужикам сочувствует. Так вот Екатерина по сему поводу сделала такое замечание: «Лапать девок и баб в Российской империи не возбраняется, а убийство карается по закону».

Гумилев говорит:

— Я в науке, разумеется с вынужденными перерывами, уже почти четверть века. Я никогда не видел в советской науке борьбы материализма с идеализмом, борьбы пролетарской идеологии с буржуазной... У нас всегда была только одна борьба — борьба за понижение требований к высшей школе. И эта борьба дала свои плоды.

— Я сидел за своим рабочим столом в Эрмитаже. Это было в сорок восьмом году. Ко мне подошла сотрудница и говорит: «У нас подписка. Мы собираем деньги на памятник Ивану Грозному. Вы будете вносить?» А я ей отвечаю: «На памятник Ивану Грозному — не дам. Вот когда будете собирать на памятник Малюте Скуратову — приходите».

— Мама когда-то жаловалась мне на отца: «Сразу после женитьбы он уехал в Африку». Я ей говорю: «А как же можно было отказаться от экспедиции?» А она мне говорит: «Дурак».

— В двадцатых годах в одной из бесчисленных анкет был такой вопрос: «Есть ли у вас земля и кто ее обрабатывает?» Павел Лукницкий написал такой ответ: «Есть в цветочном горшке. Обрабатывает ее кошка».

По поводу событий на Ближнем Востоке:

— Раньше все было ясно, были семиты и антисемиты. А теперь все антисемиты: одни против евреев, другие против арабов.

Лев Николаевич пересказывал мне свой спор с одним ленинградским скульптором.

— Он мне говорит: «Вы как интеллигентный человек обязаны...» А я ему отвечаю: «Я человек не интеллигентный. Интеллигентный человек — это человек слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю».

На столе бутылка водки и пироги с грибами. Лев Николаевич поднимает рюмку и чокается со мною.

— Ну, Миша, выпьем за то, чтобы Ира была хорошая.

(В его произношении — «Ива была ховошная».)

Сидящая с нами «Ива» (дочь Н. Н. Пунина от первого брака) кривится, Анна Андреевна хмурится.

Это происходит в августе 1958 года в Ленинграде, в квартире на улице Красной конницы, где жили Пунины и Ахматова, после того как их выселили из Фонтанного дома. Грибов мы набрали в Комарове, домработница по имени Анна Минна напекла пирогов.

В это время у Льва Николаевича уже была своя комната на самой окраине тогдашнего Ленинграда — в конце Московского проспекта. Про это место Ахматова отзывалась так:

— Лева живет на необъятных просторах нашей Родины.

В 1964 году я крестился. Это обстоятельство еще более сблизило меня с Гумилевым. В нем я встретил первого в нашем интеллигентском кругу сознательного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо:

— Но мы-то с вами з н а е м, что Он воскрес.

Много позже я понял, что взгляды его, по существу, вовсе не православны. Хотя он-то, Царствие ему Небесное, был абсолютно убежден в обратном. Он, например, говорил мне, что определенность в религиозных воззрениях (узость) — признак секты. А Церковь, дескать, на все смотрит шире. Теперь-то я бы ему ответил, что именно в Церкви, то есть в Писании и у Святых отцов, все определено, и притом весьма категорично. А что же касается до модной теперь «широты взглядов», то ни с какой шириной в «узкие врата», о которых говорит Христос, не пролезешь. Да что там говорить, сама по себе теория пассионарности не могла бы сложиться в голове христианина, качества перевозносимых им пассионариев греховны, прямо противоречат евангельским заповедям.

Я очень живо вспомнил все это, когда сравнительно недавно прочел у Владислава Ходасевича об отце Льва Николаевича:

«Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия».

Мне волей-неволей придется коснуться темы весьма печальной. В самые последние годы жизни Ахматовой у нее с сыном прекратились всякие отношения. В течение нескольких лет они не виделись вовсе. У них были взаимные претензии, и каждый был в свою меру прав. Однако же Льву Николаевичу следовало бы проявлять больше терпимости, учитывая возраст и болезненное состояние матери.

В самом начале 1966 года Лев Николаевич подарил мне свою статью «Монголы XIII в. и „Слово о полку Игореве“», опубликованную отделением этнографии Географического общества. Там много спорных утверждений, но главная идея, на мой взгляд, верна. «Слово...» отнюдь не произведение одного из участников похода князя Игоря, а сочинение более позднее, призывающее на самом деле к борьбе не с половцами, а с другими «погаными» — с татарами.

Этой темы мы с Ахматовой коснулись в самом последнем разговоре о ее сыне. Я очередной раз навещал ее в Боткинской больнице. Она знала, что дружба моя с ним продолжается, и спросила:

— Ну как Лева?

— У него все хорошо, — отвечал я. — Между прочим, он датировал «Слово о полку Игореве».

— Ну вот в это я не верю, — отозвалась Анна Андреевна.

Наши близкие с Гумилевым отношения продолжались до 1968 года. Тогда в Ленинграде состоялось судебное разбирательство. Лев Николаевич как законный наследник оспаривал право Ирины Николаевны Пуниной распродавать архив Ахматовой. Я, как и почти все друзья Анны Андреевны, выступил на его стороне. Но, честно говоря, сам факт этого суда повлиял на меня очень сильно и в конце концов отбил охоту тесно общаться с Гумилевым.

В этом деле он действовал как-то странно, в течение продолжительного времени никаких шагов не предпринимал, в результате почти все бумаги Ахматовой были Пуниными распроданы и оптом и в розницу — и в государственные архивы и частным лицам.

Мы стоим на Фонтанке у здания Ленинградского городского суда. (Кстати, там в свое время помещалось Третье отделение собственной его величества канцелярии. Мой любимый А. К. Толстой писал:

Стоит на вид весьма красивый дом,
Своим известный праведным судом.)

Я говорю Гумилеву:

— В этой пунической войне (суд с Пуниными) вы вели себя, как Кунктатор.

Шутка приводит его в восторг.

— Я — Кунктатор!.. Я — Кунктатор! — повторяет он несколько раз и громко смеется.

Не могу умолчать тут об одном удивительном факте. Году эдак в семьдесят восьмом я пригласил двух гостей, его учеников, с которыми он меня в свое время и познакомил, — Гелиана Михайловича Прохорова и Андрея Николаевича Зелинского. (Друг друга они узнали, разумеется, тоже через Л. Н.) В ожидании их прихода я слушал Би-би-си. К тому моменту, когда гости подошли к моей двери, дикторша принялась читать стихи Марины Цветаевой, и они переступили порог квартиры по которой разносилось:

Имя ребенка — Лев,
Матери — Анна.
В имени его — гнев.
Волосом он рыж, —
Голова тюльпана!
— Что же, осанна
Маленькому царю.

Примерно через полгода после того как это случилось, я поехал по делам в Ленинград. Там Прохоров предложил мне пойти на публичное выступление Гумилева. Состоялось оно на Васильевском острове, в роскошном здании на берегу Невы. До начала лекции я подошел к Л. Н. и рассказал о том, как мы трое слушали по радио стихи Цветаевой о нем. Он реагировал на это сообщение с некоторым даже неудовольствием:

— С вами, Миша, всегда происходит что-нибудь в этом роде.

Само его выступление (а я ни до, ни после его публичных лекций не слушал) произвело на меня несколько тягостное впечатление. Разумеется, говорил он блистательно — сыпал фактами, именами, датами, парадок-

сальными суждениями... Но все это как-то легковесно, несолидно, эдакий научный Аркадий Райкин, виртуоз на профессорской кафедре...

Сама же теория пассионарности, на мой взгляд, критики не выдерживает, ибо он объявлял явлениями одного и того же порядка и классическую греческую философию, и распространение ислама, и крестовые походы, и европейский Ренессанс.

Я, помнится, тогда же, после его выступления, поделился с Г. М. Прохоровым такой идеей: хорошо бы написать большой портрет Гумилева, а над ним лозунг — «пассионарии всех времен — соединяйтесь!».

И все же я жалею Льва Николаевича. Он в определенном смысле опоздал. Будь он лет на десять, на пятнадцать помоложе, доживи до девяностых годов не дряхлым и расслабленным, а полным сил, его слова были бы слышнее, а слава — громче. В наше смутное время «завиральные идеи» пользуются повышенным спросом. Пользуясь термином Пастернака, я могу утверждать, что Гумилев «мог бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе».

Осенью 1991 года, когда он был еще жив, я специально включил телевизор, чтобы послушать Льва Николаевича, взглянуть на него. Он вещал, сидя в садике на какой-то даче. Грустное это было зрелище. Он даже изумительный свой дар лектора утратил. В частности, сказал такое:

— Пассионарность передается половым путем. То есть по наследственности...

Услышав это, я телевизор выключил.

Но вот вспоминается мне день смерти Ахматовой — 5 марта 1966 года. Я был тогда в Ленинграде, вечером поехал в ее квартиру на улице Ленина.

Несколько позже моего появления — звонок. Дверь открывают и в прихожую входит Лев Николаевич. Он снимает шапку, смотрит на нас и произносит:

— Лучше бы было наоборот. Лучше бы я раньше ее умер.

Тогда же, в марте шестьдесят шестого, состоялся наш с ним единственный разговор об его отношениях с матерью, о причинах ссоры с ней. Было это на девятый день после смерти Анны Андреевны, мы поехали к нему домой после панихиды в Гатчинской церкви. Он мне сказал такую фразу:

— Я потерял свою мать в четвертый раз.

И далее перечислил: первый — какое-то отчуждение в 1949 году, второй — в пятьдесят шестом, сразу после освобождения, третий — последняя ссора, когда они перестали встречаться.

В тот день я получил от него подарок — пять фотографий. Первая — сорок девятого года, до второго ареста. Затем последовательно — тюремная, лагерная, где он держит дощечку со своим номером, еще лагерная из последних, с бородой, и наконец снимок пятьдесят шестого года, после освобождения. Помнится, он разложил это все на столе и сказал:

— Полюбуйтесь, путь ученого... Это — за папу... Это — за маму... А это — за кошку...

XVIII

— Вот тут ты сделаешь два кронштейна, — говорит Ардов.

Он ведет карандашиком по чертежу.

— Ну-к что ж, исделаем, — степенно отвечает столяр Иван Капитонович.

— А здесь, — продолжает объяснения отец, — такую небольшую фанерную перемычку...

— Ну-к что ж, исделаем...

При подобных сценах мне приходилось присутствовать регулярно в детские годы и в юности. И. К. Сигунов был краснодеревцем, он следил за сохранностью хорошей мебели в нашей квартире, а кроме того выполнял многочисленные ардовские заказы — сооружал столики, полки, подставки под книги и т. д. и т. п.

Если замысел заказчика был ему по душе, Капитоныч степенно твердил свое «ну-к что ж, иделаем...», а коли нет, он повторял иронически: «Эшь ты!..»

Кончались эти диалоги почти всегда одинаково.

— Ну а материал-то у тебя есть? — спрашивает отец. — Доска у тебя такая найдется?

— Васька стибрит, — отвечал Капитоныч.

(На самом деле он употреблял глагол более выразительный.)

Васька был его помощником и обладал тем преимуществом, что работал на мебельной фабрике, а потому, как теперь бы выразились, для приватизации имел возможности почти неограниченные.

Иван Капитонович жил неподалеку от нас, в Толмачевском переулке, в крошечной квартирке без удобств, которую он соорудил себе сам на месте какого-то сарая. Году эдак в пятидесятом он овдовел, остались они вдвоем с сыном, впрочем, уже довольно взрослым.

Как-то мы с отцом зашли к Капитонычу в Толмачевский. Он сидел на своей кухне и беседовал с простой женщиной очень степенного вида. Это оказалась сваха, которая довольно скоро подыскала ему вторую жену — скромную, тихую и приятную.

Под конец жизни с Капитонычем случилась страшная беда — он совершенно ослеп, и у него как у инвалида появились права на улучшение жилища. Но осуществить это оказалось вовсе не просто, и вот тут ему помог Ардов.

Пока это дело тянулось, Капитоныч регулярно появлялся на Ордынке. Его приводила жена, та самая вторая, застенчивая и молчаливая. Отец звонил по телефону, печатал на машинке письма и жалобы...

И вот хлопоты увенчались полным успехом, Капитоныч получил новую квартиру. Жена еще раз привела его, он принес отцу подарок, какую-то, помнится, шкатулочку, которую сам полировал, уже будучи слепым. Когда Ардов вышел из комнаты, Капитоныч сказал мне и брату Борису:

— Вот сколько у меня было заказчиков... У кого я только не работал... И никто мне не помог. Один он только мне помог...

И слезы катились по его незрячему лицу.

Однажды наш Капитоныч работал у писателя Владимира Дыховичного. Ему довелось реставрировать драгоценную вещь — декоративное корыто карельской березы. В какой-то момент он вытащил страшный ржавый гвоздь.

— Вот сукины дети! — воскликнул столяр. — Что делают!

— Да что ты говоришь? — отозвался хозяин. — Ведь это делали крепостные мастера в восемнадцатом веке!..

— Делали-то крепостные, — отвечал Капитоныч, — да ремонтировали-то вольные, так их мать...

Дверь отцовского кабинета раскрывается и в столовую выходит заспанный хозяин. Навстречу ему со стула поднимается плешивый человек с эдаким «кувшинным рылом». Это эстрадный актер С. Отец немедленно вступает с ним в игру. Изобразивши на лице удивление, отец говорит:

— Простите, вы кто такой?

С. почтительно наклоняет голову и произносит реплику из «Плодов просвещения»:

— От Бурдые...

Валерий С. регулярно появлялся на Ордынке в течение нескольких десятилетий. Был он человек одаренный, я, помню, как-то слышал в его исполнении рассказы Салтыкова-Щедрина. К Ардову он приходил заказывать репертуар и притом был весьма требовательным клиентом, заставлял переделывать и переписывать юморески.

Как-то Ардов говорит ему полушутя:

— Валя, почеси-ка мне спину.

— Ты, Виктор, с этим не шути, — серьезно отвечает С.

— А что такое?

— Был у меня, — продолжает тот, — дядя Павел. Он у нас с ума сошел. А тетя еще этого не знала. И вот она ему тоже говорит: «Павел, почеси мне спину». А он давай ей корябать — до крови. Шесть швов накладывали... Так что ты с этим не шути...

С. вечно попадал в какие-то истории.

Они с Ардовым не виделись в течение всех военных лет. Наконец встретились. С. осунувшийся, бледный...

— Валя, — говорит отец, — что с тобой? Как живешь? Рассказывай...

— Плохо, — отвечает тот.

— А что такое?

— Да я с балкона упал...

— Как же это?..

— Был я в гостях, думал, что там лестница... А это был просто балкон... Я шагнул и...

Как-то С. отдыхал в Сочи. Купаясь в море, он потерял вставную челюсть. Вышел на берег очень расстроенный, но кто-то тут же дал совет. Неподалеку купались местные мальчишки, их подозвали и попросили за вознаграждение поискать челюсть на дне.

Мальчишки бросились нырять, и один из них тут же нашел потерю. Он вынырнул на поверхность, высоко поднял руку с челюстью и крикнул: «Ваша?» — так, будто все дно в этом месте было усеяно челюстями.

— Я бы, конечно, мог себе достать галоши бесплатно, только хлопот много, времени жалко...

Это произносит К., молодежавый и красивый, вполне пристойно одетый человек, который сидит на диване в нашей столовой.

— А как же это можно достать галоши — бесплатно? — спрашивает Ардов.

— Очень просто, — отвечает К. — Для этого надо одолжить у кого-нибудь одну галошу. Например, правую. После этого я еду в трамвайный парк в стол находок и предъявляю там эту одолженную галошу. «А левая, — говорю я им, — потерялась у меня во время давки в трамвае». «Ну ищите», — говорят они мне. А у них там потерянных галош целая гора. Вот я и подбираю пару к той галоше, что одолжил. Они составляют акт, и я ухожу. После этого я возвращаю правую галошу владельцу, а с левой еду уже в троллейбусный парк. И там заявляю, что потерял правую во время давки в троллейбусе... И они мне показывают свою гору галош... Но это все так канительно.

Этого человека я помню со времени своего отрочества. К. был администратором, устраивал Ардову выступления. Отец называл его жулик-неудачник. Был он притом совершенно неотразим для самой низшей категории дам. Но и на этом фронте его преследовали неудачи. К. бывал то и дело бит ревнивыми соперниками.

Вот он вздыхает и говорит:

— Мне тут предлагают заработать десять тысяч. Но я боюсь, уж больно дело ненадежное...

— А что надо сделать?

— Надо поджечь здание артели... Это тут недалеко — в Малаховке. Они там проворовались, а теперь хотят замести следы... Поджечь, конечно, можно... Но евреи очень хлипкие, на следствии расколются, сами же все и расскажут...

— Нет, — произносит Ардов, — так жалобы не пишут...

Он кладет бумагу на стол.

Перед ним на диване сидит просительница, она смотрит на него умоляюще и с надеждой.

— Я вас сейчас научу, как надо писать жалобы, — говорит отец. — Если вы вступили с кем-нибудь в бумажную войну, вы должны адресовать свои письма одновременно во все те инстанции, куда их может переслать вышестоящее начальство. Вот, например, вы жалуетесь в ЦК партии. На вашем письме должно значиться: копия — в МК партии, копия — в Моссовет, копия — прокурору Москвы, районному прокурору и т. д. и т. п.

У Ардова был огромный интерес к жизни и к людям, а также доброта, желание активно помогать нуждающимся. Среди потока проходящих к нему людей немало было ищущих защиты и помощи. Но по доброте своей и отзывчивости к чужому горю Ардов иногда попадал в положения двусмысленные.

Как-то на Ордынке появилась убитая горем женщина. Ее сын был осужден по довольно жуткому делу. Этот молодой человек в компании своих подвыпивших приятелей оказался на какой-то квартире. Там они все стали приставать к пришедшей с ними девице, а та от испуга бросилась в окно и разбилась насмерть. Так вот мать одного из них умоляла Ардова хлопотать о снижении тюремного срока, к которому приговорен был ее сын. Он, кажется, пытался урезонивать своих дружков и к несчастной этой девчонке не приставал. Отец взялся помочь, и в конце концов приговор парню пересмотрели.

Через несколько дней после того как Ардов взялся помогать несчастной матери, на Ордынку явился пожилой, весьма уважаемый господин. Он тоже просил помощи. Муж его юной внучки, кажется, актер, из ревности убил свою жену. За это он получил продолжительный тюремный срок. Суть же просьбы деда была в том, чтобы добиться для него смертной казни. К удивлению моему, Ардов было взялся помочь и в этом деле.

Когда проситель удалился, я сказал отцу:

— У тебя есть какие-нибудь принципы? В одном случае ты хлопчешь о том, чтобы наказание стало мягче, а в другом будешь добиваться, чтобы человека казнили?..

Ардов смутился и, помнится, об ужесточении приговора хлопотать не стал.

Вот эта, я бы сказал, беспринципная отзывчивость, готовность помочь любому просителю вне зависимости от сути дела, в конце концов имела печальные последствия...

После смерти Ахматовой все ее бумаги были переданы Ирине Николаевне Пуниной и ее дочери. Дамы эти были чем-то вроде семьи Анны Андреевны, каковое обстоятельство и вызывало обиду ее родного сына и наследника.

Получив в свое распоряжение весь архив, Пунины свою добычу припрятали, а потом стали распродавать по частям. Лев Николаевич решил этому воспротивиться и подал в суд. И тогда эти торгующие дамы притворились кроткими овечками, они обратились за помощью к Ардову, и родитель мой покойный написал позорнейшее письмо в ленинградский суд. Там он не только с жаром защищал Пуниных, но и порицал Л. Н. Гумилева... И все это на уровне политического доноса. Срам-то какой!..

XIX

Виталий Иванович Войтенко победно оглядывает нас, своих юных собутыльников, и кричит, кричит с неповторимой интонацией:

— Реже мечите, малолетки!

А потом вдруг резко поворачивается ко мне — и скороговоркой, скороговоркой:

Наш маленький Мотл
Нигде не работл!
Нигде не работл
Наш маленький Мотл!

Мы, двадцатилетние, смотрим ему в рот. Мы готовы без конца слушать его военные и лагерные истории, в которых, как мы позднее сообразили, реальность искажалась самым прихотливым образом.

Из всех тех, кого я именую тут клиентами Ардова, он один вошел в нашу с братом Борисом компанию, стал своим человеком в «детской», отчасти верховодил. В те годы он неплохо кормился тем, что был разъездным администратором, возил по бескрайним сибирским и казахстанским просторам бригады артистов, среди которых непременно должна была быть хоть какая-нибудь, хоть второсортная, хоть в тираж вышедшая, но — знаменитость.

На худой конец, у Войтенко была жена, исполнительница русских песен, которая выступала под именем Зинаиды Руслановой. В тех, как выражаются администраторы, «мухосраловках» и «запердяевках», где устраивались эти концерты, она проходила как «дочка Лидии Руслановой».

Войтенко любил повторять:

— Искусство в массу, деньги в кассу.

А «Систему Станиславского» он называл «Система Сандуновского»...

Легенда его, которую он нам внушал во время застолий в «детской» комнате, была такова. Он, дескать, был во время войны летчиком-штурмовиком высочайшего класса и получил множество наград. Когда же война победоносно завершилась, Войтенко будто бы принял не в меру активное участие в «пире победителей», угодил под трибунал и получил лагерный срок...

Относительно скоро после появления в нашей компании он снова отправился в места не столь отдаленные. В московском городском суде рассматривалось дело «якутского эстрадно-концертного бюро», Войтенко был одним из подсудимых и получил лагерный срок. На суде, надо сказать, он держался великолепно. При вынесении приговора жена, «Зинаида Русланова», заревела, а он заорал ей со скамьи подсудимых:

— Не позорься перед фраерами!

Через несколько месяцев на Ордынку пришло от него письмо из лагеря, написано оно было в форме киносценария. Я запомнил оттуда такую фразу: «Зарплата мне тут положена двадцать пять рублей, из них шестнадцать вычитают на зори коммунизма».

Мы с братом воодушевлены идеей... Мы сочиняем стихотворные лозунги... Борис пишет их на ватманской бумаге... Мы возимся с проводкой... Мы бежим на Пятницкую в книжный магазин и покупаем там политические брошюры...

И уборная в квартире на Ордынке преображается. Там появляется полка с брошюрами, там висит репродуктор, который не смолкая бубнит про «наши достижения»... Там красочные лозунги:

Превратим наши сортиры
В главполитпросвет квартиры!
Отправляя здесь нужду
(физиологическую),
Не забывайте про вражду
(социально-политическую)!

Смеху было много, но все это просуществовало лишь несколько часов. Родители наши и Ахматова признали шутки небезопасными, и сортир на Ордынке снова стал самым прозаическим местом.

Раннее утро. Я лежу в кровати, а брат Борис уже встал и собирается в институт.

В дверях нашей «детской» комнаты появляется высокий юноша с красивым и умным лицом. Это семнадцатилетний Александр Нилин. Он зашел за Борисом, они теперь вместе учатся в школе-студии МХАТа. Он стоит, я лежу, и мы с ним перебрасываемся шутками.

Наше такси очень медленно движется по улице Горького... Шофер ищет место для стоянки, но все забито — машин полно. Мы с приятелями хотим забежать в магазин «Армения», купить там коньяку и копченого мяса... Дело происходит 5 ноября, мы собираемся ехать на дачу, проводить там «праздники».

По лобовому стеклу автомобиля бегут струйки, на улице ветер и сильный дождь. Один из нас говорит:

— Ну почему в этой стране всегда все хуже, чем у прочих? Почему они устроили свою революцию в октябре?.. Вот во Франции Бастилию взяли летом, четырнадцатого июля... В Америке праздник — четвертого июля. А тут обязательно — грязь, сырость...

И вдруг к нам поворачивает голову шофер, он только что пристроил машину у тротуара.

— Это все в наших руках, — говорит водитель. — Праздник можно и переменить...

Это звучит не только неожиданно, но и страшновато.

Был у нас в те годы приятель несколько постарше нас. Он люто ненавидел советскую власть, в особенности наших «дорогих вождей». Во всяком застолье он произносил свой излюбленный тост — поднимал рюмку и говорил:

— Чтоб они сдохли!..

Как-то мы уселись выпивать в Международный женский день, 8 Марта. Наш друг поднял рюмку и не без галантности произнес:

— Ну, за их вдов!

Я произношу ахматовские строки:

Темнеет аллея приморского сада,
Свежи и желты фонари...

Сама Анна Андреевна сидит на диване и посмеивается. А я продолжаю в мужском роде:

Я очень спокойный, но только не надо
Со мной о любви говорить...

Тут Ахматова смеется сильнее и даже на какое-то мгновение закрывает лицо руками.

Это было в тот вечер, когда я вернулся с концерта Вертинского и рассказывал Анне Андреевне, как он переиначивает ее стихи.

Я иду вдоль Манежа, справа Александровский сад и кремлевская стена... И так почти каждое утро. Это мой путь от остановки автобуса № 6 до старого здания университета.

И вот мне приходит в голову мысль: отчего я всякий раз иду именно с этой стороны, а не с другой, не по Моховой улице?.. Ответ прост: я подсознательно оттягиваю тот момент, когда станет видна цель моего ежеутреннего путешествия.

На Ордынке — торжественный ужин. Стол накрыт белой скатертью и сервирован со всем возможным старанием.

На диване рядом с Ахматовой сидит нарядный и важный гость. Это академик Виктор Владимирович Виноградов, Виноградыч, как называет его Анна Андреевна за глаза. Он, как всегда, пришел с женой Надеждой Матвеевной. Она дама, приятная во всех отношениях, но притом донельзя светская. На фоне ее милой болтовни реплики самого Виноградыча звучат особенно ехидно. Вот он смотрит на мою сверхскромную персону и произносит:

— Молодой человек, где вы учитесь?

— В университете, — отвечаю я, — на факультете журналистики...

— Да, да, — отзывается академик, — есть такой факультет... Только к университету, к науке никакого отношения не имеет...

Однорукий лысый человек, декан нашего факультета Евгений Лазаревич Худяков, доверительно смотрит на слушателей и произносит:

— Вот мы здесь все свои... Нету никого посторонних... И потому я могу вам сказать с предельной откровенностью: «Правда» — это наша лучшая газета...

Откровения подобного рода он во множестве преподносил нам на каждом занятии. Предмет, им преподаваемый, назывался прямо по Александру Зиновьеву: «Теория и практика партийно-советской печати». (И уж воистину где кончалась теория и начиналась практика, различить было решительно невозможно.)

Очевидно, чтобы бывать на факультете пореже, Худяков читал нам свой убийственный предмет по четыре часа кряду. Выдерживать это можно было только так: сесть подальше от лектора и положить на колени интересную книгу. И еще характерная деталь. Лекции эти всегда происходили в аудитории, называвшейся Большая зоологическая. Как видно, для классов «антропологических» наша «теория и практика» не вполне подходили.

Я благополучно окончил факультет журналистики в 1960 году, но никаких особенных знаний и навыков оттуда не вынес. Почти все предметы были никчемные, а преподаватели за редкими исключениями — ничтожные.

У нашего декана был любимый афоризм, который он повторял к месту и не к месту:

— Газету надо делать чистыми руками.

Один из факультетских острословов как-то заметил:

— Наверное, по этой причине Худякову и отрубили одну руку.

Мы идем по самой середине мостовой, но машины нас не обгоняют и никто не попадает навстречу — улица Ордынка совершенно пуста и разукрашена красными тряпками. Из репродуктора доносится бравурная музыка. Это 1 Мая.

Через полчаса начнется на Красной площади парад, и тогда по Ордынке покатают танки, пушки, ракеты... Здесь будет жуткий грохот, дым и вонь...

А потом возле мавзолея будет «демонстрация трудящихся», и сюда хлынут толпы оживленных людей с бумажными цветами и гирляндами столь же ненатуральными, как их патриотические чувства...

А пока Ордынка пуста, безлюдна на всем своем протяжении. И вот мы, вся наша компания, приближаемся к цели — к пивной на Серпуховской площади.

Тут тоже пока немногочисленно, два-три посетителя. Мы усаживаемся у окна, появляются пенные кружки, и старый официант Павел Яковлевич ставит на мраморный столик целое блюдо раков. Александр Нилин поднимает одного за красную клешню и произносит:

— Раки большие, как голуби...

Павла Яковлевича, официанта с Серпуховки, я запомнил на всю жизнь. Я всегда ценил в людях профессионализм, а он обладал этим качеством в высочайшей степени. Он работал в пивных с четырнадцать лет, и как работал!.. Павел Яковлевич, например, демонстрировал нам такой трюк — поднимал в двух руках дюжину пива, в каждой по шесть полных кружек.

С ним даже и разговаривать было необязательно. Он обычно стоял, прислонившись спиной к кафельной печке, — невысокий, стриженный, в белой официантской курточке. Достаточно было повернуть голову и только взглянуть на него, как он исчезал и тут же появлялся, абсолютно точно угадав не высказанное посетителем желание. Приносил пиво, раков, соленую рыбу, сухарики, моченый горох...

Однажды, помнится, у нас кончились деньги, а уходить не хотелось. Тогда кто-то предложил: не попросить ли у Павла Яковлевича займы?.. Эта фраза еще толком и произнесена не была, как сам старый официант приблизился к нашему столику и спросил:

— Может быть, вам в долг чего-нибудь подать?

XX

Мы сидим за чинным завтраком в доме Д. Д. Шостаковича. За столом сам композитор, его жена, сын Максим, я и еще два наших общих приятеля. Все молчат, тишина довольно напряженная. И тогда Максим обращается ко мне:

— Мишка, расскажи какой-нибудь анекдот, ты их все знаешь...

Реплика повисает в воздухе, молчание становится еще тягостнее.

А дело было так. Максим Шостакович устроил холостяцкую пирушку, которая затянулась далеко за полночь, и мы все остались у него ночевать. А рано утром нежданно-негаданно пожаловал с дачи Дмитрий Дмитриевич с супругой, и нас, заспанных и не вполне протрезвевших, усадили за табльдот.

Мой старый приятель Максим Шостакович — один из самых артистичных людей, каких я знаю. Темпераментный, живой, веселый, он не столько рассказчик, сколько «показчик», имитатор, и притом весьма наблюдательный. Если бы он не стал музыкантом, он мог бы быть замечательным актером. К сожалению, на бумаге невозможно передать почти ничего из того, чем он нас так веселил и радовал. Помню, например, как Максим изображал толстого болгарского полицейского, который завязывает шнурок на ботинке. Одну ногу поставил на стул, а наклонился к другой, той, что была на полу...

Или такой трагикомический этюд.

Максим изображал человека, который идет по улице и несет под мышкою маленький детский гробик. Навстречу ему незнакомая молодая женщина катит коляску с грудным младенцем. Прохожий деловито заглядывает в коляску и бодрым голосом спрашивает у оторопевшей матери: «Это кто у вас? Мальчик?.. Девочка?..»

В шестидесятых годах Максим Шостакович с компанией друзей смотрел какой-то жуткий фильм об Эрнсте Тельмане. Кульминационным местом этой ленты был такой эпизод. Гестаповцы ведут Тельмана по тюремному коридору. И там он случайно встречает другого конвоируемого узника — Димитрова. Их разводят в разные стороны, и они кричат друг другу в гулком помещении: «До свидания, Эрнст Тельман!» — «До свидания, Георгий Димитров!»

— Будь здоров, Отто Нушке! — заорал во всю глотку из зала Максим. (Был тогда такой функционер в Восточном Берлине.)

В те далекие времена я регулярно видел и самого Дмитрия Дмитриевича. Но нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из нас общался с ним. Разумеется, он был с нами, приятелями сына, очень вежлив, но от него всегда исходило какое-то ужасающее напряжение. Был он, как я понимаю, неврастеник и человек глубоко несчастный. Ведь и музыка его вполне неврастенична, лучше всего он передает «страх и трепет». Я полагаю, он совершенно не переносил одиночества, а потому ему непременно надо было состоять в браке. После смерти первой жены, матери его детей, он не женился довольно долго. А потом, уже на моей памяти, у Шостаковича появилась очень странная, мягко выражаясь, супруга. Звали ее Маргарита, в прошлом она была комсомольским работником. Лучше всего ее характеризует такая фраза:

— Мой первый муж тоже был музыкант. Он играл на баяне.

Довольно скоро у этой дамы произошел конфликт с детьми Дмитрия Дмитриевича, и она была удалена. Притом даже бракоразводного процесса не последовало, ибо тут выяснилось, что она оформила свой брак с Шостаковичем, не расторгнув до конца союз с баянистом.

Дмитрий Дмитриевич в высокой степени обладал чувством юмора. Я с удивлением узнал от Максима, что у него была излюбленная цитата из раннего ардовского рассказа. Новелла эта называется «Лозунгофикация» и сплошь состоит из пародийных стихотворных призывов. Так вот, если на кухне слышался шум или грохот, Шостакович всякий раз возглашал:

Граждане, на кухонном фронте
Горящий примус не уроньте!

Во время войны Дмитрий Дмитриевич был в Куйбышеве, там он увидел и запомнил такое замечательное объявление: «С 1 октября открытая столовая здесь закрывается. Здесь открывается закрытая столовая».

Как-то Шостакович с сыном заехали в управление по охране авторских прав. Там они увидели Жана Поля Сартра, который очень внимательно и деловито пересчитывал свой гонорар — изрядное количество крупных купюр. Наблюдая эту сцену, Дмитрий Дмитриевич тихонько сказал Максиму, перефразируя популярные в те годы слова Ленина:

— Мы не отрицаем материальную заинтересованность при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса...

В шестидесятых годах на какой-то фестиваль приехал из Индии очень богатый и знаменитый в своей стране композитор. Писал он главным образом музыку к кинофильмам. Его познакомили с Шостаковичем. Индус, между прочим, сказал:

— Вы, наверное, платите очень много денег вашему помощнику?

— Какому помощнику? — удивился Дмитрий Дмитриевич.

— Ну, тому, кто записывает ваши мелодии...

— Я сам записываю свою музыку, — сказал Шостакович.

— Как? — поразился индийский гость. — Вы даже ноты знаете?!

Я вспоминаю, Шостакович-младший пригласил меня на генеральную репетицию «Леди Макбет Мценского уезда» в Ленинградский малый оперный театр. Там он обратил мое внимание на одно примечательное место в этой опере.

Его отец, как объяснил мне Максим, всю жизнь терпеть не мог музыки Чайковского. Но по вполне понятным причинам никогда не смел высказать это открыто. И все же он это выразил. Шостакович сам написал либретто для «Леди Макбет», там преступление Сергея и Катерины открывается так. Во время их свадьбы пьяненький мужичок ищет, чем бы поживиться, и открывает крышку колодца, где лежат смердящие трупы. И тогда мужичок начинает петь на тот самый мотив, с которого начинается

увертюра оперы «Евгений Онегин»: «Какая вонь!.. Какая вонь!.. Какая вонь!.. Какая вонь!..»

Все семейство Шостаковичей долгие годы пользовалось услугами частной зубной врачихи, дамы с какой-то замысловатой двойной фамилией. Она практиковала в своей крошечной квартирке, где прихожая была также местом ожидания для пациентов, а единственная комната — и жильем и кабинетом. Вместе с дантисткой там жила старая прислуга, которая исполняла обязанности санитарки.

Как-то Максим Шостакович проснулся утром с сильной зубной болью. Он решил отложить все дела, сел в машину и поехал к врачихе. Войдя в прихожую, он застал там обычную картину. На диванчике сидели две пожилые женщины и потихонечку переговаривались. Очевидно, дожидались своей очереди. Максим тоже присел на стул.

Через некоторое время из комнаты вышла прислуга и обратилась прямо к нему:

— Ну что же вы здесь сидите?.. Проходите, пожалуйста...

Максим последовал за ней, но так и замер на пороге. Посреди комнаты он увидел стол, на нем гроб, в котором лежала старая дантистка. Постояв несколько минут, мой приятель повернулся и отбыл с зубной болью восвояси...

XXI

В мое время, в пятидесятых годах, на гуманитарных факультетах в университете существовала военная кафедра, и мы, пройдя курс, становились младшими лейтенантами запаса. Преподаватели, в основном полковники, были презабавные, приструнить они нас толком не могли, а потому занятия проходили очень весело.

Полковник по фамилии Ахлестин имел к тому же и комическую внешность: курчавая шевелюра, широкий нос — совершеннейший лев с замкового камня на нашем старом здании.

Вот он заглядывает в свой конспект и произносит:

— В случае атомного нападения трупы собираются в закрытом помещении и не показываются на глаза родственникам...

Я складываю перочинный нож и любуюсь своей работой. На серой доске только что вырезанная мною надпись: «Я тот солдат, который не хочет стать генералом».

Я стою под грибком, я — дневальный.

Это было в лагерях под Тверью, на Волге, в Таманской дивизии. Там я довольно быстро освоился и постиг важную закономерность. У армейской системы есть множество возможностей давить на человека, но только если ты составляешь часть какого-нибудь из ее подразделений — взвода, роты, полка... А коли ты по какой-нибудь причине оказался вне этого — заболел, отстал от части и т. п., — у этой страшной машины против тебя почти нет средств. Как говорит русский народ, мышь копной не придавишь.

По этой самой причине я немедленно вызвался быть дневальным — четыре часа стоишь под грибком, четыре спишь, четыре бодрствуешь, а на самом деле опять-таки спишь где-нибудь на свежей траве, подложив под щеку пилотку...

В памяти моей всплывают полузабытые лица офицеров...

Бодрый капитан Самоделко...

Унылый лейтенант Тюгушев...

В сравнении с этими вояками наши университетские полковники выглядели энциклопедистами.

Замполит полка говорит нам доверительно:

— Хорошо бы комсомольское собрание собрать, да вот нет аквариума...

(Он так произносил слово «кворум».)

В военных лагерях я побывал дважды, в двух, кстати сказать, Таманских дивизиях — под Тверью и в Алабине, в Подмосковье.

В Алабине мы с моим другом Геннадием Галкиным прибыли с некоторым опозданием и сразу же попали на совещание к командиру батальона. Там шла речь о предстоящих учениях с боевой стрельбой. Между прочим, наш командир сказал следующее:

— Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы во время этих учений кого-нибудь из солдат убило. В этом случае могут снизить оценку всему батальону.

Лет почти двадцать спустя, уже в конце семидесятых, я снова попал в Тверь. В тамошнем соборе была хиротония, моего друга В. С. посвящали в диаконский сан. И уже после долгого обеда в гостеприимном архиерейском доме у покойного владыки Гермогена я отправился на вокзал, чтобы ехать в Москву.

Был душный, пыльный летний вечер. На перроне многолюдство и толчея... И тут я заметил военный патруль — офицера и двух солдатиков, которые, изнемогая от жары, брели вдоль состава... Вдруг я понял, что они служат в той самой, в моей Таманской дивизии. А надо сказать, вид у меня был уже почти поповский — борода, длинные волосы... Но я не выдержал и по-военному гаркнул:

— Таман-цы!

Они, бедняги, вздрогнули и инстинктивно подтянулись...

Я вхожу в подъезд углового дома на Арбате. Лифт довозит меня до последнего, шестого этажа.

Я нажимаю на кнопку звонка, мне открывают дверь квартиры и указывают на комнату, которую занимают Галкины.

Я стучусь и вхожу.

Мой сокурсник по университету Геннадий лежит на диване. При виде меня он поднимается, выпрямляется во весь свой исполинский рост, и просторная комната сразу становится тесной.

Это произошло в 1958 году, на день Святой Пасхи.

Мы учились с Геннадием Галкиным на одном курсе, его нельзя было не заметить в довольно серой толпе студентов — рост почти два метра, лицо красивое и умное. Был он тогда несколько застенчив. Как мне представляется теперь, это свое качество он не преодолел вполне до самой смерти, а потому и наличествовала в нем нарочитая, несколько напускная грубость.

Тогда же, весной пятьдесят восьмого, мы с ним сблизились, виделись почти каждый день — ходили пить чешское и отечественное пиво, а также кое-что покрепче. Тут я его и познакомил с Александром Нилиным и вообще со всей нашей компанией.

В 1960 году мы окончили университет, и Галкин со своей женой, тоже нашей сокурсницей, уехал на работу в Якутск, в тамошнюю республиканскую газету. Года через два Геннадий вернулся в Москву, он был полон якутских впечатлений и рассказов, порой весьма занимательных. Мне особенно запомнились два.

Поскольку в Якутске Галкин пил столь же регулярно, как и в Москве, то он попал в довольно обширную компанию людей, связанных этим времяпрепровождением. И вот среди них появился отстраненный от полетов за пьянство летчик гражданской авиации по имени Борис Коганер. Однако же через некоторое время он от компании отстал, каковому обстоятельству никто из собутельников особенного значения не придал. Далее Галкин рассказывал:

— Лечу я как-то по редакционному заданию в Мирный. А там посадка в Олекминске. А в аэропорту в Олекминске, это я точно знал, в буфете всегда бывают крутые вареные яйца и водка. Для Якутии лакомство необычайное. Вот лечу я и думаю: «Сейчас выпью сто пятьдесят граммов и съем три крутых яйца». Сели. Иду в буфет, вижу — яйца есть, водка тоже. Стоит небольшая очередь. И вдруг смотрю, впереди стоит мой приятель — Боря Коганер... Мы друг другу обрадовались, взяли уже не по сто пятьдесят, а бутылку и десяток яиц. Сидим, выпиваем, разговариваем... Тут я говорю ему: «Постой, как бы мой самолет не улетел». А Боря меня спрашивает: «Ты куда летишь?» «В Мирный», — говорю. «Так что ж ты волнуешься, ведь я этот самолет веду». И вот тут у меня рука дрогнула — наливать еще или не наливать...

Галкин говорил, что в конце концов летчик Борис Коганер все же разбился.

А вот еще рассказ Галкина:

— Прилетаю я в командировку в Верхоянск. В самый разгар лета, в июле. Это зимой там полюс холода, а летом тридцать с лишним градусов жары... Утро, я с жуткого похмелья... Иду в пиджаке, потом обливаюсь, а раздеться до рубашки нельзя — комаров тучи... Дома все деревянные, пылица, улица немощеная. И вот она уже кончается и переходит в пыльную проселочную дорогу, которая скрывается за горизонтом... А в последнем двухэтажном доме располагается местная музыкальная школа... По случаю жары все окна настезь, и из них доносится музыка, детские упражнения. Все вместе — какофония ужасная... И под этот немислимый аккомпанемент на противоположной стороне улицы хряк кроет свинью... Я смотрю на все это и думаю: «Ну вот приехали — здесь конец света».

В шестидесятом году вместе с Галкиным отбыл в Якутск и другой наш близкий приятель, Леонид Лейбзон. Поначалу он со своей женой тоже работал в республиканской газете. Встала морозная сибирская зима, и как-то Леонид с женой решили посетить местный драматический театр. Они попытались купить билеты, но выяснилось, что это совершенно невозможно. Все продано на месяц вперед. Но так как они были работники газеты, места все же удалось раздобыть. И вот Лейбзон с женой отправились в театр.

Шла какая-то пьеса Островского. Спектакль оказался ужасным. Но самое любопытное состояло в том, что в зале было очень мало народу... И лишь в антракте они сообразили, в чем тут дело. В фойе стояли две длинные очереди — в мужской и в женский туалеты. Этот театр был одним из немногих зданий в городе, где был теплый сортир, ватерклозет, тогда как повсюду — выгребные ямы с дощатыми кабинками... И во время самых страшных пятидесятиградусных морозов местные жители не жалели денег на театральные билеты, лишь бы справить свою нужду в теплом месте. А к концу представления ни в зале, ни во всем театре почти никого не оставалось.

Хорошо было бы рассказать это Станиславскому. Дескать, не всегда и не везде театр начинается именно с вешалки...

Ардов в течение всей своей долгой жизни никогда не курил и не пил. Причиной тому в большой степени была его врожденная болезнь — порок сердца. А потому он не мог, не умел отличать пьяного человека от трезвого. Разумеется, если этот пьяный более или менее связно говорил и стоял на ногах.

Как-то раз, когда нас с братом не было, на Ордынку забрели два наших приятеля. Были они в сильном подпитии, но отец, как всегда, этого не заметил. А тут, как на грех, перегорела в столовой лампочка, и Ардов попросил пришедших молодых людей ее заменить.

Те принесли стремянку, стали устанавливать ее под люстрой с нарочитым старанием и массой лишних движений. Потом один полез наверх,

другой принял у него перегоревшую лампочку и подал новую... Но все это так неловко, что одна из них упала на пол и разбилась.

Ардов, который с недоумением наблюдал за действиями своих гостей, воскликнул:

— Вы что — клоуны?!..

Мы, как всегда, сидим в своей «детской» комнате, выпиваем и шутим. Среди нас сегодня Анатолий Найман, он только что выписался из больницы, из кардиологии, так что пить ему нельзя. Но шутить — сколько угодно.

— А хотите, — говорит он, — я вас познакомлю с медицинскими сестрами из своей больницы?.. Там чудные девушки-медсестры.

— Толя, — говорит один из нас, — познакомьте нас с медицинскими сестрами. Мы их будем «любить, как сорок тысяч братьев»...

У нас ценились именно такие шутки. Ну, например:

«Фотография. Лев Толстой и Айседора Дункан. Оба босиком. (Редкий снимок.)».

Рождались у нас и стихотворные пародии.

Юноше, обдумывающему житье,
Делать жизнь по-каковски,
Смотри, говорю, не кончи ее,
Как горлопан Маяковский.

Самая первая в Москве алкогольная лечебница помещалась на улице Радио. Это обстоятельство позволило нам так перефразировать «лучшего и талантливейшего»:

Выпивка — та же добыча радия,
Еще сто грамм — и на улице Радио.

Ради красного словца мы не щадили даже саму Ахматову. Ее известные строки:

Я с тобой не буду пить вино,
Потому что ты мальчишка озорной, —

мы решительно упростили:

Я с тобой не буду пить вино,
Потому что ты мальчишка и г...

Было у нас открытие, относящееся одновременно к блоковедению и ахматоведению. Некто будто бы выяснил, что стихи Блока, которые начинаются со строк:

В голубой далекой спальне
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил... —

посвящены Ахматовой.

Найден якобы еще один вариант стихотворения, и первая строка там такая:

В голубой далекой горенке.

(Как известно, Горенко — девичья фамилия Анны Андреевны.)
Соответственно иной была и третья строка:

Тихо вылез карлик голенький...

Ахматова иногда повторяла некрасовские строки:

Кто снимал рубашку с пахаря,
Крал у нищего суму...

Я помню, как она смеялась, когда я предложил ей нашу редакцию.

Кто снимал рубашку с хакала.

И еще — «Вариации на темы русских поэтов».

В парке бабье лепетанье,
Трели соловья,
На веревке колыханье
Мокрого белья..

На Ордынке появился очередной номер альманаха «День поэзии». Среди прочей чепухи в нем было стихотворение Е. Долматовского про аэропорт в монгольской столице. Там появляются три пьяных американских туриста, которые шокируют публику. Самый конец цитирую буквально

А третий (дам простить прошу
За то, что о таком пишу)
У азиатов на виду
Справляет малую нужду.
С презреньем смотрит Азия
На это безобразие.

В первый же вечер, когда собралась наша компания, один из приятелей набрал номер телефона Долматовского и вкрадчивым голосом спросил:

— Могу я поговорить с Евгением Ароновичем Долматовским?

— Я у телефона, — ответили ему.

— С вами говорит первый секретарь посольства Китайской Народной Республики Сунь Хо...

— Я вас слушаю, — почтительно отозвался поэт.

— Чрезвычайный и полномочный посол Китая в СССР поручил мне довести до вашего сведения, что «с презреньем смотрит Азия на ваше безобразие».

— Неудачно шутите! — взревел Долматовский и бросил трубку.

XXII

Он сидит в глубоком мягком кресле с газетой в руках. Полосатая пижама, домашние тапочки. Коротко стриженная седая голова, лицо выражает значительность, серьезность и ум. Взгляд из-под седых бровей я назвал бы свинцовым. Вот он опускает сложенный газетный лист, делает плавное движение правой рукой и раздельно произносит:

— Э!.. Ба-рах-ло...

Это его обычная реакция на все явления современной жизни, почти на всё, что он слышит от близких, читает в прессе или видит по телевизору:

— Э!.. Ба-рах-ло...

С отставным генералом госбезопасности Дмитрием Аркадьевичем Ефимовым я познакомился в пятидесятых годах и регулярно общался в течение нескольких лет, поскольку на его младшей дочери Наталье был некоторое время женат мой близкий приятель. Лет Ефимову в ту пору было за пятьдесят, и нам, студентам, он казался глубоким стариком. Этот человек притягивал меня к себе, ибо принадлежал к миру Лубянки, к тому, что пугало нас всех, но и завораживало своей безмерной властью.

Если суммировать мои впечатления о Ефимове, то он напоминал мне нож гильотины. Не само устройство, не некое техническое изобретение, а именно нож — карающий, беспощадный... Была в нем при всей профессиональной хитрости и уме какая-то удручающая примитивность, прямолинейность. Чувствовалась абсолютная готовность исполнить любой приказ.

Вот он сидит в своем кресле и медленно поднимает взгляд от газеты «Правда». Лист опускается ему на колени...

— Да, — произносит генерал без тени юмора, — в Америке пролетарская революция пока невозможна... Империализм там еще очень силен...

Мы втроем стоим у плиты на небольшой кухоньке в генеральской квартире. Сам Ефимов, его зять и я. Генерал собственноручно снимает большую эмалированную кастрюлю с огня.

— А теперь они должны настояться... Надо подождать минут двадцать...

Ефимов, уроженец Дона, учит нас, молодежь, варить со специями и есть раков.

Биография у него была совершенно удивительная. Был он сыном священника, каковое обстоятельство в свое время его карьере вредило. При этом настоящее его отчество было не Аркадьевич, а Ардалионович. Но он еще до войны имел ромб в петлице, то есть был на Лубянке генералом.

В самом конце тридцатых годов его послали в Ригу, он был там резидентом. Работал он под видом коммерсанта, был компаньоном какого-то предприимчивого латыша. Можно себе вообразить удивление и ужас этого человека, когда его скромный партнер по бизнесу после известных событий 1940 года вдруг стал министром госбезопасности Латвийской ССР.

Генерал Ефимов был одним из тех, кто лично предупреждал Сталина о готовящемся нападении Германии. В апреле 1941 года в своем персональном вагоне он прибыл в Москву и делал сообщение на Политбюро. Он говорил о том, что несколько сот сотрудников немецкого консульства в Риге не просто занимаются шпионажем, а готовят захват Латвии.

После его речи Сталин не проронил ни слова. Зато выступил Ворошилов, который сказал буквально следующее:

— Товарищ Ефимов хороший работник и преданный делу партии человек. Но он не владеет нашей наукой, марксизмом. А наша марксистская наука позволяет сделать бесспорный вывод о том, что в ближайшее время войны между Германией и СССР не будет.

С тем Ефимов снова сел в свой вагон и отбыл обратно в Ригу.

А события шли своим чередом. 19 июня в Риге генерал принял последнего своего агента, это был капитан какого-то немецкого судна. Он сообщил, что нападение будет со дня на день, потому что уже грузят бомбы на самолеты. Капитан добавил, что должен немедленно отплыть из Риги. (Таков был негласный приказ — все немецкие корабли отозвать из советских портов, а все наши под любым предлогом задержать у германских причалов.)

— Тогда, — рассказывал нам генерал, — я повел его на продовольственный склад, и он погрузил на свое судно столько продуктов, что ему могло бы хватить до конца войны...

А затем Ефимов заказал литерный поезд, погрузил документы своего ведомства, разместил в нем всех своих сотрудников с семьями, и 21 июня 1941 года этот состав отправился из Риги в Москву.

Во время войны Ефимов какое-то время был, если не ошибаюсь, в Новосибирске и, кажется, там познакомился с будущим министром путей сообщения Бещевым. Это обстоятельство имело важное значение в его судьбе.

В конце войны побывал он и в Германии. Тут я должен заметить, что он был бескорыстен и безупречно честен. Я сам видел в их квартире «германские трофеи» — несколько хрустальных бокалов и букет искусственных цветов. И при этом он сам рассказывал, что его коллеги по известному ведомству не брали даже золото, их интересовали только драгоценные камни... В частности, Ефимов упоминал эпизод, который стоит того, чтобы быть занесенным в анналы. Доблестные чекисты завладели в Дрездене короной саксонских королей. Они извлекли оттуда все самоцветы, а корону расплющили. Самый крупный алмаз, ее украшавший, если не ошиба-

юсь, Абакумов послал в Москву в подарок своему начальнику по фамилии Мешик.

В 1945 году Ефимов присутствовал на торжественном заседании по случаю годовщины Октября. Это происходило в Большом театре. Доклад делал Калинин, а Сталин с прочими функционерами сидел в президиуме.

Калинин видел очень плохо, и доклад ему переписали аршинными буквами. Однако дело не обошлось без недоразумения. В какой-то момент докладчик прочел страницу, забыл ее перевернуть и стал читать то же самое...

Когда несчастный «дедушка» принялся за ту же страницу в третий раз, Сталин со своего места издал выразительное «гм!». Из-за кулис тотчас же появился человек в штатском, стал позади трибуны и в нужный момент собственноручно перевернул страницу...

Далее все шло гладко.

После войны генералу Ефимову досталась, наверное, самая хлопотная должность во всем их доблестном ведомстве. Он стал министром госбезопасности Литовской Советской Республики. Там шла настоящая война. В Вильнюсе улица, на которой жили все советские начальники, на ночь запиралась с обеих сторон, как в средние века.

И все же в дом, где жил Ефимов с семьей, была брошена бомба. Угодила она в детскую комнату, но его дочери, по счастью, были в это время в школе.

О том страшном времени Ефимов вспоминал не без некоторого удовлетворения. Дело в том, что литовских партизан, «лесных братьев», с которыми он воевал, поддерживали с запада, в частности из Лондона, Интеллидженс сервис. А потому с профессиональной точки зрения это было весьма интересно — двойные агенты, провокационные акции и т. д.

Первым секретарем компартии Литвы был несменяемый Антанас Снечкус. Но так как точка была горячая, там был и эмиссар московского Политбюро — М. А. Суслов. В здании ЦК их кабинеты соседствовали.

И вот, рассказывал нам Ефимов, как-то среди ночи у него дома зазвонил телефон. Звонили из каунасского отдела госбезопасности. Голос в трубке сказал:

— Товарищ министр, мы вас просим немедленно приехать к нам в Каунас.

— А что там у вас случилось? — спросил сонный генерал.

— Задержаны две спекулянтки, которые торгуют сахаром.

— Вы что, с ума сошли?! — возмутился Ефимов. — У вас там милиции нет?..

— Мы все понимаем, — отвечали ему, — и тем не менее мы очень просим вас приехать...

Тут генерал сообразил, что в Каунасе у него сидят не круглые идиоты, а потому ехать придется.

Он сел в свой «мерседес» и к утру прибыл в Каунас.

Там его ждал сюрприз. В местной ГБ сидели две дамы — жена и свояченица М. А. Сулова. Задержали их за то, что они, разъезжая в персональном суловском вагоне, выменивали на сахар предметы антиквариата. (Можно себе вообразить, что давали в послевоенной Литве за мешок сахарного песка.)

Ефимов усадил обеих узниц в свою машину и поехал обратно в Вильнюс. К этому часу уже открылись учреждения, и генерал ввел их прямо в кабинет Сулова.

— Михаил Андреевич, — сказал он, — примите ваших дам. Но я вас прошу впредь ограничивать их активность. Вы сами знаете, какая сейчас обстановка в республике...

Суслов пилюлю проглотил, но, как писал Зощенко, «затаил в душе некоторое хамство».

В восьмидесятых уже годах я услышал о том, что в одном из московских судов слушается дело о наследстве Суслова — чада и домочадцы чего-то не поделили. Говорили, что имущество покойного идеолога официально (то есть явно занижено) оценивается в тогдашних двадцать миллионов. И, памятуя о литовской эпопее, я в это легко поверил...

А затем я вспомнил одно из самых любимых моих мест из «Бесов» Достоевского:

«Почему это, я заметил, — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, — почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие невероятные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник... почему это? Неужели тоже от сентиментальности?»

Вернемся, однако, к моему сюжету. Довольно скоро после конфликта с Сусловым у генерала Ефимова произошло столкновение с хозяином соседнего с суловским кабинета — со Снечкусом.

У литовцев, как известно, масса родственников за рубежом, в частности в Америке, и многие из них уже в те годы получали посылки из-за океана. Разумеется, в Вильнюсе процветала торговля американскими товарами. И вот выяснилось, что одной из главных деятельниц этого подпольного бизнеса была жена первого секретаря ЦК Снечкуса. Словом, Ефимову пришлось иметь неприятную беседу и с ним.

Суслов к этому времени, кажется, уже вернулся в Москву, но они со Снечкусом сговорились Ефимова убрать и сделали это очень легко под тем предлогом, что министром госбезопасности должен быть литовец. И Ефимов, сорока лет от роду, в генеральском чине, получает на Лубянке полную отставку. Разумеется, воспринимает он это как жизненный крах.

Вот тут-то в его судьбе и сыграло роль приятельство с Б. П. Бещевым. А надо сказать, еще будучи литовским министром, Ефимов оказал ему неоценимую услугу. Дело было так.

Как-то на Лубянке к нему обратился один из коллег:

— Слушай, Ефимов, ты Бещева знаешь?

(А тот был уже заместителем министра путей сообщения.)

— Знаю, — отвечает Ефимов, — хороший мужик. А в чем дело?

— Понимаешь, — отвечает коллега, — его министр посадить хочет, все время на него пишет.

— Дай-ка я взгляну, — попросил Ефимов.

И он прочел несколько доносов, которые сочинил тогдашний министр путей сообщения на своего зама.

После этого Ефимов встретился с самим Бещевым, ввел его в курс дела и дал несколько дельных советов, каким образом нейтрализовать министерские доносы и что в свою очередь выдвинуть против него. В результате Бещев подсел своего шефа и сам стал министром.

И вот уже будучи в отставке, как-то летом Ефимов по обыкновению всех тогдашних начальников поехал на футбольный матч на стадион «Динамо». Там он увидел Бещева, который ему очень обрадовался и спросил:

— Ты где теперь?

— Нигде, — отвечал Ефимов. — Я в отставке...

— В отставке? — изумился министр. — Так я тебе работу дам...

И он немедленно сделал Ефимова своим заместителем по охране железных дорог. Разумеется, Ефимов считал подобное назначение для себя унижительным, но именно эта должность и спасла ему жизнь.

В то время на Лубянке началась очередная кровавая баня, и все это кончилось лишь с расстрелом Берии и его ближайших приспешников... А про Ефимова там забыли, он так и сидел под крылышком у Бещева...

Мы с его зятем, бывало, за глаза подтрунивали над отставным генералом. Мы называли его Экс-гауляйтером Литвы и обсуждали такой

гипотетический сюжет: Литва отделяется от Союза, их командос похищают Ефимова, а потом его судят в Вильнюсе, как израильтяне Эйхмана в Иерусалиме.

Мы тогда не могли себе представить, что наступят такие времена, когда сюжет этот станет весьма реалистическим. Только вот сам генерал до этих дней не дожил.

Помнится, в начале шестидесятых пришлось мне уехать на два дня в Вильнюс. Когда я вернулся оттуда, Ефимов расспрашивал меня о впечатлениях, а они были довольно отрадны. На фоне московской всегдашней неустроенности Прибалтика радовала эдаким не вытравленным европеизмом. Чистые улицы, уютные кафе, отсутствие очередей...

— Да, — отзывался наш «экс-гауляйтер», — в том, что там теперь нормальная жизнь, есть толика и моего труда...

Я тогда постеснялся, а может быть, и побоялся сказать ему напрямик, что вся эта относительная нормальность существует именно вопреки его собственным и его товарищей усилиям.

XXIII

Музыка смолкла, коричневая лента сменилась розовым ракордом, и режиссер радиопередачи нажал на магнитофоне кнопку «стоп». В наступившей тишине раздается голос главного редактора:

— Так. Давайте обсуждать.

Новые коллеги мои, редакторы, один за другим берут слово. Я то и дело слышу:

— Эта песня хорошая, а эта плохая... Этот рассказ хороший, а тот плохой...

Я смотрю на всех с изумлением. Они сошли с ума или друг перед другом искусно притворяются? Вся эта радиопередача, все эти песенки и рассказы такое дерьмо, что об этом вообще говорить совестно... А вот поди ж ты — волнуются, спорят...

Это мой первый рабочий день на Всесоюзном радио, в редакции сатиры и юмора. Все сотрудники отдела собрались в кабинете главного и слушали только что записанную на пленку передачу.

Но пролетел месяц, другой... Я побывал на множестве таких обсуждений, и вот на очередном прослушивании я уже слышу собственный голос:

— Этот рассказ хороший... Эта песня плохая...

Так я стал разбираться в сортах дерьма. И весьма профессионально.

Коллега заглядывает в дверь и говорит мне:

— Тебя вызывают в политконтроль.

Так у нас на радио называлась цензура.

— К чему они там прицепились? — бормочу я, поднимаясь на шестой этаж.

За столом сидит мрачноватого вида немолодая тетка, перед ней папка с текстом подготовленной мною новогодней передачи.

— Посмотрите.

Она указывает мне на такое место из невинного детского рассказика: «Посреди зала возвышалась елка, похожая на трехступенчатую ракету».

— Ну и что? — спрашиваю я цензоршу.

— Как это — ну и что? — отвечает она. — Почему тут у вас сказано «трехступенчатая»?.. Ведь именно на таких ракетах доставляются в космос советские корабли... Я этого не могу пропустить в эфир...

— Хорошо, — говорю я, понимая, что спорить бесполезно, — давайте напишем так: «Елка, похожая на космическую ракету»...

— Вот это другое дело, — с удовлетворением говорит цензорша.

Я собственноручно делаю исправление в тексте и удаляюсь.

Цензорские функции осуществлял не только этот «политконтроль», это делали решительно все начальники, вплоть до самого председателя Комитета по радиовещанию и телевидению. В те годы я открыл такую закономерность: предугадать, чего именно потребует цензор, невозможно, ибо ход его мысли непредсказуем. Мне даже пришло в голову, что какой-нибудь ученый мог бы взяться за написание труда «Психология цензора», работа могла бы получиться прелюбопытнейшая.

Несмотря на всю бдительность «политконтроля» и начальства, на радио по временам случались весьма скандальные истории. Одна из них привела даже к некоей реорганизации.

В мое время, в начале шестидесятых, существовал на радио небольшой отдел выпуска программ. Состоял он из одного симпатичного еврея по фамилии Киперман и нескольких его помощников. Этот Киперман принимал у нас папки с текстами и давал добро на прокручивание наших пленок. В свободное же время, какового у него почти не было, он, сидя за своим столом, занимался чтением весьма популярных в те годы фельетонов Леонида Лиходеева.

Но вот вместо кипермановского отдела возникла огромная, с десятками сотрудников главная редакция программ. И все это лишь по одной причине: выяснилось, что необходимо проверять не только сами радиопередачи, но, так сказать, их стыки — чем кончается одна и с чего начинается другая. И выяснилось это весьма скандальным образом.

Был самый обычный день. В эфир одна за другой выходили запланированные и записанные на пленку передачи. Но в какой-то момент на радио поступило экстренное сообщение ТАСС, его следовало передать немедленно. Информация была такая: «Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев отбыл с дружественным визитом в Финляндию».

После этих слов диктора заиграла музыка и разухабистый женский голос спел:

Не ходи ко мне, Никита,
Не волнуй мою ты кровь,
Твое сердце будто сито,
В нем не держится любовь.

Разумеется, никакой намеренной провокации тут не было. За сообщением ТАСС пошла очередная передача «Музыка из кинофильмов», и она, как на грех, начиналась именно этой частушкой из картины «Светлый путь»...

Старые сотрудники радио вспоминали множество подобных историй. Но все это, как правило, относилось ко временам, когда почти все передачи шли из студии прямо в эфир. (В мое время таким образом передавались лишь последние известия, все прочие программы были записаны на пленку.)

Мне запомнился забавный случай с диктором по фамилии Герциг. Этот человек был страстным игроком на бегах. И вот как-то раз он примчался в радиостудию прямо с ипподрома. Ему надо было прочесть в эфир рассказ, который начинался такими словами: «Тонула женщина». А поскольку мысли диктора были все еще на конском ристалище, он произнес в микрофон:

— «Тонула лошадь»...

После некоторого замешательства Герциг вышел из положения и сказал:

— А рядом с нею тонула женщина...

Далее он без запиночки прочел весь незамысловатый рассказ. Но все же какой-то слушатель из Рязани прислал на радио письмо. Он осведомлялся о судьбе тонувшей в начале рассказа лошади — спасли ее или нет?..

Августовским воскресным днем шестьдесят первого мне позвонили из редакции и попросили немедленно явиться на службу. Я отправился с

большим неудовольствием, ибо до этого случая в выходной день меня туда ни разу не вызывали.

Явившись в Радиокомитет, я застал там то, что у военных называется готовностью номер один. Предстоял космический полет Германа Титова, и мы должны были рекламировать это событие по первейшему разряду.

Мне пришла в голову такая мысль: пригласить в студию Леонида Утесова и попросить его исполнить некое попурри из его старых песен, а тексты переделать так, чтобы был прославлен полет Титова. Идея понравилась начальству. Утесов согласился, новые тексты были заказаны и написаны.

(Забегая вперед скажу, что номер этот имел необычайный успех. На радио дали знать, что в момент трансляции нашей передачи Хрущев и члены тогдашнего Политбюро сидели за завтраком. И вот когда зазвучал утесовский голос, Хрущев поднялся за столом и стал аплодировать. Его примеру последовали «и другие товарищи». Впрочем, ни сам Утесов, ни тем паче я за это никаких поощрений не получили.)

Только что окончилась запись. В студии духота — жаркий августовский день.

Утесов специально приехал с дачи, вызвал своих музыкантов. Вот он спрашивает меня:

— Ну и сколько ты мне теперь за это заплатишь?

Тут я замаялся. По части оплаты наше Всесоюзное радио было организацией весьма несолидной...

Я говорю:

— Леонид Осипович, вы распишитесь в двух ведомостях — за саму радиозапись и как бы за репетицию. Тогда получится полторы ставки...

(Это составляло примерно двадцать пять рублей.)

— Так, — произносит старый артист, — скоро ты меня за бутерброд с сыром вызывать будешь...

XXIV

Мы с Юлией Марковной Живовой стоим у высокого забора. Это даже не забор, а эдакая железобетонная решетка, за которой бродят по грязному снегу три десятка неопрятно одетых людей. Это прогулочный дворик в Московской психиатрической больнице имени Кащенко.

Мы кричим:

— Иосиф!.. Иосиф!..

Один из гуляющих подбегает к забору. Это Бродский.

— Скажите Ардову, — отчаянно выкрикивает он, — пусть сделает так, чтобы меня немедленно выпустили отсюда!.. Я не могу! Я больше не могу!..

(В эту больницу будущего нобелевского лауреата упрятали для того, чтобы уберечь от готовящейся расправы. Увы! — он этого не выдержал, вышел на волю, отправился в Ленинград. Дальнейшее известно.)

Летом 1962 года моя мать побывала у Ахматовой в Комарове и, вернувшись, рассказывала о двух молодых поэтах, которых Анна Андреевна приблизила к себе. Это были Иосиф Бродский и Анатолий Найман. Помнится, она говорила, что Бродский читал свои стихи в Комарове не очень охотно, а Найман весьма охотно — и свои и Бродского.

К тому же лету относится и такой забавный эпизод. К Ахматовой в Комарово приехала юная особа из Ленинграда. Говорила исключительно о поэзии. Между прочим, сказала и такое:

— У меня есть весь Бродский.

Ахматова возразила ей:

— Как это можно говорить «весь Бродский», когда ему только двадцать два года?..

В этот момент распахнулась дверь и на пороге появился сам Иосиф — он принес два ведра воды. Ахматова указала на него своей гостью и произнесла:

— Вот вам — ваш «весь Бродский».

Довольно скоро после этого оба — Бродский и Найман — появились у нас на Ордынке. Хотя они принадлежали к числу гостей Анны Андреевны, у меня и у брата, да и у всей нашей компании, установились с ними близкие отношения.

Бродский и Найман совершенно не походили друг на друга. Иосиф — рыжеволос, высок, нос горбинкой. Анатолий — худощав, изящен, голова как воронье крыло.

Ахматова как-то сказала Найману:

— У мальчиков Ардовых на голове еще волосы. А у вас — шерсть молодого здорового животного.

У Бродского уже была слава — стихи его талантливы и эффектны. Авторское чтение, громогласное и несколько картавое, эффекты заметно усиливало. У Наймана славы не было. Стихи его утонченны, под стать изящной фигуре. Оба они были ловеласы, а точнее — донжуаны.

Мы с Иосифом идем по Ордынке и сворачиваем в проходной двор. Цель нашего путешествия — шашлычная на Пятницкой улице. Он мне говорит:

— Михаил, я начал писать поэму... Вот послушайте начало:

Однажды Берия приходит в мавзолей
И видит, что в коробке кто-то рылся.
Он пригляделся: точно, кишек — нет!
— Кто с..л кишки! — прокричал Лаврентий.
Ответа не было... Лишь эхо
Чуть слышно повторяло: кишки!.. кишки!..

— Великолепно! — говорю я. — Превосходно! И больше ничего не надо...

— А я решил писать дальше, — отвечает Иосиф. — Уже начал продолжение:

Чека пришло в движенье. Абакумов...

— Не надо, не надо, — говорю я, — умоляю вас — не надо! Это так прекрасно — удаляющееся под землю «кишки!.. кишки!..».

Шуточные стихи Бродского вообще блистательны. Я, например, запомнил с его голоса такое:

К Аспазии

Я гибну, милая Аспазия,
От пьянства и от безобразия.

К Делии

Я гибну, дорогая Делия,
Увы! — от пьянства и безделия.

Луначарского Бродский называл Лунапаркский.

И, продолжая эту тему, прибавлю такое. В наше время весьма распространенной была аббревиатура ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха). Произносилось это «цэпэкио». Так вот Бродский несколько перефразировал Маркса:

— Пролетариату нечего терять, кроме своих цэпэкио.

Он изобрел и такой девиз:

— На каждого мосье — досье.

В судебном заседании перерыв. Подсудимого не увели, Бродский стоит в окружении милиционеров и подтянутых людей в штатском.

Я приближаюсь к этой группе

— Михаил! — кричит мне Иосиф. — Держите!

Я совсем забыл, что Бродский взял поносить какую-то беспризорную ушанку, которая несколько месяцев пылилась в прихожей на Ордынке. И вот теперь он почему-то решил эту шапку мне вернуть. Он пытается бросить мне ее, но не успевает даже взмахнуть рукою — на ней виснут три милиционера.

Иосиф улыбается растерянно и беспомощно

«Суд над тунеядцем Бродским» (так эта трагикомедия именовалась официально) запомнился мне очень хорошо. Иосиф там держался великолепно. Особенно хороши были два его ответа.

Судьяха просила его относиться к суду уважительно. На это Бродский сказал:

— Нельзя уважать абстракцию.

Некоторые справки о гонорарах за переводы были отвергнуты, и в результате получалось, что заработки его были ничтожны. Судьяха подытожила: на такие деньги взрослый человек прокормиться не может, а следовательно, Бродский — тунеядец. На это Иосиф отвечал так:

— Я две недели сидел в милиции, и мне давали расписываться в том, что я съедал провизии в день на сорок копеек. Из этого следует, что взрослый человек может существовать на сумму гораздо меньшую, чем составляют мои гонорары.

Очень хорошо запомнился мне Лернер, тот самый, что организовал этот суд. Сказать, что он выглядел именинником, — ничего не сказать. Он суетился, включал и выключал магнитофон, совал газетчикам текст речи обвинителя, шутил с многочисленными милиционерами, подсаживался к лицам «в штатской форме», снисходительно спорил с интеллигентными молодыми людьми, записывал для газеты состав суда... Словом, он вел себя, как помреж на первой своей премьере.

Еще запомнился мне Владимир Григорьевич Адмони, который был одним из свидетелей защиты. Он стоял вполоборота к залу.

Судьяха ему говорит:

— Свидетель, прошу вас обращаться к суду.

Адмони отвечает:

— Простите, старая профессорская привычка обращаться к аудитории.

Уж коли речь зашла о Владимире Григорьевиче, мне вспомнился и такой эпизод, связанный с ним и Бродским. В свое время «литературная общественность Ленинграда» была слегка взбудоражена тем фактом, что первая на русском языке публикация Рильке — крошечный сборничек — была подготовлена Адмони, а переводы все до одного принадлежали его жене — Тамаре Сильман. Как-то раз мы с Бродским подвезли Адмони на такси. Он попрощался с нами, вышел из машины, а я говорю Иосифу:

— У этой парочки Рильке в пуху.

Надо было видеть, как хохотал Бродский.

Анатолий Найман стоит посреди столовой на Ордынке и поет:

Возле казармы
В свете фонаря
Кружатся попарно
Листья сентября.
Ах, как давно
У этих стен
Я сам стоял.
Стоял и ждал
Тебя, Лили Марлен,
Тебя, Лили Марлен

Лупят ураганным —
 Боже, помоги!
 Я отдам Иванам
 Шлем и сапоги,
 Лишь бы разрешили
 Мне взамен
 Под фонарем
 Стоять вдвоем
 С тобой, Лили Марлен,
 С тобой, Лили Марлен.

Есть ли что банальней
 Смерти на войне
 И сентиментальней
 Встречи при луне.
 Есть ли что круглей
 Твоих колен,
 Колен твоих,
 Их либе дих,
 Моя Лили Марлен,
 Моя Лили Марлен.

— Я давно не слышала ничего такого циничного, — произносит Ахматова.

В этот день Найман вернулся из деревни Норинской, он навещал там ссыльного Иосифа, который только что написал свой текст «Лили Марлен».

Ссылка Бродского действовала на Ахматову весьма болезненно. С той поры, как его осудили, она перестала повторять фразу, которую я прежде то и дело слышал от нее:

— Я — партии Хрущева. Он освободил мою страну от позора сталинских лагерей.

Но я запомнил и такое:

— Он (Иосиф) как будто нанял кого-то, чтобы ему делали классическую биографию.

Я помню, Анна Андреевна пыталась привлечь к хлопотам о Бродском Д. Д. Шостаковича, который в те годы был депутатом Верховного Совета. С этой целью Ахматова пригласила его на Ордынку.

Утром в день его визита она сказала нам за завтраком:

— Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем...

А Максим рассказал нам, что, собираясь на Ордынку, Дмитрий Дмитриевич говорил: «О чем же я буду говорить с Ахматовой?..»

И тем не менее оба остались довольны друг другом, общие темы у них нашлись, хотя, если не ошибаюсь, помочь Бродскому Шостакович не смог.

Иосиф томился в своей ссылке и; разумеется, пытался принимать посильное участие в хлопотах... Письма его просматривались, и мы все об этом помнили. Он знал это и сам, а потому прибегал к иносказаниям и намекам, порой, впрочем, весьма прозрачным. В те годы начальником КГБ был Семичастный. Так вот в одном из писем Бродский писал: «Мне кажется, что все дело тормозится тем, чья фамилия состоит из семи частей».

В железную калитку стучат, и я слышу два голоса:

— Миша!..

— Миша!..

Я выглядываю за ворота и вижу двух «странников» с рюкзаками, это — Найман и Бродский. Я распахнул калитку, мы обнялись.

Было это в июне 1967 года. Я тогда жил в Коктебеле, в доме А. Г. Габричевского и Н. А. Северцовой. Самое забавное в неожиданном появлении двух поэтов было то, что оба прибыли в Крым с командировочными удостоверениями. Найман — от московского журнала «Пионер», а Бродский — от такого же ленинградского издания «Костер».

Я тогда, помнится, весьма цинично пошутил — предложил Иосифу псевдоним специально для этого журнала: Дж. Бруно, собственный корреспондент «Костра». А сам он себе придумал нечто более литературное — Капитон Лебядкин.

Году в семидесятом Бродскому пришлось лежать в больнице в городке Сестрорецке. Там его поместили в палату коек на двадцать. На каждой тумбочке стоял транзисторный приемник «Спидола», и больные все вместе и каждый по отдельности слушали целыми днями радиопрограмму «Маяк». Бродскому это было невыносимо...

Однажды он остался в палате один и тогда сам включил все двадцать приемников, настроив их на волну русской службы Би-би-си... В те времена на советскому человеку слушать Лондон воспрещалось, а потому эффект этого поступка был оглушительный...

К тому же времени относятся и такие мои воспоминания. В Москве в Сокольническом парке устраивались международные выставки, на которых работала наша приятельница Аманда Хейт. Она нас познакомила с замечательным своим сотрудником — Майком Туми. Это был ирландец, католик, человек, прошедший войну и побывавший в Дюнкерке. Мы с Найманом и Бродским частенько хаживали к нему в английский павильон, где нас угощали джином, виски, вкусно кормили.

Как-то, вспоминая об этих визитах в Сокольники, Бродский мне сказал: — Помнишь, душа Тряпичкин, как мы с тобой едали «на счет доходов аглицкого короля»?

Особенно хорош был консервированный язык, которым нас угощал Майк Туми. Мы с Бродским называли его English language.

Под соломенным абажуром вьется и назойливо жужжит оса. Мы ужинаем на кухне в коктебельском доме Габричевских — Наталья Алексеевна, Бродский, мой приятель Александр Авдеенко и я. Иосифа сильно раздражает жужжание, он поднимается и резким движением руки сбивает осу...

— Так, — растерянно произносит Наталья Алексеевна, — готово...

Оса угодила ей за вырез платья. Бродский хватается за голову. За столом тишина, общая растерянность.

Через минуту оса выбирается, не причинив нашей хозяйке никакого вреда...

Этот незначительный эпизод запомнился мне еще и потому, что Бродский упомянул о нем в своем стихотворении.

В ту осень, а было это в октябре 1969 года, Наталья Алексеевна написала его портрет, по-моему, весьма удачный. А Иосиф на оборотной стороне картона собственноручно начертил сонет, который начинался так:

Мадам, Вы написали мой портрет,

Портрет поэта, хвата, рукося...

.....

За то, что Вам адресовал осу я...

В тот год друзья раздобыли Бродскому путевку в коктебельский писательский дом, а я тогда жил у Габричевских: Собственно, уже у одной Натальи Алексеевны, Александр Георгиевич скончался за год до этого — в сентябре 1968-го.

Бродский там пришелся ко двору. Мы ежедневно выпивали, шутили, слушали иностранное радио... Шумно отметили день моего рожде-

ния 21 октября Бродский по этому случаю сочинил пространную шутивную оду

А еще мы ходили в совхозный сад джимболосить. Это местный крымский глагол, он означает собирание остатков в садах и виноградниках. Само слово это Бродскому чрезвычайно понравилось. Он даже шуточную оду ко дню моего рождения окончил так:

За сотню строк наджимболосив,
Я Вас приветствую Иосиф

Я сворачиваю с Литейного проспекта, и передо мною появляется светлая громада Это Преображенский всей гвардии собор, окруженный забором из трофейных турецких пушек. Я вхожу в знакомый мне подъезд углового дома, поднимаюсь на второй этаж. Здесь живет Бродский

Отец поэта Александр Иванович отворяет мне входную дверь и ведет в комнату

Иосиф сидит один за огромным обеденным столом и ест ложкой прямо из банки немыслимые консервы, какую-то свинину с горохом Александр Иванович указывает мне на сына и произносит

— Полюбуйтесь. гражданин мира.

Узнав, что Иосиф собирается уезжать из страны, я отправился в Питер попрощаться с ним. (Тогда нам всем казалось, что расставания эти — навсегда)

Я провел с Бродским почти целый день — один из самых его последних здесь: сопровождал его в милицию, военкомат, жилищную контору и т. д. И почти всюду возникали бюрократические препятствия, Иосиф то и дело звонил в ОВИР, чтобы преодолевать эти затруднения.

И вот мы с ним бредем вдоль ограды Преображенского собора Вдруг он резко поворачивается ко мне и говорит.

— Уехать отсюда — невозможно, но жить здесь — немыслимо!

XXV

Кладбище — жуткое... Мало того что могилы вырыты беспорядочно по рядом чуть ли не зона... Во всяком случае, прямо над крестами и памятниками высится забор с колючей проволокой, стоят автоматчики на вышках...

Все мне видится Павловс холмистый

6 марта 1966 года. Мы с Бродским бредем по кладбищу в Павловске, в том самом Павловске холмистом... Мы ищем место для могилы Ахматовой. Нас сюда послала И. Н. Пунина.

Узкая дорожка между могилами упирается в забор, и там стоит сосна — рослая, стройная...

— Ну, — говорю я, — вот тут, пожалуй, можно было бы... Но нет, не пойдет... У Пастернака три сосны, а у нас будет только одна...

Иосиф грустно усмехается:

— Ей бы эта шутка понравилась...

Мы медленно бредем прочь от павловского кладбища... И вдруг нас осеняет... Зачем мы слушаем эту дуру Пунину? Ахматова сама точнехонько указала место для своей могилы. Мы вспоминаем последние строки «Приморского сонета»:

И кажется такой нетрудной
Белея в чаше изумрудной,
Дорога не скажу куда.

Там средь стволов еще светлее
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда

Мы спешим в Комарово на кладбище... Там широкая дорожка, она упирается в забор, а сзади — целый лес сосен (гораздо больше, чем в Переделкине). И мы понимаем: именно здесь...

А дальше начались многодневные хлопоты, мы боролись за то, чтобы нам отдали место в конце дорожки. Мы говорили, что могила Ахматовой будет предметом поклонения тысяч людей и т. д. А нам отвечали, что кладбище в Комарово — «перспективное» и должно развиваться в запланированном направлении, а посему на центральной аллее никого хоронить нельзя...

В наши хлопоты были вовлечены многие лица, в том числе поэт Михаил Дудин, тогдашний секретарь ленинградской писательской организации. В те дни он пребывал в самом Комарове, в доме творчества. Он позвонил оттуда и сказал мне буквально следующее:

— Я там только что был, на кладбище... Они предлагают другое место, в стороне... По-моему, очень хорошее место, надо соглашаться...

А я, грешник, с трудом удержался, чтобы не сказать ему: «Хорошо, Михаил Александрович. Если вам предлагаемое ими место так нравится, быть может, приберечь его для вас?..»

В конце концов все решилось в самый день похорон. Помогла, дай ей Бог здоровья, Зоя Борисовна Томашевская. Ее приятель, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Фомин, в те годы состоял в должности главного архитектора Ленинграда. Он-то и приказал местным деятелям прекратить сопротивление.

Гроб с телом Ахматовой прибыл в Ленинград на самолете лишь 9 марта. Вечером того же дня в квартире на улице Ленина у нас был первый разговор о судьбе архива Ахматовой. Все бумаги забрали себе И. Н. Пунина и А. Г. Каминская. Бродский, Найман и я опасались, и, как выяснилось, совершенно справедливо, что дамы эти распорядятся своей добычей не самым лучшим образом.

Мы поделились своими подозрениями с Н. Я. Мандельштам, которая вполне разделила наши опасения.

— Так что же делать? — спросил кто-то из нас.

— Выкрасть! — сказала Надежда Яковлевна тоном профессионального шпиона. — Немедленно выкрасть у них все бумаги!

Но, к великому сожалению, эта здравая идея реализована не была.

Я вспоминаю еще, что 5 марта вечером Гумилев, Бродский, мой брат Алексей Баталов и я разбирали фотографии, которые хранились у Анны Андреевны. Среди них оказался крошечный кусочек пожелтевшего картона, на котором рукою Ахматовой было написано:

Молитесь на ночь, чтобы вдруг
Вам не проснуться знаменитым.

Хор поет:

— В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии Крест яко ярем вземшии, и Мне последовавшие верою, приидите насладитесь, их же уготовах вам почестей, и венцов небесных...

Кинооператор приближается к гробу и поднимает камеру, на него тут же кидается Лев Николаевич Гумилев, почти выбивает аппарат из рук...

И это повторяется в течение всего отпевания.

Отпевание Ахматовой проходило у Николы Морского, в нижнем храме, 10 марта — на шестой день после смерти. Я помню, как мы с Найманом говорили: если бы 5-е число не было днем смерти Сталина, если бы не помешал нормальному течению событий омерзительный советский праздник 8 Марта, если бы не борьба за место на кладбище — это были бы похороны не для Ахматовой, они бы не соответствовали всей ее жизни.

После отпевания гроб повезли в ленинградский Союз писателей. По удивительному совпадению он размещается в доме, который в свое время, как и Фонтанный дворец, принадлежал графу Шереметеву. На нем красовался все тот же герб с девизом «Deus conseruat omnia» («Господь сохраняет все»).

Но и это еще не все. В Москве тело Ахматовой лежало в морге Института Склифосовского, то есть в странноприимном доме, который построили для города все те же Шереметевы.

Бродский, Найман, я и прочие в Союз писателей не пошли, чтобы не слышать глупостей и пошлостей, которые произносили над гробом великого поэта «инженеры человеческих душ». Побывавшая там Л. Д. Большинцова впоследствии рассказала нам о примечательном эпизоде.

Во время прощания с телом Ахматовой некую даму-распорядительницу упрекнули в том, что все устроено очень плохо. Та ничтоже сумняшеся отвечала:

- В следующий раз организуем лучше.
- Следующий раз будет через сто лет! — крикнули ей из толпы.

Впрочем, без глупостей и пошлостей не обошлось и на кладбище. Там слово получил Михалков, он говорил «от имени московских писателей, которые не успели попрощаться с Ахматовой», а кроме того объявил:

- Настоящее искусство не имеет срока.

Слава Богу, это продолжалось недолго, возле гроба появился священник и предал покойную земле.

На могиле был установлен сосновый крест. (Кстати сказать, изготовленный на киностудии «Ленфильм» по просьбе А. Баталова.)

Крест этот почему-то очень смущал человека, который в те времена был директором дома творчества и комендантом писательского поселка. Он неоднократно выражал свое беспокойство поэту Александру Гитовичу, другу Ахматовой и ее соседу по даче.

Как-то раз комендант сказал:

- Крест пора убирать... Мы там поставим колонку...
- Колонку ставят в ванной, — отвечал ему Гитович.

На похоронах Ахматовой особенно запомнился мне Арсений Тарковский. Он единственный произнес человеческие слова над ее могилой:

- Пусть ей земля будет пухом.

А несколько позже, после панихиды в ее домике, в Будке, он сказал мне с тоскою и болью:

- Как же жить теперь будем, Миша?..

Он написал на смерть Ахматовой цикл стихотворений, некоторые из них превосходны.

Я очень хорошо помню тот день, когда Ахматова вышла из своей маленькой комнаты и в руках у нее была небольшого формата тетрадка стихов.

- Посмотри, — сказала она мне, — по-моему, это очень хорошо.

Это были переписанные рукою автора тринадцать стихотворений Тарковского.

Больше прочих в этой тетрадке Анне Андреевне нравились стихи «Шах с бараньей мордой на троне...». Я помню, она повторяла:

- Ах, восточные переводы, как болит от вас голова...

Тарковский был веселым, остроумным, очаровательным собеседником. Прибавьте к этому редкостную красоту его лица, в котором светились ум и доброта. Экспромты и каламбуры его были бесподобны. Помнится, он

зашел на Ордынку, чтобы взять конверт с деньгами, Ардов возвращал ему долг. Тарковскому открыли дверь, и он с порога произнес:

Я пришел к тебе с приветом,
Чтобы деньги взять при этом...

Я запомнил эпиграмму Тарковского на поэта-переводчика Вильгельма Левика:

Левик,
Иди в клевик,
Там — твое место,
Там твоя невеста.

Тарковский жил в довольно запущенной квартире, но приводить ее в порядок запрещал. Он говорил:

— После меня — хоть ремонт!

Мне очень нравились стихи Тарковского, я и теперь люблю некоторые из них. Арсений Александрович знал об этом, а потому у нас с ним возникла некая близость. Он надписывал мне свои книги, а я бережно храню их. Есть у меня и несколько его писем.

А дальше... дальше я круто изменил свою жизнь, а потому наши отношения с Тарковским прекратились. Впрочем, я радовался за него, потому что к нему наконец-то пришли признание и даже слава, которых он более чем заслуживал.

Когда на московские экраны вышел фильм «Зеркало», меня утраздило пойти его посмотреть. Надо сказать, к творчеству Тарковского-младшего я относился довольно скептически. Разумеется, на фоне самодеятельного и убогого советского кино он блистал профессионализмом.

«Андрея Рублева» я не стал смотреть, ибо знал, что там наличествует кощунственное изображение Спасителя. А «Солярис» я видел и много во время сеанса смеялся, ибо самый жанр фантастики представляется мне совершенной чепухой. Тогда же я и сформулировал свое отношение к творчеству Андрея Арсеньевича, позаимствовав слова Льва Толстого:

— Он пугает, а мне не страшно.

Но вернусь к «Зеркалу». Там меня постигло ужасное огорчение. Я услышал голос, читающий стихи за кадром, и голос этот принадлежал любимому и уважаемому мной Арсению Александровичу. Мне это было тем более отвратительно, что я знал некоторые подробности его биографии.

В фильме есть такой эпизод. Героиня, то есть мать автора картины, тщетно ждет в деревне приезда мужа, и в это-то время реальный отец режиссера Арсений Тарковский читает свое любовное стихотворение, посвященное Марине Ивановне Цветаевой, — «Свиданий наших каждое мгновенье...». Дескать, мама тут ждет, а папа где-то предается любовным утехам. Это ли не хамство в самом изначальном, библейском смысле этого слова?.. Это ли не глумление над наготою собственного отца?..

Но я и еще кое-что знаю. Я знаю, что в момент возникновения романа Тарковского и Цветаевой он был женат не на матери Андрея, у него уже была другая жена... До сих пор не могу понять, как Арсений Александрович мог на все это согласиться...

Мы с ним больше так и не увиделись. Но в самый год его смерти я прочел нечто, что живо напомнило мне годы близости с ним, то давнее время, когда я так любил и его самого и его стихи. Одна московская газетенка опубликовала его старое, довоенное стихотворение, где я нашел мысли и чувства, которые с давних пор испытываю по отношению к самому для меня отвратительному виду искусства — кинематографу:

Я, как мальчишка, убежал в кино.
Косая тень легла на полотно.

И я подумал: мне покоя нет.
Как бабочка, трещал зеленый свет.

И я увидел двухэтажный дом
С отворенным на улицу окном,

Хохочущую куклу за окном
С коротким носом над порочным ртом.

А тощий вислоусый идиот
Коротенького за руку ведет,

Другой рукою трет себе живот,
А коротышка ляжками трясет.

Тут кукла льет помой из окна,
И прыгает от радости она.

И холодно, и гадко дуракам,
И грязный жир стекает по щекам.

И стыдно мне, когда другого в рот
Целует сердобольный идиот.

И Пат смешон, и Паташон смешон,
Но Пату не изменит Паташон.

И тошно мне, и голова болит.
Куда мне скрыться от моих обид?

1938.

Мы особенно часто общались с Тарковским самое первое время после смерти Ахматовой. Союз писателей, как водится, учредил комиссию по ее литературному наследию. (Это была первая такая комиссия, теперь уже существует вторая.) Так вот Арсений Александрович был одним из членов, я — секретарем, а председателем — Алексей Сурков. Заседания наши происходили в Ленинграде. Впрочем, деятельность той комиссии была совершенно безуспешной. Наших рекомендаций и решений никто даже во внимание не принимал, и в конце концов комиссия перестала существовать.

А. Сурков сидит на председательском месте, я рядом с ним, несколько поодаль — прочие. Только что прозвучало предложение поручить подготовку посмертного сборника Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской. На это Сурков говорит:

— Лично я против Лидии Корнеевны ничего не имею... Но вы поймите меня правильно... Когда письма, адресованные в наши советские инстанции, становятся достоянием иностранных газет и их радио раньше, чем доходят до адресата, это выглядит по крайней мере странно...

Тут я неожиданно для самого себя произношу:

— Да, это уже стало хорошей традицией...

Сурков смотрит на меня с недоумением и неудовольствием...

Это заседание проходило в Ленинграде в феврале, если мне не изменяет память, 1967 года. Там мне особенно запомнился Виктор Максимович Жирмунский. Он говорил:

— Я могу сообщить присутствующим, что мною уже подготовлен текст сборника Ахматовой для большой серии «Библиотеки поэта». Но тут возникает проблема: кто напишет к этому сборнику предисловие? Я не могу написать: «В 1910 году Ахматова вышла замуж за поэта, фамилия которого не сохранилась». Я таких предисловий писать не умею, и учиться этому мне поздно...

(Тут надобно добавить, что в те годы запрещалось всякое упоминание в печати имени Н. С. Гумилева.)

Затем Виктор Максимович поразил меня и всех присутствующих по меньшей мере странным сравнением. Он говорил о преступном решении И. Н. Пуниной продать половину бумаг Ахматовой в Центральный архив, а другую — в Публичную библиотеку.

— Разделить архив Ахматовой на две части, — говорил тогда Жирмунский, — это все равно что расчленить тело прекрасной женщины — голову отправить в Москву, а тело оставить в Ленинграде.

В этом месте академика перебила сотрудница Публичной библиотеки по фамилии Мандрыкина. Она стала говорить о достоинствах своего учреждения. Но Жирмунский решительно остановил ее.

— Вы меня тут не учите уважать Публичную библиотеку! Я был ее читателем, когда вас всех, сидящих в этой комнате еще не было в живых!

Мы с Арсением Александровичем Тарковским идем по Литейному в Союз писателей, предстоит очередное заседание ахматовской комиссии. Я указываю ему на серую громаду известного в Питере «большого дома», в котором располагается КГБ, и говорю:

— Это здание строили два архитектора, итальянцы по происхождению, — Пыталли и Растрелли.

XXVI

Мы идем по каменистой коктебельской дороге. Александр Георгиевич Габричевский говорит мне:

— Есть только один способ узнать совершенно точно, кто именно из твоих друзей и знакомых стукач. Только этот способ не всегда удобен и даже не всегда доступен...

— Какой же это способ? — спрашиваю я.

— А вот какой. Когда тебя уже посадили и следователь ведет допрос, он непременно расспрашивает тебя о всех твоих знакомых. Так вот когда ты назовешь имя стукача он его как бы не слышит... Он не хочет, чтобы это имя попало в протокол... Поэтому, пропустив его мимо ушей, он тебе говорит: «Так... Ну а еще кто у вас бывал?» Все те люди которые у него не вызовут ни малейшего интереса, — стукачи.

А. Г. Габричевский и Н. А. Северцова бывали на Ордынке не очень часто тем не менее мои родители и они, что называется, дружили домами.

Первым, кто был принят в коктебельском доме Габричевских, был мой старший брат Алексей Баталов. Наталья Алексеевна говорила:

— Я нашла его на волейбольной площадке.

Произошло это году в пятидесятом, в доме Габричевских предстояло торжество по случаю дня рождения Ольги Северцовой, племянницы Н. А. Было решено устроить шарады, а участников для этой театрализованной игры почти не было. Наталья Алексеевна отправилась на поиски. Она подошла к волейбольной площадке и стала наблюдать. И тут один юноша неудачно ударил по мячу, а после этого изобразил припадок отчаяния — схватился за лоб, воздел руки к небу и т. д. Когда окончилась игра, Наталья Алексеевна подошла к молодому человеку и пригласила его в гости. Это был будущий актер Алексей Баталов, тогда студент школы при Художественном театре...

Из Коктебеля наш Алексей вернулся в совершеннейшем восторге от дома Габричевских. В его речи то и дело мелькало «дядя Саша» и «тетя Наташа»... Затем его дружба с Габричевскими еще больше укрепилась: друг его юности Олег Стукалов (сын Н. Ф. Погодина) женился на Ольге Северцовой.

Мое собственное, особенное сближение с Габричевскими произошло в 1962 году. В августе мы с Алексеем отдохали в Коктебеле, и только тут я стал завсегдатаем их гостеприимного дома. Когда Алексей уехал, а я еще

оставался в Крыму. Наталья Алексеевна предложила мне поселиться у них. С тех самых дней и вплоть до кончины Александра Георгиевича, а потом и Натальи Алексеевны меня связывала с ними обоими самая тесная дружба.

Наталья Алексеевна была совершенно необыкновенным человеком. Самым существенным ее качеством был талант. Талант во всем, что бы она ни делала: писала ли картинки, составляла композиции из корней, стряпала, накрывала на стол, обставляла комнаты или устраивала театрализованные игры. Она, се необычайная одаренность — вот что было душою дома, который привлекал столь многих и не был похож ни на один другой дом в мире...

Александр Георгиевич был человеком сильного и ясного ума, и это в сочетании с редкостной эрудицией. Он знал классические и многие современные языки, античную и новую философию, литературу, искусство, не чужд был и наукам естественным... В формировании моей личности дружба с ним имела первостепенное значение. В 1964 году он стал моим крестным отцом, хотя, честно говоря, для этой роли он не вполне подходил. Христианство было частью его необычайно обширных знаний, а вовсе не «единым на потребу», как тому надлежит быть.

Вот мы идем с Габричевским по Тепсеню, холму, который возвышается в Коктебеле над заливом и поселком. Я ему говорю:

— Терпеть не могу Белинского. Какие глупости и гадости он адресовал Гоголю!.. А что он писал о Пушкине в самые последние годы жизни поэта?.. Баратынский в своей эпиграмме называет его «намеднишним Зоилом». Достоевский пишет: «Он мне ругал Христа по матери...» Совершенно смрадная фигура...

Александр Георгиевич смотрит на меня и говорит:

— Мой дедушка Станкевич мне рассказывал...

Я замер в удивлении. Разговор этот происходит в 1964 году...

— Так вот он рассказывал, — продолжает мой спутник, — в сороковых годах прошлого века они с братом Николаем и еще некоторые их приятели вернулись в Россию из германских университетов, где изучали философию. А Белинский в то время был участником их совместных попок... И вот когда под утро расходились по домам, он останавливал в подворотне кого-нибудь из них и расспрашивал о немецкой философии. Сам Белинский никаких иностранных языков не знал, и ему приходилось довольствоваться сведениями, которые он получал от собутыльников... А потом в своих статьях он спорил с немецкими философами...

Дед Габричевского Александр Владимирович Станкевич жил очень долго и являл собою тип старого русского барина. Летом он жил в имении, зимою — в собственном доме в Большом Чернышевском переулке, в непосредственной близости от Консерватории. Особняк этот и по сию пору стоит, а в шестидесятых годах на калитке еще красовалась старинная надпись: «Свободень отъ постоя».

А. В. Станкевич в сопровождении камердинера Ивана каждый день совершал прогулку по Чернышевскому переулку. Но стоило ему увидеть хотя бы один автомобиль, как он немедленно возвращался домой. Цивилизации он не терпел.

Весьма занятна история о том, как в его дом провели электричество. Все понимали, что старик этого никак не одобрит, а потому работы были сделаны летом, пока он был в имении. И вот уже осенью, по возвращении в московский дом, надо было ему сообщить об этой важной перемене. С этой целью к нему был послан самый любимый внук — Юра. Мальчик вошел к деду, который лежал на кровати, а в изголовье у него стоял столик с лампой.

— Дедушка, — сказал Юра, — у нас теперь электрическое освещение. Смотри!

Мальчик нажал кнопку, и под стеклянным абажуром вспыхнула лампочка.

— Так, — сказал дед, — а как ее погасить?

— Очень просто. Так же, как и зажечь... Надо опять нажать эту кнопку... Вот так...

Как только свет погас, старый барин изо всей силы ударил рукою по лампе, та грохнулась на пол и разбилась. Он до смерти своей так и не признал электричества.

Габричевский живо вспоминал такую сцену. Коридор в доме на Чернышевском залит электрическим светом... Дед идет из столовой в свой кабинет, а впереди шествует камердинер Иван, который на вытянутой руке несет бронзовый шандал с шестью горящими свечами...

Если кто-нибудь из его малолетних внуков шалил или вел себя неподобающим образом, А. В. Станкевич говорил с характерной интонацией:

— Дурак, дурак, бойся Бога!

Мы совершаем очередную прогулку по Тепсеню. Габричевский говорит:

— Как-то раз следователь спросил меня: «Что бы вы сделали, если бы ваш отец поджег детский дом?»

— Ну и что же вы ему сказали? — спрашиваю я.

— Я ему сказал: «Это вопрос схоластический, я на него отвечать отказываюсь...»

Его отец Георгий Норбертович Габричевский был известный ученый, врач. В Москве теперь есть научный институт и улица его имени. Он довольно рано умер, его вдова ездила в Париж к Родену и заказала надгробный памятник.

С этим монументом тоже связана целая история. Наталья Алексеевна рассказывала мне, что в тот день, когда большевики переименовали Большой Чернышевский переулок в улицу Станкевича (в честь Николая Владимировича), родственников сего последнего выгнали из наследственного дома. Там поместилось какое-то учреждение. Памятник работы Родена по причине революции и разрухи так и не был установлен на кладбище, а стоял в одной из комнат особняка. Новые владельцы выбросили эту скульптуру из окна. По счастью, мраморный монумент упал в сад на мягкую землю и не разбился.

И тут Александр Георгиевич стал ходить по тогдашним музеям, умоляя бесплатно взять работу Родена. В конце концов хлопоты его увенчались успехом, скульптуру забрали. Теперь это один из немногих подлинных «Роденов» в России.

С некоторого времени наши прогулки с Габричевским стали ежедневными. Ему предписано было врачами ходить пешком, и я взял на себя труд сопровождать его — и в Коктебеле и в Москве. Во время этих неспешных моционов я жадно впитывал его мысли, суждения, самый строй его речи.

Мы идем на Тверскую, в аптеку. Габричевский указывает мне на здание новой гостиницы и говорит:

— Посмотри, уменьшающиеся пропорции... Сразу видно, что архитектор — ученик Жолтовского.

(С Иваном Владиславовичем Жолтовским он был в свое время дружен, и это имя во время наших прогулок возникало частенько.)

Вот Габричевский смотрит на здание Арсенала, высящееся за кремлевской стеною.

— Узкий фриз и окна в глубоких нишах. Жолтовский говорил, что это классический способ создать впечатление, будто стена очень массивная...

В другой раз он обращает мое внимание на фальшивые балкончики с порталами, они обрамляют окна на старом здании университета.

— Жолтовский видеть этого не мог. Он говорил: «Как это можно украшать архитектуру — архитектурой?»

И еще о Жолтовском. Александр Георгиевич вспоминал, что Иван Владиславович относился к своим коллегам, советским архитекторам, с необычайным презрением. Он говорил: «Я по крайней мере знаю, что, где, как и у кого украсть... А они, невежды, даже и этого не могут...»

Габричевский свидетельствовал, что Жолтовский, пользуясь своим влиянием, отстоял здание Манежа, которое уже было предназначено большевиками на снос...

— Я помню, — говорит мне Александр Георгиевич, — я вышел из дома в январе двадцать четвертого года... Стояла длинная очередь к гробу Ленина, люди жгли костры и грелись... А вот тут, на Манеже, висел загадочный лозунг: «Могила Ленина — колыбель человечества»... Это я не понимаю, что такое...

— Это не так уж трудно расшифровать, — отвечаю я.

— Ты так думаешь?

— Я надеюсь, вы не станете мне возражать, — говорю я, — если я скажу, что партия большевиков — сатанинская пародия на Церковь, съезды — это соборы, парады, демонстрации и митинги — ритуальные действия, чучело Ленина пародирует святые мощи и так далее...

— Это справедливо, — отзывается Александр Георгиевич.

— Так вот, — продолжаю я, — лозунг «могила Ленина — колыбель человечества» — это такая же точно сатанинская пародия на слова молитвы, обращенной ко Христу: «Гроб Твой — источник нашего воскресения».

— Александр Георгиевич, — говорю я во время очередной прогулки, — а вы знаете, как теперь называется еда? Продукты питания...

— Да? — говорит он. — А что это означает?

— Ну, по смыслу самих слов очевидно, что кто-то чем-то питается, потом происходит пищеварение, а затем выходит — «продукт питания»... И главное, это наименование абсолютно соответствует качеству теперешнего продовольствия.

— Это интересно, — отзывается Габричевский...

Про Ахматову Габричевский говорил:

— Я ее боюсь.

И она о нем то же самое:

— Я его боюсь.

Как-то я привез Ахматову к Габричевским. Туда забрел случайный гость и стал расхваливать выставку картин Рериха. Ахматова и Габричевский молчали. Когда этот человек ушел, Анна Андреевна сказала:

— Александр Георгиевич, неужели вам нравится Рерих? По-моему, это немецкий модерн.

— Финский, — поправил Александр Георгиевич.

(Естественно, под словом «модерн» оба подразумевали определенный стиль начала века.)

Летом шестьдесят шестого года я писал в Коктебеле воспоминания об Ахматовой. Когда это было готово вчерне, я показал мемуары Габричевскому. Он отозвался весьма благосклонно и притом добавил, имея в виду Анну Андреевну:

— Это очень хорошо, что она была такая умная.

В шестьдесят пятом году, зимой, я впервые прочел «Четвертую прозу» Мандельштама, пленился ею и собственноручно переписал на машинке.

(Как можно было догадаться, одной из причин появления этого шедевра было судебное дело, иск переводчика Горнфельда, который обвинял Мандельштама в плагиате.)

В Коктебеле я показал свой экземпляр «Четвертой прозы» Габричевскому. Она привела его в восторг. При этом я услышал такое:

— Я был свидетелем на суде Мандельштама и Горнфельда. В перерыве между заседаниями Осип Эмильевич повел меня как свидетеля со своей стороны в ближайшее кафе... Пока мы с ним сидели за столиком, он говорил мне почти все то, что здесь написано... Но — поразительное дело — тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления...

Я спросил его:

— А кто там, в этом деле, был прав?

— Горнфельд, конечно, — отвечал Габричевский, — Мандельштам у него все списал...

— Тогда почему же вы выступали со стороны Мандельштама?

— Ну... — Александр Георгиевич замялся. — Мандельштам все-таки поэт, а Горнфельд вообще неизвестно что такое...

Мы гуляем по Тепсеню. Я говорю:

— Я люблю стихи с отроческих лет. И вот для самого себя сформулировал, каким образом можно отличить хорошие стихи от плохих. Ну, разумеется, речь идет только о таких образцах, где полноценная рифма, абсолютное владение размером и т. д. В настоящих стихах всегда наличествует напряжение, струна, тетива. Если этого нет, то никакие формальные выкрутасы не помогут... Есть важное свидетельство об этом, которое оставил Мандельштам, его восьмистишие:

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вдох.
И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг —
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Александр Георгиевич выслушал все и сказал:

— Это же самое и почти такими словами мне говорил Фальк. Он этого добивался в живописи.

С Робертом Рафаиловичем Фальком Габричевский был дружен и его картины ценил очень высоко.

Помню также его отзыв об Александре Тышлере, который на моей памяти один раз появился в Коктебеле.

— Пожалуй, сейчас это лучший художник, — сказал А. Г., а потом добавил: — На этой территории...

Габричевский поделился со мной таким существенным наблюдением. Старая, классическая живопись всегда притягивает зрителя к себе, манит тебя внутрь рамы... А искусство XX века, модерн, наоборот — выпирает, вылезает из рамы, наступает на зрителя.

Будучи человеком воспитанным и учтивым, об искусстве Габричевский высказывался весьма откровенно. Тут истина была для него дороже самых близких отношений.

Старый приятель его Н. Ч. как-то преподнес ему свой роман, а потом спросил о впечатлении. Александр Георгиевич стал говорить нелицеприятно... В конце концов автор не выдержал и вскричал:

— Ну что ты от меня хочешь?.. Я же не Хемингуэй!

Я на всю жизнь запомнил наш с ним разговор о Михаиле Булгакове. Было это в 1966 году, только что вышел номер журнала «Москва» с первой частью «Мастера и Маргариты». Поначалу я был от романа в восторге. Александр Георгиевич охладил мой пыл, сказав:

- Он плохо пишет.
- А кто же пишет лучше? — вскричал я.
- Гоголь, — отвечал Габричевский.

Притом к самому Булгакову он относился с большой симпатией. Габричевский вспоминал, как в мастерской у Макса Волошина Леонид Леонов читал какой-то свой роман. А Булгаков при этом сидел на антресолях и дремал. Но как только чтение прерывалось, Михаил Афанасьевич демонстративно перевешивался через перила и бурно аплодировал Леонову.

XXVII

Воспитанный Ахматовой, я воспринял от нее отрицательное отношение к коктебельскому культу Макса Волошина. Но поскольку я подружился с Габричевскими, жил у них месяцами, мне волей-неволей пришлось посещать «дом поэта».

Раза два мне пришлось сопровождать тогда Александра Георгиевича в Духов день. День рождения Макса — 16 мая 1877 года — был на второй день праздника Пятидесятницы. Это дало ему повод всякий год устраивать семейный праздник именно в День Святого Духа, что само по себе весьма кощунственно, а уж коли речь идет об антропософе, да и язычнике, то ни в какие ворота не лезет.

В шестидесятых годах у Марии Степановны Волошиной в Духов день собиралось немногочисленное общество, состоявшее из интеллигентов второго, а то и третьего разбора. Какие-то отставные певички, немолодые, но восторженные девицы... Мы с Габричевским бывали чуть ли не единственными мужчинами. Угощение обыкновенно состояло из самодельных тортов с большим количеством питьевой соды, а также коробок с шоколадными конфетами, которые были решительно несъедобны. Марии Степановне дарили шоколад в большом количестве, и коробки эти месяцами или даже годами лежали в кладовке, дожидаясь своей очереди попасть на стол.

Вдова поэта привыкла к поклонению певичек и девиц, а потому изъяснялась всегда тоном капризным и безапелляционным.

— У нас в Коктебеле, — говорила она, — все раскопали этими гольденвейзерами...

— Бульдозерами, Мария Степановна, — почтительно поправляет какая-нибудь обожательница поэзии Макса.

— Какая мне разница? — отвечает вдова. — Все равно гадость!

А вслед за этим произносится такое:

— У нас в Коктебеле совершенно невозможно достать ни человеческого мяса, ни человеческого молока...

(Разумеется, тут нет и тени антропофагии, речь идет о качестве съестных припасов.)

В особо торжественных случаях сама Мария Степановна появлялась у Габричевских. Помнится, я был свидетель забавной сценки. Некий местный коктебельский житель стал вспоминать двадцатые годы, когда Коктебель был малолюдным, а залив — полным рыбы. При сем присутствовавшая вдова Волошина необычайно оживилась и, по-рыбацки отмерив ладонью расстояние на левой руке, показала:

— Вот такие были лобаны!..

Тут старожил стал говорить о ядовитых рыбах, прикосновение к которым вызывало воспаление и отеки на руках. Мария Степановна с тем же воодушевлением и тем же жестом подтвердила:

— Вот такие бывали опухоли!..

Стоит жаркий летний день. Я поднимаюсь на балкон, место занятий Габричевского, и застаю его в некотором смущении. Он говорит:

— Сейчас ко мне придет Мариэтта Шагинян и будет спрашивать о своей книге. А я не знаю, что ей сказать...

Незадолго до этого Шагинян преподнесла ему свое сочинение о чешском композиторе Мысливечке, и, разумеется, опус этот был ниже всякой критики.

— Я убедился, — продолжает Габричевский, — что она не знает слова «шпалы». Описывая свое железнодорожное путешествие, она замечает, что «рельсы лежали на бревнах»...

Тут я поспешно ретируюсь, ибо вижу, что Шагинян уже поднимается по лестнице.

Через час, когда она ушла, я опять поднялся на балкон.

— Ну и что вы ей сказали по поводу книги? — спрашиваю я Габричевского.

Он невозмутимо говорит:

— Я ей сказал, что бревна, на которые кладут рельсы, называются шпалами...

Вообще я полагаю, что феномен Мариэтты Шагинян еще ждет своего исследователя. Литературная одаренность, бурный, неукротимый темперамент, необычайная плодовитость, полное, мягко выражаясь, отсутствие умственных способностей — и все это в сочетании с искренней преданностью делу партии Ленина — Сталина...

Шагинян сама рассказывала у Габричевских о своем замечательном лондонском приключении. Она попала в Англию в октябре 1956 года, когда советские люди еще за границу не ездили. И вдруг она увидела на улице демонстрацию. Разумеется, Шагинян решила, что свой социальный протест выражают эксплуатируемые капиталистами рабочие. И немедленно присоединилась к процессии, пошла в первых рядах, размахивала ключиком и что-то выкрикивала... А демонстрация тем временем достигла своей цели, каковой оказалось советское посольство. Это был протест против зверского подавления нашими танками венгерской революции... И тут Шагинян поспешно ретировалась.

Одна моя знакомая дама в шестидесятых годах жила в литфондовском доме, где была и Шагинян. За табльдотом она то и дело повторяла:

— Я сталинка...

Ей возражали:

— Но позвольте, ведь Сталин — убийца миллионов...

— Ну и что? — говорила старуха. — Они все были предатели...

— Как? Двадцать миллионов предателей?..

— Да! Да! Да! — отвечала Шагинян. — Вот сейчас все твердят о Бухарине. А у меня с Бухариным был роман. У меня есть его любовные письма!.. Там каждая строчка дышит предательством!..

Среди тех, кого я видел в доме Габричевских, был лишь один человек, который мог считаться другом Александра Георгиевича, был ему ровней. Это Генрих Густавович Нейгауз, Гарри, как его звали близкие люди. Насколько я могу судить, Габричевский и Нейгауз сошлись и подружились во время войны в страшном городе Свердловске, куда оба были высланы. Их связывала не только общая любовь к музыке в частности и к искусству вообще — оба они были люди пьющие, а это, как известно, особенно сближает. В конце жизни Габричевский уже совершенно не пил, ну а о Нейгаузе этого нельзя сказать.

Мы с Габричевским идем по Тепсеню. Я говорю:

— Вы помните строчки Мандельштама о Нейгаузе?

— Нет, — отвечает А. Г., — я вообще первый раз об этом слышу...
Я читаю ему:

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих, конек-горбунок.

— Замечательно, — говорит Габричевский.

Удачность мандельштамовской метафоры подтвердилась для нас впоследствии неожиданным образом. Уже после смерти Генриха Густавовича его вдова Сильвия Федоровна просила Габричевского перевести с немецкого на русский юношеские письма Нейгауза. Писаны они были в Вене, где он учился, и адресованы в Россию его родителям. Отец рекомендовал сыну играть не Брамса, а Шопена. В ответ на это Нейгауз-младший писал, что Шопена может исполнять «любой фортепианный жеребец»...

У Нейгауза был удивительный облик. Он был тонок, изящен, элегантен, лицо излучало ум, доброту, живость... Шутки его бывали блистательны. Рассказывали, например, как ему довелось в Консерватории слушать игру на фортепиано какой-то очень красивой студентки. Отзыв его был такой:

— Венера... Только бы еще руки обломать...

Я помню, с какой любовью, с какой-то особенной улыбкой он говорил о своем лучшем ученике — Рихтере. Такой, например, рассказ. Святослав Теофилович сдавал экзамен то ли по истории музыки, то ли по так называемой музыкальной литературе. Какое бы произведение ни называли экзаменаторы, Рихтер, не говоря ни слова, подсаживался к роялю и играл...

Наталья Алексеевна однажды спросила:

— Гарри, что такое пошлость?

Нейгауз отвечал:

— Это нечто вроде религии. Только гораздо сильнее.

Когда Генриху Густавовичу исполнилось семьдесят пять лет, Габричевские жили на даче в Переделкине у своего зятя Олега Стукалова. Чуть ли не в самый день рождения туда пришел Нейгауз с женою. Наталья Алексеевна накрыла стол и огласила шуточные поздравительные телеграммы, которые сама сочинила к этому дню. Генрих Густавович очень смеялся, с удовольствием принял их и при этом сказал:

— Вот это я понимаю телеграммы... А то мне все желают долгих лет жизни... И это в мои семьдесят пять...

В тот вечер состоялся и мой с ним существенный разговор, единственный, ибо, когда он говорил с Габричевским, я, разумеется, помалкивал. А тут мы с Нейгаузом заговорили о русской поэзии XX века. Он знал ее великолепно и, к радости моей, оказался поклонником Иннокентия Анненского. Причем он помнил наизусть не только самые известные стихи, например, «Смычок и скрипка», но даже и шуточные, такие, как сонет-акrostих «Петру Потемкину на память книга эта».

И еще воспоминания того вечера. Сильвия Федоровна, швейцарка и вообще дама сдержанная, следила за тем, чтобы Нейгауз не злоупотреблял спиртным. А Наталья Алексеевна как хозяйка его угощала. И вот Генрих Густавович в сердцах заявил, что разница между ними — как между «православием и кальвинизмом»...

В шестидесятые годы на коктебельской почте почему-то невероятно перевирались присылаемые туда телеграммы. Как-то летом у Габричевских ждали Нейгауза. Он должен был приехать из Ялты. Наконец приносят те-

леграмму. Но в ней все искажено так, что невозможно понять, которого числа и каким видом транспорта прибудет Генрих Густавович. И всю эту телеграфную абракадабру венчала подпись. «Пейгауз».

В доме Габричевских я близко познакомился с одной из колоритнейших фигур тогдашней Москвы — Ниной Константиновной, вдовою художника Льва Бруни и дочерью поэта Бальмонта. Она иногда заходила и на Ордынку к Ахматовой, но Анна Андреевна ее, честно говоря, недолюбливала. Полагаю, тут сказывалась антипатия акмеистов к самому Бальмонту.

Царствие Небесное Нине Константиновне, человек она была доброжелательнейший, необычайно общительный и совершенно возвышающийся над бытом. В начале шестидесятых она еще где-то состояла на службе, а потому бывала в своем крымском доме лишь наездами.

Появляясь у Габричевских в Коктебеле, она нам говорила:

— Я решила поехать в Судак в мае, но Николай Иванович не хотел меня отпускать. Тогда Софья Федоровна посоветовала мне обратиться к Ивану Петровичу, а тот позвонил Андрею Сергеевичу, чтобы он через Анну Семеновну воздействовал на Николая Ивановича... И еще я просила об этом Клавдию Карповну, и в конце концов Николай Иванович разрешил мне уехать на три недели...

Тут следует заметить, что ни один из нас, слушавших этот монолог, не только не знал никого из упоминаемых людей, но и представления не имел даже, где именно Нина Константиновна служит.

В этом роде были почти все ее рассказы. Там мелькали какие-то Леночки, Зинули, Сереженьки и т. д. и т. п. Изредка, правда, появлялась в этом водовороте имен спасительная соломинка — Корней Иванович, но она сейчас же исчезала среди Петр Петровичей, Иван Казимировичей и Станислав Сергеевичей...

Как-то раз Нина Константиновна рассказала нам, что ехала в поезде от Москвы до Феодосии в одном купе с детской писательницей Валентиной Осеевой. Разумеется, как и все прочие бесфамильные Семены Степанычи и Софьи Капитоновны, попутчица оказалась милейшим человеком и всю дорогу угощала нашу Н. К. превосходнейшим таллинским шоколадом.

— Я съела так много шоколада только еще один раз в жизни, — призналась рассказчица. — Это было на юбилее Корнея Ивановича.

Когда умерла Ахматова, Нина Константиновна приехала в Ленинград на похороны. Как и многие из нас, в Союз писателей на «гражданскую панихиду» она не пошла, и мы долго ждали на комаровском кладбище, пока привезут гроб...

Было очень холодно. В какой-то момент Нина Константиновна отозвала меня в сторону. Она открыла свою поместительную сумочку, извлекла оттуда фляжечку с коньяком и стопочку, мы с ней выпили, чтобы немного согреться...

После похорон мы отправились в ахматовский домик, в Будку. Там была панихида. Служили священник и диакон. Как только они облачились, Нина Константиновна извлекла из той же своей сумки тоненькую церковную свечку и зажгла ее.

Тут я понял, что она — великий человек.

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



СКВОЗЬ РАЗЛОМЫ ОКОНЧЕННОЙ ЖИЗНИ

Роль

какая роль о мой Боже
в действе Твоем совершенном

каждый жест в Твоем сюжете

такого Мирового Театра
ни Шекспиру ни Кальдерону
ни Третьего Ордена брату^{*}
ни во сне ни в яви не мнилось
разве на малое мгновенье
когда Сам Ты неслышно был рядом
рукописи их правил

какая роль о Мой Боже
пред сонмом зрителей незримых
пред Девятью Чинами
пред ярусами Многоочитых
пред ложами Серафимов

из-за такой-то роли
первейшие в свете актеры
с ума бы все посходили
всю важность свою позабыли
друг дружку ядом травили
на коленях бы о ней молили

а лицедей никудышный
из последних что ни есть распоследний
глядит на роль тухлым взглядом
ну и роль прямо курам на смех
костюмы рвань декорации заваль
опять меня обижают
блата нет у начальства не в фаворе
чего тут дождешься
все другим достается

28.7.93.
Москва, ночь.

* Третьего Ордена брат — австрийский поэт Гуго фон Гофман-сталь, который был францисканским терциарием и лежал в гробу, по свидетельству современников, в орденском облачении; по примеру Кальдерона написал мистериальную драму с тем же заглавием — «Большой мировой театр».

Не ко времени да некстати

1

сами славу рокотаху
непослушные безумные струны
что же мне с ними делать

как мне на миру повиниться
как избыть сором несуразный

меня виноватей нету

хоть на колени стану
а все не простят мне люди
только осердятся пуще

Боже Ты меня сделал
из древней небывальщины дурнем
юродом что у гроба весел
на похоронах сияет

что со мною добрые люди

или не вижу я гроба
тления не примечаю
тяжкого трупного духа
что бьет и в мои ноздри
или плакальщиц не слышу
их сухого надсада
бесслезного злого вопля
вокруг молви не чую
один такой беспонятный
должно быть вправду не вижу
должно быть вправду не смыслю

или как ответить по правде

и видеть-то вижу да вполглаза
и слышать-то слышу да вполслуха
вполразума разумею

не ко времени да некстати
иным отвлечена делом
чувств простая пятерица

миг за мигом видеть и слышать
обонять и осязать непрестанно
вкушать вкушением тайным
явленную во времени и в мире
не от времени не от мира славу

не то что слывет славой
в лукавом слове человек
славу превыше слова
что безмолвием тяжелеет
сама же из себя светит
сама же себя слышит

кому дано ее узрит
и над венцом государей
но яснее она сияет
для сердца не в пример приметней
сквозь дыры рубища худого
истончившихся нищенских отрепьев
или плоти что для смерти созрела

сквозь разломы оконченной жизни

в горах она зрима и в розах
и в кринах белизны беспорочной
но как она внятна и понятна
в подорожнике под ногою
в траве без цветов и колосьев
что не смеет расти повыше
в утлых былинках

кому дано ее расслышит
в звонах кимвалов доброгласных
в звуках струн и органа

но громче поет она и чище
когда звук последний смолкает
и в веянии хлада тонка
в глубоком безмолвии слышно
как миг проходит за мигом
пляску уставную свершая
перед вечности Ковчегом

словно гул моря рокочет
в раковине пустой и малой
в каждой неприметной вещи
звучит и горит слава

и ей усмехается сердце

2

Судия Судия Правосудный

пред людьми винился лукаво
пред Тобою повинюсь по правде

и того что надобно видеть
ох как надобно видеть увы мне
своих же грехов почти не вижу
на славу взгляд устремляя
утешенный без заслуги
мне бы вину оплакать
я же плачу и плачу и плачу
не стыдом не страхом не скорбью
славою в сердце уязвленный

Господи и то знаю

как-никак грамоте учился
хоть ленисто да поспешно
а листал подвижников книги

что слезы мои ночные
более с недугом схожи
струн расстроенных звуком
нежель с даром благодати слезным
что радость моя о славе
не духовна есть а душевна
от прелести увы недалече
опасна удобопревратна

сжели неправо я мыслю
будто любовь и такая
нисходит от Тебя Отца Светов
грешнику дается по силам
как оружие на безлюбье
противу уныния защита

вразуми поврежденную совесть

но не предай меня Боже
в руки мудрецов лжеименных
гласом века сего честимых
что учат попранию славы

научи меня отповеди сильной
доводу что побеждает
не в слове так в сердце молчаливом

3

пускай их как хотят толкуют
как дважды два мне докажут
на пяти пальцах покажут
что кругом ни души уж нету
одни только беси

и тогда я глупец отвечу

вот небеса над головою
слава Господу в вышних
вот земля под моими стопами
терпеливый прах неприметный
что меня грешного носит
как тут не ликовать мне

а спорщики пуще разойдутся
вовсе меня в угол загонят
изъяснят еще доскональней
что в наши времена не осталось
не стало ни земли ни неба
ни зорь ни туч ни созвездий
ни ручья ни былинки
одно глумливое подобье
бесово живописание
на заднике тряском и трухлявом
в поганом ихнем балагане

да еще примолвить не забудут

что на церковь крестишься дурень
и она намалевана для виду
тою же нечистою кистью

слов тратить не стану
подыму глаза мои повыше
повыше подыму чтоб увидеть
на самом наверху последнем
той намалеванной церкви
Крест истинный Господен

нельзя ведь и бесовской кисти
без Креста церковь представить
кто же художеству поверит

а уж чья бы кисть ни гуляла
ни волхвам ни бесам не под силу
истины Креста подделать
до того прост его образ
что лжа к нему не пристанет
злохудожество изнеможет

и я про себя возликую
может молвлю языком непутевым
а лучше смолчу чтоб не смеялись
только в сердце скажу слово
СЛАВА

Молитва о последнем часе

когда Смерть посмеется надо мною
как та что смеется последней
и сустав обессилит за суставом

Твоя да будет со мною Сила

когда мысль в безмыслии утонет
когда воля себя утерять
когда я имя мое позабуду

Твое да будет со мною Имя

когда речам скончанье настанет
и язык глаголавший много
закоснеет в бессловесности гроба

Твое да будет со мною Слово

когда все минет что мнилось
сновидцу наяву снилось
и срам небытия обнажится

пустоту мою исполни Тобою

2.8.93.
Москва.

Недоумение

от всего моего смертного сердца
согласного на истленьё
прощаю обидевшим

только кто же меня обидел

эта женщина
которой мнилось будто ей мнится
что ее трясет от звука моей речи

Господи помилуй

этот мужчина
которому мнилось будто ему мнится
что он топчет мое лицо

Господи помилуй

словно игры малолетних уродцев
только чуть печальней
чуть несуразней

не саднило не язвило
но и не скажешь
будто смиряло
будто вразумляло

прошло мимо

Боже утешь лаской
всех кто меня обидел
я не знаю
Ты знаешь
кто же они

27.7.93.

Москва, ночь.



ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. КАГРАМАНОВ



НА СТЫКЕ ВРЕМЕН

Прошлое страстно глядится в грядущее,
Нет настоящего. Жалкого — нет

А. Блок.

Ох уж эти вечные сетования на то, что «распалась связь времен»! Если бы Бог не был всезнающим, то, постоянно (или по меньшей мере периодически) слыша их от людей, Наверное, перестал бы принимать их (сетования) всерьез. И как же было бы убедить Его в этом случае, что вот именно теперь, именно у нас наступило самое-самое безвременье? Хотя и впрямь — где и когда в последний раз люди настолько жили настоящим в самом примитивном, вульгарно-материальном смысле этого выражения?

Можно, однако, взглянуть на вещи под другим углом зрения, и тогда картина покажется не столь уж мрачной. Можно увидеть некоторый, и весьма положительный, момент нашего сегодняшнего состояния уже в том, что хоть настоящее у нас теперь подлинное, реальное. В продолжение семи десятков лет страна была «подморожена» (почти по рецепту К. П. Победоносцева), теперь она оттаивает и — в меру того как это происходит — подключается к мировой цивилизации. Правда, и мировая цивилизация нынче какая-то зыбкая, двусмысленная, а самый процесс подключения к ней проходит для России болезненно, с присущими российскому характеру перехлестами. Но уже то слава Богу, что мы погружаемся в «реку времен», становимся участниками и свидетелями ж и в о г о бытия; лишь поколения, оказавшиеся жертвами своеобразного коммунистического элеатства, могут оценить это по достоинству. И хотя будущее сейчас как никогда темно, связи с прошлым, те, что ранее были обрублены, понемногу восстанавливаются.

То, что с нами сегодня происходит, означает, таким образом, рывок из некоего *tempus indefinitum*, неопределенного времени, в конец XX века. А с другой стороны, оно означает возвращение, хотя бы условно, в 1917 год, к тому роковому моменту, когда Россия «вышла из себя» и попала в ловушку, ею же самою для себя устроенную.

Эти два вектора образуют поле, где в предстоящие годы продолжится «выяснение отношений» между диахронией русской (российской) истории, с одной стороны, и мировой синхронией — с другой.

* * *

Страна, «которую мы потеряли» в 1917-м, уйдя, подобно мифической Атлантиде, под воду, сохраняла огромную силу притяжения, которая и сегодня еще не совсем иссякла и вряд ли иссякнет в обозримом будущем. Другое дело, что менял-

Статья Ю. Каграманова публикуется в развитие начатого нами в прошлом и продолженного в нынешнем году полемического разговора о культурно-исторических судьбах России, о месте и роли в истории нашей страны интеллигенции, о путях взаимодействия и перспективах сближения нового демократического Российского государства с остальным цивилизованным миром. Читатели, внимательно следящие за нашими публикациями, наверняка обратят внимание на то очевидное обстоятельство, что многие из суждений Ю. Каграманова напрямую перекликаются с позициями и положениями ряда ранее печатавшихся на страницах «Нового мира» материалов (в особенности очерка Германа Андреева «Обретение нормы» /1994, № 2/ статей Андрея Быстрицкого «Приближение к миру» /1994, № 3/ и Д. Штурман «В поисках универсального со-знания» /1994, № 4/), в чем-то определенно оспаривая, а в чем-то развивая и дополняя их.

ся и меняется характер этого притяжения. Для моего, например, поколения, явившегося на свет в предвоенные годы, дореволюционная Россия была уже бесконечно далека и в то же время таинственно близка благодаря тому, что вокруг оставалось множество мужчин и женщин, которые жили тогда — нормальной (по меркам остававшейся нам, к счастью, доступной мировой литературы), то есть не хорошей и не плохой, а просто нормальной, естественной исторической, гораздо более богатой красками, многообразной жизнью, и это были не только старики и старухи, у которых «все в прошлом»: на иных из тех женщин, что назывались барышнями в семнадцатом, еще впору было заглядеться, еще мужчины, воевавшие в германскую, отправились на новую войну с тем же германцем. Они оставались чуть-чуть «чужими», даже если это были родные и близкие люди, — им довелось участвовать некогда в чем-то таком, что казалось теперь нереально-книжным, «играть» в «пьесах» совершенно иного репертуара, поставленных совершенно иными режиссерами, нежели нынешние (конечно, я сейчас более или менее внятно описываю то, что тогда ощущал очень смутно).

Эта старая Россия во плоти и крови с течением времени, естественно, занимала все меньше места в жизни; зовы прошлого все больше воспринимались опосредованно — через книги, искусство, старые фотографии и т. д. (кроме того, они частично заглушались зовами современного Запада, особенно со второй половины 50-х годов, когда проредился железный занавес и стало возможным убедиться в том, в какую глухую провинцию обратилась советская империя в культурном отношении, не говоря уж о разнице в уровнях жизни). Иссякли ресурсы бытового жизнепонимания (при всей его аметодичности и безотчетности обладающего, по слову о. Павла Флоренского, полнотою всесторонности), доставшегося в наследство от революционных времен (именно в силу своей аметодичности частично сохранявшегося в условиях коммунистического режима и успешно им эксплуатировавшегося).

Когда пришел час и то, что было названо перестройкой, оказалось гораздо более серьезным делом, чем предполагалось, когда уже не в диковинку стало каждое смелое слово и почти исчез страх, что вот-вот все «прикроют», — в общем, когда стало ясно, что страна действительно вступила в пору великого обновления и «зеленый шум» будет набирать силу, тогда я подумал: какая досада, что фактически порвалась живая связь с предреволюционным нашим прошлым. Если бы все началось пораньше! Ну, скажем, лет двадцать назад. Нет, я понимаю, что того, что произошло на пороге 90-х, двадцатью годами ранее быть не могло. Но если бы, если бы! — можем же мы допустить такое хотя бы чисто теоретически. Под живой связью я разумею активное присутствие поколения, успевшего стать взрослым до 1917 года, то есть родившегося около 1900 года или ранее того. Кое-кто из этого поколения еще жив (и дай им Бог здоровья!), кое-кто даже, как говорится, в хорошей форме, но это единицы, которые не делают погоды. В целом поколение ровесников века, а тем более тех, кто старше, давно уже сошло с исторической сцены.

Но, может быть, такова именно воля Провидения, чтобы не сохранилось непосредственной живой связи. И чтобы нам теперь все начинать практически с нуля. Может быть, это испытание для нас, а точнее, для молодых поколений, на которые, собственно, и приходится задача возрождения и продолжения органической истории: сумеют ли они возродить из пепла то, что возрождения достойно?

Учтем к тому же, что двадцатью годами ранее бывшие буденовцы и бывшие деникинцы-мамонтовцы еще были на коне, правда уже не буквально, а фигурально. Сожалея сегодня о том, что не ощущаем дружеской поддержки ушедших из жизни поколений, порадуемся хотя бы тому, что равным образом не ощущаем мы и ненавидящего дыхания в затылок. В истории есть опасные зоны, их отличает особый накал страстей и обилие порохового дыма. Те, кому удалось выбраться оттуда живыми, нередко до гробовой доски несут в себе некий фермент воинственности, раздражающий также и воображение потомков. И потому чем дальше во времени от этих опасных мест, тем, быть может, для всех нас лучше, тем больше шансов, что до массового смертоубийства в другой раз дело не дойдет¹.

Впрочем, приравняв буденовцев к деникинцам-мамонтовцам, я несколько погрешил против истины. И дело не только в том, что истина в данном случае

¹ Примером подобной осторожности может служить «примирительный» фильм «Унесенные ветром» (я имею в виду именно фильм, а не роман), снятый в США в 1939 году — спустя семьдесят четыре года после окончания гражданской войны между Севером и Югом

поделена на две неравные части (большая из которых по праву принадлежит вторым), но и в том, что последующая (после гражданской войны) враждебность к другой стороне более успешно консервировалась в лагере победителей, а не в лагере побежденных. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Конечно, в белом лагере хватало желаний «отомстить неразумным хазарам», и все же оно умерялось христианским пониманием того, как надо строить новую Россию. А главное, за поредевшей непочкой белого воинства ждали своего часа люди, которые действительно нужны были России и которым Россия нужна была так, что они буквально жили ожиданием возвращения, до рези в глазах всматриваясь в происходящее на родине: не опоминается ли она, не поднимаются ли в ней какие-то новые силы, способные увести ее с гибельного пути. Увы, не опоминалась родина. Десятилетие шло за десятилетием, изгнанники рано или поздно оканчивали свой земной путь, всех — ораторов и мыслителей, поэтов и солдат — принимали под свою сень Сент-Женевьев-де-Буа и другие живописные или не очень живописные кладбища.

Это было похоже на то, как исполняют Прощальную симфонию Гайдна: каждый оркестрант в свою очередь складывал инструмент, гасил свечу и тихо удалялся...

Задержанное возвращение (некоторые уроки эмиграции)

Не дождавшись своего часа физически, эмиграция (я, конечно, имею в виду ее первую волну) возвращается теперь на родину духовно. Мы начинаем отдавать себе отчет в уникальной, по-видимому, за всю человеческую историю (ни одна страна никогда не выталкивала за границу такое число людей, составлявших цвет ее интеллектуальной и духовной элиты) раздвоенности «культурного процесса» начиная с 1917 года. Две русские культуры существовали в продолжение нескольких десятилетий, одновременно близкие и далекие. Можно сравнивать их по разным параметрам; меня в данном случае интересует вопрос духовной преемственности. Вряд ли кто станет отрицать, что в советской России литература и искусство в лучших своих проявлениях продолжали и развивали то, что было начато задолго до революции; в то же время преемственность сложным образом сочеталась в них с нигилистическим отрывом от традиций. Напротив, литература и искусство эмиграции, никем и ничем не стесненные, являют нам непрерывность традиции, ее широту и полноту.

Но есть в культуре эмиграции качество, притом важнейшее (для данной исторической эпохи), которое вообще не с чем сравнивать по эту сторону границы: это ее самоотчетность, сознательность, наиболее последовательно реализуемая философской мыслью.

Коммунистическим режимом свободная мысль была задавлена уже в начале 20-х годов; лишь в подполье она кое-где еще пульсировала, постепенно затухая. Напротив, в эмиграции мысль оказалась скорее в преимущественном положении: хоть она, так же как литература и искусство, питалась энергией почвы, ее способность к самодвижению оказалась значительно большей. Фантомное существование на далеком, чужом берегу болезненно сказывалось на писателе и художнике: он или крепче прижимался к вынесенным из родных пределов воспоминаниям, или срывался, подобно Георгию Иванову, «на дно мирового тумана, в непроглядную ночь пустоты» (мотив, выразивший некое общеевропейское настроение, усугубленное, однако, ситуацией эмигрантского житья-бытья). Мыслителя, занятого более отвлеченными материями, менее привязанного к «миру сему», оно, я думаю, тяготило все-таки меньше; рискну даже предположить, что изгнанничество явилось для него дополнительным стимулом творчества.

Важное обстоятельство, заслуживающее быть специально отмеченным: в с а м ы с л и т е л ь н а я р а б о т а р у с с к о й э м и г р а ц и и п р о х о д и л а «н а е в р о п е й с к о м с к в о з н я к е».

Наиболее культурная часть русской диаспоры и у себя на родине могла сказать, что ей «внятно все», что есть на Западе сколько-нибудь замечательного в литературе и искусстве, общественных науках и философии. В первые годы изгнания ее интерес к западной культуре, пожалуй, даже несколько ослаб — все внимание поглощала Россия. Но по мере того как ей приходилось вращаться в жизнь стран пребывания, немецкая, французская и иные культуры из просто внятных, какими они были когда-то, становились частью окружающей среды.

Между тем время наступало такое, что подтвердить известную аттестацию о своей «всемирной отзывчивости» стало куда труднее, чем прежде: теперь для этого

требовалась, пожалуй, особая виртуозность. Начало эмиграции совпало со сменой культурных эпох — с окончанием первой мировой войны наступал, несколько припозднившись, XX век: Европу покорял американский джаз, кинематограф из простого аттракциона превратился в «великого немого», «хромая музыка» и «кривая живопись» (Набоков) справляли свой праздник, озадачивая вчерашних «ценителей изящного», серия скандалов обеспечила успех романам Д. Г. Лоуренса, тогда как серьезные читатели одолевали «Улисса» Джойса, а кое-кто уже открыл Кафку, начиналось триумфальное шествие фрейдизма, под пером светских философов и публицистов расцвела новейшая апокалиптика как реакция на прежний убаюкивающий самообман о присносушей рах еигораед, о «бесконечном прогрессе»... Сразу столько накатило в 20-е годы, что понадобилось почти целое столетие, чтобы все по частям разжевать и усвоить; без натяжки можно сказать, что в составе воздуха, которым мы сегодня дышим, очень много от 20-х годов (напротив, воздух довоенной — до 1914 года — культуры, несмотря на отдельные авангардистские веяния, воспринимается как что-то очень далекое, почти экзотическое).

То, что оставалось к 1917 году от «одностройности» русской культуры XIX века, в эмиграции подверглось испытанию, так сказать, мировой синхронией. Далеко не все его выдержали. Кое-кто замкнулся в мире ностальгических воспоминаний, все происходящее вокруг воспринимая как бы боковым зрением, что в отдельных случаях не мешало творческой продуктивности. Но дозволенное художнику не было дозволено мыслителю, тем более со склонностью к историософии (вообще характерной для русской мысли). В той или иной степени философская эмиграция была вовлечена в культурную жизнь Европы; об этом говорят и многочисленные личные контакты эмигрантов с деятелями европейской культуры². Вовлеченность сочеталась с умением дистанцироваться от всего того, что, говоря словами Рильке, слишком наклонялось ко времени. Читая в «Пути» или «Современных записках» статьи и рецензии, посвященные тем или иным явлениям западной культурной жизни, не перестаю восхищаться способностью их авторов «все видеть» и «все понимать», сохраняя при этом собственную внутреннюю тональность (по выражению, если не ошибаюсь, Ф. А. Степуна).

Можно сказать, что «на европейском сквозняке» русская религиозно-философская и историософская мысль одновременно и обновила и закалала. Ее историческое предназначение, равно как и ее генезис, лучше других, пожалуй, очертил Г. П. Федотов в статье «Зачем мы здесь?» (1935): «...в первом десятилетии нашего века в России из предпосылок немецкого идеализма и символизма едва начала складываться совершенно оригинальная русская школа философии, теоретической и религиозной одновременно. Едва намечены были вехи нового пути. Революция ничего не отменила в постановке этих проблем. Она просто смахнула их, уведя молодые поколения России в реакционную глушь 60-х годов. Здесь, в изгнании, совершается эта работа, которая призвана утолить духовный голод России. Отсюда идут пути в русское будущее... Когда пройдет революционный и контрреволюционный шок, вся проблематика русской мысли будет стоять по-прежнему перед новыми поколениями России» (разрядка моя. — Ю. К.)³.

В этом плане эмиграция не просто перебрасывает мост между прошлым и настоящим (и будущим); именно в период эмиграции русская религиозно-философская и историософская мысль достигает своего наивысшего развития. 20 — 30-е годы — «акме большого движения» (по выражению Федотова), движения, которое продолжается и дальше, угасая лишь в 50 — 60-е годы, с уходом из жизни последних крупных мыслителей эмиграции.

Читатель может подумать: к чему, собственно, это дополнительное, так сказать, представление хорошо известных ныне авторов, десятки книг которых уже встали на полки общественных и личных библиотек (хотя это лишь малая часть того, что надлежит издать)? Да к тому, что отзвук на сказанное ими слово досадно

² Вот для примера малоизвестный факт: в Париже в 20-е и 30-е годы периодически устраивались «Русско-французские собеседования», в которых постоянными участниками с русской стороны были Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, С. Л. Франк, М. И. Цветаева, Г. В. Адамович и другие, а с французской — Жак Маритен, Габриель Марсель, Андре Мальро, Андре Моруа, Александр Арну, Франсуа Мориак.

³ Федотов Г. П. Полное собрание статей в четырех томах. Париж. 1982. Т. III. Тяжба о России (статьи 1933 — 1936), стр. 214

слаб и, что еще хуже, зачастую фальшив; расхватаны на цитаты отдельные их высказывания, а влияние всего строя их мыслей ощущается, пожалуй, лишь в единичных случаях. Где тот процесс ферментации российской культурной среды, о котором они мечтали и на который были вправе рассчитывать? Наверное, он все-таки идет, но уж больно медленно.

Г. Федотовым в вышеприведенном отрывке употреблено слово, которое я нахожу ключевым, — «школа». Сейчас даже неверующие убеждены, что нам нужна религия, но, похоже, мало кто представляет, насколько нам нужна школа (как идейно-философское направление, но также как и соответственно настроенная образовательная система). Без школы, заслуживающей этого имени, не будет исторической преемственности, или, точнее, будет дурная преемственность. Тот же Г. Федотов в другой статье, «Революция идет» (я случайно обнаружил ее в № XXXIX парижских «Современных записок» за 1929 год; почему-то она не вошла в полное собрание его статей, вышедшее в издательстве «ИМКА-пресс»), писал, что к собственно интеллигенции перед революцией следовало отнести тех, кто прошел настоящую школу (гимназия плюс университет), и что наряду с нею существовала полунинтеллигенция — всякого рода «экстерны» и просто «нахватавшиеся» разных знаний («образованщина?»); они-то и составили ударную силу революции. Конечно, это не единственный и, наверное, даже не главный критерий, позволяющий определить, что такое интеллигенция (сам же Г. Федотов в других работах употребляет иные критерии), но тоже очень существенный, в последние времена упускаемый из виду. Увы, советская школа, как она ни тянулась порой за своей дореволюционной предшественницей, в профессиональном плане не может идти с нею в сравнение, а в культурном и этическом отношении она не столько сформировала прошедшие через нее поколения, сколько деформировала их. Так что все мы в той или иной мере люди «отрывочной» культуры, с той лишь разницей, что одни из нас это понимают и стараются хоть чуть-чуть приподнять себя за волосы, а другие не понимают и не стараются и как следствие переоценивают собственные мнения (пожалуй, особенно это относится к молодым поколениям), одновременно проявляя чрезмерную готовность идти за первым попавшимся им «все объясняющим» мыслителем, будь то, скажем, Фрейд, Штейнер или Л. Гумилев.

Сегодня у нас ощутимо снизился статус мысли как таковой, за исключением тех случаев, когда она имеет прикладной характер; хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Я далек от просвещенческого пиетета в отношении *ratio*; я даже думаю, что времена, когда «никто ни о чем не задумывался» (по оброненному однажды Достоевским выражению), не лишены некоторого обаяния. Но развитие цивилизации уже приняло необратимо интеллектуальный характер, и двигаться дальше можно, только напрягая свой мозг. Вот почему нам так нужна сейчас своя интеллектуальная школа. И, слава Богу, никаких затруднений с выбором тут быть не должно (извините, плюралисты!): у нас есть собственная самобытная религиозно-философская традиция (и достаточно богатый выбор внутри ее), как бы естественное продолжение великой русской культуры, позднее (что нормально: сова Минервы вылетает в сумерки) самораскрытие русского гения в области мысли. Здесь «наше все» (в идейно-философском плане); здесь звучит «великий, прекрасный, могучий и свободный», посрамляя тех, кто считает, что, для того чтобы объяснить мир, непременно нужен вымученный, рационалистический воляпюк и что разные «философские техники» способны заменить ту глубину интуиции, запечатленной в образе (*Darstellung*), которую Гёте отождествил с философией.

«Оригинальная русская школа», как ее скромно назвал Г. Федотов, преодолевает исторически сложившийся разрыв между религией и философией. Более того, приходя с покаянием к церковному порогу, философия ведет за собою всю культуру, почти забывшую об источнике своих вдохновений, о том, «какого она духа». И. Ильин утверждал, что в России православный дух любви проник даже в математику; что уж тут говорить о литературе, об искусстве! Да и не только о России речь. Вся (почти вся) европейская культура XIX века дышала верой, надеждой и любовью — имея в виду человека, светлое будущее, пятое-десятое, — и в то же время демонстрировала подобного же рода и даже еще большую забывчивость (Стефан Малларме был одним из немногих прозорливцев, почувствовавших уже на исходе века, что вне Церкви нет места, где можно было бы «продлить экстазы»).

С другой стороны, отныне сама религия призвана стать более «думающей», менее полагающейся на обрядовую часть. В русском православии богословие всегда

было слабым местом; некоторое его оживление начиная с XVII века явилось реакцией на «вызовы» Запада и дало противоречивые результаты: западные формулы или чересчур поспешно отвергались, или, наоборот, некритически принимались. Между тем, как писал прот. Георгий Флоровский, «нужно не только повторять готовые западные ответы, но распознать и сопережить именно западные вопросы, войти и вжиться во всю эту драматическую и сложную проблематику Западной религиозной мысли, духовно проследить и протолковать весь этот очень трудный и очень запутанный Западный путь со времен Разделения... Православная мысль должна почувствовать и проработать западные трудности и соблазны, она не смеет их обходить или замалчивать для себя самой. Нужно творчески продумать и превратить весь этот опыт западных искушений и падений, понести всю эту «европейскую тоску» (как говорил Достоевский), за эти долгие века творческой истории»⁴. Отчасти эта работа уже проделана в эмиграции русской религиозно-философской и богословской мыслью; но еще больше предстоит сделать. Особенно если учесть, что многие из трудностей и соблазнов, о которых писал Флоровский без малого шестьдесят лет назад, в нынешнее время стремительной вестернизации России стали нашими собственными трудностями и соблазнами.

Нарушение связи времен в нашем случае означает, что непосредственная трансляция житейского опыта (включая сюда в первую очередь духовные моменты) уже не справляется с теми задачами, которые объективно на нее возложены. Традиции истончились и заблудились в сегодняшней неразберихе; тканые неутомимыми нормами (доверимся на минутку скандинавской мифологии) нити времени безнадежно, по видимости, перепутаны. Вконец разорванное и потерянное, житейское сознание не способно внести хотя бы относительный порядок в хаос «жизненного материала», связать новые «впечатленья бытия» со старыми.

Этот недостаток призвана восполнить мысль, актуализирующая опыт прошлого. Здесь возможна некоторая отдаленная аналогия с поздней античностью, где мысль, по слову Андрея Белого, «протянута из истории: один миг она — над историей даже, рисуя всем грядущим культурам свои грядущие судьбы...»⁵. Не так же ли и сейчас призвана она быть — своего рода вытяжкой из прошлого, обращенной в будущее?

Мысль — это энергия извлеченных сущностей, это жизнь, переложенная на вопросы и ответы (порождающие новые вопросы); мысль требует раскрытия и продолжения, а в некоторых планах и определенного действия. Так проводник, когда-то помещенный в магнитное поле, возбуждавшее в нем ток, теперь, пропуская этот ток через себя, уже сам создает вокруг себя поле.

Восстановление связи времен невозможно без наличия воли, способности к постоянным волевым усилиям.

Опять-таки урок в этом отношении преподает нам эмиграция. Мы уже привыкли к тому, что даже сейчас, спустя три четверти века после гражданской войны, русскость кое-где за рубежом сохранена в более чистом, незамутненном виде, чем на родине; а ведь это результат не столько инерции, сколько волевого усилия. Лишь в первые годы сохранение своего национально-культурного лица было для изгнанников вещью естественной, не требовавшей каких-то специальных забот. Но время шло, перспектива возвращения отодвигалась *ad infinitum*, от сидения на чемоданах в Берлине и Праге, не слишком далеких от советской границы, эмиграция переходила к более оседлому существованию, смещаясь к тому же глубже на запад, дальше от России, главным образом во Францию, а потом и в Соединенные Штаты, и тут уже естественной вещью становилось вращение в западную жизнь, а значит, незаметная утрата своего лица (как всегда бывает в подобных случаях, более всего привязывали эмигрантов к странам пребывания подрастающие дети). Перед русской диаспорой нависала опасность полной ассимиляции⁶.

⁴ Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж. 1981, стр. 512, 513.

⁵ Андрей Белый. На перевале. Берлин, Пб., М. 1923, стр. 59.

⁶ То, что перспектива ассимиляции воспринималась именно как опасность и даже как угроза, свидетельствуют хотя бы следующие строки И. Бунакова (Фондаминского), относящиеся к 1930 году: «Должны ли они (русские. — Ю. К.) в этом рассеянии постепенно растаять — потерять свое лицо, язык и культуру и слиться с другими народами? Сама постановка такого вопроса кажется оскорбительной... Неужели миллион русских людей — цвет нации! — не добровольно, во имя личных интересов, покинувших родину, а *насильственно*, в страшной

Вообще говоря, ассимиляция совсем не обязательно должна восприниматься как некое бедствие. Для сравнения: значительная часть французских роялистов, нашедших приют в России после Французской революции, отказалась покинуть ее после 1815 года, когда вроде бы путь на родину был открыт; эти французы постепенно растворились в русской среде, а так как их выбор был добровольным, то понятно, что никто не усмотрел в их судьбе ничего особенно драматического⁷ Но русская эмиграция — другое дело. Во-первых, она действительно включала цвет нации. Во-вторых, на долю русской диаспоры выпала задача по сохранению духовной преемственности, затрудненная или вообще невозможная на «обезумевшей родине».

Сейчас трудно даже представить, какую стойкость надо было проявить, чтобы сохранить свою Россию «на европейском сквозняке» (да еще в условиях, когда полмира с восхищением следило за «русским экспериментом»). Можно было сколько угодно повторять, что коммунистическое «царство» стоит на гнилом фундаменте, оно от этого не переставало быть реальностью, грубой и зримой; напротив, сами эмигранты, если мерить их «принципом реальности», чем дальше, тем больше превращались в бледные тени, заслуживавшие то ли жалости, то ли презрения. Особенно это относится к «нищенствующему рыцарскому ордену» белого офицерства с его мечтой о «возвращении под колокольный звон». Немногим лучше выглядели политические деятели, ставшие генералами без армий. Да и писателям без читателей или философам без аудиторий было отчего пасть духом. Удерживали их воля и надежда на «встречу с родиной», хотя с течением времени все настойчивее являлась мысль, что встреча эта скорее всего будет для них посмертной.

Но во л е н и е необходимо было не только для того, чтобы что-то с о х р а н я т ь о т п р е ж н е г о, но и для того, чтобы с т р о и т ь — пока еще мысленно — н о в у ю Р о с с и ю. Иначе говоря, перед эмиграцией вставал сакраментальный вопрос, который до революции был преимущественно вопросом леворадикальных партий: что делать? Левые радикалы собирались все разрушить, чтобы потом «строить заново». После революции, когда у ж е все было разрушено, полуиронический совет Розанова «делать то же, что и вчера», лишался всякого смысла; отныне строить можно было т о л ь к о заново. Стало быть, нужен был активизм примерно того же типа, какой ранее отличал леворадикальные партии, — сопрягающий мысль и волю; с тем, однако, принципиальным отличием, чтобы он ставил целью не создание некоего «совершенного общества», а лишь ограничение и стеснение неизбежного в принципе зла.

Это сопряжение не всегда проходило гладко в религиозно-философских кругах эмиграции, о чем свидетельствует, например, известный спор П. Б. Струве с Франком, возникший в 20-е годы. Струве решительно возражал против фактопрития, как он его называл (мета в сменовеховцев, евразийцев и иже с ними, но косвенно задевал и Франка); его позиция была последовательно волюнтаристской: Россию может спасти только решительная борьба со злом, только «идеализм» и «героизм, ясный и прямой»⁸. Франк в этом споре делал упор на понимание объективных исторических процессов, не поддающихся контролю человека, на их скрытую телеологию. Но р а з л и ч и е их позиций было р а з л и ч и е м в р а м к а х о б щ е г о в своих основных чертах у м о н а с т р о е н и я, ибо позицию Франка тоже отличал а к т и в и з м (см. хотя бы его статью 1931 года «По ту сторону „правого“ и „левого“»), только менее выраженный (кроме того, здесь было различие признаний: в отличие от Струве Франк чуждался реальной политики).

Я сейчас отвлекаюсь от конкретного, социально-политического и религиозно-культурного, содержания тех или иных программ; в данном случае меня интересует о н т о л о г и я в о л и. Хорошо известно, что воление, целеустремленность

гражданской войне, брошенных в изгнание, не найдут в себе моральной крепости и стойкости — не потерять своего лица, не рассыпаться на миллион пылинок, не слиться с теми народами, которые их в изгнании приютили?» (предисловие к кн. Г и п п и у с З. Н., К о ч а р о в с к и й К. Р. Что делать русской эмиграции. Париж. 1930, стр. 3).

⁷ Можно, правда, вспомнить о том, что эти французы попадали в среду офранцуженного русского дворянства, что существенно облегчало их ассимиляцию. Но как тогда объяснить, что и тысячи, если не десятки тысяч, наполеоновских солдат, попавших в плен в войну 1812 года, тоже пожелали остаться в России? А французов я взял для примера, во-первых, потому, что их эмиграция представляет собою некоторый пандан к русской белой эмиграции, а во-вторых, потому, что французы как раз трудно пускают корни в чужих краях.

⁸ «Вопросы философии», 1993, № 2, стр. 126.

всегда были характерны для западного человека; в России они ощущались гораздо меньше, здесь можно было жить «задумчиво» (Адамович). Раскрыв нужные книги, мы найдем этому объяснение: глубинное различие между Западом и Россией в типе религиозности. Хотя целеполагание характерно вообще для христианского мира (высшая, конечно-бесконечная цель — Царствие Божие; отсюда привычка смотреть вперед и «по ходу движения» ставить себе какие-то частные, «промежуточные» земные цели), на Западе оно, целеполагание, традиционно было значительно резче выражено. В православии всегда было сильное чувство присутствия Христа, в католичестве — стремление к нему. В терминах Бердяева: во втором случае имела место «влюбленность», в первом — «брак». Стремление предполагает некоторую разделенность, отсюда воля к преодолению препятствий. «Фаустовское» томление, тяга «к другому берегу», о которых писал Шпенглер в «Закате Европы», — претворение изначального религиозного импульса в поле культуры. С этим связан и а-историзм православия, тоже достаточно известный. Речь идет, впрочем, не столько о православии вообще, сколько о том преимущественно ритуальном православии, что существовало в России на протяжении нескольких последних столетий.

Прочитавшим роман Ивана Шмелева «Лето Господне» предлагаю проделать мысленный эксперимент: перенести прочитанное в XVII, даже в XVI век и прикинуть, какая часть текста окажется анахроничной (я, конечно, имею в виду, что описывается, а не то, как описывается). Думаю, процентов пять — десять, не больше. А ведь действие происходит около 1880 года и не в какой-нибудь глухомани, а в замоскворецких Кадашах, почти напротив Кремля. И не в духовной все-таки среде, а в миру. Я не знаю более яркой иллюстрации православного быта, более подкупающей, но и чрезвычайно интересной также как предмет для размышлений. Высокая иератическая плотность воздуха, его насыщенность ангелами — результат многовековых трудов, не оставивших без внимания тысячи житейских «мелочей». Все домашнее «прицеплено» к священному, привычное — к неведомому; сама природа, вечная и неизменная, «организована» вокруг религии, втянута в нее. Но если верно, что быт просвечен верой, то верно и другое: вера с лишком привязана к быту. И годичный круговорот, где вежами и вешками служат большие и малые религиозные праздники (быть может, чересчур «вкусные»), как-то заставляет забыть о том, что христианство есть прежде всего религия пути («Я есть путь, истина и жизнь»). И видишь хрупкость этого, казалось бы, внутренне прочного мира, совершенно не готового выдержать крепчайший ветер истории.

Ангелам хорошо там, где есть тишина и покой; напротив, там, где все приходит в движение, где сталкиваются «вихри враждебные», диавол чувствует себя в своей стихии. Но что делать, если история немислима без участия злых сил! Гётевское представление о диаволе как о начале, что вечно «творит добро, всему желая зла», грешит, мягко говоря, некоторым благодушием. Примечательно, что наиболее волюнтаристские из русских философов, Ильин и Струве, никакой склонности «человечно думать и о черте» не проявляют. Как раз напротив, их волюнтаризм — это волюнтаризм добра, выведенного злом из состояния относительного равновесия и настроенного на решительную с ним борьбу. Но *ipso facto* это не позиция игнорирования зла; как пишет Ильин, зло необходимо «воспринять», хотя и не «приятно». Но ведь во многих случаях бывает чрезвычайно трудно распознать, что, собственно, есть добро, а что зло. Тем более что даже открытое богоборчество в определенных обстоятельствах может оказаться телеологически оправданным и потому угодным Богу. (Иначе как объяснить историю библейского Иакова?)

В западном христианстве волящий человек грешит излишней самоуверенностью; отсюда та настойчивость, с какой в западной культуре повторяются богоборческие мотивы. В русском православии глубже ощущение трагической «неисповедимости» Промысла; но в нем есть боязнь истории, «чурание» всех и всяческих соблазнов. Между тем, как писал Вышеславцев, «настоящая апория трагизма состоит в том, что человеческая воля может быть абсолютно ценной и святой даже тогда, когда она противоречит воле Отца, когда она противоречит Промыслу...»⁹. Я бы здесь подчеркнул слово «может»: может быть ценной. В порядке исключения, а не в порядке правила. В порядке правила задача человека в том, чтобы «помогать» Богу, следуя путем послушания. Но боязнь дерзания и свободы

⁹ Вышеславцев Б., «Трагическая теодицея» («Путь», 1928, № 9, стр. 23).

ведет к устранению из истории, совершающейся, так сказать, на пересечении двух волей: божеской и человеческой.

История имеет смысл, хотя пути ее часто бывают кружными и запутанными. Ее надо не просто «терпеть», но активно участвовать в ней, для чего, вероятно, придется пожертвовать достигнутой в минувшие века «равновесностью» православия. В движении трудно сохранить равновесие. Западная Церковь (с началом Реформации) за свою историю понесла огромные утраты, ее постоянно «шарахало» и продолжает «шарахать» из стороны в сторону, но таков путь истории, что он всегда пролегает по бездорожью, и, видимо, какие-то потери на этом пути неизбежны. В конце концов, не столько важно то, что мы теряем или находим на данном его отрезке (как бы ни был он дорог нам, чьи жизни целиком умещаются в его границах), сколько то, куда он (путь) ведет.

Конечно, «учиняя допросы», по розановскому выражению, православию (что, кажется, становится модным занятием), надо помнить, к чему мы прикасаемся. Православие незыблемо тою своею стороною, которою оно, так сказать, уходит за облака; смешно даже думать, что какие-то новые извивы исторической «реки времени» могут что-то здесь изменить. А нуждающуюся в реформации часть, я думаю, можно определить как миф, если понимать под мифом определенную «адаптацию» религии для данных исторических условий. Миф — это «разрисовка» (А. Ф. Лосев) вечного красками чувственной реальности, доведение идеального до конкретного. Миф выполнял как бы посредническую роль, которую он уже не в силах выполнять, во всяком случае в прежнем объеме, по той причине, что чувственная реальность сейчас другая: мало что осталось от прежнего быта и сама природа уже не занимает прежнего места в сознании, даже на селе. Мифическое — внешнее на теле Церкви; это ракушки, водоросли, прилипшие к корпусу корабля, и как они ни живописны и привычны для глаза, в дальнейшем плавании они могут оказаться помехой.

В русской религиозно-философской традиции, начиная уже со славянофилов (по крайней мере с Хомякова), мы видим постепенный перенос акцента на «Церковь развивающуюся», верную своему исконному духу, а не только букве. В революционные годы история особенно настойчиво стучится в церковные двери, напоминая о том, что православие есть «не только предание, но и задача». И что от того, как будет решаться эта задача, во многом зависит также и решение другой задачи, тесно связанной с первой; пожалуй, наиболее четко ее сформулировал И. Ильин: «Выращивать вторичные силы русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и совести)»¹⁰. Эта грядущая «восточно-православная дисциплина воли и организации», по мысли Ильина, должна восполнить прежний недостаток «характера и силы воли» и, с другой стороны, быть отличной от западного типа воли, слишком подавляющей «момент» сердца и «момент» созерцания. (Я не забываю о том, что Ильин смотрел на проблему воли несколько иначе, чем другие русские мыслители, но это опять-таки отличие в рамках общего в своих основных чертах умонастроения.)

Уроки российской эмиграции получают некоторую дополнительную весомость, если в самой ее судьбе мы уловим мотив, многожды повторявшийся на протяжении человеческой истории. Выше я сказал, что русская эмиграция есть скорее всего уникальное явление по своим масштабам. Но по своему провиденциальному, как будем надеяться, назначению она (точнее, ее философская часть) укладывается в известную историкам схему «ухода-и-возврата»: в момент, когда общество постигает глубокий кризис, некая творческая личность или некое творческое меньшинство выпадает из социального окружения, уходя или в изгнание, или в добровольное отшельничество, чтобы найти ответы на поставленные временем вопросы и с уже найденными ответами вернуться (история Персея, посланного за головой Горгоны, или история Ясона, отправившегося за золотым руном, образуют как бы мифологические заставки к этой своеобразной традиции). Вот как выглядит названная схема в формулировке известного английского историка Арнольда Тойнби: «...меньшинство уходит, чтобы найти ответ на брошенный вызов, противопоставляя себя тем самым остальному обществу. Затем творческие личности возвращаются, чтобы убедить нетворческое большинство следовать за собой по дороге, которая им открылась»¹¹. В данном случае возвращение оказалось задержан-

¹⁰ Ильин И. Наши задачи. Статьи 1948 — 1954 гг. М. 1992. Т. I, стр. 329.

¹¹ Тойнби А. Дж. Постигание истории. М. 1991, стр. 340.

ным — изгнанники возвращаются, увы, лишь своими сочинениями, — но от этого не менее, если не более, ценным.

Наверное, Провидение не зря хранило «философский пароход», как некогда хранило оно корабли вергилиевского Энея, что, «покинув горящую Троию, искали, где б поселить бесприютных богов и пенатов троянских». Нет ли здесь мистического залога, что наши изгнанники будут в конце концов услышаны не только на своей исторической родине, но и за ее пределами?

Культурный ландшафт Запада эпохи «конца истории»

Весомость трудов российских мыслителей вырастает в наших глазах еще больше, когда мы обнаруживаем, что западная философская мысль сейчас уже не дает нам того, чего мы привыкли от нее ждать.

Философию как таковую у нас всегда брали из рук Запада; антизападники в этом отношении мало чем отличались от западников (хорошо известно, к примеру, сколь многим обязаны славянофилы своим немецким учителям). Исторически так сложилось, что греческая культура, в частности философская культура (из которой выросла европейская философия), в отличие от греческой веры пришла в Россию не столько прямым путем, сколько через Западную Европу. Динамизм европейской истории, за которой поспевала — и которую опережала — европейская мысль, закреплял это естественное лидерство Запада в области сначала богословия, а затем и философии. Даже став на собственные ноги, русские философы не переставали учиться у своих западных коллег.

Я, разумеется, не хочу сказать, что у современных западных философов нечему стало учиться; но что-то не видно сегодня среди них таких учителей, за которых хотелось бы поднять задравный кубок. Это затухание интеллектуального напряжения произошло по историческим меркам стремительно, хотя для человеческого глаза не так заметно: философские и духовные кряжи, еще совсем недавно высившиеся на Западе, резко пошли вниз и превратились в довольно-таки незначительные всхолмления.

Похоже, что в области мысли и духа, как и вообще культуры, Запад вступил в «равнинный» период своей истории, когда тектонические капризы, проявляющие себя в чересчур энергичных поднятиях, становятся не только не ожидаемыми, но и чуть ли не неуместными. Особенно это относится к ведущей стране западного мира — Соединенным Штатам. Философская мысль, не могущая иметь, хотя бы опосредованно, технического применения, не затребована американским обществом; вероятно, уже поэтому оно, это общество, не порождает гигантов мысли, которые, право же, не испортили бы сегодняшней пейзаж, даже совсем наоборот.

Могут сказать, что американское общество всегда отличал антиинтеллектуализм. Оно, может быть, и так, но, с другой стороны, всегда ощущалось и желание «исправиться» в этом смысле. И было время (примерно 50-е — первая половина 60-х годов), когда казалось, что Америка действительно «исправляется»: бурно росли университетские кемпусы (переманивавшие к себе все самое мозговитое, что можно было найти за рубежом), ширилась сеть так называемых фабрик мысли, библиотек, музеев и т. д. Увы, «новая американская мечта» — о Соединенных Штатах как интеллектуальном лидере мира — растворилась в воздухе, будто ее и не было. Кемпусы остаются мощными, хорошо финансируемыми учреждениями и вместе с тем — «интеллектуальными гетто», без которых Америка, кажется, могла бы прекрасно обойтись (если, конечно, не брать в расчет исследования, имеющие прикладное значение). К тому же это царство узких специалистов, как правило не выходящих за границы своих — все более сужающихся — «е п а р х и й», с в о и х с у б к у л ь т у р. Те, кого в Соединенных Штатах называют public intellectuals (философски мыслящие публицисты, адресующие свои работы широкой публике), становятся вымирающей категорией: почти все известные личности в этом роде — сильно пожилые люди.

В Европе дело обстоит несколько лучше — все-таки noblesse oblige (благородство обязывает), — но тоже далеко не блестящим образом. «Сумрачный германский гений», например, явно на чем-то надорвался: то ли на фашизме, то ли на послевоенной американизации. Все те «глыбастые» философы, какие еще были в Германии в первые послевоенные десятилетия, сложились или в веймарскую эпоху, или даже еще раньше, до первой мировой войны. И ничего хотя бы приблизительно сравнимого на горизонте не появилось. Чуть дольше поддерживала свою

традиционную репутацию Франция, но и французы сейчас «сдают»: с уходом из жизни или постарением всемирно признанных мэтров структуральной школы не видно никого, кто мог бы прийти им на смену.

Я отнюдь не предлагаю в очередной раз «хоронить» Запад (или хотя бы только западную мысль) вослед бесчисленным отечественным похоронщикам. Я думаю, даже почти уверен, что за нынешним закатом наступит, «дав ночи полчаса», какой-то новый рассвет. Но пока что явные признаки ослабления умственного напряжения налицо.

Кризис мысли глубоко увязан с кризисом воли.

Упадок воли (как конструктивного принципа культуры в широком смысле слова «культура») не слишком бросается в глаза, вероятно, причиной тому — общая интенсивность фона западной (мировой) жизни. Еще каких-то три-четыре десятилетия назад в Европе, например, жизнь была не такой тормозливой, как сейчас, больше было непринужденности, расслабленности; в южных странах даже соблюдалась (подумать только, почти как во времена Лопе де Веги или Гольдони!) сиеста, долгий послеобеденный сон. Еще Восток на обширных своих пространствах оставался «полусонным», сообразно с прежним вековым укладом. С тех пор мир будто проглотил нечто тонизирующее: все «жить торопится и чувствовать спешит», нигде не осталось по-настоящему глухих уголков, один и тот же нервный пульс прощупывается на самых удаленных друг от друга широтах и долготах.

Слово «интенсивность» происходит от латинского *intendere*, производного от *tendere*. *Tendere* значит в первую очередь «протягивать» и лишь во вторую «натягивать»; *in tendere* делает акцент на втором значении. Сохраняя некоторое родство с понятием «воля», подразумевающим протяженность (во времени и в пространстве), интенсивность означает скорее одномоментную напряженность, увеличение нагрузки на более или менее краткий отрезок времени. Бывшая некогда «культура воли», западная («фаустовская») культура, пожалуй, становится теперь «культурой интенсивности», как бы раздробленной воли; скажем еще так: возбужденных нервных окончаний, приведенных в действие импульсами, полученными ранее из некоего центра.

Ярким проявлением волевой устремленности был век Просвещения, поставивший целью переделку мира согласно с требованиями «разума». Просветители, как правило, назывались или деистами, или атеистами, и должно было пройти довольно много времени, чтобы проницательные историки пришли к выводу, что уверенность в своих силах им придавала не осознававшаяся ими инерция религиозного чувства. Их уверенность, однако, переходила в излишнюю самоуверенность: не признавая первородного греха, они наделили праведностью самих себя, как и те земные, человеческие институты, конструкции и модели, которые в идейной форме вызревали в их радужном воображении.

С ослаблением религиозного чувства (как осознанного, так и неосознанного) подспудно изменялось и «качество» воли. Грех сам напомнил о себе, но уже не как собственно грех, а как бессознательно-природное начало. Чутче других эти перемены отразили, каждый по-своему, три великих немца. Шопенгауэр усмотрел в основе мироздания темную волю к жизни, слепую и безличную, долженствующую в конечном счете внушить отвращение. Ницше подхватил идею воли к жизни, но не для того, чтобы разделить квиетизм ее автора, а, наоборот, чтобы придать ей личностный характер, претворив волю к жизни в волю к власти. Шпенглер поднялся выше любых радостей и печалей, заключив понятие «воля» («пра-слово» европейского духа) в жесткую схему культурно-исторических циклов; в этой схеме Европа (и Запад вообще) переживает стадию, когда воление получает характер стремления к внешней экспансии, научно-технической и военно-политической.

Следующую трансформацию европейского духа, вероятно, одним из первых уловил Ортега-и-Гасет в «Восстании масс» (1930): прежний волевой напор (независимо от того, на что он нацелен) как будто растворяется в воздухе; мало-помалу создается впечатление, что люди «выпустили из рук управление историей», что «жизнь ускользнула из их рук, стала непокорной, своевольной и несется, никем не управляемая, неведомо куда»¹². Это ощущение неуправляемости историческим процессом, поначалу доступное лишь немногим, с течением времени разделяло

¹² Хосе Ортега-и-Гасет «Восстание масс» («Вопросы философии», 1989, № 3, стр. 133)

все большее число людей, и в конце концов оно стало на Западе едва ли не преобладающим. Вехой в данном отношении, очевидно, следует считать 1968 год. Культурная революция — достаточно многозначное явление; как и в гётевской Вальпургиевой ночи, в ней приняли участие среди прочих также и светлые духи. Сейчас, однако, для нас важно лишь то, что культурная революция, во-первых, сильно подорвала принцип иерархии (прежде всего в аспекте культуры) и, во-вторых, в значительной мере дискредитировала традиционный для Запада этический тип личности, характеризуемый такими чертами, как самодисциплина и целеустремленность. Еще больше оказались подорваны коллективная самодисциплина и коллективная целеустремленность. И в самом деле, стоит ли чересчур утруждать себя в этом смысле, если проникаешься убеждением, что человечество не столько само движется вперед, сколько его «несет»? Подобно тому как христианскую эсхатологию в свое время потеснил миф о прогрессе, так и теперь на месте того, что именуется умным словом «прогресс», вырисовывается древний фатус, *asinus pulcher et Fortissimus*, «красивый и сильный осел», по определению Ницше (взятому им из античной мистерии).

Есть как будто объективные причины того, почему у людей «опускаются руки». Одна из них — растущее противодействие природы попыткам человека окончательно ее покорить (что ставит под вопрос возможность дальнейшей промышленной и отчасти научно-технической экспансии). Но, может быть, природою можно овладеть не кавалерийским наскоком, а лучшим ее пониманием и более тонким обхождением? Другая причина — чрезмерное усложнение культуры и дробление человеческой деятельности; становится, например, почти невозможно охватить одним взглядом всю картину движения «наук, искусств и ремесел». Но человечество на своем пути не раз уже сталкивалось с необходимостью некоторых обобщений и упрощений; кто, собственно, сказал, что подобная задача ему уже больше не по силам? Не правильнее ли предположить, что и в этом аспекте мы имеем дело скорее с недостатком воли?

Чтобы связать различные аспекты западной культуры, представив их как выражения одного и того же синхронного принципа — каковым, по моему мнению, является ослабление воли, — нужен как минимум новый Шпенглер. В отсутствие такового придется ограничиться отдельными «пробами», как мне кажется, достаточно убедительными.

«Проба» первая, на почве науки. Из того, что мне доступно, я возьму только одну теорию, самую красноречивую, — синергетику И. Пригожина и его коллег по Брюссельскому университету, быстро «набирающих очки», если судить по частоте цитирования их специалистами в самых разных областях. Синергетика опровергает прежний, «классический» подход к управлению сложными системами, руководствовавшийся простой схемой: управляющее воздействие дает (должно дать) желаемый результат. На самом деле, говорит она, сложноорганизованные системы, как природные, так и социальные, не поддаются контролю в той мере, какая раньше считалась возможной; это значит, что надо примириться с фундаментальной неустойчивостью мироздания, с тем, что хаос является его существенной характеристикой. Не следует бояться хаоса, считает Пригожин, ибо он служит стихийным регулятором системы, осуществляя связь разных уровней организации (отсюда, кстати, один шаг до признания того, что есть Некто, стоящий за хаосом). Пригожин не отрицает, что человек способен воздействовать на ход истории, он лишь скептически смотрит на возможности, как он ее называет, большой воли (коллективов, партий и т. д.); напротив, «малая воля» (небольших коллективов и даже отдельных индивидов), с его точки зрения, может оказаться весьма эффективной, но и в этих масштабах большую роль играет элемент случайности: для того чтобы «малая воля» реализовалась, нужно «везение».

Что это как не признание, языком науки, «неисповедимости» Промысла? Ставя крест на «классической» самонадеянности, синергетики перегибают палку в другую сторону — они умаляют значение в истории человеческой воли. В данном случае, как и в других, наука отражает объективные реальности под определенным углом зрения, выбранным ею в соответствии с «запросами жизни». Запросы же таковы, что требуют теоретического обоснования происходящего на практике сужения волевого начала и все большего его дробления.

Мне не вполне ясно различие «большой воли» и «малой воли». Оно может быть более или менее четким, если иметь в виду масштабы поставленных целей. Но если дело касается субъекта, то здесь различие оказывается очень смутным:

разве «большая воля» не происходит из «малой»? Некое волевое меньшинство через психологический механизм мемизиса (подражания) «заражает» большинство — так было всегда и, вероятно, так будет; никакой замены этому механизму человечество до сих пор не придумало.

У самого же Пригожина читаем, что система периодически приходит в устойчивое состояние, когда в поле ее действия появляется некая структура-аттрактор (очевидно, от латинского *attractio*, «стягивание», «сжатие», в свою очередь происходящего от *attrahere*, «привлекать», «притягивать к себе»). Аттрактор, согласно Пригожину, всегда прост и ведет к свертыванию сложного. Но разве это не то же самое, хотя бы и очень приблизительно, что «малая воля», переходящая в «большую»?

«Проба» вторая, на почве технического мира. Здесь раньше чем где-либо еще возникло ощущение неподконтрольности развертывающихся на глазах процессов. Техника есть реализация воли к власти, плод извечного стремления «фаустовской» души утвердить свою независимость от природы, но техника, в свою очередь, стремится подчинить себе своего создателя. Естественно, возникает вопрос: кто властвует над кем? Уже в годы первой мировой войны об этом писали, например, Бердяев и Шпенглер: человек оказался в одной упряжке с машиной, вовлекающей его уже помимо его воли в свой бешеный бег, который может окончиться для человека трагически.

Алармизм, вызванный многочисленными опасностями, которые несет с собою техника, особенно укрепился примерно за последние три десятилетия. Он, однако, соседствует или даже смешивается с традиционным оптимизмом: техника приносит все новые блага жизни, поддерживая утопические надежды, хотя бы и очень смутные, на то, что можно существовать в каком-то искусственном мире, отделенном, как в замятинском романе «Мы», стеклянной стеной от мира естественного (если верить известному американскому историку техники Льюису Мэмфорду, надежда эта инициирована древнеегипетским богом Атоном, пожелавшим создать мир из одного своего семени, без участия женщины).

Перефразируя высказывание Гейне (сделанное им по совершенно иному поводу), можно сказать, что техника удлиняет цепь, приковывающую человека к земле, но она не в силах порвать ее. Зато она порывает — сама собою, без помощи каких-либо иных факторов — связь времен, разрушая старый быт и создавая новый, у которого есть немало преимуществ, но к которому можно предъявить и серьезные претензии. Если оставить в стороне экологию (которая сейчас у всех на слуху), то главная из них лежит, пожалуй, в эстетическом плане. Человек привык гордиться техническими изделиями, любоваться ими, потому что они создания его рук; он обычно не замечает, сколь они грубы и неуклюжи (чего никакой дизайн не в силах скрыть) в сравнении с «изделиями», вышедшими из «рук» Бога, который, может быть, смеется сейчас, глядя на усилия твари сравниться с Творцом (Бог тоже умеет смеяться — см. Псалом 2, 4). Лишь озирая природу в целом, легко почувствовать, что в эстетическом отношении она несколькими порядками выше того мира, что создается по сю сторону «стеклянной стены». Вот один из возможных критериев: нельзя представить, чтобы разные нимфы, эльфы и прочие поэтические создания когда-нибудь его обжили; из потусторонних существ здесь уместны лишь какие-то подземные духи-трудяги — пусть это будут бородатые карлики с грубыми и смешными лицами, как у гномов. В мире техники человек становится «н е п о п р а в и м о б у д н и ч н ы м» (Ортега-и-Гасет); уж не собирается ли он остаться таковым до конца времен? И не к месту ли здесь вспомнить, что пришедший на царский пир в будничной одежде был выброшен во тьму внешнюю?

В отличие от Бога человек не знает толком, что он хочет создать. В конце прошлого — начале нынешнего века были кое-какие прорывы в этом направлении (я особо отметил бы выдающегося немецкого философа техники Фридриха Дессауэра, который был также изобретателем), но что-то не видно, чтобы они имели интересное продолжение. Мы завершаем XX век, не видя впереди в области техники н и к а к о й хотя бы смутно очерченной цели, которая получила бы, как принято говорить, общественное признание. Мы видим только постоянную экспансию технического мира и его бесконечное и уже как бы автоматическое усложнение, усиливающее впечатление, что человечество «несет», что оно «легло в дрейф».

«Проба» третья, на почве культуры. Постмодернизм, определяющий сегодня культурный ландшафт Запада (а теперь и во многом России), в одном из своих планов есть не что иное, как атрофия воли. Этот недостаток теории постмодер-

низма выдают за добродетель; хандра переходит у них в любовь к хандре и решительное отвержение всего, что напоминает о «румянце воли» (Шекспир). В принципе воления есть момент возвышения — над окружающим и (еще прежде того) над самим собою; он также предполагает некоторую устойчивость точки зрения, наличие точки отсчета и вектор пути. Все это неприемлемо для теоретиков постмодернизма, поставивших целью «растворить» волю в окружающем мире, понятом как некая открытая среда, лишенная ориентиров, однообразная в самом разнообразии; на изошренном и сухом, как трескотня Шелкунчика, языке постструктурализма она именуется ризомой (сетка путей, пересекающихся и никуда не ведущих, не имеющих ни начала, ни конца), на гораздо более поэтическом языке Борхеса — «садом ветвящихся дорожек». Быть может, наиболее адекватным образом идею ризомы воплощает новейшая сложная музыка, в которой не осталось и «следа следов» героического активизма бетховенского и вагнеровского типа, — одно блуждание в лабиринте тематических линий, выйти из которого и невозможно и (с позиции авторов) не нужно.

Постмодернизм, конечно, не есть некое «недоразумение», которое можно устранить. В истории культуры это определенный этап, имеющий свое внутреннее оправдание. Но весьма легкомысленны те, кто полагает, что это последний и даже чуть ли не высший этап, что хандра, перебиваемая иронией и вспышками «карнавальной» веселости, — навеки. Если «эта болезнь не к смерти» (Иоанн, 11, 4), то постмодернизм будет прожит и изжит, и будущие историки вряд ли даже уделят ему много внимания: в их странствовании во времени это будет скорее всего не «станция», а «полустанок». «Мир движется восхищением», и в этом отношении он, вне всякого сомнения, «неисправим».

Постмодернизм не отменил иерархии. Чтобы убедиться в этом, постмодернисту достаточно взглянуть на самого себя в зеркало. Он увидит, что он сам, так сказать, безнадежно иерархичен: все строение человеческого тела, начиная от головы и кончая руками-ногами, свидетельствует о заложенном в нем принципе субординации. Недаром человеческое общество в прошлом не раз сравнивали с отдельным человеком, а те или иные классы или институты — с различными частями тела.

Постмодернизм не отменил простоты; об этом говорит хотя бы простота тех его теоретиков, которые убеждены, что мы уже «приехали» куда надо и дальше ехать некуда. Напомню о том же Пригожине, тоже ведь постмодернисте по своей «идеологии»: появление упрощителя-аттрактора, сводящего сложное к простому, — лишь вопрос времени.

Постмодернизм не мог отменить активизма традиционного типа — «центрированного», «векторного». Уж не наоборот ли — не расчищает ли он для него дорогу? Следуя Бердяеву, умевшему видеть в отдельных явлениях культуры необходимые моменты сквозного процесса кумуляции, можно предположить, что постмодернизм был по-своему необходим, как бывает необходима кислота или щелочь, чтобы «выест» все «лишнее».

Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное! —

чтобы отвратить, таким образом, художников от кичевой простоты и цельности и направить их стопы (или хотя бы еще только помыслы) к каким-то новым их трансформациям, пока еще труднопредставимым.

«Проба» четвертая, на почве политики. Наступление Нового времени ознаменовалось явлением человека в сером походном сюртуке, сказавшего в разговоре с Гёте: «В наше время политика заменила рок». Что бы он там впоследствии ни передумал на Святой Елене, именно этими его словами выразила себя эпоха, заканчивавшаяся на наших глазах. Ибо в н а ш е время за действиями политиков, какие бы «бодрые» слова они ни произносили, все более отчетливо вырисовывается угрюмый рок во всей его античной неотвратимости.

Культурная революция изменила — не сразу, не слишком заметно, но достаточно существенно — характер отношений между лидерами и массой. Лидеры все меньше ведут за собою массу, все больше сами следуют за нею, постоянно сверяясь с результатами всевозможных опросов, то есть как будто выполняя ее коллективную волю; но «ч е л о в е к м а с с ы», которого без конца о чем-то спрашивают, ощущает себя не столько с у б ъ е к т о м в о л и, сколько и г р у ш к о й в руках каких-то неведанных ему сил, действующих за его спиной. Пытаться уста-

новить, что это за силы, — только терять время: каждый(-ая) есть отражение кого-то (или чего-то) другого. «Здесь сильное эхо», как говорит один из персонажей «Женитьбы Фигаро»; постоянно кто-то «аукает», но кто первый подает голос, неясно. Тоже в своем роде постмодернизм: **в с е о т р а ж а е т в с е**.

Лидеру «старого склада» полагалось быть умным, волевым и прозорливым, открывающим для тех, кто следует за ним, «орлиную перспективу» (Шпенглер); и случалось, что реальный лидер действительно отвечал предъявлявшимся ему требованиям. Культурная революция подорвала незримый пьедестал, на котором зиждутся и ум, и воля, и прозорливость; и если это не сразу стало заметно, то потому, что в политике, как и в некоторых других областях, бразды еще оставались в руках людей «старого склада». Лишь в самое недавнее время наверх стало выходить новое поколение, в психологическом отношении более аморфное, более озабоченное тем, чтобы быть «как все». Малоубедительный лепет его представителей и идеологов о «конце истории», будто бы обусловленный окончанием холодной войны и крушением коммунизма, свидетельствует то ли об их психологической усталости, то ли о чрезмерной успокоенности.

В том, что у Запада оказались подрезаны крылья, в большой мере повинен эгалитаризм, углубляющийся «в кильватере шестьдесят восьмого года» (в культурном плане ему отвечает постмодернистский принцип «децентрации»). **П р и н ц и п р а в е н с т в а**, один из трех «великих принципов» 1789 года (взятый из христианства, как и два других, и вне своего изначального контекста принявший упрощенно-рационалистический вид), продолжает свое победное шествие, только не в сторону **э к о н о м и ч е с к и х о т н о ш е н и й**, как при социализме и (в проекте) коммунизме, а в сторону культуры и политики, хотя на некоторых направлениях он уже доведен до абсурда. Бог создал человека таким, что он может существовать лишь в пространстве, образуемом антиномиями, «согласно противоречивыми» принципами (на свой деистический лад это выразил Набоков: «У природы двоилось в глазах, когда она создавала нас»). **П р и н ц и п р а в е н с т в а** так же «недействителен» без своего «напарника», принципа иерархии, как и наоборот. Нет никакого сомнения, что принцип иерархии уже в недалеком будущем пробьет себе дорогу — не с тем чтобы перечеркнуть принцип равенства, а с тем чтобы дополнить его, — хотя сейчас трудно сказать, как это произойдет.

* * *

Маловероятно, чтобы могучий западный дух, задремавший в сетях ризомы, рано или поздно не пришел в движение. По мнению целого ряда западных авторов (весьма отличающихся друг от друга образом мыслей), для того чтобы это случилось, должны произойти какие-то серьезные потрясения. Особенно «нуждаются» в них Соединенные Штаты как страна, задающая тон остальному миру, и в то же время как наиболее благополучная страна, почти не знавшая серьезных потрясений за всю свою двухсотлетнюю историю.

В этом отношении наша страна ударилась в противоположную крайность: в XX веке нас постигли такие великие и кровавые потрясения, что для того чтобы собраться с силами (и с мыслями), потребуется, возможно, еще немало времени. Должен хотя бы немного наполниться резервуар нашей воли, ныне опасно пустой. Чтобы стало яснее, о чем идет речь, процитирую небольшой отрывок из книги И. Ильина «О сопротивлении злу силою»: «В процессе духовного роста человечества запасы *верно направленной волевой энергии* накапливаются, отрешаются от единичных, субъективных носителей, находят себе новые, неумирающие, общественно организованные центры и способы воздействия и в этом сосредоточенном и закрепленном виде передаются из поколения в поколения. Образуются как бы безличные резервуары внешней воспитывающей воли, то скрывающиеся за неуловимым облаком «приличия» и «такта», то проявляющиеся в потоке «распоряжений» и «законов»; то поддерживаемые простым и безличным общественным «осуждением», то скрепляемые действием целой системы организованных учреждений»¹³. В этой динамической перспективе, обрисованной И. Ильиным, лучше видишь, сколь многое предстоит сделать, для того чтобы разогнать Россию в желаемом направлении.

¹³ И л ь и н И. А. О сопротивлении злу силою. Берлин. 1925, стр. 39.

Есть, однако, одно жесткое условие, общее для нас и для Запада: как сказал Ницше и повторил вслед за ним Хайдеггер, в о л е н и е в о з м о ж н о л и ш ь п р и н а л и ч и ц е н н о с т е й. Чтобы чего-то захотеть, надо знать, что чего стоит. Между тем, как показал опыт XX века, человек не справился со взятой им на себя ролью оценщика, безнадежно запутавшись в самых простых вещах и в конечном счете п р и р а в н я в в с е к о в с е м у. Ему остается честно признать свое поражение, согласиться с тем, что его попытка подражать Богу в этом отношении не удалась и что если он вообще хочет восстановить «порядок ценностей», ему придется обратиться к первоисточнику.

Другое условие: к человеку должно вернуться ощущение греха. Если я знаю, что зло во мне самом, в моих близких, моем народе, моем человечестве, у меня не возникнет ощущения в случае каких-то неудач, что нами просто играют высшие силы. Причина неудачи — в нас самих. Но если так, то можно поправить дело, поборов грех в себе. Ударяя собою (высшим) себя (низшего), я высекаю искру, из которой возгорается волевое усилие. В то же время чувство греха не позволит ему перерасти в упрямое преследование каких-то своих «из ветра головы своей» выловленных целей. Волевое усилие лишь в том случае окажется бесполезным, если оно будет «санкционировано» Богом, хотя, как я уже говорил, необязательно человеку следовать путем послушания (но это особая, таинственная область, и — *caul ne cadas*, «бойся, чтоб не упасть», в нее входящий).

И наша способность мыслить зависит не только от нас самих, но и от того, в какой мере нам передается энергия ноуменального мира. В основе подлинно творческой мысли обычно лежит некоторое религиозное потрясение, дающее ей первотолчок и открывающее как бы дополнительные «каналы связи» с «живительным ключом» творенья (Гёте). Чтобы не ходить далеко за примером: культурная революция конца 60-х — начала 70-х годов, в своих истоках бывшая, по крайней мере отчасти, религиозным движением (какие бы результаты она впоследствии ни дала), подняла целый «вихрь идей», вдохнула жизнь в ранее уже известные теории, породила новые, вызвала бурные столкновения различных точек зрения и т. д. С ее затуханием, или, точнее, переходом в латентную стадию, интеллектуальный пейзаж Запада постепенно принял тот вид, который он имеет сейчас: всюду мы видим вялое, бескрылое теоретизирование, пережевывание одних и тех же давно усвоенных положений и понятий (конечно, не обходится без исключений, но уж больно они редки, эти исключения).

И все же... Все же, устремляя взор из вялого, безвольного, «жалкого» настоящего в будущее, хорошо бы избежать оптической ошибки, которую повторяло одно за другим столько поколений, и не думать, что на линии горизонта небо сливается с землей. Освоение наследия русских религиозных мыслителей (как, впрочем, и вообще русской эмигрантской культуры), о котором я здесь говорил, создаст настрой, исключаяющий возможность такого рода оптической ошибки, и не только для нас, сегодняшних россиян, но и для всей (в том числе и западной) христианской цивилизации. Небо всегда остается небом, хотя оно и становится ближе в тех случаях, когда человечество само тянется навстречу ему. Земле же (в пределах истории) остается земное со всем тем, что есть в нем и привлекающего и отталкивающего. Будущее нельзя «любить» (любить можно только то, что уже сложилось, и, может быть, особенно тогда, когда оно уже отошло в прошлое, то есть подернулось временной дымкой), но стремиться к нему можно и нужно, и не только потому, что «река времен» куда-то впадает, но и потому, что само течение ее несет с собой некоторый бодрящий человечество холодок.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. Л. ФЕЙНБЕРГ



САХАРОВ В ФИАНе

1945 — 1950

Когда в старом, таком уютном здании Физического института Академии наук на Миусской площади появился стройный, худощавый, черноволосый, красивый молодой человек, почти юноша, мы еще не знали, с кем имеем дело. Он приехал из Ульяновска, видимо, по вызову основателя и руководителя теоретического отдела Игоря Евгеньевича Тамма (время было военное, и свободный въезд в Москву не был разрешен), а сам вызов, говорили, был послан по просьбе отца Андрея Дмитриевича, Дмитрия Ивановича. Он был хорошо знаком с Игорем Евгеньевичем по давней совместной преподавательской работе во 2-м МГУ (ныне Педагогический университет). Дмитрий Иванович будто бы сказал ему: «Андрюша, конечно, не такой способный, как ваш аспирант N (он назвал товарища Андрея Дмитриевича по университету, которого после окончания аспирантуры даже не сочли нужным оставить в отделе), но все-таки поговорите с ним».

В 1988 году я спросил А. Д., почему он выбрал именно Тамма. Он ответил: «Мне нравилось то из опубликованного им, что я прочитал, его стиль» (вероятно, это был прежде всего университетский курс «Основы теории электричества»). И добавил, что еще в период пребывания на ульяновском заводе он написал четыре небольших работы по теоретической физике («...которые дали мне уверенность в своих силах, что так важно для научной работы», — сказал он в автобиографии) и послал их Игорю Евгеньевичу. Рискую предположить, что И. Е. на них не отозвался — он был не очень аккуратен в «мелочах», даже говорил, что если отвечать на все письма, то не останется сил и времени на главное дело.

Во всяком случае, в тот день в начале 1945 года, когда А. Д. пришел в ФИАН и разговаривал с И. Е. в его кабинете, а я случайно проходил мимо по коридору, И. Е. в крайнем возбуждении выскочил из комнаты и выпалил, наткнувшись на меня: «Вы знаете, А. Д. сам догадался, что в урановом котле (так называли тогда реактор. — *Е. Ф.*) уран нужно размещать не равномерно, а блоками!» (значит, эта работа А. Д., одна из четырех упомянутых, была для него новостью). Возбуждение И. Е. было понятно: этот важный и тонкий принцип, только и делавший реальным сооружение уран-графитового реактора с природным ураном, был известен в Америке, Англии и у нас, но всюду был засекречен. А А. Д. дошел до него, сидя в Ульяновске, без всякого контакта с физиками, и прочитав, вероятно, только известную пионерскую статью Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона о цепной реакции в системе уран-замедлитель (они этого принципа тогда еще не знали).

Очень скоро мы стали понимать, что у нас появился очень одаренный человек. Его спокойная уверенность, основанная на непрерывной работе мысли, вежливость и мягкость, сочетавшиеся с твердостью в тех вопросах, которые он считал важными, ненавязчивое чувство собственного достоинства, неспособность нанести оскорбление никому, даже враждебному ему человеку, предельная искренность и честность проявились очень скоро. Я уверен, он никогда не говорил ничего, не соглашающегося с тем, что он действительно думал и чувствовал в данный момент, не совершил ни одного поступка, который противоречил бы его словам, мыслям и

совести. И в то же время был настойчив, точнее, невероятно упорен в преследовании избранной цели. Эти его черты известны теперь всем благодаря его общественно-политической деятельности последних десятилетий.

В конце восьмидесятых телевидение показало седого, почти совершенно облысевшего, сутулого (и тем не менее по-своему красивого) человека, твердого, бесстрашного и предельно активного.

В молодые годы он держался, конечно, не так, как на съездовской трибуне, но прекрасные черты его характера очень скоро и совершенно естественно вызвали чувство симпатии и у его сверстников-аспирантов и у старшего поколения. «Старикам» было от двадцати девяти (В. Л. Гинзбург) до тридцати семи лет (М. А. Марков), патриарху И. Е. Тамму — пятьдесят. Но старшие к младшим — даже студентам-дипломникам — обращались по имени-отчеству, в пределах же каждой возрастной группы употреблялись и сокращенные имена. Эта старомодность лишь отчасти сохранилась теперь, когда она многим кажется странной. Но ни возрастная разница, ни должностная иерархия не мешали тесному общению. Демократический тон определялся, конечно, прежде всего личностью Игоря Евгеньевича.

Я был старше А. Д. на девять лет (когда он поступил в аспирантуру, я был уже доктором и профессором), но ни в научных дискуссиях, ни во взаимоотношениях не могло быть и следов императивности. У меня, как и у него, была маленькая дочка, и встретившись в коридоре, мы начинали с удовольствием читать друг другу детские стихи. А когда в 1949 году после перелома ноги и операции меня нужно было из клиники везти домой, а я еще плохо управлялся с костылями, моя жена Валентина Джозефовна Конен позвала на помощь А. Д. — это было вполне естественно, они были уже хорошо знакомы.

Забегая далеко вперед расскажу один случай, относящийся к 1970 году, когда А. Д. после работы на «объекте» вновь стал сотрудником отдела. Он был уже академиком, трижды Героем и вообще в высшей степени почитаемым ученым, но уже «плохим» — автором знаменитых «Размышлений». Он возвратился к чистой науке, опубликовал ряд прекрасных работ по гравитации, космологии и квантовой теории полей, но пробелы в знании научной литературы по физике частиц и полей, образовавшиеся за двадцать лет всепоглощающей работы по прикладной физике, еще сказывались.

В это время Игорь Евгеньевич уже лежал безнадежно больным, прикованным к «дыхательной машине», и семинаром теоретического отдела по упомянутой тематике вместо него ведал я. Однажды А. Д. сказал мне, что закончил очередную работу, посвященную дальнейшему развитию его идеи «нулевого лагранжиана» (или «индуцированной гравитации»), и, как полагается, хочет обсудить ее до отправки в печать на семинаре. В предмете статьи я не был специалистом, но мне показалось, что все в порядке. Я попросил ознакомиться с ней также одного сотрудника из «старших», более близкого к ее тематике, и тот подтвердил мое впечатление. Доклад был поставлен, объявление вывешено. Вскоре после начала доклада молодой стажер И. А. Баталин, только что окончивший университет, но уже привыкший к нашим порядкам (он был до этого у нас дипломником), талантливый и страстный, начал задавать вопросы. А. Д. отвечал. Вопросы учащались и становились все более агрессивными, переходили в спор. Баталин стал говорить: в таком-то пункте надо вести вычисления по-другому и т. д. Я как председательствующий пытался его остановить, даже хватал за руку, чтобы позволить А. Д. закончить, но было ясно, что его вопросы и замечания дельны и компетентны, а его пыл погасить невозможно (нужно заметить, что весь спор касался использованного в работе важного «технического метода», но не основной физической идеи, высказанной А. Д. кратко еще в 1966 году и получившей потом дальнейшее развитие в его большой работе 1975 года). Наконец Баталин после долгих споров возмущенно заявил, что едва ли не главный момент работы (указанный «технический метод») не нов, уже чуть ли не двадцать лет назад все это сделал Швингер, известный американский теоретик и нобелевский лауреат. Это поняли уже и другие присутствующие. А. Д. смутился, кое-как договорил, и семинар окончился. Все разошлись. А. Д. сидел грустный в опустевшем зале, облокотившись на ручку кресла, щека на ладони. Я подошел к нему и сказал: «Ну, Андрей Дмитриевич, если вы сделали, не зная этого, то же, что сделал Швингер, пока вы были поглощены бомбой, то можно только гордиться». И действительно, А. Д. по ходу работы фактически изобрел важнейший метод собственного времени (и регуляризацию по этой переменной), имеющий обширное применение в теории квантовых полей. Он восходит еще к довоенной работе Фока. Когда я раньше просматривал рукопись доклада, я не понял, что

А. Д. все это придумал сам и считает новым. В ответ на мои утешительные слова А. Д. только характерным движением махнул кистью руки и ничего не сказал. Через день я был у Игоря Евгеньевича и узнал, что к нему приходил А. Д. и, рассказав о своей неудаче, резюмировал: «Во всей этой истории хорошо только то, что мы с Баталиным, может быть, сделаем вместе работу».

Здесь характерно для атмосферы отдела все: и честность научного спора, и соблюдение равноправия молодого стажера с прославленным академиком, и то, что этот эпизод никак не отразился на их отношениях и взаимном уважении. Ныне Баталин (по-прежнему сотрудник отдела) не просто доктор наук, но имеет прочное международное имя. Он сокрушается, вспоминая свою несдержанность на том семинаре, конечно, все равно искренне восхищается А. Д. — и тем, что тот сам изобрел упомянутый метод собственного времени, и многим другим в работах А. Д., и вообще его личностью.

Я рассказал о том, что произошло много лет спустя, после возвращения А. Д. в ФИАН, но и в 40-х годах основные принципы жизни в отделе были теми же.

В те годы Андрей Дмитриевич держался все же несколько скованно¹ Когда шел научный разговор, его иногда не сразу можно было понять. Он высказывался лапидарно, как бы пунктиром, опуская промежуточные звенья, которые ему, видимо, казались очевидными.

Однажды в отдел, на третий этаж, взобрался седобородый преподаватель английского языка у аспирантов. Он пришел спросить, что за человек Сахаров, «он думает как-то по-своему, не как все». Именно поэтому возникали парадоксальные ситуации. Вот одна из них. А. Д. должен был сдавать аспирантский экзамен по специальности. Как полагается, была назначена комиссия — И. Е. Тамм (председатель), С. М. Рытов (теоретик из лаборатории колебаний) и я, — задана тема реферата, и в назначенный день мы стали слушать его доклад. А. Д. любил пользоваться цветными карандашами, он разрисовал ими большой лист бумаги: электроны, скажем, синим, дираковский электронный фон зеленым, «дырку» в нем, позитрон, красным, — и стал докладывать в своем стиле (тема была связана с проблемой электромагнитной массы электрона). В какой-то момент И. Е. вмешался: «Вы говорите что-то не то» (не помню сути его возражения). А. Д. помолчал, а потом произнес одну короткую фразу. И. Е. был удивлен и недоволен. Мне тоже показалось неверным сказанное А. Д. Игорь Евгеньевич, как всегда, говорил очень быстро, А. Д. ронял краткие фразы, из-за которых наше недоумение лишь увеличивалось. Когда после ответов на вопросы по другим темам А. Д. вышел, И. Е. растерянно сказал: «Как же быть? Не ставить Андрею Дмитриевичу пятерку? Это же невероятно, он — и четверка! Но надо быть честным. Ничего не поделаешь». В общем, мы поставили четыре. А вечером А. Д. пришел к И. Е. и объяснил ему, что он был прав, а мы не правы.

Другой эпизод связан с его недолгим преподаванием по рекомендации И. Е. в Московском энергетическом институте. Много десятилетий рассказывали, что студенты его не понимали. Они жаловались в деканат, что Сахаров не знает свой предмет, требовали нового преподавателя. Это полностью подтвердил мне и Валентин Александрович Фабрикант, тогда заведовавший кафедрой, на которой А. Д. читал свои лекции. Однако когда году в 1988 я спросил А. Д. об этом, он возмутился: «Это все мифы, которые создают обо мне, чтобы изобразить какой-то особенной личностью. Я такой же человек, как все; я нормально прочитал за два семестра два курса, принимал зачеты и экзамены, а ушел уже в сорок восьмом, когда начались мои «закрытые» дела». Вопрос оставался неясным, пока не обнаружилось, что в ФИАНе в лаборатории космических лучей поныне работает Нина Михайловна Нестерова, которая сама слушала эти лекции. Она рассказывает, что А. Д. прочитал не два, а три семестровых курса (думаю, что в количестве курсов ошибся именно А. Д.). Да, слушать его было трудно, но когда по записям потом готовились к экзаменам, удивительным образом все оказывалось стройным и последовательным, вполне понятным. Студенты действительно жаловались на него, заведующая учебной частью звонила И. Е., но тот сказал, вероятно, в раздражении, что никого лучше, чем Сахаров, он рекомендовать не может. М. Л. Левин вспоминает слова Сахарова: он научился говорить понятнее, когда ему пришлось многое объяснять высокому административному начальству и генералам.

¹ Этого не было — ни тогда, ни впоследствии — в личном, домашнем общении. Здесь он бывал лишь в самом начале несколько скован, а там — мил, естествен и еще более привлекателен

Жизнь у А. Д. в то время была трудная. Он с женой и недавно родившейся дочкой жил на аспирантскую стипендию, не имел постоянного пристанища. Дом, в котором он жил с родителями и братом до войны, был разрушен бомбой. Снимал комнату то в сыром полуподвале, то в более приличном доме, то за городом, но при любых условиях настойчиво и систематически работал. Когда в 1980 году его вывезли в Горький, я забрал из его стола в ФИАНе оставшиеся разрозненные научные записи. Среди них оказалась большого формата тетрадь, в которую он заносил заинтересовавшие его в те годы журнальные статьи. На первой странице написано: «Библиографический справочник». Далее столбиком оглавление: «Часть А. Элем. частицы. Ядерные силы. Космические лучи. Опыты с большими энергиями. Часть В. Распад, конверсия. Разное. Изомеры и спектры. Строение тяж. ядер». И так до восьмой — «Часть Н. Гидродинамика». Подчеркнуты их названия, а также названия еще двух частей: «Часть С. Ядерные реакции. Сечения» и «Часть Е. Астрофизика». Легко видеть, что это как раз те разделы, которыми он впоследствии (или до того, в кандидатской диссертации) занимался. Не подчеркнуто, например, название «Часть Е. Матем. литература» (она вообще еще ничем не заполнена). Видимо, он читал почти только основной зарубежный журнал «Physical Review», изредка встречается «Proceedings of the Royal Society», попадает «Nature» Фамилию автора он обычно не записывал. Ему достаточно одной резюмирующей строчки. Например, в разделе «Астрофизика» читаем:

«75.1.208 и 211. Земной магнетизм.

75.10.1605. Поляризация света звезд из-за поглощения.

75.10.1089. Замечания к расширяющейся вселенной.

75.5.690. О заряде, связанном с массами (ср. 73, 78 и раб. Румера)» —

и т. д. Первая цифра — номер тома, вторая — номер выпуска в пределах тома, потом номер страницы. Но в некоторых случаях выписаны интересовавшие его значения констант (например, постоянная Хаббла). Тетрадь относится к 1948 — 1949 годам, он только начал ее заполнять. Возможно, были предшествующие.

Затем из «Proceedings of the Royal Society» (он пишет P R. S):

«195.1042.323. Классич. электродинамика без расходимостей.

365. Релятивистск. инв. квант. теория поля.

198.1955.540. К теории S-матрицы».

Он особенно настойчиво изучал фундаментальные вопросы теории поля и частиц, именно они его прежде всего тогда интересовали. Однако он надолго пожертвовал ими (причем в возрасте, самом благотворном для любого теоретика) ради того, что он тогда считал наиболее важным для страны и что действительно увлекало его тогда. Правда, я что-то не помню его участником непрерывных страстных обсуждений этих проблем, которыми были всецело поглощены другие аспиранты и молодые сотрудники — В. П. Силин, Е. С. Фрадкин, Ю. М. Ломсадзе, В. Я. Файнберг. Впрочем, А. Д. вообще редко принимал участие в общих неорганизованных обсуждениях. Больше слушал. Даже на семинарах не был активен, но всегда присутствовал и очень внимательно слушал, изредка вставляя краткие замечания или вопросы.

В позднейших записях в той же тетради явственно проступает повышенный интерес к реакциям легких ядер (дейтон, тритий) и вообще к тому, что понадобилось для работ по бомбе. Именно тогда он вошел в группу, созданную в отделе Таммом для изучения всей этой проблемы, и открытые записи в тетради, естественно, прекратились. На этом надолго прервалось и упоминание литературы по интересовавшим его фундаментальным проблемам — по теории квантовых полей и частиц.

Это было время, когда совершилась «великая квантовоэлектродинамическая революция» — была создана релятивистская квантовая электродинамика, и в «Части А» мы видим методическое перечисление основных работ по теории поля:

«75.7.1079. Квантование в унитарной теории поля.

76.1. Магнитные мом. нуклонов (по Швингеру).

75.5.898. Швингер. Радиационные поправки в задаче рассеяния.

76.6.749. Фейнман. Теория позитронов.

76.6.789. Фейнман. Изложение его метода.

76.6.818. Применение Швингера к нуклонам.

76.6.846. Поправки 4-го порядка к магнит моменту электр

75.8.1241. Швингериана (Вейскопф и Френч).

75.8.1264. Ма. Поляризация вакуума.

75.8.1270. Швингериана» —

и т. д. Видно, что он изучает вопрос, а не просто перечисляет, — возвращается к более ранним статьям.

При всех трудностях своего материального положения, лишь немного смягчавшегося благодаря педагогическому заработку², А. Д. уже весной 1947 года, то есть после двух лет пребывания в аспирантуре, представил прекрасную кандидатскую диссертацию (к тому времени он опубликовал три работы по совершенно различной тематике, одна из них — выжимка из диссертации). Но защитить ее он смог только осенью, что его очень расстраивало из-за того, что соответственно откладывалось улучшение материального положения, которое должна была принести ученая степень. Причина — не сумел сдать кандидатский экзамен по «политпредмету». Здесь не нужно искать политических причин. По-видимому, просто экзаменаторы не могли понять логику его рассуждений, а говорил он на экзамене, несомненно, нестандартным языком.

Этот период нашего общения резко оборвался в 1950 году, когда Игорь Евгеньевич и Андрей Дмитриевич (а также Юрий Александрович Романов) переехали на «объект». Впоследствии И. Е. рассказывал, что он настаивал на том, чтобы взять и меня, но анкета моей жены (20-е годы ее семья провела в США, и она была американской гражданкой до 1934 года, а отец погиб в заключении) не только помешала этому, но я и вообще был отстранен от закрытых работ по реакторной физике, которой занимался с 1944 года. (Очевидно, за это время мы все подготовили уже достаточно молодых физиков.) Я был этому рад, так как с научной точки зрения эти работы меня уже не увлекали и занимался я ими лишь из чувства долга и по поручению С. И. Вавилова (хотя и довольно интенсивно; мне кажется, нет такой области физики, которой не увлечешься, если серьезно в нее погрузишься). Я думаю, что по причинам секретности и А. Д. не следовало уже общаться со мной и моей семьей. Поэтому наши контакты возобновились лишь в 1962 году или несколько позже.

Возвращение к чистой науке и начало общественной деятельности

Видимо, начиная с того толчка (как пишет в своих «Воспоминаниях» сам А. Д.), которым послужил ныне знаменитый тост маршала Неделина, в А. Д. началась упорная и мучительная работа по переосмыслению его общественно-политической позиции. Это касалось и взаимоотношений с властью, и подлинного смысла действий правителей, и всего нашего общественного строя, его идеологии, и общих проблем человечества. Попытки предотвратить излишние, несущие страшный вред здоровью десятков, даже сотен тысяч людей испытания сверхбомб и реакция на такие попытки Хрущева в 1961 году были первым этапом этого процесса. Ему становился ясен цинизм власти и в ее отношении к ученым (вы, мол, сделали свое дело, дали нам бомбу, а в вопросе об ее использовании мы с вами считаться не намерены), и в ее отношении к живым людям, которые от этих испытаний гибнут. Ему еще удалось сыграть существенную роль при заключении соглашения о прекращении испытаний в трех средах, но столь важный для него моральный аспект ситуации вызывал в нем нарастающее чувство протеста. Он, с одной стороны, углубился в изучение и обдумывание фактического положения народа и власти в нашей стране, их взаимоотношения с остальным человечеством; с другой — стал возвращаться к фундаментальной, чистой науке, к тому, что всегда было его главной страстью и от чего он на полтора десятилетия отвернулся, чтобы отдать все силы достижению равновесия ядерных вооружений в мире как гарантии против войны.

В начале 60-х годов А. Д. стал все чаще появляться на нашем еженедельном семинаре и уже в 1966 — 1967 годах опубликовал блестящие работы по космологии и теории тяготения. Это, во-первых, объяснение барионной асимметрии мира, для

² В. А. Фабрикант рассказал мне, что когда Игорь Евгеньевич рекомендовал ему Андрея Дмитриевича для преподавания, он удивился, что тот нуждается. Ведь его отец, автор издававшихся учебников, задачник, научно-популярных книг, хорошо обеспечен и может помочь. «Я его хорошо знаю», — сказал В. А. «Да, но вы не знаете Андрея Дмитриевича», — возразил И. Е.

чего он свел в единую систему адроны (то есть ядерные частицы — протоны, нейтроны и т. п.) и лептоны (электроны, нейтрино и др.) так, что они оказались способными, согласно его теории, превращаться друг в друга. Например, у него получалось, что протон может, хотя и с малой вероятностью, распадаться (он даже вычислил его время жизни). Это показалось мне настолько фантастическим и безумным, что, когда он подарил мне экземпляр этой статьи с милой дарственной надписью (к которой добавил впоследствии не раз воспроизводившееся шуточное четверостишие, понятное только физикам, занимавшимся этой тематикой: «Из эффекта С. Окубо...» — и т. д.), я подумал про себя: «Ну конечно, Сахаров может себе все позволить, даже такую фантастику» (много лет спустя я рассказал ему об этом, и мы посмеялись). Но прошло всего лет десять, и развитие теории частиц совершенно независимо привело крупнейших теоретиков мира к той же концепции с совсем другой стороны, и поиски распада протона были провозглашены экспериментом века. Усилия нескольких групп экспериментаторов не увенчались пока успехом, но это истолковывается как недостаток используемого ныне конкретного варианта теории, идея же единства всех частиц (и соответственно распада протона) по-прежнему владеет умами физиков.

Другая работа того периода относится к теории тяготения. Сахаров объясняет природу взаимного притяжения двух тел тем, что в их присутствии меняются нулевые квантовые колебания метрики пространства. Эта глубокая идея развивалась многими теоретиками и получила название индуцированной гравитации. Можно упомянуть в связи с этим и сахаровскую работу, в которой образование неоднородностей материи во Вселенной (звезды, галактики) тоже объясняется флуктуациями (колебаниями) метрики.

Это прекрасное начало нового этапа его научной деятельности получило продолжение и в последующих его работах. Но все же оно вступило в конфликт с другим направлением его активности. В те годы он не раз приходил ко мне домой на Зоологическую улицу и после беседы, надев свое отнюдь не щеголеватое (мягко выражаясь) пальто, вдев ноги в калоши и достав из кармана простенькую авоську, отправлялся на близлежащий Тишинский рынок за какими-нибудь продуктами, которых не было в продаже на Соколе, где он жил. Я помню, как однажды он пришел в состоянии крайнего возбуждения, с толстой голубоватой папкой — рукописью книги Роя Медведева «Перед судом истории». В ней содержались факты о сталинщине и о пути, которым Сталин пришел к власти. Большая часть этих фактов уже была опубликована во время хрущевской оттепели, однако собранные вместе, дополненные новым материалом и осмысленные, они производили очень сильное впечатление. Это было, по-видимому, в 1967 году. Я думаю так потому, что, когда, как мне показалось, мы уже все обсудили, я стал рассказывать ему о своей работе по физике, опубликованной в 1966 году, которая мне самому казалась интересной. Но он почти сразу отвел эту тему и вернулся к прежнему (чем я, естественно, был недоволен).

Этот процесс эволюции его общественно-политических взглядов, напряженной умственной и душевной работы разрядился появлением за рубежом его знаменитой статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в которой он предстал как выдающийся социальный философ (мне нравится это выражение, оно принадлежит его дочери Татьяне Андреевне). Здесь была провозглашена великая идея конвергенции двух систем. Она мне кажется особенно замечательной тем, что намечавшийся ею путь спасения страны оказался неотделимым от пути спасения всего человечества. В атмосфере тех лет идея конвергенции для официальной идеологии была чудовищно еретической и даже для самых жестоких критиков нашей системы — утопической и нереальной.

Андрей Дмитриевич ни словом не обмолвился мне о том, что он готовит такую статью (это вообще было в его манере и при подготовке научных статей). Я услышал ее по радио (Би-би-си?) летом 1968 года, находясь в отпуске далеко от Москвы. Впечатление у всех было как от разорвавшейся бомбы. До Сахарова мы слышали только критиков режима — более жестких или более мягких. Здесь же была не только критика, но и великая конструктивная программа, к осуществлению которой страна приступила только через семнадцать лет.

А. Д. был сразу отстранен от работы на «объекте». Правда, насколько я помню, некоторая неопределенность тянулась до конца 1968 года. Догадываюсь (может быть, ошибаюсь), что научное руководство пыталось как-то сохранить его для дальнейшей работы по той же тематике, но безуспешно. К концу года он был от-

числен формально и с начала 1969 года оставался в Москве «частным лицом», «просто академиком». Никаких внешних проявлений специальных мер по отношению к нему не было заметно. Помню, однажды, когда он был у меня, я спросил его: «Как вы думаете, за вами есть хвост?» «Конечно, — ответил он, — обязательно должен быть. Ведь должна быть уверенность в том, что я не пошел в американское посольство». Однако если это так и было (я согласился с ним, хвост должен был быть), то делалось вполне умело, а он, не чувствуя за собой никакой подлинной вины, не присматривался, не замечал этого и не беспокоился по этому поводу.

В самом начале осени 1968 года произошло событие, о котором я должен наконец написать, — знакомство Солженицына с Сахаровым. Оно произошло у меня дома. И Солженицын (в «Бодался теленок с дубом») и А. Д. (в «Воспоминаниях») кратко говорят о нем, по понятным причинам не называя моего имени. Но пора рассказать, как это было.

Наша с женой близкая знакомая Тамара Константиновна Хачатурова (она тогда работала в библиотеке ФИАНа) была также близкой знакомой и Солженицына и Сахарова. Она сообщила мне, что Александр Исаевич захотел встретиться с А. Д., написал ему через нее письмо и указал, у кого ему хотелось бы устроить эту встречу. Но А. Д., согласившись на встречу, по словам Тамары Константиновны, настоял, чтобы встреча произошла у меня. В назначенный день и час первым пришел А. Д. с Тамарой Константиновной. Я постарался выпроводить мою дочку и племянницу, но они замешкались у входной двери, и когда раздался звонок и я открыл дверь Солженицыну, они только собирались выйти. Александр Исаевич быстро вошел, раздраженный, вспотевший (день был жаркий), и, встретив девушек, метнул на них очень сердитый взгляд. Мы с женой не очень понимали, какая должна быть процедура. До этого А. И. однажды был у нас, и мы втроем очень интересно (для нас, по крайней мере) поговорили за обедом. Но я понимаю, что, по-видимому, я обманул надежды или ожидания А. И., оказался «не то». И хотя мы расстались вполне дружелюбно и потом еще раз встречались у Игоря Евгеньевича (Солженицын пришел со своей первой женой, И. Е. пригласил еще В. Л. Гинзбурга и меня с женами), Александр Исаевич, видимо, разочаровался и в Тамаре, а ко мне потерял интерес (правда, когда однажды мы случайно встретились на Белорусском вокзале, он был снова вполне доброжелателен).

Как бы то ни было, в этот раз мы с женой решили накрыть в большой комнате стол. Когда Александр Исаевич увидел это, он более чем недовольно сказал: «Это что же — прием?» Ясно стало, что стиль был выбран нами неправильно. Я провел А. И. умыться, после чего мы с женой и Тамарой Константиновной удалились в маленькую комнату, оставив Сахарова и Солженицына одних за накрытым столом. Я тем не менее чувствовал себя как-то неуверенно. Конечно, А. И. пришел сюда только ради встречи с Сахаровым, и никто другой ему не нужен. И все же как прошлое общение, так и ощущение хозяина дома (к тому же ведь А. Д. почему-то хотел, чтобы встреча была именно у меня) заставили меня раза два зайти к ним, один раз — принеся чай. Каждый раз, постояв минутку, я чувствовал по настроению А. И., что нужно уйти, и уходил³. Они беседовали, сидя рядом, полуобернувшись друг к другу. Александр Исаевич, облокотившись одной рукой на стол, что-то наставительно вдалбливал Андрею Дмитриевичу. Тот произносил отдельные медлительные фразы и по своему обыкновению больше слушал, чем говорил. Не помню, сколько продолжалась эта беседа, вероятно, часа два. (Согласно Солженицыну — в «Теленке» — они просидели «четыре вечерних часа», но здесь же он пишет о своей «дурной двухчасовой критике»; я думаю все же, что длительность их беседы была ближе к двум часам; мы, сидя втроем в маленькой комнате,

³ Было бы наивно и неверно истолковывать такое поведение Александра Исаевича как просто невежливое или недоброжелательное. Нужно помнить, что в то время он был поглощен, охвачен, буквально одержим своим Делом, и это сочеталось с всепоглощающей целенаправленностью его четких действий (поистине «американская деловитость и русский (контр)революционный размах»). Все постороннее отменялось. Я был свидетелем и участником трех его попыток найти себе стоящего союзника среди академических физиков, обладавших привлекательной общественной репутацией. Он встречал с их стороны искреннее восхищение, готовность посодействовать (скажем, в перепечатке его неизданных произведений), но для него все это было «не то». Теперь он пришел, чтобы впервые встретить человека из той же среды, но уже совершившего великий поступок, преступившего порог. Поэтому все остальное было несущественно, могло только помешать.

за четыре часа были бы совершенно измучены.) Лишь потом состоялась наша общая беседа. Наконец они стали по одному уходить.

В «Теленке» Солженицын пишет, что эта беседа проходила в не очень хороших условиях, «не всегда давали быть вдвоем». Сахаров с удивлением пишет, что прежде всего, до разговора, А. И. стал занавешивать окна. Он замечает также, что, по мнению А. И., их встреча осталась неизвестной КГБ. А. Д. в этом сомневается. В частности, пишет, что почему-то, когда он вышел, на нашей глухой улочке, где и застроена-то лишь одна сторона, стояло такси. Я согласен с А. Д., я более высокого мнения, чем А. И., о профессионализме сотрудников КГБ. К тому же вспоминаю (возможно, в чем-то неточно), как сам А. И. рассказывал мне до этого: официально живя в Рязани, он много времени проводил в Москве, а чтобы иметь тихое, укромное место для работы, купил в деревне, чуть ли не в восьмидесяти километрах от Москвы, хибару, куда и скрывался для работы, уверенный, что о нем никто ничего не знает. Но однажды ему принесли с почты письмо без адреса, но с его фамилией. Так что секретность его убежища была фиктивной.

Эта встреча двух выдающихся людей нашего времени положила начало их сравнительно недолгой близости. Уже в 1974 году после вполне корректной, но жесткой сахаровской критики (см. «Знамя», 1990, № 2) позиции Солженицына, выраженной в его «Письме вождям», наступило, если я правильно понимаю, известное охлаждение при полностью сохранившемся взаимном уважении.

Вообще после публикации «Размышлений...» к А. Д. потянулись многие из тех, кто был оппозиционно настроен, кто был готов к участию в героическом правозащитном движении или уже участвовал в нем, переступил черту. Неизбежно деятельность Сахарова как социального философа (за «Размышлениями...» последовали новые публикации за рубежом, продолжавшие ту же линию) стала дополняться его деятельностью в качестве фактического лидера правозащитного движения. Я помню, как это начало оформляться.

Однажды в ноябре 1970 года мы выходили с ним из здания президиума Академии наук, где вместе участвовали в одном совещании. Когда мы шли по двору, обходя огромную клумбу, А. Д. сказал мне, что он с двумя единомышленниками создал группу (это было ровно за неделю до нашего разговора) по проблеме защиты гражданских прав, имеющую целью давать консультации по этому вопросу и разрабатывать его на основе Декларации ООН по правам человека. Стало ясно, что и А. Д. включается в движение, впоследствии получившее название диссидентского (сам А. Д. не любил это слово, предпочитал говорить — правозащитное). У нас произошел следующий разговор (он принадлежит к числу тех, которые глубоко врезались в память; о таких случаях я только и говорю здесь). Я: «А. Д., скажите, когда, по-вашему, у нас было самое лучшее, самое свободное, демократическое время за прошедшие пятьдесят с лишним лет?» А. Д.: «Можно точно сказать: от XX съезда до венгерских событий» (февраль — октябрь 1956 года). Я: «Правильно, я тоже так думаю. Что — оно наступило в результате протестов снизу, оппозиционного движения?» А. Д.: «Конечно, нет». Я: «Андрей Дмитриевич, в России всегда хорошие социальные преобразования осуществлялись сверху: реформы Александра II, нэп, хрущевская оттепель. Неужели вы думаете, что при существующем безжалостном аппарате подавления можно чего-нибудь добиться?» А. Д. ответил нечто неопределенное, чего я не запомнил, но знаю только, что он убежденно сказал: «Все равно это нужно делать».

Прошло время, и можно судить, что узкопрагматически я был прав: власти сумели за десять — пятнадцать лет подавить, разметать это движение, проявляя исключительную жестокость и полностью пренебрегая возмущением и протестами всей неподвластной им части цивилизованного мира.

Но я был глубоко не прав, считая всю эту деятельность бесцельной. Конечно, он и сам тяжело пострадал, но у движения смелых, не покорившихся людей появился лидер, оказавшийся олицетворением высокой духовности, чистоты, мужества и любви к людям. Я не мог тогда представить себе, до какого масштаба может разрастись влияние этого облагораживающего начала. Как-то В. Л. Гинзбург обратил мое внимание на появившуюся тогда книжку под названием, кажется, «Лев Толстой и царское правительство». В ней было показано, что Толстой стал «вторым правительством» в России — духовным и моральным. Конечно, совсем иным, чем А. Д., можно сказать, с иной идеологией, но их роль в стране и в обществе была во многом очень сходна. Оказалось, что у нас есть личность смелая и неподкупная, нравственность и деятельность которой подымают духовный уровень народа, помогают людям выпрямиться, некоторым — ненасильственно бороться.

Это с особой ясностью проявилось в дни его похорон, когда сама его смерть сделала массы людей лучше, чище. У него уже в 70-е годы искали помощи, заступничества, вразумления множество людей. Люди говорили: я вижу, но не смею сказать, а Сахаров посмел.

Однажды мы с женой были у Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны дома. Когда мы уходили, А. Д. вышел с нами на лестничную площадку. На пролет ниже в нерешительности стояла, видимо давно уже, девушка с бледным, испуганным лицом, похоже, приезжая, не москвичка. Она робко спросила: «Вы Сахаров?» — «Да». — «Можно к вам?» А. Д. ответил дружелюбно: «Проходите, пожалуйста». Сколько таких горестных лиц, освещавшихся надеждой, он перевидал!

В те годы вера в него проявлялась и в смешной форме, например в анекдотической фразе, якобы услышанной в винном магазине: «Брежнев опять хотел повысить цену на водку — Сахаров не позволил».

Конечно, нельзя отделять его от героических, хотя и менее прославившихся его единомышленников. Как-то я сказал ему: «По-моему, вы ведете беспроигрышную игру: если ваши идеи будут приняты, это будет победа; если вас посадят, вы будете довольны, что страдаете, как ваши единомышленники». Он рассмеялся и согласился. Но вся суть в том, что здесь не было никакого расчета, игры. Он защищал других чисто по-человечески. Однажды он вступился за совершенно неизвестных ему трех армянских террористов, обвиненных в организации взрыва в московском метро и приговоренных к расстрелу (в печати было опубликовано лишь очень краткое, маловразумительное сообщение). Разумеется, это заступничество было использовано в процессе травли, которой Сахаров тогда подвергался. Когда мы встретились в ФИАНе, я упрекнул его в том, что он ввязывается в темное дело. Он ответил: «А что я мог сделать? Приходят три девушки, плачут, стоя на коленях, пытаются поймать руку, чтобы поцеловать. Я отправил Брежневу телеграмму, прося отложить приведение приговора в исполнение и тщательно разобраться. Это то, что он сам несколько дней назад сделал». Действительно, только что был свергнут и приговорен к смерти угодный нашему правительству президент Пакистана Бхутто. Брежнев послал новым правителям точно такую телеграмму, какую послал ему А. Д. насчет террористов.

Но вернемся к его жизни после увольнения с работы на «объекте».

Возвращение в ФИАН

Начало 1969 года ознаменовалось для А. Д. личной трагедией: от поздно диагностированного рака в марте скончалась его жена Клавдия Алексеевна, мать его троих детей. Он испытал глубокое потрясение. А. Д. сам пишет в «Воспоминаниях», что он тогда жил и действовал как-то механически. Сидел дома. В «Воспоминаниях» А. Д. пишет, что Славский (министр, ведавший «объектом») направил его в ФИАН. Это неправильно. Ему изменила память. Он смешал два события, которые мне доподлинно известны, поскольку все связанные с этим административные дела проходили через меня: с 1966 по 1971 год я был заместителем И. Е. Тамма как заведующего теоретическим отделом. На самом деле все происходило так.

Году, я думаю, в 1966 или 1967, когда И. Е. был еще здоров, а А. Д. еще не стал «плохим», А. Д., посещавший довольно регулярно наш семинар, после одного из заседаний (когда мы вместе с ним, Таммом и Гинзбургом зашли, как обычно, посидеть, поговорить в комнате Игоря Евгеньевича) сказал мне, что получил разрешение на совместительство, на полставки в ФИАНе (очевидно, от Славского, никто другой не мог бы дать такого разрешения). Я обрадовался. «Так в чем же дело? Давайте подписывайте заявление». Быстро написал текст и дал ему бумагу и ручку. И сейчас вижу, как он стоит среди комнаты, в правой руке, немного отставив, держит и читает бумагу, в левой — ручку (он ведь часто писал левой рукой). Немного подумав, он вдруг сказал: «А собственно, для чего мне это нужно? Нет, не стоит, я буду чувствовать себя свободнее, пусть останется по-прежнему» — и вернул мне бумагу и ручку. Как я ни уговаривал его (очень хотелось закрепить его у нас), ничто не помогало. Если бы он тогда не отказался, впоследствии не возникло бы дополнительных осложнений.

Теперь, в 1969 году, когда он грустный сидел дома, нужно было что-то делать. Посоветовавшись с В. Л. Гинзбургом и другими друзьями, я поехал к Тамму, уже лежавшему дома прикованным к дыхательной машине, и получил его горячее одобрение. После этого отправился к А. Д. домой. Застал его очень печальным. Я

сказал ему: «Андрей Дмитриевич, не знаю, что вы теперь собираетесь делать, но так продолжаться не может. Если вы захотите вернуться в теоротдел, мы все будем очень рады». Он, если не ошибаюсь, тут же согласился и написал заявление. Я отвез это заявление тогдашнему директору ФИАНа Д. В. Скобельцыну.

Но все оказалось не так просто. Дирекция (скорее, думаю, упирался партком) не решалась зачислить опального А. Д. старшим научным сотрудником. Ей очень хотелось получить указание сверху, например от президента академии, которым тогда был М. В. Келдыш, или от отдела науки ЦК. А те, насколько я мог понять, не давали указания, говорили — решайте сами. Я опять ходил к Д. В. Скобельцыну — вопрос ни с места. Тогда я придумал ход — написал проект письма от Тамма Келдышу. Особенно мне самому нравилась фраза: «Я был бы гораздо спокойнее за работу отдела, зная, что более молодые сотрудники имеют возможность выслушать мнение такого замечательного физика». Поехал к И. Е., тот немедленно (это было 26 апреля 1969 года) подписал письмо, и оно было отправлено. Разумеется, Келдыш не мог просто отказать такому уважаемому человеку, как Тамм, смертельно больному (он умер меньше чем через два года). И все же, видимо, Келдышу потребовалась санкция высших инстанций. Лишь через два месяца после письма И. Е., 30 июня, А. Д. был зачислен.

В памяти А. Д. два эпизода — разрешение на совместительство, которое дал Славский еще до 1968 года, и зачисление в ФИАН в 1969 году — слились в один.

С тех пор до конца жизни А. Д. был деятельным членом отдела. Он неукоснительно (за вычетом периода горьковской ссылки) посещал еженедельные семинары по своей тематике — официальный вторничный, неформальный пятничный (пока он не превратился в отдельный семинар Е. С. Фрадкина). Я председательствовал на обоих, и если А. Д. почему-либо не мог прийти, то он звонил мне и объяснял причину. Он начинал словами: «Это говорит Андрей» (кстати скажу, что вплоть до последних лет на получаемых мною поздравительных открытках обычно стояла подпись «Андрей» или «Андрей Сахаров», потом — «Люся, Андрей»). Это было явным намеком на то, что пора начать обходиться без отчества. Но я не мог преодолеть установившийся еще в 40-е годы обычай, а потом к этому присоединилось мое возраставшее восхищение Андреем Дмитриевичем, не допускавшее панибратства с моей стороны. Так до конца и осталось — «Андрей Дмитриевич».

Когда после возвращения из ссылки А. Д. стал членом президиума АН, заседания которого происходили в то время во вторник с утра, он иногда приезжал после них на семинар, даже не пообедав. Иногда А. Д. задремывал на семинаре (мы обычно сидели рядом, и я его не будил). Это означало, что ночью он работал (научная, литературно-публицистическая и практическая правозащитная деятельность разрывали его на части). Но минут через десять, встрепенувшись, проводил характерным движением ладонью по лицу и вновь включался в работу.

Однако вернемся к 1969 году. Он жил тогда с младшей дочерью Любой (ей было уже двадцать лет) и сыном Димой (двенадцатилетним). Как всегда, был очень непритязательным в бытовых вопросах. Однажды я его спросил: «Андрей Дмитриевич, как же вы живете, вот сейчас и Люба уехала отдыхать — кто о вас заботится?» «А, ничего, — ответил он, — очень хорошо. Мы с Димой обходим все окрестные кафе, каждый день обедаем в новом. И у нас правило: каждая еда — какое-нибудь одно блюдо, но в большом количестве. Иногда приходит и готовит завтраки двоюродная сестра, но это часто оказывается излишним».

21 мая 1971 года А. Д. исполнилось пятьдесят лет. Этот день совпал с пятничным семинаром. Пришли все сотрудники отдела и некоторые другие фиановцы. Я произнес приветственную речь, в которой, в частности, сказал: «Мы, сотрудники теоротдела, рады и, я не могу найти другого слова, горды тем, что Андрей Дмитриевич избрал наш отдел и в молодости и через двадцать лет, когда он вернулся к своей любимой области физики».

Обстановка вокруг А. Д. в то время была уже очень напряженной. Коллеги-академики, встречаясь в фойе во время общего собрания академии в Доме ученых, в большинстве случаев быстро здоровались и проходили мимо. Обгонявшие его не оборачивались. Все чаще (особенно после 1973 года) на заседаниях общего собрания, входя в переполненный зал, я видел, что кресла рядом с ним остаются пустыми. Он, думаю, намеренно стал садиться в самый последний ряд, обычно полупустой. Зрелище его изолированности было тягостно, и я подсаживался к нему. Наш отдел испытывал пристальное недоброжелательное внимание начальства и, конечно, был под наблюдением. Поэтому я тщательно выбирал слова, но сказал и о его

политической деятельности. После заседания я на всякий случай (вдруг начнутся придирки!) записал свою речь. Получилось две с лишним страницы на машинке. (Торжественная и теплая приветственная часть завершалась, разумеется, некоторым юмором.) После моей речи были поставлены доклады (кажется, два), связанные с работами А. Д. Он сам, конечно, был, как обычно, немногословен, но, думаю, доволен. Вспоминается все же, что была какая-то грустная тень в его облике в тот день. Не знаю, могу ли я позволить себе такую догадку, но, предполагаю, многие из тех, с кем он так тесно сблизился за время интенсивной работы на «объекте», позволили себе его поздравить.

Замечу, что я имел право говорить о гордости, которую испытывали сотрудники отдела. Все годы, включая горьковскую ссылку, они, от старших научных руководителей до машинисток, глубоко ощущали свою, пусть слабую, причастность к судьбе Андрея Дмитриевича и гордились этим. Все, что нужно было сделать для А. Д., делалось мгновенно и с любовью.

В это время в жизни А. Д. происходили важные личные события: он встретил Елену Георгиевну, и вскоре они поженились. Сошлись надолго и накрепко два человека со столь различающимися характерами, так по-разному формировавшиеся! Он — концентрированный сгусток традиций и нравственных норм московской интеллигенции. Она — дочь убежденного большевика, с боями устанавливавшего советскую власть в Армении, до 1937 года, когда он был арестован и погиб, члена исполкома сталинского Коминтерна, ведавшего его отделом кадров. А. Д. даже в школу не ходил до восьмого класса, воспитывался в семье, где господствовали мягкость, доброжелательность и полное доверие. Она — в семье, жившей в общезжитии Коминтерна, в общении с людьми, для которых возможность гибели была рядом как из-за сталинского террора, выхватывавшего многочисленные жертвы даже из среды коммунистов-политэмигрантов, так и из-за преданности «высшим партийным и классовым интересам», побуждавшим одних посылать, а других с готовностью идти на выполнение смертельно опасных, нередко жестоких заданий за границей.

Сила чувств А. Д. теперь ясна всем из опубликованных им двух книг воспоминаний. Но уже в то время было видно, как изменилась его внутренняя жизнь. Он сиял. Он и в мелочах изменился: стал приходить в институт подстриженный, исчез недобрый венчик волос на шее и т. п. Я встретился с Еленой Георгиевной впервые в апреле 1972 года на небольшой научной конференции в Баку (А. Д., конечно, уже давно сообщил мне о браке, с удовольствием рассказывал о самой Елене Георгиевне, но я заболел, был оперирован). Помню, когда участники конференции проводили свободный день за городом, на берегу моря, мы лежали с Андреем Дмитриевичем рядом ничком на теплом покатом обломке скалы, а Елена Георгиевна легко и весело перепрыгивала с одного большого камня на другой, что было небезопасно. А. Д. приподнялся, опираясь на вытянутые руки, и в полном восторге закричал: «Люська, не смей!» (он и сам пишет об этом эпизоде в своих воспоминаниях, но сухо и, конечно, не передает этого восторга). Вообще было ясно, что этот брак дал ему столь необходимое для него ощущение личного счастья.

Этот брак усилил его имевшее уже двухлетнюю историю практическое участие в правозащитном движении, в котором Е. Г. эффективно действовала уже давно.

Травля

Напряжение вокруг А. Д. нарастало. В сентябре 1973 года после первого интервью, которое он дал иностранному корреспонденту, произошел наконец взрыв. Он начался с газетной кампании, с памятного первого письма 40 академиков. В ФИАНе, конечно, тоже началось подписание коллективного протеста против политической позиции и деятельности А. Д. Несмотря на огромное уважение, которым он пользовался среди научных сотрудников, нашлось немало людей, которые подписывали протест легко и даже с удовольствием. Были, как и всюду, просто одурманенные пропагандой, под влиянием которой они были всю жизнь с детского сада и потому искренне негодовавшие. Но больше всего действовал просто въевшийся страх. Ко многим отказавшимся подписать партком института все же был вынужден применить обычное выкручивание рук, чтобы заставить сдать. В одной большой лаборатории заведующий с парторгом и профоргом решили: ладно уж, давайте мы трое опозоримся, подпишем, но других сотрудников пусть не трогают. Сотрудника другой лаборатории долго обрабатывали в парткоме. На его за-

мечание, что в 1937 году тоже многих осуждали, а теперь их оправдывают, отвечали: подумай, о чем ты говоришь, у тебя ведь есть дети. На другой день он пришел в партком и подписал протест.

Набралось, если не ошибаюсь, около 200 подписей. Но с теоротделом, конечно, вышла осечка. Как ни угрожали партгруппе отдела, как ни прорабатывали — ничего не получилось. Атмосфера вокруг отдела сгушалась. Документ — текст протеста — оставался в парткоме и при любом подходящем случае использовался для шантажа. В то время для командировки за границу или при посылке защищенной диссертации на утверждение в ВАК решающим документом была характеристика, утверждаемая парткомом. Старший научный сотрудник отдела Г. Ф. Жарков получил приглашение на конференцию в Париж. Но он отказался подписать протест, и ему не дали характеристики. Член-корреспондент (ныне академик) АН СССР Е. С. Фрадкин, крупнейший ученый с международной известностью, провоевавший всю войну, раненный под Сталинградом, на фронте вступивший в партию, награжденный боевыми орденами, получил престижное приглашение выступить на Нобелевском симпозиуме с докладом. Его вызвали на заседание парткома и прямо сказали: подпиши — поедешь. Он отказался. Талантливый молодой теоретик (ныне член-корреспондент АН СССР) блестяще защитил диссертацию. Перед отправкой на утверждение в ВАК ему написали плохую характеристику. Я сам проверял: с такой характеристикой — откажут. Он советовался со мною, далеким ему человеком: как быть? Я сказал: «Решайте сами, но я понимаю ваше положение. Если вы и уступите постыдному шантажу, отношение к вам в отделе не изменится». Он уступил. Вот этот один из примерно 50 научных сотрудников только и подписал.

Этот документ еще несколько лет оставался в парткоме лакмусовой бумажкой и использовался при новых всплесках травли А. Д. Так, в одном таком случае секретаря партгруппы отдела, того же Фрадкина, вызвал секретарь райкома, в присутствии специально прибывшего работника ЦК кричал на него, угрожал — все равно не помогло. Впоследствии, в горьковский период, когда было еще труднее, я как-то сказал А. Д., что меня восхищает поведение партийцев отдела, им приходилось особенно туго. А. Д. согласился со мной.

Были и более неприятные, даже тревожные случаи. На одном общеинститутском партсобрании яростно осуждали А. Д. и тех, кто примиренчески к нему относится. Атмосфера накалилась настолько, что из задних рядов вышел вперед один рабочий мастерских, человек могучего телосложения, и, сказав что-то вроде «дайте мне его, я его сразу», сделал двумя руками движение, которое показывало, что он открутил бы А. Д. голову. Поднялся шум, его остановили (потом он получил партвзыскание). Свидетелем этого был Б. М. Болотовский. Это вызвало у нас беспокойство, и то ли В. Л. Гинзбург написал письмо помощнику директора по режиму (такая должность существовала, поскольку в некоторых лабораториях велись закрытые работы), то ли В. Я. Файнберг ходил к нему (это сейчас у нас не могут вспомнить), и я хорошо помню его ответ: «Не беспокойтесь, на территории института ни один волос не упадет с головы Сахарова».

С периодом травли связан эпизод, красочно характеризующий самого А. Д. Один из партийных лидеров института, сам хороший физик, в тот период вполне искренне поддался антисахаровскому безумию, в 60 — 70-е годы он вообще стал, как говорила одна тетка, «шибко партейным». В период травли он приходил в отдел (где некогда был аспирантом) и возмущался: «Как вы вообще смеее с ним дружественно обращаться! Вы не должны ему руки подавать!» Ему отвечали очень резко, но он еще долго оставался одурманенным. Вскоре этот физик проходил на ученом совете института утверждение на новый срок в должности заведующего сектором. Разумеется, члены совета от теоротдела проголосовали против, хотя понимали, что он с научной точки зрения заслуживает этой должности, и знали, что он все равно получит необходимое ему число голосов (это была очевидная демонстрация против его поведения). Так и было. После заседания, когда мы сошлись вместе, я недоуменно сказал: «Почему он получил только пять голосов против? Должно было быть шесть». А. Д. вмешался: «Я голосовал за». — «Вы?» — «Да, я считал, что мне неудобно тайно голосовать против, если я предварительно не высказался открыто».

Все же в целом от теоротдела начальство отступилось. Меня лично, пожалуй, почти совсем не трогали. Думаю, что, несмотря на всю атмосферу травли, имело значение уважение и даже восхищение личностью А. Д. и внутри ФИАНа, и в научных кругах вне его. Вот пример. В один из годов горьковского периода, как пере-

давали, на заседании президиума АН произошел следующий эпизод. Президент А. П. Александров по какому-то случаю предложил принять резолюцию, осуждающую какое-то выступление А. Д. (возможно, это относится к его письму С. Дреллу, вызвавшему всплеск антисахаровских выступлений). Тогда ныне покойный член президиума академик Н. А. Пилюгин спросил: «А почему бы нам вообще не исключить его?» Александров быстро ответил: «Вопрос об этом не стоит».

История стала известной в академических кругах. Я рассказываю об этом с чужих слов, но подтверждением может служить то, что рассказал мне мой друг (человек, словам которого безусловно можно верить, далекий от академии). Однажды он был по своим делам в Совете Министров и оказался свидетелем того, как А. П. Александрову задали такой же «пилюгинский» вопрос. На это Анатолий Петрович ответил: «Исключить можно, но будет так много голосов против, что это произведет нехорошее впечатление». Если он действительно дал такой ответ, то был прав, что доказывается следующим фактом.

Вскоре на общем собрании академии происходили очередные перевыборы членов президиума на новый срок. Пилюгин широкой известностью не пользовался, он был избран по специальности автоматическое управление, что относилось, по-видимому, к закрытым областям ракетной техники. За несколько минут до начала голосования я увидел в списке кандидатов и имя Пилюгина. Я напомнил всю историю одному знакомому академику, случайно встреченному в фойе (сам я, не будучи действительным членом академии, не участвую в голосованиях). Информация распространилась как в цепной реакции. Пилюгин был избран, но получил небывало много голосов против — кажется, 49. Понять значение этой цифры можно, только если учесть, что число голосов против в таком голосовании обычно не превышает пяти, редко больше. Если бы о Пилюгине вспомнили заранее, он получил бы еще больше черных шаров.

Значение этого голосования в президиуме Академии наук поняли сразу. Вот доказательство. Вскоре после этого мою жену навестила ее близкая знакомая, жена видного члена президиума (они гуманитарии). Когда я зашел в комнату, она спросила меня, почему Пилюгин получил так много голосов против. Я ответил: «Ну как же, он ведь требовал исключения Сахарова». Она сказала: «Ну да, конечно, я так и думала». Разумеется, она задала свой вопрос по поручению мужа. Никогда раньше мы об академических делах не разговаривали.

Но вернемся к догорьковским годам. А. Д. продолжал свою деятельность с прежней и даже возрастающей интенсивностью. Однажды, году в 1976, я сказал ему: «Знаете, А. Д., некоторые известные мне люди, преклоняющиеся и перед вами и перед Александром Исаевичем, считают, что все же ни вы, ни он не должны давать рекомендации по конкретным вопросам политики и экономики, поскольку вы не профессионалы в этих областях». Не знаю, что сказал бы мне Солженицын, но Сахаров мгновенно ответил: «Конечно, я не специалист, конечно, я совершаю ошибки, но что делать, если другие не смеют сказать ни слова?»

Арест и высылка в Горький

Переломный день 22 января 1980 года вызвал у нас в отделе шок. Дело не только во всеобщем страхе, охватывавшем тогда всех и не миновавшем, конечно, и нас. Мы все слишком привыкли за двенадцать лет к тому, что, несмотря на травлю в масс-медиа, сам А. Д. неприкасаем, что, как я давно ему говорил, бить будут по его окружению, по тем, кто ему дорог, но не по нему самому. Стало ясно: раз власти пошли на такую чрезвычайную меру, которая вызовет возмущение и протест всей мировой общественности, они не ограничатся полумерами и в дальнейшем.

Конечно, в мало-мальски демократической стране нужно было бы прежде всего выразить коллективный протест. Но у нас власти во все времена особенно опасались именно таких «коллективов» и яростно их преследовали. Как раз в 60-е и 70-е годы в процессе ликвидации остатков хрущевской оттепели это повело к жестоким преследованиям «подписантов». Ярким примером, довольно точно соответствовавшим нашему случаю (разве только несравнимо более «мягким»), был погром, учиненный в 1968 — 1969 годах в математической среде, когда 100 математиков из МГУ и других учреждений выступили с довольно мирным письмом в адрес Министерства здравоохранения, настаивая то ли на освобождении насильственно помещенного в психиатрическую больницу практически здорового математика,

диссидента А. С. Есенина-Вольпина, то ли о переводе его в московскую клинику. Результатом было увольнение с работы ряда ученых, подписавших письмо. Профессор Педагогического института имени Ленина И. М. Яглом, известный ученый, к тому времени уже автор многих чрезвычайно популярных учебных и образовательных книг по математике, был уволен, его допустили к преподаванию только в районном центре Орехово-Зуево. Талантливый профессор МГУ Сергей Васильевич Фомин в результате преследований получил тяжелый инфаркт (это не единственный случай), вероятно, послуживший через несколько лет причиной его преждевременной смерти. Подобных судеб было немало. Но главное — это то, что последовало специальное постановление ЦК на этот счет, был фактически разгромлен прекрасный механико-математический факультет МГУ, где работали много звезд нашей математики, определявших царившую там атмосферу свободного творчества, непредвзятости и объективности во взаимоотношениях. Было смещено его руководство, и из оазиса науки он превратился в цитадель реакционной ортодоксальности. Аналогичным образом была разгромлена кафедра академика П. С. Новикова в Педагогическом институте. Подобные же меры были приняты в редакциях математических журналов и издательств. Нетрудно представить себе, к чему привел бы коллективный протест в гораздо более остром политическом случае — против ссылки Сахарова. Здесь не нужно было предполагать или теоретизировать. Прецедент был налицо. Я напоминаю об этом потому, что сам А. Д. с его безоглядной приверженностью идеалам демократии считал коллективные протесты очень желательными и сам принимал участие в подобных акциях (приводивших лишь к новым репрессиям). При этом он полагал, что докторская степень является в таких случаях достаточной защитой. Это мнение, как видим, противоречило действительности. Недаром умнейший П. Л. Капица, вступавшийся много раз за репрессированных (спасший, в частности, Л. Д. Ландау, что было почти чудом), добивался своей цели полными чувствами собственного достоинства, подчас очень резкими личными письмами Сталину и Молотову, державшимися в строгой тайне. О них все узнали только после его смерти. Но для этого потребовался его огромный авторитет.

Как и следовало ожидать, сразу начались попытки уволить Сахарова из ФИАНа. Директор сказался больным, но, очевидно, ему кто-то уже звонил сверху, и дирекция изыскивала формулировку причины увольнения. Приводился довод, что А. Д. уже не живет в Москве, но для некоторых членов дирекции этот довод был неубедителен (академику нельзя предъявлять такого условия). Попытки узнать в президиуме АН, на чье решение, на какой специальный документ нужно ссылаться, остались безрезультатными. Никакого документа, видимо, не существовало. Пытались возложить решение на сам отдел, но руководство отдела отказалось. Тогда заместитель директора, ведавший нашим отделом, С. И. Никольский, позвонил в отдел науки ЦК. После неопределенных слов типа «сами понимаете» ему наконец сказали: «Действуйте по закону». Это было истолковано в благоприятном смысле — можно не увольнять. Звонки в дирекцию института с требованием увольнения Сахарова сразу прекратились. Все, однако, оставалось в подвешенном состоянии.

Так не могло долго продолжаться. Мы, старшие, еще до того выработали в отделе определенную программу из трех пунктов и начали ее продвигать: 1) Сахаров остается официально сотрудником отдела; 2) ему как крупнейшему ученому оказывается всевозможное содействие в продолжении научной работы; 3) как элемент этого содействия к нему регулярно будут ездить сотрудники отдела для обсуждения научных вопросов и взаимных консультаций, причем эти поездки не будут рассматриваться как пачкающие этих сотрудников в политическом отношении. Конечно, в третьем пункте легко просматривался и очевидный подтекст — желание хоть немного смягчить изоляцию, оторванность А. Д. от близких и коллег.

С этой конструктивной программой В. Л. Гинзбург как глава отдела отправился в отдел науки ЦК и сумел убедить беседовавшего с ним сотрудника в разумности наших предложений. Тот обещал передать их выше. Однако еще долго никакого ответа мы не получали. Только 9 апреля в переговорах В. Л. Гинзбурга с А. П. Александровым и в распоряжении президента, направленном в ФИАН, вопрос был решен именно в рамках этой программы.

Необходимо было разоблачить также широко распространившуюся ложь о том, что Сахаров перестал быть ученым, что он в последнее время отошел от научной работы (как писалось в Большой Советской Энциклопедии и в повторявшихся изданиях Советского Энциклопедического Словаря) и ничего собой как

ученый уже не представляет⁴ Опровержением этой нелепости мог служить хотя бы тот факт, что, когда Сахарова задержали 22 января 1980 года, машинистка отдела переписывала оставленные им рукописи трех новых работ⁵. Но этого было мало. Я засел за составление «Справки» — аннотированного списка работ А. Д. за тот период, когда его связь с нами возобновилась, то есть с 1966 года. С помощью Д. А. Киржница и А. Д. Линде «Справка» была составлена. Из-за привычной нашей безалаберности, из-за чрезмерного доверия к словам Пастернака «не надо заводить архива...» в этой «Справке» оказались пропущенными две статьи, в том числе одна очень важная и обширная статья 1975 года, в которой А. Д. развивал свою идею (он высказал ее за семь лет до этого), получившую на Западе название «индуцированная гравитация». Наиболее интенсивно эту идею развивал американский теоретик С. Адлер⁶. В «Справке» числилось 13 работ (за четырнадцать лет), в том числе содержавшие важнейшие кардинально новые идеи: объяснение барионной асимметрии мира и предсказание распада протона, упомянутая уже индуцированная гравитация, теория многолистной Вселенной (по существу, рассмотрение непротиворечивой модели Вселенной до начала процесса ее расширения, который происходит в течение последних десяти — пятнадцати миллиардов лет) и многое другое. «Справка» была отпечатана на машинке (около 20 экземпляров), и мы с В. Л. Гинзбургом стали развозить ее влиятельным ученым — президенту и некоторым вице-президентам академии, П. Л. Капице и другим. Вероятно, и В. Л. Гинзбург, когда поехал в ЦК, уже мог ее вручить.

Один из вице-президентов АН СССР в разговоре со мной, проходившем в тоне понимания и сочувствия, сказал неожиданно для меня: «Ведь дело не только в его протесте против афганских событий. Хуже то, что он с женой был у американского посла и долго с ним беседовал, а ведь он носитель государственно важных секретов». «Этого не может быть!» — воскликнул я и рассказал о своем старом разговоре с А. Д., о котором я писал выше (когда А. Д. сказал: «За мной обязательно должна быть слежка. Ведь должна быть уверенность, что я не пошел в американское посольство»; но то было почти двенадцать лет назад). «Да-да, были», — сокрушенно повторил мой собеседник. При первой же встрече с Еленой Георгиевной я спросил ее об этом. Она подтвердила: «Ходили. А что в этом особенного?» Другой взгляд: один мой умный знакомый, много лет работавший с А. Д. на «объекте», любивший его и пользовавшийся его уважением (для слишком догадливых читателей оговорю — это был не Ю. Б. Харитон), сказал мне: «Вы же понимаете, что соответствующие американские специалисты будут рассматривать в лупу магнитофонную запись этой беседы».

Между тем я все еще сомневался в правильности нашего подхода и решил посоветоваться с одним физиком (не из нашего отдела). Он повез меня на Ленинские горы, и там, гуляя, я изложил ему наш план. Он подумал и сказал: «Не советую. Вы неизбежно должны будете контактировать с органами, втянетесь в этот контакт и постепенно незаметно для себя превратитесь в их агентов, запутаетесь». Он был прав, что такая опасность существовала, мы сами это понимали и ввос-

⁴ Эта версия, оказывается, еще жива! В декабре 1990 года одна солидная газета, отмечавшая годовщину со дня смерти А. Д. публикацией отрывка из его нобелевской речи, пожелала сопроводить этот текст дополнительным материалом и попросила меня ответить на два вопроса. Первый был: «Когда именно Сахаров прекратил свою научную деятельность?» Мой ответ, что этого никогда не было, вызвал удивленное замечание: «Но ведь широко распространено мнение, что он перешел к общественно-политической деятельности потому, что иссяк как ученый!»

⁵ С этим, кстати, связан смешной эпизод. 22 января я был в санатории. В первый же день моего вскоре последовавшего возвращения в ФИАН мне передали строгий запрос сверху: почему, когда А. Д. вывозили на самолете в Горький и он был чем-то обеспокоен, Елена Георгиевна его успокаивала: «Ничего, Евгений Львович все сделает»? Кто такой Евгений Львович и что он должен сделать? Ясно было, что А. Д. беспокоился о судьбе этих статей. Но не такой в отделе народ, чтобы не понять этого и без меня. Статьи были должным образом оформлены и направлены в наш центральный «Журнал экспериментальной и теоретической физики» («ЖЭТФ»), а там редактором был П. Л. Капица, его первым заместителем, реально ведущим всю текущую работу, — Е. М. Лифшиц, и все прошло гладко. В ближайших летних номерах статьи были опубликованы, и страшное имя появилось на страницах печатного органа. Важно было, конечно, и то, что Главлит не наложил запрета. Но к тому времени было, видимо, уже принято решение не мешать А. Д. в научной работе.

⁶ В период горьковской ссылки С. Адлер приехал к нам в отдел на две недели и привез свой большой доклад на эту тему. Когда мы показали ему статью А. Д. (к тому времени мы о ней вспомнили), он ахнул: в ней было сделано многое из того, что потом независимо повторили другие теоретики за рубежом.

ледствии все время помнили о ней. Но мы не могли оставить А. Д. одного и вопреки совету решились пойти на осуществление нашего плана. С гордостью за отдел могу сказать, что это оказалось оправданным. Конечно, мы вынуждены были принимать ограничения, которые время от времени накладывали органы, но ничего похожего на то, чтобы стать агентами, не было. В первое время такие опасения были и у самого А. Д. Он, например, утверждал, что к нему ездят «по указанию КГБ и только отобранные им люди», и протестовал против этого. Как видно из описанного, ни о каком указании не могло быть и речи, это была наша инициатива, далеко не безопасная для нас в моральном смысле. Но эти опасности были преодолены благодаря нашему — старших в отделе — взаимопониманию, полному взаимному доверию, тщательному обсуждению каждого шага. Как известно, в Горький за все время ездили 17 сотрудников отдела. Мы заявляли дирекции, кого и когда хотим послать в очередную поездку, затем «за сценой» происходило какое-то согласование, и нам, за исключением одного случая с В. Я. Файнбергом (я о нем еще расскажу), давали согласие либо же предлагали отложить поездку по причинам, иногда понятным нам (во время голодовок А. Д. и сразу после них), иногда совершенно непонятным (например, в дни, близкие к 7 ноября, или что-нибудь еще в этом роде). Конечно, были случаи, когда наши действия соответствовали целям КГБ (например, когда я страстно отговаривал А. Д. от намерения голодать, и это можно было делать в обычных письмах, разумеется подвергавшихся перлюстрации). Но с этим нельзя было считаться.

С разрешением на первую поездку дело все тянулось. Оно было внезапно получено, несомненно, потому, что через два дня ожидался приезд в Москву видного американского ученого, кажется, президента Американского физического общества, и ему нужно было сказать, что Сахарову «не так плохо». Директор ФИАНа Н. Г. Басов, улыбаясь, сказал мне: «Вам нужно сегодня же ехать к А. Д.». Но я не мог — был как раз назначен мой доклад на заседании президиума Академии наук. «Ну тогда должен ехать В. Л. Гинзбург». И Виталий Лазаревич поехал. Так вопрос был решен. Встреча В. Л. с А. Д. была очень радостной для обоих.

Поездки в Горький

Я не буду подробно описывать поездки в Горький. Об этом много пишут другие. Расскажу лишь о некоторых эпизодах, по-моему, представляющих интерес.

Когда я в июне 1980 года приехал впервые к А. Д., я думал, что он угнетен, и чтобы приободрить его, процитировал двустихие, если не ошибаюсь, Кайсына Кулиева: «Терпение — оружие героя, коль выбито из рук оружие другое». А. Д. возмутился: «Какое терпение?! Борьба продолжается!» Это отнюдь не был только тот «социальный философ», каким он был в 1968 году, когда впервые выступил на общественно-политической арене. В ответ он прочитал мне свое известное теперь в разных вариантах ироническое четверостишие: «На лике каменном державы, в сиянии всесветной славы, вперед идущей без запинки, есть незаметные Щербинки» (так называется район Горького, в котором его поселили). Он был спокоен и бодр, физически еще вполне неплох. Голодовки были впереди. Я приехал вместе с нашим сотрудником более молодого поколения, О. К. Калашниковым. Вообще мы, не обсудив этого специально, решили ехать по двое. Я думаю, здесь было ставшее уже автоматическим понимание того, что органы не допустят поездки в одиночку. Ведь, по расчетливой психологии наблюдающих, всегда должен присутствовать третий, способный донести, если в общении с Сахаровым будет допущено что-либо «неподобающее». То, что у сотрудников отдела может быть иная психологическая установка, вероятно, казалось невозможным. Но можно было и не беспокоиться. Ничего действительно «противозаконного» не происходило.

Однако во время одной из поездок случилось чрезвычайное происшествие. В. Я. Файнберг по приезде в Москву подвергся разносу за неправильное поведение. Дело в том, что, прекрасно понимая, как тщательно прослушивается все происходящее в горьковской квартире, мы все же чувствовали себя свободно. То немногое, что мы хотели сказать интимно, писали на бумаге, прикрывая ее рукой от возможного объектива скрытой камеры (мы не утруждали себя поисками ее; возможно, камеры и не было). Но однажды, как я догадываюсь, В. Я. чрезмерно «распустился», обсуждал политику и т. п. Это было бы еще ничего. Но А. Д. решил продемонстрировать ему, как работает установленная для него персональная глушилка, забивавшая нежелательные радиоголоса (в радиусе шестидесяти — девя-

носта метров от его квартиры). Он включил транзисторный приемник, и все услышали первую фразу русской передачи Би-би-си. После этого из приемника понеслось могучее «ж-ж-ж...» — глушилка заработала. Раздался взрыв хохота (весь эпизод, кстати говоря, показывал, что прослушивание велось не только путем записи на ленту с последующим анализом, а кроме того осуществлялось непрерывно, как говорят, «в реальном времени»). Я думаю, что такое поведение В. Я. (а может быть, и другие подобные эпизоды) очень обидело охрану, выполнявшую то, что ей было приказано. Это была ее служба, насмешки над которой воспринимались, конечно, с обидой. В результате в Москву пошел какой-то очень порочащий В. Я. рапорт⁷. Сложилось неприятное положение, судьба поездок была поставлена под угрозу. Тогда я вызвался поехать, чтобы исправить положение. Приехав (вместе с другим сотрудником отдела), после первых радостных приветствий и завтрака я сказал примерно следующее: «Андрей Дмитриевич, мне нужно сказать вам нечто серьезное, деловое. Мы должны учесть, что наши приезды имеют вполне определенную цель — взаимные научные консультации. Для нас они очень нужны и приятны, я надеюсь, для вас тоже. Но они могут продолжаться, только если именно эта их цель будет осуществляться, а не что-либо постороннее. Согласны ли вы с этим?» Андрей Дмитриевич во время этого нравоучения сидел в кресле, я — напротив него на стуле. Я говорил четко и достаточно громко для того, чтобы все было правильно записано. А. Д. все, конечно, понял и сидел, тихо улыбаясь. Я не мог себе позволить улыбнуться, это отразилось бы в моем голосе. Но он достаточно хорошо знал меня и, конечно, ответил что-то одобрителное. Вопрос был исчерпан. (В. Я. Файнберг после этого ездил еще не раз.)

Не могу забыть также мой последний приезд вместе с Е. С. Фрадкиным в декабре 1985 года. Это было после третьей голодовки, когда Елена Георгиевна уже уехала в США, где ей должны были сделать операцию на сердце. Андрей Дмитриевич открыл нам входную дверь и, проговорив: «У меня грипп, поцелуи отменяются, наденьте марлевые маски, они приготовлены для вас в столовой», лег в постель в спальне. Он был очень худ («Восстановил восемь килограммов — половину потерянного веса», — сказал он; напольные весы стояли около кровати) и плохо выглядел. Я пощупал потом у него пульс — было много экстрасистол (если правильно помню, больше десяти в минуту). Грипп был не сильный, но он не разрешал нам часто подходить к нему. Позавтракав на кухне и разложив привезенные продукты, мы вернулись в спальню, и Е. С. начал излагать свою последнюю очень важную работу по теории струн — сложнейшему и самому «модному» разделу теории частиц и полей. Доски на стене не было, подходить к А. Д., чтобы показать какую-нибудь формулу, разрешалось в редчайших случаях. Е. С. расхаживал вдоль комнаты туда и назад, а А. Д. воспринимал все с голоса, вставляя вопросы и замечания, обсуждая отдельные пункты. Я был поражен силой его ума. Эти проблемы очень интересовали его в то время, и он слушал и слушал. Это длилось четыре часа! Наконец А. Д. сказал: «Хватит, давайте обедать, а потом отдохнем. Подогрейте мне творог. Тефлоновая сковородка висит на стене в кухне, творог в холодильнике». (А. Д. любил все есть только в подогретом виде.) Отдохнув (пока А. Д. и я спали, Е. С. сходил в недалеко расположенный Институт химии и, как полагалось, отметил наши командировки), снова вернулись к науке. Я стал рассказывать по своей тематике, но очень скоро увидел, что А. Д. это не интересует. Он был увлечен струнами, и снова — почти на три часа! — началась лекция-беседа Ефима Самойловича. И опять без написания формул.

Пришло время уезжать. На обратном пути Е. С. сказал, что он поражен пониманием сложнейшей науки, которое проявил А. Д. Незадолго перед тем Е. С. был за границей на конференции и рассказывал то же самое специалистам в этой области. Они понимали все гораздо хуже.

⁷ В. Я. Файнберг пишет в своих воспоминаниях: «По возвращении в Москву заместитель директора ФИАНа по закрытым работам В. А. Одинокоев вызвал меня и сказал, что «генерал» недоволен моим поведением, что я обманул доверие и переоцениваю научные заслуги и человеческие качества А. Д. и в своих разговорах с А. Д. Линде (с которым они ездили в этот раз. — Е. Ф.) зашел слишком далеко, называя Сахарова гением. Я ответил, что говорил то, что думаю, и нужно только пригласить «генерала» и прослушать всю магнитофонную запись полностью. «Какую запись? — взорвался заместитель директора. — За кого вы меня принимаете?» Однако мой наивный вопрос, откуда же тогда «генерал» знает, что я говорил, остался без ответа. Одинокоев был явно раздражен и сказал, что у меня будут неприятности. Он был прав: КГБ сообщил в Московский горком партии и в Академию наук, в результате чего я не ездил за рубеж до 1988 г.»

Голодовки

Теперь я перехожу к очень непростой, тяжелой теме — к голодовкам Андрея Дмитриевича. В Горьком их было три: в 1981, 1984 и 1985 годах.

В конце 1981 года по Москве разнеслась весть, вызвавшая ужас и недоумение у множества людей: Сахаров объявил смертельную голодовку. Потом узнали, что голодает он вместе со своей женой. Чего он требует? Освобождения из ссылки? Заступается за кого-либо из диссидентов? Нет, требует разрешения на выезд в США невесты сына Елены Георгиевны, Лизы Алексеевой. Кто это такая? Ведь разрешение на выезд вообще очень мало кому дают, и из-за этого легендарный Сахаров готов умереть? Реакция была различной. Многие просто ничего не понимали. Я-то знал эту милую и умную девушку, действительно очень близкую Е. Г. и А. Д. Кое-кто полагал, что он хочет уберечь ее от преследований за близость к семье, как ранее уберег детей, зятя и внука Елены Георгиевны, добившись их отъезда в США. Но для многих представлялось (хотя и это казалось неубедительным), что вообще не в Лизе дело. Важно было одно: Сахаров протестует, бросая вызов властям, и может умереть. Многие считали, что он не имеет права так рисковать своей жизнью. Однако были люди и у нас и за границей, считавшие, что это прекрасно: великий гражданин готов отдать жизнь за счастье ничем не выдающейся девушки. Но поверх всего было одно: Сахаров может умереть. Это было ужасно.

В один из тех дней мне сообщили, что Лиза накануне пыталась попасть к президенту академии А. П. Александрову, но ей целый день отказывали в пропуске. Я ухватился за этот повод для каких-то действий, решил сам пойти к Александрову и уговорить его принять Лизу. Это была нелепая идея, но ничего не делать было невыносимо.

Когда я утром пришел в приемную президента, его помощница Наталья Леонидовна Тимофеева сказала, что у него сейчас идет «оперативка» — совещание с вице-президентами и главным ученым секретарем академии Г. К. Скрябиным, нужно подождать окончания. Я стал ждать, разговаривая с Н. Л. о Сахарове, которого она помнила еще со времен его молодости. В это время в приемную буквально влетел еще довольно молодой, энергичный академик N и уже на ходу начал громко говорить, почти кричать: «Товарищи, вы понимаете, что происходит? Вы представляете себе, что будет, если Сахаров умрет? Все наши международные научные программы, все связи полетят к черту, с нами никто не захочет иметь дела!» Узнав, что у президента идет совещание, он убежал куда-то. Появившись минут через десять, сообщил: «Они обсуждают именно этот вопрос. Представитель КГБ заявил, что ни в коем случае нельзя отступать, положение под контролем и опасаться нечего. Говорит: если уступить, „они нам совсем сядут на голову“». И, по-прежнему возбужденный, опять убежал. Вскоре он снова появился и сообщил: «Вице-президенты уговаривают Анатолия Петровича поехать прямо к Брежневу, а он упирается». Действительно, для А. П. обратиться к Брежневу через голову КГБ означало вступить в прямой конфликт с этой грозной и мощной организацией. Легко понять Александра — решиться на такой шаг было непросто.

В этот момент ко мне подошел видный физик-теоретик и стал рассказывать о своей идее относительно трансформации Вселенной в течение первых нескольких минут после начала расширения. Я и вообще-то не специалист в этих вопросах, а тут, как и все последние дни и ночи, был внутри весь напряжен, в голове — что-то беспорядочное и гнетущее. Ничего не воспринимая, я только механически выдавливал из себя: «А... Да... Интересно...» «Вот, — сказал этот теоретик, — через две недели поеду на совещание за границу, а через два месяца в Англию обсудить все это с таким-то» (он назвал очень крупного ученого). Здесь N не выдержал и вмешался: «Может быть, вы можете предсказать, что будет со Вселенной через три минуты после начала расширения, но вы ничего не понимаете в том, что будет через две недели. Если Сахаров умрет, можете сдавать свои загранпаспорта, никуда вы не поедете». Тот замолчал и ушел смущенный.

Наконец Наталья Леонидовна сказала, что я могу заходить. Анатолий Петрович сидел за столом раздраженный, даже злой. Я стал ему говорить, что понимаю трудность его положения, не могу посоветовать ничего решительного, но прошу принять Лизу — может быть, это поможет найти выход, какой-нибудь компромисс. В общем, как я не имел четкого плана раньше, так и здесь говорил, сам не уверенный, что это к чему-нибудь приведет. Просто хотел помочь Лизе. Настаивать на обращении к Брежневу после того, как я узнал, что его толкают на это вице-президенты, казалось бессмысленным. Но была одна задняя идея: личный

контакт с человеком всегда производит благоприятное действие, большее, чем любые разговоры о нем⁸.

Александров раздраженно стал говорить, что ничего не может сделать, все это не в его ведении. «Вот видите, все это телеграммы протеста из-за границы, — указал он на свой стол, сплошь без остатка покрытый тесно и аккуратно уложенными пачками телеграмм, и добавил: — В академии только в Москве семь тысяч сотрудников, и у всех какие-то семейные дела, я не могу в них влезать». «Я понимаю, от них у вас и так много забот, но сколько Сахаровых приходится на столетие?» — возразил я. «Не могу ничего сделать», — повторил он.

Ясно было (и я это точно знаю), что на А. П. давили не только те, кто опасался лишь разрыва научных связей, но и те, кому Андрей Дмитриевич был дорог просто как человек, вызывавший любовь и восхищение. Иногда слова о возможном разрыве связей были лишь рациональным прикрытием для более личных чувств. Я не знаю точно, как оно произошло, но Анатолий Петрович в конце концов преодолел себя и совершил этот поступок — поехал к Брежневу, который решил вопрос «Пусть уезжает». Жизнь Андрея Дмитриевича на этот раз была спасена без большого урона для здоровья.

Второе потрясение пришло в 1984 году, когда А. Д. снова объявил смертельную голодовку, на этот раз требуя разрешения на поездку в США Елены Георгиевны «для свидания с матерью, детьми и внуками и для лечения». Последний довод можно было понять. к этому времени Е. Г. уже перенесла тяжелый инфаркт (и, может быть, не один), уже была осуждена на ссылку в Горький. Особенность ее состояния, как Е. Г. и А. Д. мне разъясняли, была в том, что для спасения глаз, пострадавших от контузии на фронте, требовались лекарства, которые были противопоказаны при тогдашнем состоянии ее сердца, и наоборот (поэтому для хирургического лечения глаз она уже трижды ездила в Италию; это, конечно, тогда, в 70-х годах, было совершенно необычное явление). Но мотивировка «для свидания с матерью, детьми и внуками», которую при перечислении доводов А. Д. всегда приводил на первом месте, была многим непонятна. Все знали в то время: если ты провожаешь за границу даже близкого человека — это разлука навсегда. Мотивировка эта ослабляла воздействие требования выпустить жену для лечения. Но опять, оставляя в стороне все эти соображения, люди знали одно: А. Д. на пороге смерти, он снова протестует.

Для меня, узнавшего формулу КГБ: «Положение под контролем, опасаться нечего, а если уступить — они нам совсем сядут на голову», как и для многих других, во всяком случае для большинства сотрудников нашего отдела, была совершенно ясна безнадежность и потому бессмысленность этой голодовки. Мы тогда еще не знали, что значит этот контроль КГБ. Узнали о нем потом из письма А. Д., адресованного Александрову. Неслыханная жестокость контроля подтверждала мое самое первое впечатление от ареста 22 января 1980 года: раз власти пошли на эту акцию, значит, пойдут на все. Буря возмущения мирового общественного мнения, государственных деятелей (например, Миттерана), разумеется, не могла оказать никакого влияния на руководство Брежнева — Сулова (в 1984 году, во время второй голодовки, — Черненко). Ведь все это время оно вело преступную войну в Афганистане. Весь мир бушевал, ООН единогласно (за исключением наших вассалов) осудила СССР. Все это было гораздо существеннее, чем благородная борьба мировой общественности за Сахарова (действительно оказывавшая большую моральную поддержку Андрею Дмитриевичу и Елене Георгиевне).

Планомерно, ловко руководство страны подавляло героическую борьбу немногих участников правозащитного движения. Одних — в тюрьму, лагеря, ссылку, психушки, других — за границу, иногда делая это так, что все выглядело как уступка мировой общественности (Плющ, Александр Гинзбург и другие), иногда высылая насильно (Солженицын) или попросту лишая гражданства (Ростропович и другие). Не наивно ли было верить при этом в успех голодовки? Для тех, кому А. Д. был дорог, каждый день голодовки был болью. И когда он прекратил голодовку, для нас это стало облегчением. Но не для него. Приехавшие к нему сотрудники отдела увидели

⁸ Лет двадцать пять назад в США был проведен такой эксперимент. Ста владельцам придорожных мотелей разослали вопрос: примете ли вы постояльца-негра? Более двух третей (цифру привожу на память) ответили отрицательно. Но когда к ним направили реальных негров, то отказались их принять менее трети хозяев. Это было истолковано как благотворное влияние личного человеческого общения. В случае с А. П. Александровым на это вполне можно было рассчитывать.

измученного, постаревшего человека, угнетенного сознанием того, что он не выдержал голодовки. К несчастью, он тогда же решил в будущем начать все сначала.

Его, конечно, можно понять. Обожаемая жена, здоровье которой находится в критическом состоянии, — достаточная причина. Готовность поставить свою жизнь на карту может вызвать горькое чувство и даже осуждение у других, но тогда нужно осуждать и Пушкина, который прекрасно понимал, что он значит для России, и тем не менее погиб, защищая свою честь и честь своей жены. Но бесперспективность борьбы Сахарова, заведомая безнадежность давили и мучили. Конечно, правы те, кто говорит, что независимо от повода сам факт его протеста был борьбой и за всех нас. Но я, например (как, наверное, и очень-очень многие), не хотел, чтобы он так боролся за меня. Пусть мне будет хуже (все же не так уж плохо), лишь бы он был жив, не превращался в старика раньше времени.

До сих пор не могу понять, как этот умный человек (да и многие одобрявшие его решение тоже умные, близкие ему люди) не признавал простой вещи: депортация в Горький и связанные с ней другие преследования были прежде всего карой за его протест против афганской авантюры. Его ссылка — лишь отзвук, крохотная часть всего огромного преступления. Рассчитывать на эффективность поддержки мировой общественности было в высшей степени наивно. Говорят: американский конгресс принял специальное решение в защиту Сахарова. Однако этот же конгресс не только принял множество решений в защиту афганских муджахидов, но санкционировал передачу им миллиардов долларов и огромного количества вооружений, что ни на волос не сдвинуло гранитное величие тупой и жестокой власти, осуществившей эту авантюру. Пользуясь сравнением самого А. Д., можно сказать, что его ссылка, как и ссылка Е. Г., была лишь щербинкой на этом монументальном граните.

О том, насколько власть не придает значения зарубежным протестам, можно было судить уже по той готовности, с которой она выбрасывала из страны и диссидентов, и мало-мальски оппозиционных настроенных людей — писателей, журналистов, артистов... Ведь за границей они все сильно способствовали развитию протестов общественности, разоблачению злодеяний нашей власти. Однако это совершенно не трогало власть: там делайте что хотите.

Решение Сахарова о новой голодовке в 1985 году было непоколебимым. Мы знали о нем, ужасались, как и перед голодовкой 1984 года, отговаривали его. Перед голодовкой 1985-го он прислал А. П. Александрову письмо с заявлением, что если его просьба о разрешении на поездку Е. Г. будет удовлетворена, он сосредоточится на научной работе по управляемому термоядерному синтезу, в противном же случае заявляет о своем выходе из Академии наук. Ясно было, что он и голодовку возобновит. Все это усиливало наше волнение. Я решил написать ему письмо (здесь и далее опущены и заменены многоточием только те места в письмах, где обсуждались его чисто деловые хозяйственные поручения, в частности его намерение продать дачу):

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Упрекать Вас за действия, которые я считаю неправильными, было бы бесчеловечно (учитывая Ваши страдания последних лет) и несправедливо (поскольку Вы основываете свое решение на недостаточной информации: даже когда Е. Г. ездила в Москву, вся информация поступала от диссидентов и иностранных корреспондентов, а это очень тенденциозный источник). Но я не считаю возможным не сказать Вам того, что, по-моему, есть правда, как бы неприятна она ни была.

Ваша «угроза» выйти из АН, если Е. Г. не выпустят лечиться за границей, идет, я убежден, навстречу горячим пожеланиям очень многих из руководства АН. Чтобы осуществить эту их мечту, достаточно на заседании президиума зачитать один абзац из Вашего письма к А. П., даже не все письмо, и огромное большинство радостно вздохнет, избавившись от постоянной неприятной обузы (последующий шум на Западе вообще не имеет смысла, и на него легко ответить: удовлетворили Ваше добровольное желание). Поэтому своей «угрозой» Вы фактически заблокировали выезд Е. Г. Но главное даже не в этом: покинув АН, Вы потенциально подрываете возможность продолжать в будущем научную работу: о не члене АН академия совершенно не обязана заботиться, обеспечивать возможность работы (см. Устав).

Вы, мне кажется, недооцениваете два обстоятельства. Во-первых, западные ученые сейчас больше всего озабочены угрозой ядерной войны и гонкой вооружений. В январе в Москве была делегация АН США и вела переговоры о научном

сотрудничестве Они шли очень гладко, ни Вы, ни другие диссиденты не были даже упомянуты. Один из руководителей делегации в неофициальном, но публичном разговоре так и объяснил: члены Нац. АН США жмут на руководство, требуя сотрудничества и отбрасывания всего, что может помешать.

Конечно, вполне, вполне возможно, что что-то делается по закрытым каналам (чтобы не раздражать самолюбие и престиж), как это весьма принято, но никаких свидетельств я об этом не знаю.

Во-вторых, требование о разрешении Е. Г. лечиться за границей очень непопулярно. 270 миллионов людей лечатся в СССР, и такое требование в глазах многих очень недемократично, не вяжется с Вашим образом борца за справедливость и демократию.

Я горячо прошу Вас немедленно официально взять обратно свое заявление о выходе из АН. Нужно послать телеграммы А. П. и В. Л. и не знаю, кому еще (но их могут не вручить, как уж бывало), и письмо или хотя бы сообщить устно.

Простите, что наговорил Вам таких неприятных вещей. Но никто другой этого не сделает. Поэтому я должен был.

Всего Вам и Е. Г. хорошего — возможного и невозможного.

Жалею, что мой визит к Вам откладывался и откладывался (до 1 марта?), пока я не загрипповал. Без этого приехал бы.

Ваш Е. Л

24/II-85».

Очевидно, что письмо написано в отчаянии. Я не уверен, что, повторись такая ситуация теперь, я использовал бы приведенный «во-вторых» аргумент против требования разрешить Е. Г. поездку в США.

А. Д. ответил мне письмом, в котором видна его чрезвычайная взволнованность (вычеркнутые и замененные слова, вписанные дополнительные слова и фразы над строкой и т. п.):

«Дорогой Евгений Львович!

Я не основываю свои решения на информации от диссидентов или зап. радио. Мое решение добиваться любой для меня ценой поездки Е. Г. основано на том, как я понимаю свой долг перед ней, отдавшей мне в с е. Я прекрасно знаю озабоченность западных ученых ядерной войной, я тоже озабочен этим. Эта озабоченность только конъюнктурно (только иногда) противоречит защите советских ученых. Но я не могу делать раскладки, нет у меня выбора. Требование дать Е. Г.⁹ лечиться за рубежом — не каприз, ее положение выделено из 270 млн. людей, граждан СССР, ненавистью к ней КГБ. Вы не можете этого не понимать. Она должна иметь право увидеть близких. Это тоже не каприз. Вы предлагаете мне взять обратно заявление о выходе из АН. Я не буду этого делать. Я убежден, что без этой у г р о з ы (не только АН, а и КГБ) Александров вообще ничего не мог бы предпринять по моему делу.

А. С.».

Далее приписка на обороте листа:

«P S. А если АН действительно мечтает от меня избавиться — тогда это раньше или позже все равно случится, лучше уж хлопнуть дверью. Я предпочитаю лучшедохнуть с голоду, а не быть в такой компании, которая жаждет от меня избавиться.

А. С.».

Трагедия — это конфликт, в котором обе стороны правы. Но, как мне уже приходилось писать, они правы по-разному: одна сторона — разумностью, расчетливостью, другая — безрасчетной, без раскладки человечностью. Ужас заключается в том, что как и в античной трагедии, но уже в живой нашей жизни конфликт мог разрешиться только гибелью героя, человеческого и нерасчетливого. Это не давало покоя и побуждало меня приводить Андрею Дмитриевичу неприятные, иногда жестокие доводы.

Не помню, как происходил этот обмен письмами. Я в эти месяцы болел (впервые сердце) и не мог ездить в Горький. Но выяснилось, что в вопросе о выходе из АН мы оба не представляли себе, какую хитроумную возможность использует президент академии, чтобы все оставалось тихо-мирно. Я написал новое письмо, которое предполагал передать с кем-либо из детей А. Д. (им можно было ездить ког-

⁹ В письме пропущено слово «возможность»

да угодно). Но они не захотели по личным причинам, а Люба сказала, что такое письмо можно послать и по почте. И в самом деле — я понял, что мои действия соответствуют желаниям органов. Это именно тот случай, когда я фактически мог рассматриваться как их агент (всюду нужно учитывать, что письма писались с расчетом и на постороннего читателя).

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Так как совершенно неясно, когда именно совершится следующая поездка к Вам сотрудников теоротдела, я решил попросить кого-либо из Ваших детей отвезти Вам просимые Вами лекарства. Как Вы видите, это пока еще не все, что Вам нужно¹⁰.

Пользуюсь случаем сообщить Вам, что, как Вам уже телеграфировал В. Л. Гинзбург, Ваше письмо было вручено А. П. Александрову своевременно. В связи с этим хочу сообщить вам также нижеследующее.

1 Ваше заявление о возможном выходе из Академии наук не будет иметь последствий. Такого пункта о выходе в Уставе АН нет, а исключать Вас не собираются. Вы по-прежнему будете числиться академиком.

2. Ваше заявление о возможной Вашей голодовке вызывает большое огорчение. При теперешнем состоянии Вашего здоровья это жизненно опасно. По опыту прошлого года Вы знаете, что никакой шум за границей не приносит желаемого Вами результата. Это пустое сотрясение воздуха. В этом же году и этого не будет, так как о начале Вашей голодовки никто во всем мире даже не узнает. Поэтому я убедительно советую не совершать таких опасных и заведомо бесполезных в смысле Ваших целей поступков.

Не знаю, получили ли Вы уже мое письмо, посланное через ФИАН. Я там написал подробнее о лекарствах, в частности о том, что нормальная дозировка ноотропила не 3, а 6 капсул в день.

Всего Вам хорошего, прежде всего — здоровья и уравновешенности.

Ваш Е. Фейнберг

9/IV-1985».

Увы, это письмо (которое тоже, конечно, не остановило бы Андрея Дмитриевича) опоздало: 16 апреля он начал третью голодовку¹¹.

С ее историей, с теми же иллюзиями о значении протестов мировой общественности для исхода голодовки связан и один тяжелый эпизод, случившийся во время моей последней поездки в Горький (вместе с Е. С. Фрадкиным) 16 декабря 1985 года, то есть уже после этой третьей — последней — голодовки А. Д., когда Елена Георгиевна уже уехала в США. Это было единственное за семь лет горьковской эпопеи (да и за все сорок пять лет с момента прихода А. Д. в теоротдел и до его кончины) серьезное расхождение между мною, В. Л. Гинзбургом, а также несколькими другими сотрудниками отдела, с одной стороны, и А. Д. Сахаровым — с другой. Речь идет об истории с пакетом, о которой подробно пишет, обсуждая ее в самых разных аспектах, В. Л. Гинзбург в своих воспоминаниях («Свободная мысль», 1992, № 14 и 15).

В самом конце нашего визита, поздно вечером, когда мы опаздывали на поезд и Фрадкин уже ушел, А. Д. узнал от меня уже на ходу в торопливой записи на клочке бумаги, что мы не выполнили его просьбу, которую он в отличие от нас считал очень важной. Кратко дело было вот в чем. Наши рядовые сотрудники, съездившие к А. Д., как правило, решительно предупреждали заместителем директора по режиму о том, что им категорически запрещается привозить от А. Д. какие-

¹⁰ Как-то так сложилось, что на мне лежала ответственность за снабжение Е. Г. и А. Д. лекарствами. Андрей Дмитриевич присылал длинные списки, мы раздобывали их либо в Москве, либо за границей. Один раз нужное редкое лекарство прислал Генрих Бёлль.

¹¹ В своей статье «Кому нужны мифы?» («Огонек», 1990, № 11) Елена Георгиевна цитирует пункт 2 этого письма (начиная со слов «Ваше заявление...»), но без последней фразы («Поэтому я убедительно советую...») и не называет моего имени как автора. Она остро иронизирует по поводу этих строк: «Вот как! А «сотрясение воздуха» всегда помогало. Пока меня не заперли в Горьком, было опубликовано все, что Сахаров там написал» — и т. д. Верно, героическая деятельность главным образом самой Елены Георгиевны сделала возможным спасение и публикацию написанного Андреем Дмитриевичем, но какое это имеет отношение к совершенно безрезультатным требованиям мировой общественности об освобождении А. Д. и разрешении поездки Е. Г., к ужасам бессмысленной голодовки? Я продолжаю считать, что сказанное в моем письме было правильно, и не вижу оснований для иронии. Впрочем, в этой статье Елены Георгиевны было немало несправедливых слов и по поводу других лиц. Она сама начинает ее словами: «Странное создалось положение. Я все время кого-то обижаю» Я не испытал чувства обиды за себя, поскольку считал (и считаю) себя в этом вопросе правым

либо документы для передачи третьим лицам. Нередко по возвращении они снова допрашивались об этом. На самом деле такое правило часто нарушалось. Но в последний перед голодовкой 1985 года приезд один наш сотрудник, ссылаясь на данное им слово не делать этого, отказался взять у А. Д. пакет, адресованный его друзьям-правозащитникам. Тем не менее А. Д. настаивал и сам сунул пакет в портфель этого сотрудника. Пакет, как выяснилось, содержал сообщение о предстоящей голодовке и просьбу созвать, когда она начнется, пресс-конференцию, начав кампанию в зарубежной прессе. К сожалению, условия, в которых все это произошло, были таковы, что всё знали по крайней мере пять сотрудников отдела. При этом положение осложнялось тем, что основной разговор в отделе — при очень неудачно сложившихся обстоятельствах — состоялся в комнате, где, как и в некоторых, если не во всех других, несомненно имелись подслушивающие устройства. Создалась крайне сложная ситуация. Общее, четырех человек, решение не передавать пакет было вызвано нашим опасением, что может возникнуть серьезная опасность по крайней мере для двух ни в чем не повинных семей с детьми. Саму же идею нового обращения к мировой общественности мы считали столь же бесполезной для судьбы А. Д., как и в прошлые годы, например во время предыдущей голодовки 1984-го (период Черненко). Мы были убеждены в своей правоте. Конечно, в тогдашних исключительно сложных обстоятельствах было трудно избежать какого-либо поступка, допускающего полярно противоположные оценки. Удивительно скорее то, что это был единственный такой случай. Впоследствии А. Д. написал в своих воспоминаниях сухо и очень кратко: «Я понял (но не принял) причину исчезновения одного из моих документов». Непосредственная же его реакция в тот момент была остроэмоциональной. Она выразилась сначала в его письме ко мне, написанном на следующий день. В нем содержатся и поныне тяжелые для меня строки:

«Дорогой Евгений Львович!

Посылаю экземпляр статьи для отсылки. Я забыл отдать его в понедельник. Я вынужден написать Вам, что испытал потрясение от нашего разговора в последние минуты Вашего приезда. Я задал свой вопрос больше на всякий случай, считая, что ответ обязательно будет совсем другим. Те опасения, о которых Вы говорили, кажутся мне фантастическими (при случае я постараюсь это обосновать, то же, о чем Вы сказали, кажется мне недостаточной причиной в таком жизненно важном деле). Принятое Вами решение фактически поставило нас — или могло поставить — на грань гибели, — и Вы не могли этого не понимать. Я, вероятно, никогда уже (или очень долго) не смогу избавиться от возникшего у меня чувства разочарования и горечи. Я прошу Вас ознакомить с этим письмом Виталия Лазаревича.

С уважением А. Сахаров.

17/XII-85.

Я надеюсь, что Вы и Фима не заразились от меня гриппом. Это меня очень бы огорчило! 18/XII-85».

Видно, что письмо написано после ночи, наполненной тяжелыми переживаниями. Все же он не отправил его сразу. Приписка, сделанная на следующий день, указывает уже на некоторое смягчение. А еще через два дня он послал моей жене и мне новогоднюю открытку:

«Дорогие Валентина Джозефовна и Евгений Львович!

Поздравляю с Новым годом!

Желаю счастья и здоровья. Все хорошо, что хорошо кончается.

Ваш А. Сахаров.

20/XII-85».

Впоследствии ни сам А. Д., ни кто-либо из нас не возвращался к обсуждению с ним этого вопроса, так что он не мог «при случае это обосновать», да и мы не разясняли ему ничего. Первый наш личный контакт после этого эпизода имел место лишь через год, когда, как я пишу ниже, в день своего возвращения в Москву А. Д. приехал в отдел и провел с нами такие теплые и радостные шесть часов. Пережевывать старое расхождение никому уже не хотелось. Конечно, его остроэмоциональные оценки вроде «поставило нас — или могло поставить — на грань гибели» и т. п. я, со своей стороны, считаю фантастическими, подобно тому как он (по крайней мере в тот первый момент, да еще не имея полной информации) считал фантастическими очень кратко и неполно сообщенные ему наши соображения. И все же внутренняя горечь от этого эпизода осталась у меня и доныне.

Но вернемся к началу третьей голодовки, 16 апреля 1985 года. Нетрудно понять, чем кончился бы этот новый шаг навстречу физической гибели. Но здесь

произошло чудо. Еще 11 марта, после смерти Черненко, генсеком был избран М. С. Горбачев. Горбачев был тогда совсем неизвестен широким массам, и ему только предстояло завоевывать авторитет и в народе и в аппарате ЦК. По довольно достоверным слухам, избрание Горбачева было трудным и оказалось возможным лишь потому, что в заседании Политбюро не участвовали такие закоренелые брежневцы, как Щербицкий и Кунаев. 23 апреля Горбачев выступил на пленуме ЦК с программной речью, в которой звучали непривычные слова «гласность», «социальная справедливость», «перестройка», которые удивляли, но поначалу им не придавали серьезного значения. Но уже 31 мая в Горький к Сахарову прибыл высокий чин КГБ. Из разговоров с ним Елена Георгиевна заключила, что «Горбачев дал указания КГБ разобраться с нашим делом. Но ГБ вела свою политику. Так что у них шла своя борьба, в которой было неясно, кто сильнее — Горбачев или КГБ» (Елена Боннер. Постскриптум. Книга о горьковской ссылке. М. 1990). Если такая борьба и шла (а это в высшей степени вероятно), то, пока А. Д. страдал от насильственного кормления в горьковской больнице, она развивалась очень быстро и в определенном направлении.

Как пишет в своих воспоминаниях А. Д. («Горький, Москва, далее везде»), 11 июля, то есть промучившись почти три месяца, он прекратил свою голодовку, «не выдержав пытки полной изоляции от Люси и мыслей об ее одиночестве и физическом состоянии», и был возвращен из больницы домой. Но 25 июля он возобновил голодовку и через два дня был снова насильственно помещен в больницу. Он, конечно, ничего не знал о развитии упомянутой борьбы в верхах, однако А. Д. пишет далее, что уже 5 сентября к нему вновь приехал тот же Соколов, который был у него 31 мая. Но «тогда Соколов говорил со мной очень жестко, по-видимому, его цель была заставить меня прекратить голодовку, создав впечатление ее полной безнадежности... На этот раз (5 сентября 1985 года. — Е. Ф.) Соколов... был очень любезен, почти мягок... Соколов сказал: «Михаил Сергеевич прочел ваше письмо¹²... М. С. поручил группе товарищей... рассмотреть вопрос об удовлетворении вашей просьбы». На самом деле я думаю, что в это время вопрос о поездке Люси уже был решен на высоком уровне, но КГБ, преследуя свои цели, оттягивал исполнение решения». Оно было исполнено еще через месяц, когда Елене Георгиевне было наконец официально разрешено поехать в США. Там ее сначала лечили консервативно, но потом все же сделали операцию на открытом сердце. Это в корне изменило ее физическое состояние, можно думать — спасло ей жизнь¹³.

Андрей Дмитриевич вернулся из больницы совсем не таким, каким был до всех голодовок¹⁴.

¹² По-видимому, имеется в виду письмо А. Д., посланное Горбачеву в последние дни июля, в котором А. Д. обещал «прекратить свои общественные выступления, кроме исключительных случаев» (А. Д. замечает в той же книге, что начал его писать за месяц до этого), если Е. Г. поездка будет разрешена.

¹³ В той же статье в «Огоньке» Елена Георгиевна пишет, что именно протесты мировой общественности и беспокойство государственных деятелей Запада принесли это освобождение для нее и А. Д., «а новое правительство или старое — дело второе». Согласиться с этим никак нельзя. Почему-то при «старом правительстве» в 1984 году такая голодовка не помогла. Да и все годы ссылки почему-то протесты тысяч иностранных ученых, День Сахарова и все остальное, что Е. Г. перечисляет, не только не привели к такому освобождению, но положение все ухудшалось: осудили Е. Г. на ссылку, ужесточили режим, дошли до кражи сумки с рукописями А. Д., сопровождавшейся его временным отравлением, и т. д. Мне кажется, эта оценка («...новое правительство или старое — дело второе») глубоко несправедлива. «Старое правительство» если в чем-то и уступало, скажем высылая Плюща, Гинзбурга и других (повторяю: неясно еще, «уступало» или высылало в том же порядке, как Солженицына), то делало это «сквозь зубы», ничего не изменяя во всей остальной репрессивной политике. «Новое» же правительство освободило всех правозащитников.

¹⁴ Как-то меня спросили: почему я так страстно уговаривал А. Д. не голодать? Ответ прост: я не хотел, чтобы он умирал, чтобы снова и снова испытывал мучения, которым его подвергали. Я знал, что власть не отступит, что протесты всего мира для нее ничего не значат. Правда, возможно, что голодовка и всемирное негодование помогли Горбачеву в его «борьбе с КГБ», о которой пишут А. Д. и Е. Г. А. Д. рассматривал как свое поражение и слабость воли неудачу голодовки 1984 года. На самом деле он проявил огромное мужество, но результат был предопределен. Нетрудно представить себе, чем окончилась бы и голодовка 1985 года, если бы генсеком был избран не Горбачев, а Гришин, Щербицкий или Романов. Я не сомневаюсь, что сам Андрей Дмитриевич считал (хотя я этого никогда от него не слышал), что своими голодовками он одержал победу над властью. Разубеждать его в этом было бы жестоко. Более того, быть может, именно уверенность в этом придала ему новую веру в свои силы и помогла в последующей борьбе. Пусть так. «Все хорошо, что хорошо кончается».

Освобождение

Еще целый год истек, прежде чем к А. Д. пришла свобода, и притом с такой полнотой, о которой никто ранее и мечтать не мог. В течение 1986 года я и сам болел, и дома у меня сложилась ситуация, не позволявшая мне отлучаться. Поэтому наше с А. Д. общение ограничивалось перепиской. Хочу рассказать об одном из сюжетов этой переписки — по поводу его последней научной работы, сделанной в Горьком в 1986 году. Вот письмо А. Д. от 29.5.86:

«Дорогой Евгений Львович!

Посылаю свою заметку «Испарение черных мини-дыр и физика высоких энергий» У меня большие сомнения, не является ли все в ней написанное тривиальным, и в любом случае это шкура неубитого медведя (поскольку ни одна черная дыра еще не наблюдалась. — Е. Ф.). Плохо также, что многие оценки не доведены до числа (очень характерное для А. Д. замечание, он любил все доводить до конкретного числа — Е. Ф.) (в особенности относящиеся к вращающейся дыре, а может, и это тоже известно) Прошу дать на рассмотрение мою рукопись кому-либо из знающих людей, вероятно, В. Фролову, с просьбой подойти критически и безжалостно. Если в конце концов заметка будет все же найдена подходящей для опубликования (может, после переработки), прошу Фролова (к сожалению, не знаю его имени-отчества) снабдить ее ссылками на литературу. У меня под руками ничего нет, в том числе и книги Фролова, о существовании которой я недавно узнал. В этом отсутствии литературы одна из причин моей неуверенности. К Вам же, если заметка будет готовиться к печати, просьба посоветовать, куда ее послать — может, в «Письма в ЖЭТФ» (наш главный физический журнал для быстрой публикации небольших по объему статей. — Е. Ф.) — и помочь с оформлением (имеется в виду организация экспертизы, удостоверяющей отсутствие секретных элементов и проч. — Е. Ф.).

Самые лучшие пожелания Валентине Джозефовне и Вам.

Ваш Сахаров.

29 мая 86.

P. S. Упомянутая в тексте статья Курира имеет следующие координаты: Physics Letters, Vol 161 B, p — b (? — Е. Ф.). 4, 5, 6 31 Oct. 1985. A. Curir, «On the Energy emission by a Kerr black hole in the superradiation range».

Пишу на случай, если Фролов ее пропустил.

P P S. (sic. — Е. Ф.). Вместо ссылки на книгу Окуня лучше бы дать прямую ссылку»

Неуверенность А. Д., выраженная в этом письме, объясняется тем, что этим специальным вопросом он ранее не занимался и, значит, за соответствующей литературой особенно не следил (как говорится в тексте, он в это время был особенно увлечен теорией суперструн). Валерий Павлович Фролов, сотрудник фиановской лаборатории электронов высокой энергии, — специалист в области релятивистской астрофизики вообще, черных дыр в частности. Видимо, А. Д. наткнулся на статью Курира, и ему пришла в голову идея его заметки. Ясно, как вредила его научной работе изоляция.

Я приведу и свой ответ, чтобы было видно, как теоретдел пытался преодолеть эту изоляцию:

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Присланная Вами рукопись статьи об излучении мини-дыр и физике высоких энергий пришла, как Вы понимаете, с некоторой задержкой. Согласно Вашему желанию она была обсуждена специалистами, прежде всего с Фроловым (кстати, упоминаемая Вами его книга, написанная вместе с Новиковым, еще не вышла из печати, она поступит в продажу только в сентябре, а может быть, и задержится). Результат обсуждения статьи был вполне благоприятным: высказана новая идея, проведены оценки и вообще с точки зрения идей, развиваемых в настоящее время в космологии, она вполне актуальна. Были сделаны только два замечания. 1) Оценки производятся при пренебрежении вероятной возможностью существования облака уже испущенных частиц, которое может повлиять на эффект, но, насколько я понимаю, Вы сами в тексте упоминаете такую возможность. 2) Оценку изменения углового момента производил (чего Вы, очевидно, не знали) Пэйдж (Page), но только для испускания безмассовых частиц. Поэтому мы позволили себе в этом месте сделать вставку — одну фразу: для безмассовых частиц этот воп-

рос рассматривал Пэйдж, и дать соответствующую сноску. Кроме того, составлен по форме список литературы, упоминаемой Вами в тексте статьи.

Посылая Вам один экземпляр окончательно подготовленного текста, мы одновременно оформляем этот текст для посылки в журнал «Письма в ЖЭТФ» и, не дожидаясь Вашего ответа на это письмо, направим его в редакцию журнала. Если Вы пожелаете внести какие-либо изменения, то хотя они и печатают быстро — время еще будет.

Пользуюсь случаем поздравить Елену Георгиевну и Вас с успехом произведенной ей такой опасной операции на сердце.

Валентина Джозефовна, а также Виталий Лазаревич просили передать вам привет и наилучшие пожелания.

Всего хорошего (и в надежде на хорошее).

Фейнберг

17.06.86»

В ответ пришла телеграмма 25.6.86:

«Прошу прислать фотокопии статей Пэйджа физрев Д-13 Д-14 до моего ознакомления использования прошу задержать отсылку моей статьи возможны изменения»

Эта (последняя от него из Горького) телеграмма означала, что сообщенная ему в письме от 17.6.86 критика «специалистов» по поводу его работы о черных минидырах побудила А. Д. приняться за переработку и доработку статьи, а может быть, у него и самого появились новые соображения. Жизнь в науке продолжалась.

Благотворные перемены в стране нарастали, и соответственно нарастали наши надежды на перемену в судьбе А. Д. Мы с нетерпением ждали их, ловили обнадеживающие признаки. Наконец наступил тот памятный день, когда поздно вечером представитель органов привел в квартиру А. Д. двух монтеров, спешно установивших телефон. Уходя, руководитель операции сказал: «Завтра к вам будет важный звонок». Этот звонок состоялся. Звонил М. С. Горбачев.

Я узнал об этом через два-три дня из рассказов тех, кто слушал иностранные «голоса». Говорили нечто невероятное: будто Горбачев пригласил А. Д. приехать в Москву и «приступить к своей патриотической деятельности». Я решил, что здесь ошибка, результат двойного перевода. Вероятно, было сказано «начать работать на пользу родине», а при переводе с русского на английский и обратно получилась «патриотическая деятельность». Узнав горьковский номер телефона — 266-95-60, — я, смеясь от счастья, позвонил А. Д. Спросил: «Когда же вы приедете?» Он ответил: «Елене Георгиевне нельзя выходить, если мороз ниже десяти градусов. Вот обещают в понедельник потепление. Если так и будет — приедем во вторник утром». Повторяя какие-то полуосмысленные слова, я уже в шутку сказал: «Андрей Дмитриевич, а вы помните? Во вторник в три часа, как всегда, семинар. Ну ладно, не принимайте всерьез, вы будете измучены, и вообще будет не до того»

Во вторник, 23 декабря, как я знаю по рассказам, рано утром, еще в темноте, Е. Г. и А. Д. встречала толпа фотокинотеле- и просто репортеров. Тьму рассеяли фотовспышки. Разумеется, смешно было ожидать, что А. Д. приедет на семинар. (Я только потом увидел хроникальные кадры, в которых, видимо отвечая на вопрос какого-то репортера еще на вокзале, он говорит: «Первым делом я поеду в институт».) Днем В. Я. Фейнберг поехал к нему домой на своей машине, просто чтобы узнать, чем можно помочь (телефон на квартире был выключен). Но А. Д. заявил, что поедет в ФИАН. Ничего не зная об этом, я пришел в отдел в два тридцать и застал коридор гудящим от невероятной новости: А. Д. уже здесь, в своей комнате, где на двери висела та же картонная табличка с его именем (уже пожелтевшая за семь лет), что была до его ссылки. Стоял тот же старинный резной письменный стол, который перешел к нему после смерти Игоря Евгеньевича. Мы обнялись, и в том же состоянии радостного возбуждения я повел его в конференц-зал института на семинар, где уже собралось много людей. Все уже знали и встретили А. Д. аплодисментами. Он сел на свое обычное место, а я как председательствующий стал говорить нечто беспорядочное. Начал, напомнив фразу, которую произносят на сцене артисты, изображающие толпу и ее говор: «Что говорить, когда нечего говорить». А потом рассказал почему-то, как мы с И. Е. Таммом поставили А. Д. на аспирантском экзамене четверку. И сам спросил: «Боже мой, почему я это говорю?» Ритус воскликнул: «От полноты чувств!» Все рассмеялись.

По совершенно случайному совпадению назначенный доклад был посвящен той самой барионной асимметрии мира, которой четверть века назад дал свое объ-

яснение А. Д. Докладчик начал словами: «Как показал Андрей Дмитриевич...»¹⁵ А после семинара, радостных рукопожатий старых коллег, мы, четверо «старших», вместе с А. Д. снова пошли в его кабинетик, и начались бесконечные разговоры. А. Д. рассказал подробнее о разговоре по телефону с Горбачевым. Он приведен в его воспоминаниях «Горький, Москва...», и повторять его здесь я не буду. Оказалось, Горбачев действительно сказал «возвращайтесь и приступайте к своей патриотической деятельности». Это означало полное признание правоты А. Д., того, что он говорил 18 лет назад. Разговор этот замечателен широтой, с которой действовал Горбачев, и неизменным чувством собственного достоинства, с которым встретил свое освобождение А. Д., сразу же заговоривший о других, о своих товарищах по правозащитному движению.

Я не буду писать о последних трех годах его жизни после ссылки. Они были уже у всех на виду. А. Д. был подхвачен начавшейся у нас революцией (скромно называемой перестройкой), которую он провидчески призывал еще в 1968 году, основные идеи которой совпадали с его идеями. Осуществлялись самые невозможные, нереальные мечты: гласность, свободные речи на митингах и демонстрациях, ликвидация всеохватывающей цензуры, свобода религий с возвращением храмов, конец конфронтации со всем «чужим» миром, ставшим нашим другом, — все то, что необходимо демократии, но недостаточно для нее.

А. Д. выступал как «посол перестройки» за рубежом — его слову верили ведущие государственные деятели Запада. Он выдвигал новые конструктивные идеи огромного значения. Нельзя не поражаться, читая материалы его выступления на «Форуме за безъядерный мир, за международную безопасность» уже в феврале 1987 года. Намечая пути к разоружению, обсуждая ядерную стратегию, он выступал как специалист, и его идеи (отказ от «принципа пакета» и др.) были воплощены в международной политике нашей страны.

Я хотел бы вместо воспоминаний об этом этапе закончить словами о чисто личных качествах А. Д.

Ныне покойный товарищ А. Д. и по университету и по аспирантуре М. С. Рабинович говорил, что тогда А. Д. чувствовал себя, по существу, одиноким. Эти же слова я слышал недавно от Елены Георгиевны. В. Л. Гинзбург считает, что к А. Д. применима характеристика, данная Эйнштейну его биографом А. Пайсом: *arapness* — обособленность, отстраненность. Действительно, часто, разговаривая с ним, особенно если речь шла не о чем-то обычном, бытовом, я испытывал ощущение, что в нем параллельно разговору идет какая-то внутренняя жизнь, и это отнюдь не снижало его внимания к тому, что говорилось. Просто он непрерывно перерабатывал внутри себя что-то связанное с тем, о чем шла речь, и результат этой переработки высказывал очень скупно.

Но если он и был одинок, отстранен, то это непостижимым образом совмещалось с его эмоциональностью и силой чувства к другим людям. Только в одиночестве ему было бы холодно. В самом деле, он сам пишет, какое потрясение он испытал от смерти первой жены, Клавдии Алексеевны. О силе его глубокого чувства к Елене Георгиевне, Люсе, может теперь судить каждый по двум томам его мемуаров: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде».

Я вспоминаю один случай в ФИАНе, относящийся к 70-м годам. Я подошел к лестнице, ведущей в конференц-зал, и увидел спускающегося по ней А. Д. Подняв над головой полусогнутые руки, неловко ступая в этой позе по ступенькам, произнося слова, как почти всегда, с расстановкой, он едва не кричал мне: «Евгений Львович! Ужасное несчастье, ужасное несчастье! Люба (младшая дочь А. Д. — Е. Ф.) родила мертвого ребенка, точнее, он умер сразу после рождения. Ужасное несчастье, ужасное несчастье», — повторял он, уже спустившись ко мне. А через два года, придя с опозданием на начавшийся уже семинар, сел со мной рядом и, сияя, сказал тихо: «Люба родила, все благополучно».

Короче говоря, этот внешне суховатый, корректный, отстраненный человек был в то же время парадоксальным образом глубоко эмоционален, даже страстен.

¹⁵ Вообще все эти годы имя Сахарова, его работы открыто фигурировали на семинаре. Не только мы, но и многие другие физики в Москве тщательно следили за тем, чтобы нужные ссылки на его работы всегда помещались в статьях основных журналов — «ЖЭТФ» и «Успехи физических наук». Один раз во время горьковской ссылки А. Д. как академик (это его право) представил статью Б. Л. Альтшулера в «Доклады Академии наук СССР». В данном случае возникло смятение, трудности, редакция колебалась, но все же удалось пробить эту статью, и она появилась с полагающимся подзаголовком «Представлено академиком А. Д. Сахаровым»

Он был верным другом и своих товарищей молодости, и единомышленников по правозащитному движению, и это тоже видно из его воспоминаний. Он мог написать друзьям поздравительную открытку и подписать ее: «С большой любовью. Целую. Андрей». В нем было много нежности к людям, любви и потребности во взаимности. Одинок? Отстранен? Нет, все сложнее. Как и в его научной жизни, вряд ли постижимо. Вспомним слова выдающегося физика Зельдовича, которые приводит в своих воспоминаниях В. Л. Гинзбург: «...других физиков я могу понять и соизмерить. А Андрей Дмитриевич — это что-то иное, что-то особенное».

В один из годов горьковской ссылки я послал одной знакомой, как оказалось — опытному графологу, Л. В. Гороховой, рукописные тексты некоторых людей, заведомо не известных ей ни лично, ни по почерку. Делалось это отчасти чтобы развлечь инвалида, запертого в четырех стенах, отчасти чтобы посмеяться над «лженаукой». Тексты отправлялись по почте, без указания имени авторов или каких-либо других сведений о них, под номерами, а результаты анализа передавались мне по телефону. В первой посылке было два текста — Андрея Дмитриевича и еще одного, можно сказать, противоположного ему по характеру ученого. Заключение графолога уже по этому второму человеку поразило своей точностью даже в деталях: «...(очень) умный, хитрый (или с хитрецей)... Добр, но больше «для себя». Нежный. К людям, к человечеству относится, в общем, плохо (видимо, следствие высокомерия)... Нечестность (в карман не залезет, не убьет)» — и т. д. Но вот анализ почерка А. Д.:

«Прямота. Честность. Доброта. Наивность, иногда соседствующая с инфантильностью. Несомненно умный. Ум не эгоцентричный, гуманный. Добро принимает человечество. Одаренность несомненная. К себе относится даже чересчур скромно. Поэтому его в жизни шелкали по носу. О карьеризме и говорить нечего. Свое дело делает обязательно, если только не по принуждению. Дело делает со всей охотой. Должно быть, благополучен лично. Душевно щедр. Любит людей, и в частности близких ему. Способен к жертвенности (не ярко выражено). Можно с ним идти в любую разведку (обычный резюмирующий критерий этого графолога — можно или нельзя с этим человеком идти в разведку. — Е. Ф.). В опасной ситуации сделает так, что не ему будет лучше, а другому».

Неужели графология — точная наука?

Последний раз я видел его в понедельник, 11 декабря 1989 года, в день, в который по его призыву происходила двухчасовая политическая забастовка. В ФИАНе было устроено двухчасовое общее собрание в десять часов утра, на котором он выступил с блестящей речью. Я подходил к главному зданию, когда из машины вышел человек в короткой куртке и шапке-ушанке. Он бодро взошел, почти взбежал по ступеням главного входа, сверху помахал мне рукой и остановился, поджидая меня. Я из-за плохого зрения не мог его разглядеть, по фигуре и движениям показалось, что это кто-то другой, более молодой. Только по этому движению рукой да подойдя ближе, я увидел, что это он. Бурная политическая жизнь последних трех лет почти омолодила этого так постаревшего после страшных голодовок человека.

И все же через три дня он рухнул.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ЭТО БЫЛО У МОРЯ...

Ну кто б мог подумать, что Леонид Парфенов — автор-ведущий моднейшей на нынешний день телепрограммы «Намедни» — возьмет да заявит, не без горячности: надоели-обрыдли и политика, и политики. Включая Шумейко с большими ушами. Хочется, дескать, предложить иную иерархию новостей, где новость — выход романа Андрея Битова.

В литературных кругах «новинку сезона» встретили куда прохладней. Лев Аннинский в «ЛГ» (номер от 27.10.93), работая в стиле: «умный делает вид, что он дурак, который делает вид, что он умный, но знает, что он дурак», сработал «ничего» — «НИЧЕГО как предмет рефлексии». А «Сегодня» спустила с поводка Вячеслава Курицына. Дабы этот волчонок, с бульдожьей хваткой прирожденного АНТИЛИДЕРА, скорректировал слишком уж корректный отзыв А. Немзера в той же газете.

Итак, по Немзеру: «Ожидание обезьян» — никакой не роман, а малая литературная энциклопедия 70-х и 80-х годов, в зияющих пустотах которой бродит-болтается усталый писатель, смертно ревнуя к себе самому. Тому, кто написал книги Андрея Битова.

По Курицыну: самоотравленье свободой. Похмелье в чужом пиру. И постпохмельный синдром: kleptomания и подлог. Однако: не после этого ли фельетона десятая книжка «Нового мира» — с «Обезьянами» — исчезла из газетных киосков. Шутка ли — обвинить автора «Пушкинского дома» в подлоге, да еще «беспардонном». Публика наша до шуточек подобного рода не доросла. Она пока еще не так дурно воспитана. Ей и в голову не пришло, что подлог совершил не писатель, а его критик: спрятавшись за Битова, подсунул нам, ротозеям, собственную, в постмодернистском вкусе, якобы вариацию. Вроде как из викторианских времен. С участием очаровательной Джейн Остин (Остен?), ее супруга м-ра Грипа, ученой домашней обезьяны Чарли, а также ГОЛУБОГО бокала, краденного, точнее, стибренного Битовым со свадебного стола почтенной английской четы.

Само собой, весь этот мусорный «стёб» к новомирской публикации отношения не имеет. Потому как писано — Битовым — не про это. Плохо ли, хорошо, но — про другое.

Про что же? Да про то, как лет десять назад Автор, он же Главный Герой затейного Автором колониального боевика под рабочим названием «Солдаты Империи», переместился с немилого севера в сторону южную. А именно: в Сухум. В белоснежную гостиницу «Абхазия», что стояла когда-то у самого синего моря. «В приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Для небогатых интуристов и знатных аутсайдеров.

Роман, однако, продвигается туго, потому как и рукой, и пером Первого Стилиста Империи движет, увы, хоть и белая, а зависть. И не к грузинскому Маркесу, то бишь Отару Чиладзе. И даже не к грузинскому же Дюма, то бишь Чабуа Амирэджиби. К «феномену грузинского романа» вообще. Но и кто из нас в ту златорунную пору, в пору грузинского периода российской словесности, им, за Хребтом-Стеной-Спиной Кавказа укрывшимся, не завидовал? И небо там — выше, и воздух — слаще, и цензура — ленивей. Ну и товарищ Правительство, не в пример нашим — мужланам, о писателях заботится: мягко, щедро, почти по-семейному.

Место действия (исток, начало) точно не обозначено. Брезжит, двоится, трогается. То ли пляжные тропы вдоль сосновой реликтовой роши — «отпусти-ка меня, конвойный, прогуляться до той сосны!». То ли пятачок сухумской набережной с десятком кофеен. То ли вообще — провинция у моря. Не ясно видится Автору (по причине отсутствия «магического кристалла») и жанр: что-то вроде романа-прогноза а-ля Андре́й Амальрик. Застолблен лишь способ соображения понятий — «вольная натаска». Да сюжетное задание для Главного Героя. В случае, ежели Союз нерушимый не переживет-таки предсказанный Амальриком срок и Башня начнет заваливаться, ему, Герою, согласно Плану, надлежит вывести личный состав романа «из варварских балтийских болот», «мимо кипящей Московии», через «злые» кипчакские степи в благословенные пространства Иверии, к неотливающему кровью Понту Евксинскому (так, так видится из года 1983-го).

Политико-этнографический сей детектив Битов не дописал. А рукопись бросил-подбросил в первый же понтийский пожар. Тот самый, что выжег дотла белоснежную «Абхазию». Пока еще только «Абхазию». Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Время не писать романы — время их делать! Страна очнулась от долгого сна-беспамятства и, озираясь спросонок, двинулась в Новую Жизнь. На заре Новой Жизни экс-аутсайдеру подфартило. Получил-таки Пропуск-Визу-Билет. Во все стороны Старого и Нового Света. И вскорости «на карте мира» живого места от него не осталось. Одна Албания — «туда хоть нельзя». А в придачу к бессрочному, на халяву, Проездному — новые: ДОМ-ЖЕНА-РЕБЕНОК. И Сад при Даче. Переделкинской. С роскошной осенней пустотой внутри.

«Вернулся из Америки — и на дачу: вот картошку выкопаю и в Париж махну»...

Ауфвидерзеен вам, Борис Леонидович!

Оревуар вам, Юрий Карлович!

Я свое вам отзавидовал. Теперь вы, заложники-пленники вечности, мне, временному, зато вольному, — позавидуйте!

Не жизнь, а малина, вот только: НИ СТРОЧКИ!

Тут-то и запаниковал Главный Герой. Это как же: ни строчки?! А запаниковав, в ностальгию ударился: «Империя кончилась, история кончилась, жизнь кончилась — дальше все равно что» («Все равно, в какой последовательности будут разлетаться головешки и обломки и с какой скоростью»).

Ага, догадался наконец-то Первый наш Критик — вон куда тебя занесло! Только прикидывался гражданином мира, только воображал себя всемирным путешественником! А на деле — доброволец Империи, ее, так сказать, верноподданный. Чем не второй Проханов?

И попал пальцем в небо, вернее, в дырку от бублика.

Это же спутники Автора и двойники Главного Героя оплакивают разбитую жизнь, а заодно-кстати черепки-обломки-осколки империи. А он, Битов, опять единый и вновь неделимый, уже перемахнул в очередной-постимперский-оп-ла = ЗОО-САД. В Зоопарк, оказавшийся не снаружи. Сиганул прямо через штaketник! И гуляет себе по стране обезьян. «Полароид» — на кожаном ремешке. Не спи, не спи, свидетель! Не жалея свой валютный кодак!

Фотки вышли отличные. Молодец «полароид»! Вот одна — из удачнейших:

«...он оказывается рядом с вами, обезьян... полулев-полусобака... Неприветлив, смотрит исподлобья. С ним не следует встречаться взглядом... То есть встретиться можно, но сразу и отвести. Не смотреть в упор, потому что он воспримет это как агрессию... Может и цапнуть — клыки внушают... На самок тоже смотреть не рекомендуется». Но как, однако ж, не посмотреть? «Когда у нее черт знает что сзади творится! Все выворочено наружу, раскрыто и сияет всеми цветами радуги! Возможно даже, меняет окраску в зависимости от зрелости, спелости и готовности... Это мы с вами все попрятали... А у них... У них и на лице что-то подобное, вроде седалищной мозоли... тоже в сине-красную полоску... клоуны, маски, карнавал, обнаженная тайна, тайна и есть маска...»

Не на сей ли срамной портретик обезьяньего ПОЛУЛЬВА среагировал Курицын? Юный отец нашей юной срамной словесности? Обозлился и цапнул. Пока еще лапой — клыки: впереди.

На месте Битова — я б взликовала. И послала «обидчику» что-нибудь в лапу. Что-нибудь наподобье цитаты-эмблемы. Скажем, красную розу в голубом поцелуйном овальном бокале. Или бутылку чего поцекистей. Например — «Ахтамара». Из соответствующей колониальной коньячной коллекции. «От нашего стола — вашему столу». А можно и так: «Антилидеру от Лидера».

В знак особой признательности. Потому как ни язвительно-корректный Немзер, ни равнодушно-внимательный Аннинский, ни все прочие добро- и не-доброжелатели — вкупе — не сделали того, что сделал для Битова Андрея — Курицын Слава:

заставил-таки подписчиков, одуревших от спешки, несмотря на все свои заморочки, прочитать «Обезьян» не вполглаза, а как читали в старину, когда некуда было спешить, — не пропуская ни строчки.

Алла МАРЧЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Подробный анализ трилогии Андрея Битова «Оглашенные» (и ее завершающей части «Ожидание обезьян») будет опубликован в одном из ближайших номеров «Нового мира» в 1994 году.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР



СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ С ГОГОЛЕМ

В повести Владимира Кравченко «Ужин с клоуном» («Знамя», 1992, № 6) есть весьма примечательный фрагмент, с рассмотрения которого представляется разумным начать разговор о месте Гоголя в новейшей российской прозе. То ли автор, то ли близкий ему центральный персонаж вспоминает сцену из второй главы «Мертвых душ» — знаменитое топтание Чичикова и Манилова у входной двери. «Эта мизансцена, вечно стоящая перед нашими глазами, этот вопрос вопросов: кто же возьмет верх и уговорит приятеля войти первым? От этого, и только от этого, зависела дальнейшая фабула, все течение бессмертного романа (поэмы)». «Патовая ситуация, питаемая чистой энергией искусства», не имеет прямого касательства к волшебной истории о художнике, прощающемся с юностью. С другой же стороны, прославленный эпизод вроде бы не так уж жестко определяет смысловой рисунок поэмы о похождениях Чичикова. Магия в том, что Кравченко, уловив внефабульную значимость «бытовой сценки», не только приоткрыл дверцу в гоголевский художественный мир, но и перенастроил читательскую оптику в отношении собственного сочинения. Остановка, задержка действия, пауза оказались важнее стремительного сюжетного разбега, деталь, ласкающая взор, означающая якобы лишь чистую радость художества, обрела тайную энергию, подчинила себе пространство поэмы Гоголя и повести его нового ученика. Случилось то, что Набоков в несколько ином (но и не вовсе нам чуждом!) контексте нарек «гоголизацией».

Кравченко нащупал точку пересечения собственных поисков и дорог Гоголя — точку паузы, остановившегося мига, что околдовывает персонажей, лишает их воли, обращает в статуи. Придверный диалог Чичикова с Маниловым — явление того же порядка, что и многожды обсужденные гоголеведами сцены окаменения. Ну хоть та, что венчает маниловскую главу: «Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина» (6; 39)¹. В сущности, Манилов так же не может выйти из своего остолбенения, как раньше не мог он пройти в дверь прежде милейшего Павла Ивановича. Как почти справедливо пишет Кравченко, «автор (Гоголь) схитрил, потому что ясно почувствовал опасность, потому что понял, что задача эта — кого же из двух героев пропустить вперед? — в принципе неразрешима и вечна по своей художественной природе».

Манилов ощутил фантазмагоричность чичиковского предложения и испугался, однако испуг его не был слишком продолжительным: Гоголь позволил ему жить, не обращая внимания на странное предприятие симпатичного знакомца. Интересно другое: маниловские мечтания — о мосте ли с торговцами, о необыкновенной ли его дружбе с Чичиковым, узнав о которой государь «пожаловал их генералами» (6; 39), — столь же эфемерны, внереальны, как афера с мертвыми душами. Не случайно главная страсть Манилова — курение; табачный дым одновременно вполне реален — и иллюзорен, «горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками» (6; 32), существуют — но могут мгновенно рассыпаться. Поразительно конкретный предметный мир, окружающий гоголевских персонажей, в сущности, есть мир «вымечтанный». Отсюда, кстати, и бросающая-

¹ Здесь и далее все ссылки на произведения Гоголя даются в тексте в скобках по изданию: Г о г о л ь Н. В. Полн. собр. соч. <в 14 томах. М.> 1937 — 1952; номер страниц отделяется от номера тома точкой с запятой.

ся в глаза слитность очередного персонажа со своей «средой обитания». Каждый предмет готов воскликнуть: «...и я тоже Собакевич!» (6; 96) или: и я тоже Ноздрев, Коробочка и т. д., потому что лишен самостоятельного бытия, как в свою очередь лишены вневещного бытия гоголевские обладатели «мертвых душ». (Позволим себе каламбур, строящий и держащий великую поэму.) Многолетний спор о Гоголе — «реалисте» или «фантасте» минует сердцевину его поэтической философии. Чем фактурнее, плотнее, узнаваемее предмет (персонаж, ситуация, сюжетная модель), тем более фантастична его природа. Мы вправе задаться не таким уж праздным вопросом: не из маниловского ли дыма соткались те маленькие тучки, о которых любезный хозяин предупреждал спешащего к Собакевичу гостя? Тучки эти стали причиной страшной грозы, сбившей Селифана с пути (вспомним, как долго и вежливо объяснял кучеру Манилов дорогу, вспомним, как славно угостили Селифана в Маниловке-Заманиловке) и обеспечившей встречи Чичикова с Коробочкой и Ноздревым, то есть его неизбежное поражение. Кравченко верно почувствовал обреченность ловкого скупщика уже в сцене топтания перед дверью — в мире «мертвых душ» невозможно событие, из мертвого не может возникнуть живое (а этого-то и хочет Чичиков). Противопоставление Манилов — Собакевич (тонкий — толстый, вежливый — грубый) поверхностно, но так же поверхностно противопоставление помещиков, Чичикова не выдавших, его погубителям — Коробочке и Ноздреву. Все они (хоть и всяк по-своему) самодостаточны, все они обитают в замкнутом пространстве собственных мечтаний; вранье Собакевича, верящего, что проданные им мертвецы — живы, стоит хрестоматийного вранья Ноздрева, визит Коробочки в город за справкой о ценах на мертвые души означает не только дубиноголовость.

«Грустно, что автор не оставляет Чичикову ни малейшей надежды. Оттесняя его плечом, выступает на стороне своих персонажей, в которых он (автор) влюблен — влюблен в их гибельную цельность, в их истовость, роман разворачивается в историю ревливой («страшной»!) мести оскорбленного разночинца Гоголя своему деятельному герою, этому бедному ответчику за все грехи современной ему России...» — завершает свое отступление Владимир Кравченко. Сейчас нас не интересует, насколько точны формулировки автора очень обаятельной прозы (есть здесь ноты, вызывающие несогласие); другое любопытно — соотнесенность главных мотивов гоголевского фрагмента с самой повестью Кравченко. После комментария к «придверному» эпизоду, выросшему в интерпретацию всей гоголевской поэмы, становится понятным пристрастие персонажей Кравченко к измышлению собственного бытия. В первую очередь это относится к отцу героя, неистощимому в рассказах о славном прошлом, подменяющему скучную и взывающую к ответственности реальность постоянной игрой. Нечто подобное можно усмотреть и в остальных героях. И, конечно, в рассказчике, в том, кто называет себя клоуном. Неизвестно да и не важно, побывал ли герой Кравченко в городе своей юности — не названном по имени «городе на горах» — или вообразил путешествие, встречи, споры, сны и воспоминания в те несколько минут, что предшествовали его выходу на цирковую арену. Грань меж явью и мечтой размыта, сила освобождающего воображения, художнического (клоунского) дара восславлена. Художнику, влюбленному в замкнутых на себя персонажей, дано то, что, по мнению Кравченко, недоступно гоголевскому протагонисту — возможность контакта, вхождения в чужой мир. Так кравченковский клоун размораживает своих многочисленных собеседников (старинного друга, ставшего бизнесменом, официанта, заранее презирающего клиентов, и т. п.), так кравченковский повествователь позволяет нам ощутить всю человеческую неповторимость тех, с кем клоун общался. Но здесь-то и таится хитрость нашего писателя.

Его герой обречен на двуипостасность. Покуда он человек, подобный прочим людям, его подкарауливают привычные каверзы, работает неотменяемая взаимоотноужденность самодостаточных сознаний. И лишь артистизм позволяет выйти из вечной паузы, лишь фокус (вроде гоголевского согласия ввести героев в злосчастную дверь одновременно) позволяет жизненному сюжету двигаться к неясному будущему. И кажется, Кравченко вполне в этом отдает себе отчет. Счастье писателя — созерцание торжественной паузы, когда все персонажи как на ладони, отчетливо видны и скульптурны. Может быть, им что-то пригрезилось, может быть, поразила их некая странность, может быть, открылась сверкающая и страшная истина (в гоголевском мире не всегда возможно отделить одно от другого — желающие

могут припомнить множество истолкований «немой сцены», не спеша объявлять какое-либо из них совсем уж вздорным). В определенной мере автор (Гоголь? Кравченко?) тут уподобляется своим любимым героям, их отношения заставляют вспомнить не только гоголевские признания о происхождении героев поэмы из его собственной души, но и отмеченную выше идеальную слитность человека и принадлежащего ему вешного мира. Но сюжет-то обязан двигаться, но замкнутость-то должна преодолеваться, но событийность-то требует своего! Не веря в возрождение Чичикова, Кравченко соединяет всегда обреченного героя с победительным артистом. И дело тут не сводится к вопросу о жанровом приоритете.

Точнее, сам жанровый выбор — отказ от сюжетной прозы ради прозы лирической — становится свидетельством глобальной авторской установки. Только художнику дано возвыситься над прелестью замкнутой неподвижности, только его мечта позволяет прикоснуться к скрытой сущности. Это похоже на Гоголя, но только похоже! Действительно, поворотная, центральная шестая глава «Мертвых душ» обрамлена «писательскими» отступлениями-монологами, конденсирующими гоголевскую энергию надежды — надежды на преображение реальности, разбуженной к жизни словом поэмы. Пятая глава завершается апологией русского слова, отражающего характер народа, «носящего в себе залог сил, полного творящих способностей души» (6; 109). (Заметим, что торжественный гимн вырастает из акцентированно низменного эпизода, животрепещущее и сердечное русское слово — это преобразившаяся матерщина. Эпизод строится по тому же закону, что и вся поэма: воскреснуть предстоит не кому-нибудь, но нашим знакомцам. «Синекдохичность» гоголевской поэмы, разрешающая сквозь любой почти фрагмент увидеть целое, обуславливает, между прочим, принцип «гоголизации» негоголевских текстов: цитата с непреложностью рождает мощное ассоциативное поле. Так получилось в повести Кравченко — так будет и дальше.) Седьмая глава открывается не менее зацитированным монологом с первым в поэме открытым пророчеством: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущую жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подыметя из облеченной в святой ужас и в блистанье главы, и почувют в смущенном трепете величавый гром других речей...» (6; 134 — 135). Ясно, что пророческая мощь писателя сопряжена с потаенной до времени мощью народной души, что финал главы пятой как бы продуцирует зачин главы седьмой. Проблема в том, что между ними уместилась глава шестая — плюшкинская.

В этой главе Гоголь не только рассказывает историю медленного умирания души Плюшкина (отличие этого героя от остальных «душевладелец», всегда себе равных, истории, а значит, и зримой надежды на воскрешение не имеющих, вполне хрестоматийно), но и сопоставляет «плюшкинский» сюжет с иными. Во-первых, это лирический зачин, противопоставляющий автора в юности, радостно открывающего для себя необъятность мира в любой его точке, автору нынешнему, равнодушно видящему повсюду «пошлую наружность» (6; 111). Одряхление-опошление мира (устойчивый мотив российской позднеромантической словесности; здесь достаточно напомнить имена Баратынского и Владимира Одоевского) у Гоголя разом и мотивирует одряхление писателя, и предстает следствием этого самого одряхления: «О моя юность! о моя свежесть!» (6; 111). Не случайно, поведав о судьбе Плюшкина, Гоголь возвращается к мотивам лирического зачина, сплавления воедино образы скупца-героя, стареющего автора и юного читателя, которого ждет неизбежное испытание дряхлостью: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек! (показательно, что для Гоголя метафорическая смерть страшнее смерти реальной; последняя, как в эпизоде неожиданной кончины прокурора, всегда обнаружит в «живом мертвце» душу и отдаст ее на суд Божий. — А. Н.), но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости» (6; 127). Во-вторых, встрече Чичикова с Плюшкиным предшествует описание заброшенного сада — иной ипостаси и Плюшкина, и Чичикова, и автора, и читателя, и дряхлеющего мира. Сад — высшее совершенство, скрытое от посторонних очей; он лишь кажется обителью смерти,

на самом деле являя собой подлинную жизнь — единство природы и искусства, материального и идеального начал, синтез которых и даст в будущем возрожденный мир. Эстетические мотивы, начиная с «перевернутого» сравнения березы с мраморной колонной и кончая прямым введением в текст слова «искусство» (6, 113), разумеется, должны напомнить о самом Гоголе и саде его поэмы. (Ср. в знаменитом отступлении о Руси в одиннадцатой главе: «...не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчаные дерзкими дивами искусства» (6; 220), и далее рассчитанный на узнавание итальянский пейзаж, точнее, «живописный» образ Италии. Италия и Россия в мире Гоголя могут и почти отождествляться, и решительно контрастировать; здесь важнее противопоставление наглядной красоты Италии скрытой, но ждущей своего часа красоте России.) Существенно очередное схождение автора с героем, который мыслится не только писательским порождением, марионеткой, подвластной воле кукловода, но и отдельным от творца существом, более того, существом, от которого писатель в чем-то зависим. Сад означает возможность перерождения Плюшкина (как становится ясно в заключительной главе, преобразование Руси-тройки неотделимо от преобразования Чичикова), но лишь оно спасает от тления душу Гоголя. (Потому для Гоголя дело спасения России неотделимо от дела спасения души, души каждого человека, в том числе и самого писателя.) Наконец, в-третьих, чрезвычайно важен микросюжет о соседе-помещике, «кутящем во всю ширину русской удали и барства, прожигающем (обратим внимание на это слово. — А. Н.), как говорится, насквозь жизнь» (6; 120). Формально антагонист Плюшкина, помещик этот оказывается еще одним его двойником: горение и гниение — разновидности одного и того же процесса. Картина последней гульбы прямо соотносится с апокалиптическими видениями; холод бытия предстает прологом последнего катаклизма. Говоря о Плюшкине (да и других душевладельцах), Гоголь заставляет читателя учитывать и эту перспективу — перспективу вселенского губельного пожара. Важным историческим аналогом видится Гоголю 1812 год; отсюда россыпь упоминаний об Отечественной войне — времени выдержанного Россией испытания, упоминаний, то вырастающих в сюжетные линии (Чичиков — Наполеон; Чичиков — капитан Копейкин), то внешне случайных (вроде портрета Кутузова в доме у Коробочки или «совершенно пожелтевшей» плюшкинской зубочистки, «которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов» (6; 115)). Перспектива общей гибели (собственно, очевидная уже и раньше) здесь прочерчивается с особой наглядностью. Альтернативой ей может быть лишь общее же спасение. Соответственно артистизм автора обнаруживает если не свою несостоятельность, то, во всяком случае, свою несамодостаточность. Отсюда гоголевская надежда на героя в «пространстве поэмы» (мотивирующая обращение к переосмысленному жанру плутовского романа) и гоголевская надежда на читателя в «пространстве жизни» (просьбы о помощи в ходе работы над вторым томом «Мертвых душ», постепенно превращающемся в «соборное» сочинение всей России, публикация «Выбранных мест...» и т. п.).

В отличие от вслушивающегося в гоголевский голос писателя конца нашего века сам Гоголь не склонен противопоставлять персонажей автору, обывателей с их «губельной цельностью» — свободному творцу, способному в эту цельность влюбиться и над ней возвыситься. Автор в «Мертвых душах» должен отождествляться с «биографически конкретным» Гоголем (во всяком случае, такова писательская установка, разделяемая «наивным» читателем), но от этого поэма вовсе не становится «лирической прозой». Сколь ни дороги Гоголю паузы, остановки действия, позволяющие рассмотреть и вспомнить все на свете (знаменитые «гомеровские» сравнения, обсуждаемые с неизбывной страстью как во времена Шевырева и Белинского, так и в наши дни), сюжет, движение героя, его изменение автору «Мертвых душ» несопоставимо важнее. Провал чичиковской аферы, означающий для Кравченко неизменность бытия, в гоголевском мире символизирует совсем другое: Чичиков должен выбраться (и выберется!) на истинный путь, он забудет о мертвых душах и вспомнит наконец о собственной живой душе. Этот императив вполне очевиден задолго до разговора с Муразовым в одной из случайно сохранившихся глав второго тома. Гоголь никогда не согласился бы признать в сюжетных рывках поэмы следствия собственного артистического произвола. Более того, еще не приступив к «Мертвым душам», он выразил свое отношение к индивидуальной поэтической мечте, якобы способной переустроить мир.

Сделано это было в повестях из сборника «Арабески». Художник из «Портрета» подчиняется мертвой норме, но куда интереснее судьба другого художника — героя повести «Невский проспект». Пискаревская мечта сталкивается с низменной действительностью: «Перуджинова Бианка» (3; 15) оборачивается проституткой. Не желая примириться с «очевидностью», Пискарев предпочитает ей жизнь в мечте, опиумные фантазии, приводящие его к гибели. Артистический выход из царства пошлости ведет к торжеству небытия. Заметим, что антагонист Пискарева — поручик Пирогов тоже начал свои похождения с мечты и тоже потерпел фиаско. Дьявольский Невский проспект соблазняет каждого по-своему (белокурая немочка такая же ведьма, как и черноволосая красавица проститутка), результаты двух историй, разыгранных всегда лучшим проспектом (при внешнем различии), сущностно тождественны. Демона, который «зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» (3; 44), равно устраивают пироговское полное подчинение пошлости и гибель мечтателя Пискарева. Сходные мотивы приметны и в «Записках сумасшедшего» — повести, сложившейся в результате трансформации замысла во вполне романтическом духе: в перечне будущих сочинений повесть именуется «Записками сумасшедшего музыканта» (3; 698). Говоря огрубленно, Гоголь ощутил смысловую связь между социально-детерминированным бредом (проблема чина, мучающая Попришина и превращающая его в «испанского короля») и высокой мечтой художника-романтика вроде гофмановского капельмейстера. Потому в безумии Попришин не только жалок, но и прекрасен, потому, становясь испанским королем, он раскрывает и тайную красоту, подлинное величие своей души. Странный артистизм почти всех гоголевских персонажей, в обыденности кажущийся лишь бессмысленной страстью к вранью, на самом деле указывает на их сокровенную человечность. Увидев бессилие одинокого художника, Гоголь увидел и другое — его глубинное родство с «существователем». Разрешить трагедию «мечты и существенности» и должна была поэма о похождениях Чичикова.

Кравченко, как явствует из сказанного выше, мыслит иначе, однако соприкосновение с Гоголем не проходит для его повести бесследно. Гоголевский смысловой фон актуализует главную мысль автора, и его рассуждения о творчестве, о замкнутости человеческого сознания, об утраченной молодости смотрятся совсем иначе, чем вне гоголевского поля. Характерно, что при этом Кравченко не стремится имитировать гоголевский слог, обходится без гоголевской «вещности» или любимых сюжетных ходов классика. Диалог складывается сам собой, что обусловлено не только редкостной одаренностью Кравченко², но и особенностями поэтического мира Гоголя.

* * *

Обратимся к примеру совсем иного плана. «Дуэль, апельсины, фейерверки. Странный, фантастический город: мраморные дворцы-туалеты, мраморная тюрьма, брезентовые дома, интриги, трагедии... Что здесь творится, когда проходит слух о скором приезде какого-нибудь ревизора с лампасами!.. Смешно смотреть, как они все бегают, суется, кричат, заставляют солдат все скоблить, стирать, мыть, заставляют поваров надевать колпаки, набрасывают на столы скатерти, — город отчаянно наводит румяна и пудрится, как старая пожелтевшая дева перед визитом последнего жениха. Во всем что-то неизлечимо гоголевское. И вот еще: как только новобранцы, прилетевшие после Нового года, вошли в этот город, старожилы тут же снимали с них новые шинели». Размышления на гоголевские темы Олег Ермаков, автор романа «Знак зверя» («Знамя», 1992, № 6, 7), доверил библиотекарше Евгении — недостижимой возлюбленной центрального персонажа, воплощению Красоты и Мудрости в озверевшем позднесоветском бедламе. Пассаж введен достаточно тонко (Ермаков вообще, кроме прочего, построил роман умело): Евгения ночью в библиотеке перебирает в уме классические книги, решая, что перечитать. Прежде мелькнувшая мечта о Париже, связанная с давней, ушедшей любовью Прекрасной Дамы, ассоциируется со Стендалем (роман «Красное и черное» укладывается в одну фразу, это нереализовавшийся сюжет «бытовой» любви Евгении и неведомого ей мальчика-солдата, Глеба, встречающего волшебную красавицу лишь в грезах) и Бальзаком, чьи романы «как недопеченные буханки». Далее возникает

² Здесь не место для рассмотрения повести Кравченко в целом. Подробно о ней см. мои рецензии в «Независимой газете» от 1.08.92

неизбежный для «колонизаторской» (и военной) прозы Толстой, а затем разом припоминаются Лермонтов (что вполне логично) и Гоголь. Причем Лермонтов введен скорее приглушенно, намеком. Цитированному выше рассуждению предшествует фрагмент, в котором авторское описание плавно превращается во внутренний монолог героини: «Хлопья в молчании осыпались на землю. Все-таки ветер поднял и развеял в высях пепельную Мраморную (вспомнишь тут маниловские кучки пепла. — А. Н.), и утром на ее месте будет совершенно гладкая поверхность. Как на лице коллежского асессора, однажды проснувшегося без прыщика на носу, да и без носа.

А может, прокрался душман?»

Ермакову важно отместить просящиеся ассоциации с «Героем нашего времени» Дуэли и «романы» здесь, конечно, случаются, но они вполне иллюзорны и бессмысленны. Демонический капитан Осадчий может сколько угодно по-печорински возмущать ночной покой библиотекаря, может даже, подобно мифологическому прообразу Печорина, воскликнуть (на доступном ему языке, разумеется, и скорее про себя) что-нибудь вроде: «Хочу я с небом примириться, / Хочу любить, хочу молиться, / Хочу я веровать добру» — результат загодя известен. Если и напали на город черкесы (то есть душманы), то и это ничего не меняет. У тех «романов», что здесь разыгрываются, нет и не может быть продолжения. Фантастичен «Афган», но не менее фантастичен и находящийся за рекой «Союз». В него невозможно вернуться, как нельзя обитателям гоголевского заштатного городишки попасть в сияющий Петербург, где живут сенаторы, адмиралы и сам Иван Александрович Хлестаков. Ермаков читает комедию «Ревизор» отнюдь не примитивно; он чувствует, что для гоголевских чиновников (равно контингента города у Мраморной горы) Ревизор — объект не только страха, но и восхищения, смешанного с любовью. Он знает цену этому обольщению — цену мнимой ревизии. (Унесет тройка в черное никуда прелестника Хлестакова, хоть он с Машенькой и обручился, а маменьке ее посулил огонь роковой-преступной страсти! Уедет Хлестаков — и не исполнятся маленькие мечты городских чиновников.) Не знает Ермаков другого.

В его мире срывают шинели с новобранцев, но никто из них, подобно Акакию Акакиевичу, не сорвет шинели со значительного лица. (Бунт Глеба-Черепяхи против «портяночных наполеонов» предусмотрен здешним миропорядком — предусмотрен как обреченный на поражение и бессмысленный.) В этом мире невозможно явление истинного Ревизора, то роковое потрясение, что определяет итоговый смысл гоголевской комедии. Здесь всякое происшествие «совершенно закрывается туманом» (3; 52) и на месте исчезнувшего, как нос майора Ковалева, городка остается лишь «рыхлая равнина» с «тусклым небом». Нет грани между погрязшей в мерзости «реальностью» и тяжелыми снами героя: все это один и тот же неизбежный кошмар. «Мифологическое возвращение» Глеба в финале романа к прежнему бытию, его обреченность на братоубийство предусмотрены самим типом ермаковского художественного мышления³ Ермаков полагает, что «гоголевская модель действительности» соотносима с миром «афганского» романа. На самом же деле он гораздо ближе Лермонтову, чье имя закономерно возникало при обсуждении «Знака зверя» (И. Роднянская, А. Марченко), хотя и в несколько иной связи. Обреченная статика ермаковского повествования, его внутренняя предрешенность прямо отсылают к обреченной статике «Героя нашего времени». (Читая «Журнал Печорина», мы уже знаем, что герой мертв; это и бросает определенный ответ на все его поступки и — в определенной мере — ослабляет сюжетное напряжение: того, кто умер по пути из Персии, Ундины заведомо не утопит, Грушницкий не застрелит, а

³ Оспаривая неназванных критиков, увидевших в финале романа «безнадежный миф вечного возвращения на круги своя — обреченность на бессмысленное повторение бессмысленного кровопролития» и якобы журивших Ермакова за пессимизм, И. Роднянская («Новый мир», 1993, № 4) усматривает в концовке романа «духовную реальность неискупленной вины». «Но разве от века не гоним человек своей совестью на то место, где совершил преступление?» — спрашивает рецензент ермаковского романа. Входя в число подразумеваемых оппонентов И. Роднянской, считаю нужным заметить, что раскольниковское возвращение в квартиру старухи-процентщицы все-таки не тождественно его сибирскому раскаянию. Что до «журибы за пессимизм», то не могу принять этого упрека на свой счет. Рецензируя «Знак зверя» в «Независимой газете» от 28.08.92, я вел разговор в сущностно иной тональности, в чем и может убедиться заинтересованный читатель.

пьяный казак не зарубит. Композиционная прихоть Лермонтова, заставляющая читателя описать круг и встретиться с Печориным в последний раз в той же пространственно-временной точке, что и в первый, — действие «Фаталиста» разыгрывается в то же время, что и история Бэлы, — явление столь же значимое, как и завершение романа темой предопределения или всепобеждающая усталость Печорина в «Максим Максимыче», то есть в момент, наиболее приближенный к смерти героя.) Преодоление морока бытия происходит в ермаковском романе тоже скорее по-лермонтовски: дружественное внимание к чужому быту и обычаю, влюбленность в чистую природу, трогательные воспоминания о собственной младенческой чистоте⁴ В этой связи по-лермонтовски читается и мистическая любовь душ, их таинственное «избирательное сродство». Глеб и Евгения истинно встречаются в волшебных сновидениях. Можно заметить (хотя тема эта дана легким пунктиром), что Глеб попадает в «счастливые миры» скорее всего благодаря галлюциногенным средствам. «Кайф» вне подозрений — и это опять-таки больше похоже на Лермонтова (хотя подобные мотивы в «Штоссе» проведены достаточно аккуратно, но сходство воздушной красавицы, пленившей Лугина, с вечным женским идеалом поэта говорит само за себя), чем на Гоголя: вспомним судьбу художника Пискарева.

* * *

«Случай Ермакова» — это случай перетолкования Гоголя, переосмысления его поэтического мира и приспособления новообразованного феномена для решения собственных задач. (Надо ли объяснять, что такой тип обращения с классикой во все не предосудителен и ни в малейшей мере не колеблет неоспоримой значимости ермаковского романа?) Иная тенденция обнаруживается в повести Михаила Кураева «Дружбы нежное волнение» («Новый мир», 1992, № 8). Кураевские «записки провинциала» прямо ориентированы на «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: маленький городок, старинная дружба двух самодовольных интеллектуалов, мелкая причина, рождающая «роковые» последствия, атмосфера пошлости и сплетен. Обращение к общеизвестному сюжету позволяет автору выявить ничтожество тех, кто привык мыслить о себе чрезвычайно высоко, а по сути своей неотличим от миргородских существователей. Отвлекаясь от вопроса о глубинном смысле повести, на мой взгляд неудачной и случайной для серьезного писателя⁵, сосредоточимся на собственно «гоголевской» стороне дела. Мы привыкли относиться к миргородским Иванам с презрением, и, казалось бы, именно на такое чувство настраивает нас с самого начала повести автор. Дело обстоит не так просто. Сколь ни ничтожны персонажи с редькообразными головами, сколь ни комично одушевление, с которым рассказчик живописует их дружбу и добродетели, нельзя не признать, что с движением сюжета Иваны претерпевают важные изменения. Тяжба не только разорила бывших приятелей, но и человечески унизила их. Описывая последнюю встречу рассказчика с Иванами, Гоголь фиксирует старение персонажей, как мы помним, означающее на его языке духовное омертвление⁶. Венчающее повесть (и весь «Миргород») страшное про-

⁴ Заметим, что в ермаковском мире нет персонажа, подобного лермонтовскому Максиму Максимычу, — так называемого «простого человека» Эта значимая лакуна (вполне ожидаемая в «лирическом пространстве» ермаковского текста) несколько меняет общий смысловой контур: на Лермонтова еще похоже, на Льва Толстого, чье имя само собой приходит на ум вслед за лермонтовским, уже нет

⁵ См. мою рецензию в «Независимой газете» от 25.09.92.

⁶ Дабы не ориентироваться лишь на более позднее сочинение — поэму «Мертвые души» напомним о танцующих старухах, «которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому» (1; 135; «Сорочинская ярмарка») Характерно, что в «Вечерах...» за стариками закреплены негативные (или комические) роли. Ср. также панночку из «Вия», таящую под соблазнительно прекрасными формами юной красавицы старчески-зловещую ведьмовскую суть: в своем истинном обличье ведьма и является заплутавшему Хоме Бруту. Даже с такими персонажами, как старосветские помещики, все не просто: их «старение», с одной стороны; условно — Товстогубы живут вне времени и потому сохраняют навсегда связующую их любовь; с другой же стороны, «вечная старость-детство» героев соотнесена с их бесплодием, что весьма важно в контексте повести о гибнущей идиллии. Даже в сцене пленения Тараса Бульбы намечается (впрочем, немедленно и опровергается) этот мотив: «Эх, старость, старость!» сказал он, и заплакал дебелий старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу» (2; 170).

зрение рассказчика соотнесено не только с мрачными финалами остальных трех повестей (запустение прежде благословенного и изобильного имения старосветских помещиков, гибель Тараса и его рода, «церковь, с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами» (2; 217) в «Вие»), но и с его мечтаниями, предваряющими последний эпизод. Он начинается с унылого пейзажа, навевающего на рассказчика сильную тоску. «Но несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга» (2; 274 — 275). Именно крах этой дружбы, нелепой и смешной, но в то же время по-своему обаятельной и значительной, повергает рассказчика в отчаянье и обуславливает финальное: «Скучно на этом свете, господа!» (2; 276).

Несостоятельным оказалось суждение, взятое «из записок одного путешественника» и послужившее сборнику повестей вторым эпиграфом: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны» (2; 7)⁷ Любая идиллия не выдерживает натиска холода, пошлости и скуки, того промозглого однообразия, что обрушивается на повествователя по выезде из прежде симпатичного ему городка. Читатель Гоголя вместе с рассказчиком приходит к этому выводу Читатель повести Кураева знает его с самого начала, потому хотя бы, что узнает в городке и его жителях гоголевский город и его обитателей. Зримая ирония гоголевского рассказчика маскирует его тайное пристрастие к «теплому» провинциальному миру. Аффектированное восхищение «родными пенатами», старательно выдаваемое нагора убежавшим от злосчастий большого города в тихую заводь героем-рассказчиком кураевской повести, лишь подчеркивает жесткость и последовательность авторского скепсиса. В мире Гоголя есть что терять — в мире кураевской повести терять нечего. Отсюда в финале (там, где у Гоголя были ужас и потрясенность) чувство совсем иного плана — удовлетворенное злорадство рассказчика, для которого «свержение» мнимых кумиров есть момент неназванного, но желанного и давно предвкушаемого торжества. Исчезает метафизическая перспектива гоголевского творчества — остается не слишком продуманное обличение квазиинтеллектуалов, глядящихся, к слову сказать, совсем не провинциалами. Отчасти Кураева подвело именно обращение к Гоголю, вернее, к стереотипу прочтения повести о двух Иванах, властному и над современным автором, и над современными читателями. Герои и ситуация заданы, а стало быть, и неинтересны.

Гораздо изящнее гоголевские мотивы проведены в новой работе Кураева — романе «Зеркало Монтачки» («Новый мир», 1993, № 5, 6), на мой взгляд, вообще лучшем на сегодняшний день его сочинении. Хотя сюжет с исчезающими отражениями отсылает скорее к общеромантической традиции и имена Шамиссо и Гофмана вспоминаются раньше, чем гоголевское, хотя петербургскому роману предпослан эпиграф из рассказа москвича Загоскина (кстати, недолюбливавшего Гоголя), но Гоголь явно в «криминальной сюите» не чужой. Возвращение отражений (то есть оживление героев, заживо умертвленных советским существованием) обречено на сопоставление с возвращением «блудного носа» (счастливое выражение В. Н. Турбина). Майор Ковалев, застигнутый врасплох невероятным событием, сполна ощутил всю прелесть абсолютного одиночества, тотального непонимания, вырастающего из тотальной же (хоть прежде и незамечаемой) абсурдности столичного (не)бытия. Ковалеву не открылась тайна собственной одушевленности, как то случилось с безумцем Попришиным, — нос вернулся так же неожиданно, как исчез, и жизнь пошляка майора потекла прежним чередом, так же весело и бессмысленно, как прежде: «И после того майора Ковалева видели <...> остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена» (3; 75). Майор не вынес и не мог вынести ничего из приключившейся с ним истории — она осталась для него дурным сном, пустым наваждением (ср. пародийное негодование на авторов, которые «могут брать подобные сюжеты», и иронико-моралистическую концовку: «А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то» — 3; 75). Герои Кураева вряд ли забудут то, что до-

⁷ Есть основания предполагать, что под «одним путешественником» Гоголь подразумевал В. Г. Нарезного, в полемике с «идиллическим просветительством» романов которого и создавался «Миргород» Подробнее об этом см. в моей статье («Новый круг», № 3)

велось им пережить. Возвращение отражений стало возможным потому, что обитатели коммуналки на канале Грибоедова вместе набрали на ранее чуждую им мысль «о том, что все самое светлое и лучшее, что ни есть на земле, находится в них самих. Однако сошедшиеся разом радость и горе стали сильным потрясением для обитателей зачумленной квартиры, не только развлекли их, но и пробудили энергию, способную оживить *дремлющие в забвении себя души*» (курсив мой. — А. Н.). Так Кураев напомнил нам, что автор «Носа» и автор «Мертвых душ» одно и то же лицо.

И категорический императив «единения» перед не-лицом наступающего зла, и связь пробуждения героев к жизни с жертвой — кончиной славного морского офицера Алексея Константиновича⁸ — выводят нас к Гоголю. Кураев построил роман так, что отчетливость социального глана повествования (отождествление советско-гебешной власти с нежитью) не свела на нет иные смысловые перспективы. (Между прочим, в «Ревизоре» и «Мертвых душах» узнавали российскую реальность не только Белинский со товарищи, но и читатели с совершенно другими культурно-политическими установками.) Фантастическая завязка, мотивирующая появление череды «натуральных» (а при ближайшем рассмотрении — не менее фантастических) эпизодов, страсть к длинным отступлениям, захватывающим все большее и большее количество предметов, персонажей, сюжетов, наконец, любовь к неспешной, словно бы вьющейся, то ли торжественной, то ли пародийной фразе — все это «знаки Гоголя». И все это можно было бы вполне оставить без внимания, а то и оспорить (скажем, фраза кураевская частенько соскальзывает в ту дурашливую, разом все и ничего пародирующую велеречивость, что стала господствующей у многих неординарных писателей последних лет, а кое-кого из них и под монастырь подвела), все это вполне можно было бы списать на «общие игровые тенденции», если б не напряженное внимание писателя к тайне души человеческой, скрывающейся от холодного и враждебного мира под заурядной личиной. Прорыв покрова мнимостей, осуществляемый Кураевым, становится возможным потому, что он по-гоголевски ощущает взаимообусловленность зрения внешнего и обращения очей внутрь себя. И потому не занятным привеском, но ключом к «зеркальному» роману смотрится его самая короткая, финальная «часть двадцать вторая», где автор сообщает, что стимулом ко всем его «разысканиям» послужила утрата собственного отражения. Сообщает «читателю доверительно» о том, что не считает «свою жизнь единственной и неповторимой» и не сознает себя «лицом посторонним по отношению к внутренней и внешней жизни сограждан». И «сообщением» этим словно бы восстанавливает непременную и неколебимо важную для Гоголя общность: автор, герой, читатель, связанные единой заботой — заботой души.

До сих пор речь шла преимущественно о «фрагментарном» взаимодействии современного писателя с наследием Гоголя: Кравченко осмысливал эпизод из «Мертвых душ», Ермаков включал в повествование «сборную цитату» (думаю, что поэтический термин Андрея Белого здесь уместен) и возводил ее до символа, остающегося изолированным, в повести Кураева конкретный сюжет приурочивался к сегодняшней проблематике почти без учета проблематики собственно гоголевской. При всех различиях неизменными оставались единичность и маркированность обращений к Гоголю, широкое ассоциативное поле возникало словно бы независимо от авторских устремлений. В «Зеркале Монтачки» рисунок изменился: гоголевская тональность, порой приглушенная, оказалась важнее реминисценций, перспектива «гоголевской загадки» — важнее возможных частных разгадок. Сходный тип диалога с классиком присущ весьма многим нынешним прозаикам.

* * *

«Человек в пейзаже» Андрея Битова может быть прочитан и без гоголевского шифра — связь повести с общим корпусом битовских сочинений, узнаваемость любимых мыслей писателя, его постоянных мотивов и интонационных ходов куда отчетливее, чем кажущиеся до поры случайными отсылки (часто неявные) к про-

⁸ Кроме прочего, здесь слышится отголосок уже обсуждавшегося мотива. Таинство смерти напоминает о том, что душа была даже у того, кто «по скромности своей никогда ее не показывал» (6; 210).

изведениям Гоголя. Между тем уже начало повести незаметно контаминирует два гоголевских зачина. «Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величием рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротой украшений» (8; 56 — «Об архитектуре нынешнего времени»); «Зато какая глушь и какой закоулочек!» (7; 7 — «Мертвые души», т. II, гл. I). А теперь Битов: «Здесь строилось и жило; все прямо и прямо, проспект, ни в чем не изменившись, становился шоссе; те же многоэтажные мертвенно-бледные коробки, равно нежилые: заселенные и незаселенные, достроенные и недостроенные⁹ <...> и вот на пределе города, когда шоссе уже окончательно ныряло в не столь освоенное пространство России, надо свернуть налево, и усыпленное однообразием дороги сознание оказывается совершенно не готово к восприятию...» Читатель может сравнить дальнейшее битовское описание волшебного («заколдованного»?) места с началом первой главы второго тома «Мертвых душ». Битов пришел сюда после Гоголя, а до Гоголя, задолго до Гоголя, по битовскому слову, «настоятель и строитель вздохнули дружно и глубоко, и сомнений у них не стало: здесь!». Гоголь еще застал осмысленное величие единства природы и культуры (и, разумеется, битовские раздумья о их взаимопереходах, о странных перетеканиях запущенного пространства и «последней культурной» свалки отсылают к «плюшкинской» главе, в этой статье уже упоминавшейся); Битов приходит сюда после катастрофы, после мирового пожара, чье приближение чуял автор «Мертвых душ» (или, лучше сказать, автор статьи «Последний день Помпеи», за которую, вероятно, и получил нагоняй от таинственного персонажа битовской повести¹⁰), и потому совершенно по-гоголевски отрицанием, как бы оговоркой, проводит страшное утверждение: «Нет, это не описание после атомного удара...» В этой-то вневременности, возникающей из мешанины прошедших и грядущих времен, там, где тление соседствует с прорастанием, Битов и находит место: «отсюда все видно!» (подчеркнуто Битовым). Отсылка наглядна: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света» (1; 275). Существенно, что зрение, дарованное персонажам «Страшной мести», не было только пространственным; увидев все, они прикоснулись к тайне времени — к первопреступлению, обусловившему нынешние злодеяния колдуна. Так и у Битова выход к идеальной точке обзора готовит постижение первотайн: тайны искусства и тайны происхождения человека. Странный художник, влюбленный в природу и ненавидящий человека, мечтатель и провокатор, искуситель и провидец, говорит о проклятости искусства и его неодолимой притягательности, о несовместимости искусства с верой и неизбежной трагедии гения, об ужасе привнесения личностного начала в искусство и о почти обязательном прорыве этого самого личностного начала: «Я вот свой нос только вижу, когда рисую. Меня иногда тянет его пририсовать, когда не получилось. А — всегда не получилось <...> Так я ведь его каждый раз не рисую!

— Нос?» Недоуменный выкрик повествователя остается без ответа; позднее он увидит множество вполне неудачных картин своего загадочного знакомца — все один и тот же пейзаж. «Но ничего от духа Павла Петровича, два дня трепавшего мою утлую лодочку по своим валам, я в этих картинах не увидел. Но особенно в двух неудачных — непонятная размытая тень, серое расплывчатое пятно неоправданно висело как раз над той точкой, из которой он этот пейзаж писал... Нос! — наконец догадался я. Нос это был. Тот самый, про который он мне объяснял, насколько он в пейзаже не нужен».

⁹ Ср.: «Всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Дома старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы, нежели на веселые жилища людей. <...> Оттого новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку (напомним о метафизическом значении этого слова у Гоголя. — А. Н.) и отказываешься от желания заглянуть в другую» (8; 61 — 62). Статья «Об архитектуре нынешнего времени» входит в тот же сборник «Арабески», что и повесть «Невский проспект».

¹⁰ «Возьмем художника слова... Кто был наиболее близок к живописи в слове?

— Гоголь. — Тут я не сомневался.

— Правильно. А в живописи ничего не понимал...» Впрочем, может быть, собеседник Битова недолюбливает статью «Исторический живописец Иванов»?

Нос! — восклицаем мы вместе с Битовым. Значит — Гоголь. Кто только не каламбурил насчет физиогномической особенности автора повести о «необыкновенно странном происшествии», случившемся «марта 25 числа» в Петербурге (3; 49)! И Битов туда же! Похоже¹¹. Вот откуда странная власть Павла Петровича над повествователем, что таскается за ним, как зять Мижуев. Нет, это не ноздревская власть. Недаром в только что цитированном фрагменте послышался отголосок чичиковских речей («Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн...» — 6; 36 — 37). Образ, разумеется, более чем традиционный, но кто заставил Чичикова колыхаться на валах моря житейского? Гоголь. Или черт. То, что битовский незнакомец временами примеривается и к этой роли, сомнению не подлежит, как не подлежит сомнению и «двойная» зависимость персонажей «Мертвых душ»: с Чичиковым забавляется нечистая сила (нагляднейший пример — дорожная путаница, в конечном итоге сорвавшая так удачно начатый визит в город N; ср. в сказочно-ясной «Ночи перед Рождеством» междометное чертыхание Чуба, на самом деле вполне точно определяющее причину происходящего: «Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!» — (1; 213 — и сходные мотивы в других повестях из «Вечеров...»); Чичикова ведет автор.

• Захваченность Павла Петровича одним пейзажем, его «неприятель» к человеку, его убежденность в том, что художнику подвластен едва ли не только натюрморт («мертвая натура»! — вспомним устойчивый миф об «опредмечивающем», «умерщвляющем» письме Гоголя — миф. ответственность за который невозможно перевалить на Розанова, ибо выросал он из «частичной» правды о творчестве Гоголя, из проблемы, мучившей самого писателя), наконец, его страх перед нечистой силой и сознание подчиненности ей всякого человека, а художника — в первую очередь, — весь этот смысловой комплекс, вибрирующий, бликующий и меняющийся на глазах, подводит читателя к мысли о Гоголе. О многолетнем гоголевском единоборстве с врагом рода человеческого и о гоголевской якобы вовлеченности в мир зла.

Вслушаемся в монолог Павла Петровича, начинающийся (в аккурат после первого прямого упоминания Гоголя) с тезиса «там, где вера, там уже нет художника». Далее означим пунктиром: художник — наркоман; кризис художника в том, «что ты подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в видимые цвета» (узнаете преобразенную хрестоматийную цитату?); «ничьи советы», «никакая схима» не помогут; невозможно «написать *следующее* (курсив Битова. — А. Н.); за тем, что уже изображено» (Богом. — А. Н.); «судьба гения — космическая катастрофа», «Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик» (курсив мой, дабы напомнить и о гоголевской и о битовской апокалиптиках. — А. Н.); «Далее — смерть»; «Дальше — ревизор. К нам едет ревизор! А ревизор-то — дьявол». Конечно, это мука позднего Гоголя — Гоголя, стремящегося написать о живых душах¹²! Но завершается-то монолог явлением мнимого ревизора — Хлестакова; истинная ревизия отменена, будто нет не только «Развязки „Ревизора“», но и немой сцены, воспроизводимой в каждом издании комедии, хоть как-то, но означаемой при каждой ее постановке! Но доверен-то «гоголевский» монолог персонажу, как помним, весьма двусмысленному! Но вся обстановка, в которой вещает Павел Петрович, уж больно мрачна! И ночное путешествие в подземелье, оказавшееся засолочной базой, странным образом напоминает эпизод из «Тараса Бульбы», когда Андрий, покинув, как выяснится, навсегда козацкое воинство, страшным подземным ходом идет к врагам, идет в объятья ведьмы-полячки, совершая предательство,

¹¹ Заметим битовское лукавство в, так сказать, физиогномическом сюжете: в облике героя фиксируется «вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла...» Нос державного тезки битовского персонажа по своей символичности может соперничать с носом Гоголя. Брезжит и еще один намек: Павел Петрович — «лже-Гоголь», он «подменный», как и злосчастный государь. Не говорим уж о связи курносости с персонифицированной Смертью.

¹² Проблема обнаружилась раньше. И не только в результате нападков критики на писателя, пробавляющегося карикатурами. Вообще традиционное противопоставление Гоголя 30-х годов Гоголю позднему никак не может абсолютизироваться. (Впрочем, и вовсе сбрасываться со счета оно тоже не может Трагедия второго тома поэмы остается трагедией, муки немoty — муками, а «Выбранные места из переписки с друзьями» — при всей неоспоримой искренности, а порою и гениальности этой книги — не могут почитаться вершиной творчества Гоголя. Хотя бы потому, что сам он о «Выбранных местах...» мыслил иначе. И продолжение поэмы считал своим жизненным делом.)

идет навстречу смерти. (Его душа выиграна нечистым в этот момент, приговор уже подписан, и Тарасу остается только его свершить.) И когда «испытываемый» битовский повествователь пытается возразить, снять проблему своим «В дьявола я не верю», Павел Петрович вместе с хозяином подземного царства мгновенно ставят его на место: «Да ведь весь воздух кишит!..»¹³

Гоголь согласился бы с оппонентами повествователя, но это отнюдь не сблизило бы его с ними. Он знал силу зла, мотив борьбы художника с нечистым появляется в его творчестве очень рано — в «Ночи перед Рождеством», где «немец проклятый» намеревается отомстить Вакуле за его «малеванья и небылицы, взводимые на чертей». Вышло все иначе: «...вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен» (1; 241), после победы, свадьбы и церковного покаяния кузнец-живописец «намалевал <...> черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *он бачь, яка кака намалевана!* и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери» (1, 243). Все, казалось бы, хорошо, но остается испуг младенца (чуть выше упомянута «красивая женщина с дитятей на руках» — Оксана с ребенком Вакулы). «Чертоборческая» живопись страшна, она словно бы втягивает в себя антикачества предмета изображения. Позднее об этом будет размышлять Гоголь в «Портрете» (ср. эволюцию повести). И разумеется, проблема эта переживалась им как личная в ходе работы над «Мертвыми душами»¹⁴ И разумеется, снятие ее было неотделимо от мечты об идеальном искусстве, для Гоголя подразумеваемом не только изображение прекрасного человека (странны предположения о том, что писатель не мог найти привлекательного героя среди своих современников — праведники существовали всегда, а Гоголь не был слепцом или мизантропом), но и преобразование действительности как целого, эстетический утопизм.

Битовский незнакомец дважды вспоминает о любимом сюжете старых мастеров: «Гении все мадонну с младенцем писали. Мадонна получалась, младенец — никогда» — и после рассуждений (в манихейском духе) о сотворении человека, о Христовой жертве, о Боге-художнике, о человеке — художнике неумелом, неспособном приблизиться к своему назначению, после всех восторгов и провокаций: «Младенец.. — лепетал Павел Петрович, уже тоже прозрачный, растворившийся в смыкающемся вокруг океане (обратим внимание и на «лепетал», и на «прозрачность», характеристики персонажа перетекают в характеристики его мечтания. — А. Н.). — О, если б я смог — младенца!.. Его еще никто не нарисовал. Потому что он не человек, не зверь, не бог... А может, и бог... У него лицо — как великая вода (ср. предшествующую интерпретацию первого стиха Библии, «пейзажа без человека». — А. Н.), всегда течет, ничего нашего не значит. Видел ли ты истинный пейзаж? Взгляни в его лицо! — ослепнешь. Пейзаж этот проступает в лице матери, ждущей его, носящей его под сердцем... Там, вглядываясь, еще что-то могли бы мы понять, кабы могли... Но нет, творение нам недоступно, только страсти...»

Но как раз гоголевскому персонажу довелось встретиться с той картиной, что ускользает от персонажа битовского. «Это была пречистая дева с младенцем на руках: «Что за картина! что за чудная живопись!» рассуждал он: «вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное!» (1,

¹³ В романе Юза Алешковского «Перстень в футляре» («Звезда», 1993, № 7) герой-грешник, не веря в Бога, очень даже верит в чертей, постоянно его окружающих. Отчасти его назойливый бред, окончившийся в рождественскую ночь — ночь расчета с постыдным прошлым, мотивирован алкоголизмом «специалиста по научному атеизму». Так ведь и битовский Павел Петрович пьет неудержимо. Как представляется, «Человек в пейзаже» Битова (наряду с гоголевской «Ночью перед Рождеством», мотивы которой мы еще увидим в битовской повести, и стихотворением Пастернака «В больнице») постоянно учитывается автором «рождественского романа». С этой точки зрения не таким уж случайным видится грамматическая срифмованность названий «Человек в пейзаже» — «Перстень в футляре» с возможным (анти)чеховским подтекстом, возникающим при совмещении заголовков. Тема «Битов и Алешковский» достойна специального разговора, в котором упоминания Гоголя совершенно неизбежны. Но это другая история.

¹⁴ Проблема художественного постижения зла на самом деле становится едва ли не всеобщей в романтическую и постромантическую эпоху. Из современников и соотечественников Гоголя она особенно волновала Баратынского (ср. стихотворение «Благословен святое возвестивший!..», 1839, с характерным: «Две области сияния и тьмы / Исследовать равно стремимся мы») и Лермонтова

235). То ли недостойным внимания показалось суждение кузнеца Вакулы, узревшего младенца, то ли раздражение вызвали его дальнейшие раздумья о красках, грунте и медной ручке, «еще большего достойной удивления» (тут-то и ткнуть в приверженность гоголевского героя и его создателя «мертвой натуре»), то ли чувствует Павел Петрович разницу между «увидеть» и «создать» (нарисовал-то Вакула вовсе не младенца!), только игнорируется этот эпизод из ранней гоголевской повести битовским мучителем. Он не забыт (окольными тропами, боковыми смысловыми ходами к нему выводится читатель) — он отодвинут в сторону. Слово не было.

В том-то и дело, что было! Гоголь в борениях своих помнил о том, что существует красота, свободная от зла. Эта красота, по мысли Гоголя (и здесь автор «Арабесок» не отличается от автора «Выбранных мест...»), живет в поэзии Пушкина. После смерти Пушкина он ощущает себя оставленным, покинутым, и гоголевское сиротское чувство наследуется всей российской словесностью. В том числе и автором «Пушкинского дома». Как Пушкин для Битова воплощение высшего творческого торжества, счастливой свободы, так Гоголь для Битова воплощение проблемы художника, собственной проблемы, до поры не называемой по имени. В «Пушкинском доме», где пройдена (во всяком случае, по авторским заверениям) вся русская классика, Гоголь осторожно обойден. «Человек в пейзаже» был шагом в заколдованный гоголевский мир (бездну собственной души); выйти из гоголевского круга оказалось куда как затруднительно (вот они, блуждания с Павлом Петровичем, вот они, мерцающие отсылки к эпизоду неудачного бегства Хомы Брута с рокового хутора, рассеянные по всей повести). Но гоголевский мир не существует без Пушкина, и Битов это прекрасно понимает. Потому и не сливается его Павел Петрович с чертом, потому он (незадачливый подражатель Гоголя, карикатура на него, авторский двойник? — все разом) любит Пушкина так же, как Гоголь (или надо сказать «так же, как Битов»). Сразу за словами о неуместности «человека в пейзаже» (во всех смыслах, в том числе и в самом прямом и, думается, неоспоримом: фигура Пушкина на картине Айвазовского и Репина впрямь неуместна) следует мажорное: «А Пушкин-то, ласточка, гений... как он-то все это сделал в своей-то живописи! «Прощай, свободная стихия...» — и все, его уже нет, остался один жест, один взмах его руки. Гениальная мера вкуса и живописной точности!» — а дальше уже цитированное признание о собственном носе, лезущем в пейзаж. Пушкин — единственный, на чей авторитет не посягает Павел Петрович, Пушкин — тот, кто сливается с пейзажем, не разрушает его полетом, дерзанием, благими намерениями, но пребывает в нем, как пахарь на картине Брейгеля, которого Павел Петрович противопоставляет воспарившему (и обреченному на падение) Икару. (А мы вспоминаем часто столь двусмысленные полеты гоголевских героев. Но не всегда же двусмысленные!)

Итак, Гоголь в очередной раз должен отвечать за черта, Павла Петровича и современного писателя, не достигающего гармонии и неспособного видеть дальше собственного носа. Битова можно понять и так, но тогда это уже будет не Битов, а кто-то другой. «Человек в пейзаже» — безукоризненно тактичная и тонкая книга, более того — книга, одушевленная любовью к Гоголю. Дело не только в сопереживании его муке, не только в аккуратности при прорисовке таинственного Павла Петровича, не только в замороженности гоголевской прозой, обнаруживающейся в битовском цитировании. Дело в том, что к истинному человеку в пейзаже, к Пушкину, Битов приходит по гоголевской тропе. Сам заглавный образ (и сетку его пушкинских ассоциаций) Битов нашел в гоголевской статье «Несколько слов о Пушкине». «В нем русская природа, русская душа, русский язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла» (8; 50). Хотел кое-что подчеркнуть, хотел порассуждать о проблеме «картина — окно», хотел еще навалить примеров, но — зачем? И так все понятно.

* * *

Если Битов занят тайной Гоголя и видит в создателе поэмы о мертвых и ждущих воскресения душах, а равно и в его непрекращающемся диалоге с Пушкиным вечную и неразрешимую проблему, то автор повести «Голова Гоголя» («Знамя», 1992, № 7) Анатолий Королев разоблачает «гоголевский секрет», а «светлого» Пуш-

кина прямолинейно противопоставляет соблазненной дьявольской красотой Гоголю. («Голове Гоголя» предшествовала очень изящная и внутренне раскрепощенная повесть «Гений местности», где сквозь причудливую историю старинного парка постоянно проглядывал легкий контур Пушкина.) Битов ищет Гоголя в его сочинениях, редко и мягко касаясь до биографии. Королев сосредоточен почти исключительно на жизни Гоголя, обросшей легендами и сплетнями. Вклад прозаика в копилку истолкований гоголевского наследия сводится к смелой интерпретации «Вечера накануне Ивана Купала»: «кошмарное описание смерти невинного младенца» трактуется здесь как заключение «роковой сделки» Гоголя с дьяволом, а также как «первое убийство невинного ребенка в русской словесности». Опровергать такого рода мудрости не столь затруднительно, сколь смешно: не утверждать же с ученым видом, что «Борис Годунов» написан несколько раньше (этот простейший пример уже упоминался при обсуждении королевской повести), не объяснять же знатоку российской словесности, что убийство невинного младенца описывается в народной песне о Щелкане, не растолковывать же нашему гоголеведу, что обсуждаемый мотив заимствован Гоголем из новеллы Людвиг Тика «Чары любви» (факт, замеченный еще в рецензии Надеждина на первое издание «Вечеров...»). Действительно, смешно (и немного стыдно). Правда, эту белиберду несет у Королева черт, но писатель, раздосадованный «замолчавшими» его повестью критиками, счел нужным в газетном интервью повторить сие «открытие» уже от собственного имени («Литературная газета», 19.05.93). Занятно, что обличитель Гоголя не побоялся совпасть с отцом лжи, который, по определению, правды не скажет. Занятно и то, с каким старанием и азартом живописуется Королевым меняющийся обличия нечистый. Опять контраст с продуманной осторожностью и художественным тактом Битова; при этом Королев «проигрывает» в той самой выразительности, которой он и озабочен: Павел Петрович порой страшен, а софизмы его притягательны; королевский черт — ряженный, он выдуман, точнее, вычитан из чужих книг, как и вся повесть. Здесь-то и зарыта собака. Напомню собственный тезис: повесть Битова может быть прочитана и без гоголевского шифра, если читатель его упустит, «Человек в пейзаже» не обесмыслится. Выньте из повести Королева Гоголя — и она рассыплется. В ней вовсе не ощущается «внелитературоведческая» проблематика, хотя автор и размышляет о революции, терроре, тоталитаризме и прочих важных материях. Ибо состоит повесть из чужих слов, чужих идей, чужих парадоксов, костенеющих под пером Королева.

Если вся королевская «гоголиана» укладывается в розановский эпиграф о Гоголе, что «отвинтил какой-то винт внутри русского корабля, после чего корабль стал весь разваливаться», то зачем было, извините, огород городить? Очень приятно, что писатель Королев ознакомился с сочинениями В. В. Розанова, но нельзя не отметить того, тоже приятного, факта, что знакомы с ними и весьма многие читатели Королева. Тем более ныне, когда те сочинения Розанова, на фундаменте которых строится королевская повесть, переизданы, и даже не один раз. Без учета розановских интерпретаций серьезный разговор о Гоголе невозможен, но разговор не может быть заменен цитированием и хитро изукрашенным варьированием нескольких извлеченных из специфического розановского контекста тезисов. Даже если иные из вариаций прививают к розановскому стволу булгаковские мотивы (отрезанная голова Гоголя, используемая чертом в качестве снаряда в грандиозном пространственно-временном кегельбане напоминает разом и о голове Берлиоза, и о глобусе Воланда). Или ремизовские: возникающий ближе к концу повествования эпизод со спящим Христом, что отдал мир на волю нечистому, да и готовящие его рассуждения о вине Бога за земное кровопролитие кажутся до неприличия уплощенными «разработками» на материале романа «Пруд». (Впрочем, здесь возможно и незапланированное сходение; эти декадентские отчаянные мудрствования тиражировались в нашем веке в бесчисленном количестве экземпляров. Другое дело, что Ремизов — истинный писатель с неподдельной болью — остается в памяти.)

Королев изо всех сил старается быть изобретательным, но изобрести-то ничего и не может. У повести нет конструкции, держится она ассоциативной вязью, так, чтобы конец одной истории (и истории-то все известные, и анекдоты-то все с бородами) цеплялся за начало следующей. Еще есть «ядерная тема» — Гоголь, умертвивший Россию своим дьявольски красивым и убедительным письмом и тем самым обеспечивший нам не только Крымскую катастрофу, но и Октябрь, Сталина и т. п. Впрочем, ему еще Достоевский помог: сочинил легенду о Великом И

квизиторе. (Творчески читал Королев Розанова, не во всем верил на слово: тот легенду любил.) Вероятно, Гоголь же обеспечил немцам Гитлера, а французам — их великую революцию с якобинским террором, весьма впечатляюще описанным Королевым. Я не иронизирую: французский эпизод написан уверенно и убедительно. А картины посмертного существования расстрелянной переводчицы Кати обличают в Королеве удивительного мастера. Мастера построенной фразы. Мастера выразительного эпизода. Мастера сильных эффектов, полагающего, что ими и держится словесность. А это ведь «как когда».

Композиционная слабость королевской повести, приверженность писателя к эффектам и странная готовность руководствоваться чужой мыслью взаимообусловлены. Приметив у Розанова сравнение гоголевских персонажей с восковыми фигурками, Королев начинает «играть в домино». Гоголь — мертвые души — восковые фигуры — музей мадам Тюссо — французская революция, пережитая ею в молодости, — отрубленные головы — отрезанная голова Гоголя, виноватого в русской революции, — Сталин — народ, терпящий Сталина в силу того, что изобретен он (народ) Гоголем, — нечеловеческая жестокость людей сталинского времени — торжество черта — спящий Христос. Скучно. Потому что предсказуемо. Потому что банальны игры с двойниками, снами и перевоплощениями. Потому что натужны попытки обозначить дополнительные смысловые скрепы, и почему переводчица Катя — новое воплощение мадам Тюссо, мне разгадывать лень. Хотя понимаю, что культурную интерпретацию придумать не так уж трудно. Вот про дополнительный мотив, связанный с отрубленной головой, так и быть, скажу. Иродиада (или Саломея?) в «тесных вельветовых брючках ядовито-зеленого цвета» в последнем абзаце повести появилась не просто так. Гоголь-то душу дьяволу продал (дабы писать красиво, а дальше пошло-поехало) когда? — Правильно, накануне Ивана Купала. А с кем отождествляет означенного персонажа языческого происхождения народное сознание? — Опять правильно, с Иоанном Крестителем. А что сделали с главой Иоанна Крестителя? — И опять правильно, усекли ее. Вот потому-то блюдо для его головы и появляется в руках соблазнительной и зловещей модницы. Угадайка, угадайка, интересная игра!

В «Постскриптуме» Королев чрезвычайно торжественно излагает, что написано на скрижалях мира, где «в зеницу ока поражен сам идеал красоты», — нашего мира. Он и говорит от «мы», вовсю обличая общеевропейское «увлечение болью, культом раны (? — А. Н.), увлечение злом». Последний пункт цитируемой скрижали: «Зло — красиво». Следующий абзац содержит один знак — восклицательный. Поразительно, что роль борца с эстетизацией зла берет на себя писатель, лучшие страницы повести которого отданы описаниям казней, пыток, смерти. Поразительно, с какой решимостью Королев «опредмечивает» Гоголя, в котором он увидел лишь живописца «внешних» форм. Гоголю в повести воздается по его вере и его делам (понятно, Королев знаком если не с первоисточником, то с Булгаковым). Но почему Королев, сноровисто разобравшийся вслед Розанову с неприятным классиком, столь старательно усваивает именно что внешние черты гоголевского художества? Розанов-то всегда (а не только в «Опавших листьях») двигался резко в сторону от зримой повествовательной красоты (надо ли объяснять, что она в гоголевской прозе действительно есть и что гоголевская проза к ней не сводится?) и так создал свой неповторимый непричесанный слог. Розанов спорил с Гоголем и искал Гоголя, дабы найти в себе — свое. Королев обличает Гоголя (новоевропейскую культуру, эстетизм и проч.), дабы оставить себе право писать красиво. Это называется бегством от ответственности. Или переваливанием с больной головы на... голову Гоголя. Потому и черт у Королева бугафорски авантажен (хочет Королев его сделать страшным — получается он смешным, но не оттого, что, как было у Гоголя в «Вечерах...», посрамлен, а оттого, что авторская натужность выпирает). Потому и тот, кого Королев называет Гоголем, написан на уровне пошлого шаржа. Морализирующее эстетство — материя малоаппетитная.

* * *

Перед тем как обратиться к заключительному сюжету, надо признать, что некоторые обстоятельства заставляют оставить за кадром ряд прозаиков, весьма заинтересованно и плодотворно беседующих с Гоголем. Это Зуфар Гареев (см. его интервью в «Литературной газете» от 15.12.93), в прозе которого прямая ориента-

ция на Гоголя соседствует с «гоголизированным» переосмыслением русского фольклора и «гоголизированно» же окрашенными традициями словесности нашего века (Ремизов, Замятин, Платонов, обэриуты). Это Петр Алешковский, чей «Старгород» жив памятью о «Миргороде»; недаром сборнику рассказов (увы, все еще не изданному книгой и существующему в виде разрозненных, а потому слабо соотносимых в читательском сознании публикаций) предпослан чуть переименованный эпиграф — первый из миргородских. Это Марк Харитонов и Валерий Володин, гоголевские мотивы и проблемы в творчестве которых я пытался рассмотреть в своих заметках: о романе Харитонova «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» в «Независимой газете» (10.04.92), о повести Володина «Русский народ едет на шашлыки и обратно» — там же (8.05.92), о романе Володина «Паша Залепухин — друг ангелов» в «Сегодня» (16.02.94). Можно назвать еще много ярких и достойных имен. Но обо всех не расскажешь. А потому обратимся к писателю, пройти мимо которого при обсуждении современной русской прозы мне представляется невыносимым.

Это Солженицын, Солженицын последних «узлов» «Красного Колеса». Имя Гоголя в солженицынском контексте может показаться несколько неожиданным. Исчисляя в нескольких интервью наиболее любимых писателей (несомненные классики: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский), Солженицын не называл столь же несомненного классика — Гоголя, что само по себе показательное и наводит на раздумья. Тем интереснее активизация гоголевского начала в «Марте Семнадцатого». Мотивировано оно в первую очередь «предметом изображения»: едва ли не главным героем третьего «узла» может почитаться Петербург-Петроград — символ и столица гибнущей империи.

«Город революции», запечатленный Солженицыным, остается тем же городом, что породил «петербургский текст» — особое смысловое единство, заданное Пушкиным и Гоголем. «Умышленный», лгущий и торжественный, он не арена революции, но ее основа. (Если допустимо это «твердое» слово в разговоре о таких существенно шатких, взвинченных, болезненных феноменах, как «Петербург» и «революция».) Петербург «Марта Семнадцатого» — город всеобщей замороченности, коммуникационной путаницы, информационного тумана. И здесь невозможно не вспомнить ключевые гоголевские символы: та же дорожная неразбериха, та же всевластная сплетня, что царила в «городах» первого и второго томов поэмы, тот же величественный шелест мертвых чиновничьих бумаг, то же чувство кануна, недоступное участникам событий и более чем тревожащее писателя. В специальной статье, к которой, дабы не повторяться, я и отсылаю заинтересованного читателя¹⁵, мне пришлось уже достаточно подробно (с подобающим количеством примеров) говорить о том, как сказываются гоголевские мотивы слепоты (самоослепленности) и провокационной игры при обрисовке революционных буден, рождающих революционную мифологию и ею же питающихся, о том, как самовлюбленные участники великой драмы, «артисты», почитающие себя политиками, постоянно обнаруживают черты Ивана Александровича Хлестакова (наиболее наглядно — Керенский, что, впрочем, было увидено многими и до Солженицына). Там же шла речь о связи «гоголевского» постижения «масок» с «достоевским» анализом характеров, той самой сверхубеждающей портретностью персонажей, что обусловлена своеобразным «врастанием» писателя во внутренний мир всякого (даже бесконечно чуждого и враждебного ему) человека. Солженицын дает героям выговориться, а нам — услышать их «внутреннюю речь», часто парадоксальным образом ориентированную на потенциальную аудиторию: наедине с собой персонажи примериваются к будущим «маскам», любят собственную неповторимость. «Гоголевское» переходит в «достоевское» и в самом человеке, и при его литературном осмыслении-изображении.

Те же тенденции вполне отчетливы и в «Апреле Семнадцатого», но здесь обнаруживается и нечто новое. Последний из «узлов» (вкуче с конспектом предполагавшегося прежде продолжения) отчетливо катастрофичен. Бесовщина достигла апогея, и «обрыв» повествования начинает казаться чуть ли не жестом отчаянья писателя, якобы утратившего веру в тайный смысл истории и ужаснувшегося неотвратимому бегу «красного колеса», всеобщей порче, разгулу темной стихии.

¹⁵ «Литературное обозрение», 1990, № 12.

Примерно так прочел «Апрель Семнадцатого» в обстоятельной статье об этом «узле» тонкий и несомненно сочувствующий Солженицыну литературовед Жорж Нива («Континент», т. 75). Мне трудно согласиться с такой интерпретацией: писатель не несет ответственности за изображаемую им действительность. «Предрешенность» в природе любого исторического повествования, и в первых «узлах» ее дыхание тоже ощущалось (например, в эпизоде смерти Столыпина). Другое дело, что Солженицын, зная итог, старался задать особое напряжение, постоянно ориентировал читателя на поиск возможной альтернативы «имеющему свершиться». Толстовского фатализма нет и в «Апреле...», ибо гоголевское ясновидение, гоголевское улавливание грядущего громового удара вовсе не предполагает смирения перед агрессивным и уверенным в «исторической оправданности» злом. В «Марте...» Солженицын говорит о весах истории. На одной их чаше общее помрачение, на другой — человеческая воля, энергия деятеля, что должен свершить решительный шаг. И Солженицын ищет в своих героях черты такого богатыря, радостно на них указывает, одаривая себя и нас надеждой — увы, тогда, в Семнадцатом, и позднее, в годы «красного колеса», не сбывшейся.

И все же для Солженицына российская революция — это не конец истории. Как и для Гоголя, распознававшего в столь давних «страхах и ужасах России» апокалиптические знамения, но и ищущего пути к воскресению, для него ничего не кончено. Не кончено потому, что остаются живые люди, те, что не смогли отстоять Россию (и человечество — это для Солженицына нераздельно, по крайней мере со времени написания «В круге первом»), но будут жить, так или иначе отстаивая подлинные ценности и тем самым противостоя бесчеловечной лжи, жить и воспитывать детей. Которым, быть может, удастся освободить Россию.

Отсюда бодрость «звездочета» Варсонофьева после ухода молодой четы (предпоследняя, 185-я глава). Он говорил Сане Лаженицыну и Ксении Томчак, что «не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу», он, предчувствуя, что «мы нырнем — глубоко и надолго», просил их не уклоняться от назначения, от долга. А они чуть раньше вспомнили загадку, когда-то загаданную Варсонофьевым, загадку о дороге. О той дороге, для которой нужны «верные, неуклончивые колеса». «— Но колеса могут катиться и без Дороги, — возразил Саня. — Вот это-то самое и страшное, — тяжело кивнул Варсонофьев». Дорога ждет Варсонофьева, молодых героев, Воротынцева. Но эта же дорога однозначно ассоциируется с дорогой гоголевской, дорогой одиннадцатой главы «Мертвых душ». «Колесо» — центральный и достаточно растолкованный символ «повествования в отмеренных сроках». Но это же колесо появилось на первой странице гоголевской поэмы, заставив двух русских мужиков задуматься: доедет или не доедет? (Ну а что потом случилось с колесом и чичиковской бричкой, напоминать не надо.) Финальные главы «Апреля» сгущают гоголевскую атмосферу, и естественной, необходимой кажется картина, что в самом последнем эпизоде открывается Воротынцеву на могилевском валу:

«Видишь — так много России сразу, как не бывает повседневно». Чудо «Страшной мести». Чудо одиннадцатой главы «Мертвых душ». Как необъятность российского простора рождает у Гоголя мысль о богатыре, которому «есть место, где развернуться и пройтись» (6; 221), так у вглядывающегося в российскую беспредельность Воротынцева пробуждается воля к борьбе, жажда последнего боя. И хоть «прославленная Тройка наша — скатилась, пьяная, в яр — и уткнулась оглоблями в глину», хоть довело нас до черного дня «хвастовство» (снова гоголевская мысль и гоголевская интонация!), но:

«В этом холоде подступающего, в этой бесповоротности — свое новое облегчение.

Кажется: все — хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны? и не знаешь, где быть, где стать?

А плечи — опять распрямились. Нет, впереди — что-то светит. Еще не все просадили.

Но — на какой развилке спешить? И уложить себя — под какой камень». Так кончается «Красное Колесо».

И понятно, что пишет Солженицын не только о Воротынцеве в 1917 году, но и о себе сегодняшнем. И понятно, что недобровольный изгнанник чувствует здесь органическую связь с тем, кто вглядывался в Русь из «прекрасного далека». «Апрель» завершился с сознанием близкого возвращения домой. И встреча с Гоголем в «Апреле» была поэтому неминуемой.

Те эпизоды, что пронизаны гоголевскими мотивами, поразительно лиричны, личностны. К Варсонофьеву приходили Саня Лаженицын и Ксения, чьими прототипами являются родители Солженицына (прототипы не составляют тайны для читателя, знакомого с интервью и автобиографическими сочинениями автора «Красного Колеса»). Великий писатель сказал о своем будущем рождении. И застыл вместе с Воротынцевым (вместе с Гоголем) на валу истории, там, откуда «вдруг стало видимо далеко во все концы света».

* * *

Наш разговор начался с паузы, счастливо обнаруженной и истолкованной Владимиром Кравченко, а закончился совсем другой паузой из «Апреля Семнадцатого». Так или иначе, но прозаик, вслушивающийся в голос Гоголя, «вдруг» застывает и видит разом «все». Гоголь сжимает мир в сверхтяжелую точку, кажущуюся вечной и неколебимой, но он же, поместив нас в это «заколдованное место», открывает необъятность пространства, навстречу которому рвутся и застывшие персонажи, и ошеломленные читатели, вдруг осознавшие свою слитность с теми, кого так старался оживить писатель, с теми, кого он строго судил, никогда не теряя надежды.

**Читайте в № 7, 8, 9 «Нового мира» за этот год
новый роман Даниила Гранина**

«БЕГСТВО В РОССИЮ» —

**драматическое повествование о «левых» американских ученых, которые
в годы холодной войны бежали с Запада на Восток — в СССР...**

***НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!***

СНЫ ПОПОВА

В а л е р и й П о п о в. Любовь тигра. Повести, рассказы. Санкт-Петербург. «Советский писатель». 1993. 368 стр.

Каждая новая книга Валерия Попова встречается его давно определившимся читателем с тем нетерпением, с каким после долгой разлуки с собственным отражением подходишь к зеркалу.

Одна из тайн успеха Попова заключается в поразительной точности, с которой выуживает он из «коллективного подсознательного» не замечаемые нами приметы, запахи, тайные недодуманные мысли. Советская и постсоветская жизнь загоняла туда, в общем, достаточно сходные вещи. Именно упоминание одной из таких вещей — случайной ассоциации, полузабытого чувства — обеспечивает Попову безошибочное узнавание «своими». При всей редкой пластичности своей прозы он чуждается томительной описательности: где другие старательно вырисовывают куб, Попов задает его диагональю. Наша жизнь в его прозе не столько присутствует, сколько угадывается. Вечный интерес всякого читателя к собственному подсознанию и есть причина неослабевающего интереса к Попову: он первым фиксирует перемены. Кажущаяся — и вполне нарочитая, игровая — недотепистость его авторского героя только оттеняется жесткой точностью письма, четкой, системной организацией материала и метода.

«Философия счастья», с которой Попов пришел в русскую литературу, напитанную апологией страдания, во многом определяется именно системностью, четкостью мышления, попыткой сформулировать законы в хаосе. Хаос и в новой книге Попова — одно из главных слов-сигналов, символ неумения организовать и обуютить окружающий мир. Среди тотальной свертучести, необязательности, в которую мы волей-неволей погружены, именно это разумное организующее начало само по себе утешительно. «А может — конец и есть: прекращение всех законов, улетание от них?» — в ужасе спрашивает герой Попова в новой повести «Остров рай», и в системе Попова такой вопрос вполне закономерен.

Книга «Любовь тигра», включающая повести и рассказы последних лет, собственно, и есть летопись приложения прежних поповских законов к новой реальности, в которой все прогнозы малоутешительны и, главное, обречены на несбывание. Внешне перед нами прежний Попов: тесто текста густо упихано изюмом точных наблюдений и лихих каламбуров из «записнухи». Проза по-прежнему смонтирована, свинчена из готовых блоков, по ее пространству щедро раскиданы шуточки, словесные игры и припечатывающие определения. Попов по-прежнему формулирует свои законы счастья, благодаря которым герои его ранних книг — «Жизнь удалась», «Южнее, чем прежде», «Новая Шехерезада» — ухитрялись сохранить здравый смысл и радость существования. В том же «Острове рае» Попов уговаривает собеседника, изначально запрограммированного на трагизм существования: «Ну зачем нам этот Шекспир? Там гибнут все. Ты слушай сюда. Первое — понимай каждого, меру его желаний, меру благородства, — и не перегружай!.. Второе... голос! Я сам иногда удивляюсь своему голосу, особенно по телефону: что — «спасибо, все хорошо!»?.. что он гордит? Чего хорошего-то? А потом невольно заслушаюсь: а может, он прав?.. И последнее: помни — от ада дорая миллиметр, крохотное движение языка. Малейшее движение надо сделать, чтобы плохое в хорошее повернуть». К этому третьему, любимому правилу Попов возвращается всечасно. В превосходной авторской исповеди «Иногда промелькнет» — летописи собственного детства — он ни на секунду не забывает о спасительной функции речи, о преобразующей силе языка: «Да, жизнь загадочна и страшна, но — слегка подчиняема словам. Мостик из слов, сцепленных над хаосом, — единственное наше спасение... Как хорошо жить в уюте — и как страшно за тех, кто не умеет его словами организовать!»

В русской литературной традиции Попов, повторю, странен, почти не-

уместен именно отсутствием изначальной установки на страдание. Оно не кажется ему ни поводом для уважения к страдальцу, ни пропуском в рай, ни непременным следствием каких-то особенных достоинств. Страдать необязательно — чтобы это понять, Попову понадобилось прожить собственное детство. Многочисленные маски, напяливаемые борцами, страдальцами, снобами, для героя Попова не столько отвратительны, сколько обременительны. Оказывается, и циником быть необязательно! И всеведение напускать на себя — тоже незачем! И вешать на окружающих собственные проблемы и самому носить их, как ордена, — дурной тон! Разумеется, столь нестандартная позиция долго не позволяла Попову выскочить из ампулы «питерского юмориста», тогда как разборчивый читатель давно уже научился жить «по Попову» — то есть не наткаться на прутья клетки там, где можно спокойно пройти между ними. Это, разумеется, не отменяет знания обо всех темных, непостижимых, мрачных сторонах жизни — тех областях, в которых не работают четкие и утешительные поповские законы. Некоторые из них — например, «У наших врагов есть свои проблемы» или «Счастье копитя где-то, чтобы внезапно обрушиться на тебя» — продолжают работать и в новой книге Попова, даром что в разъехавшейся реальности герой все меньше верит себе.

Существенная сторона мировоззрения Попова — его доверие к жизни. В новом рассказе «Божья помощь», появившемся в периодике три года назад, то же почти детское доверие, надежда на охраняющую руку. Попов движется по миру странником, перед которым, как в детском фильмоскопе, разворачиваются все новые и новые картинки, и герой его прозы доверяет тому, кто эти картинки показывает. Один из коренных приемов такой прозы — остранение, обновленное восприятие привычных вещей. Поэтому в прозе Попова всегда так много пустырей, свалок, пустых пакгаузов — пустынных, таинственных пространств, на которых попадают странные предметы, изменившие свое назначение.

В ранней повести о детстве «Темная комната», блистательно построенной на цепочках остранений, свалка на окраине города представляла столь же таинственной, как Зона в «Пикнике на обочине» Стругацких: островок предметов, назначение которых неясно. В раннем рассказе «Парадиз», прямо перекликаю-

щемся с повестью «Остров рай», впервые возникала стержневая поповская тема острова — отдельной, изолированной реальности. Пейзажи островов не похожи на пейзажи материков — там все другое. Эти незнакомые пространства — песчаные пляжи, масляные рощи, пустынные теннисные корты — еще надлежит обживать. Доверчивый странник Попова как раз и намерен их обжить по-своему, раздавая предметам новые имена и новые назначения. Хроникой такого обживания новых неуютных времен становится вся «Любовь тигра».

Разумеется, и в этой новой реальности есть уже знакомые Попову типы, вызывающие отвращение и насмешку. Именно такие хмурые люди, «поющие песни о загубленной жизни», процветают в новых временах, как и в любых: такой Боря-боец, фигура более чем характерная для недавних политических бурь, и Орел безглавый, прямо перекочевавший из города Ю (рассказ Попова «В городе Ю» с поразительной точностью предсказал выморочную реальность последних лет). Разумеется, все эти типажи претерпели изменения, а некоторых Попов выудил своим безошибочным взглядом впервые — таков мафиозно-всемогущий персонаж из «Любви тигра». Социальная — и отнюдь не самоцельная — точность тут становится следствием разоблачений чисто психологических. В новых обстоятельствах, как и в прежних, во многом им соприродных, на гребне успеха оказывается именно тот, кто самые простые вещи проделывает с максимальным напряжением, кряхтением и муками. Но в поздней прозе Попова заявляет о себе и нечто новое, прежде всего — это истончение, изношенность самого вещества жизни.

Ранняя проза Попова насыщена радостными, вещными, плотными приметами. Тут его пластике было где разгуляться — прикладной акмеизм, упоение деталями: смакование холодного молока, банного пара, мягкой, пристающей к небу сосиски. Этого вещества жизни в новых рассказах Попова практически нет. Нет плотского упоения прекрасной реальностью, счастливого сидения в теплой ванне, радостных летаний на катере по воде, бурой от листьев, как заварка. Катер в «Острове рас» скачет по реке без руля и без ветрил, а томительный пейзаж весь прочерчен унылой береговой линией, свободен от прекрасных реалий прежних таких путешествий. Все больше грузовиков, грязных

машин, заледенелых дорог, все больше ненавистного Попову холода, поездок неизвестно куда, разговоров с утомительными и мрачными собеседниками. Гротеск, прежде позволявший легко преодолевать ужас жизни, доведивший его до смешного, одомашненного абсурда, становится все печальней, все отчаянней, и реальность прозы уже распадается, как и все вокруг. Разлезается ее волшебная ткань, утрачивается смысл, прежде так легко и волшебно возникавший из точных догадок, сцеплений, из самого воздуха. Примеры такого распада реальности — превосходные рассказы «Сон, похожий на жизнь» и «Сон, похожий на смерть».

Герой в них бессловесен, как и положено спящему. Он уже не может словами организовать жизнь по своему вкусу. Он снова странствует — но странствует уже над вспененной, неуютной, коричневой рекой, среди пустынных и пыльных комнат. И это все, чего он заслуживает? Это — тот рай, который был ему обещан? Тем более что и на «Острове рае» ему не светит ничего, кроме малоприятных людей из прежней жизни да потерянных когда-то вещей, прежде нужных, но теперь совершенно бесполезных. Даже деньги, внезапно возвращенные герою на том свете, на этом уже не имеют хождения после реформы девяносто первого года (единственная, кажется, отсылка к политике в прозе позднего Попова). Жизнь, мир вокруг все отчетливей превращаются в бесконечный ряд угрюмых домов с погашенными окнами, пустынных холодных улиц с вечной наледью, грязных поездов... То вещество жизни, которое так пленяло в ранней прозе Попова, исчезает, поглощаемое метафизической дырой всеобщей грязи и нищеты.

Засасывающую «воздушную яму», метафизическую бездну, разверзшуюся внезапно у самых ног, Попов чувствует точнее остальных и не прячется от нее — напротив, он со страшной точностью рассказывает о том, как поглощает эта бездна всех, кто не хочет ей сопротивляться. Жутковатая история в «Острове...» о том, как у героя пропадают часы, попадая то в операционную, «полную крови и криков», то в самый темный угол квартиры, и есть история постепенного растворения в окружающем страдании. Герой находит в себе силы сопротивляться ему — но во сне от него ничего не зависит, да и в жизни-то, по большому счету, зависит немногое. Так что сегодняшние сны По-

пова очень похожи на жизнь как раз своей беспредметностью, пустынностью, бредовой алогичностью, от которой не спасают даже редкие вспышки счастья вроде встреч с любимой или невесть откуда взявшейся роты казаков в белых черкесках на поляне, обсаженной мальвами.

В поздней прозе Попова одним из ключевых слов становится «тьма». Она окружает героя как символ неупорядоченного мира, в котором не за что ухватиться. Это тьма не только метафизическая, но и вполне конкретная — мрак заледеневшей реки, ночного неба, в котором без толку мотается воздушный шар, или мрак небытия, который страшит героя в тысячи раз больше, чем любые страдания на земле. «Мы поняли вдруг — страх притеснений, наказаний, террора уступает самому главному страху — страху перед темной бездной — она страшней». Это сказано с безжалостной точностью. Ужас энтропии, столь знакомый сегодня любому из нас, пронизывает и «Сны...», и «Остров рай», и «Божью помощь» — самый светлый рассказ книги. Даже «Отпевание» — вещь тоже светлую и нежную, полную любви и печали — не спасает «философия счастья»: герой — альтер эго автора — погибает, и догадка его друга (от имени которого написан рассказ), что смерть настигла его на пике счастья, — не утешает.

Законы пасуют перед бездной. Невозможно быть счастливым там, где количество мелких нелепостей и гнусностей давно переросло в новое качество жизни. Эту жизнь организовать уже нельзя.

Можно организовать прозу.

Эта проза, в противовес всем расхлябанностям и необязательностям небрежной «новой литературы», по-прежнему выстроена с заботой о читателе и любовью к нему. Читатель не скучает ни секунды. Все гвозди забиты намертво, и ткань текста, натянутая на них, не провисает нигде. В новой для себя, почти реалистической манере повести «Иногда промелькнет» Попов оказывается столь же крепким литератором, что и в своих выверенных гротесках. «Иногда промелькнет» — пример небывалого прежде подпускания к себе. Попов уже не прячется за героя: он исповедален, откровенен, и его опыт преодоления кошмаров, избегания их бесценен для читателя.

«Любовь тигра» — страшноватая книга. Но она по-прежнему пронизана любовью — зачастую беспомощной, но не-

изменной. Попов не оставляет попыток сделать мир уютнее, расчисленнее, яснее. И вне зависимости от результата его опыт полного, светлого существования во тьме и хаосе необходим всем, кто узнает в его герое себя. Главная авторская установка на любовь, на

счастье, на самореализацию остается прежней, с какой бы пугающей точностью ни обозначал Попов той новой реальности, в которой живет и работает.

Ничего, ничего... Иногда промелькнет.

Дмитрий БЫКОВ.



РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ТЕРЯЛИ

Вячеслав Рыбаков. Гравилёт «Цесаревич». Роман. «Нева», 1993, № 7, 8.

Н у можно ли себе представить, чтобы в наше время кто-то написал утопию? Утопию, которая, как и полагаются утопиям, основывается на гипотезе, что человек добр по природе? Решительно невозможно, скажете вы и будете правы, ибо вся история XX века убедительно свидетельствует о том, что предположение о доброй природе человека не имеет под собой решительно никаких оснований. Стало быть, чтобы написать утопию, надо по крайней мере опровергнуть историю.

А можно ли представить, чтобы утопия эта имела детективный сюжет и читалась захлеб? Причем не приписанный, побочный, как, скажем, в «Что делать?», где сюжет похож на сладкую таблетку горькой пилюли и на жирного червяка, которым читателя ловят на стальной крючок философии разумного эгоизма, а сюжет, который является одним из смысловых уровней текста? Вот это решительно невероятно, скажете вы и будете дважды правы. Ибо утопия по самой своей сути не имеет сюжета. Утопия — это состояние счастья, то есть бессюжетности. Плачут даже богатые, счастливые — никогда.

И тем не менее Вячеслав Рыбаков сделал невозможное. Он написал «Гравилет „Цесаревич“» — увлекательную утопию с детективным сюжетом.

«Гравилет» — слово понятное и широко распространенное в советской фантастике. Обычно на гравилетах летают в будущем, но в данном случае на них летают в альтернативном настоящем. Слово «цесаревич» советской фантастике было незнакомо. В данном случае это название гравилета, на котором возвращался с базы Тюратам в Санкт-Петербург наследник российского трона, великий князь Александр Петрович, «щепетильно порядочный человек, одаренный математик и дельный организатор. Мечтатель. Официально — глава

российской части российско-североамериканского проекта «Арес-97». Фактически — правая рука престарелого Королева».

Гравилет разбился в результате несомненной диверсии, цесаревич погиб. Главный герой повествования, полковник Российской госбезопасности князь Александр Львович Трубецкой, начинает расследование этого невероятно бессмысленного покушения, в ходе которого сталкивается и со случаями раздвоения психики, порождающими всплески немотивированной жестокости в благополучном, удивительно благополучном мире.

Госбезопасность разумного мира в недоумении. Строятся самые невероятные гипотезы, пока интуиция и логика не наводят полковника Трубецкого на след удивительного открытия — или преступления, — совершенного в 70-х годах прошлого века русским революционером Ступаком и немецким химиком Рашке.

Да, мы совсем забыли сказать, что князь Трубецкой не только полковник госбезопасности, но и убежденный коммунист. Рыбаков нарушает разом два табу интеллигентского сознания: коммунистическая идеология и сотрудничество с органами; ирония, сопутствующая этой инверсии мира, явственно свидетельствует, что в истории нет ничего справедливого самого по себе, но все в зависимости от обстоятельств.

Дело в том, что там, в утопической «России, которую мы не теряли», коммунизм — просто нейтральное, несколько рационалистическое учение, апеллирующее к этическому началу в человеке, не претендующее на политическую власть и руководствующееся формулой: «...всякий мой успех — для людей; но ни в коем случае — люди для моего успеха». Как роняет в беседе с

полковником Государь Всея Руси: «В молодости я читал какие-то работы Ленина, но, признаюсь, князь, они не заинтересовали меня... Вполне здоровое, вполне материалистичное, чрезвычайно гуманистичное этическое учение, и только...»

Разговор о коммунизме в романе заходит не случайно: дело в том, что именно коммунист Кисленко, аэродромный техник, как вскоре удастся установить, совершил этот бессмысленный террористический акт, чтобы затем умереть от мозгового шока. Болезнь? Вирус? Чья-то злая затея? Кто все-таки взорвал злополучный гравилет: достойный человек Кисленко — или странное существо, поселившееся в его душе, вопящее что-то про красный флаг и повторяющее загадочное, ни в одном из языков мира не значащееся слово «омон»?

В грязном подвале виллы Альвиц князь Трубецкой вертит ручки аппарата, сооруженного почти сто лет назад, — и с изумлением видит там крошечную кристаллическую Землю, выращенную в результате открытий Ступака. В отличие от настоящей Земли, той, где живет князь Трубецкой, маленькая Земля в целях выведения на ней породы бесстрашных революционеров sprysnuta облаком иррациональной ненависти. В уэллсовском котле расплынены трихины из сна Раскольникова. Даже техническая ментальность здесь другая — гравилеты, например, не строят, потому что тогда все страны при полетах должны пользоваться единой сетью. «А... строят громадные ревущие крылатые чушки одна другой тяжелее и страшнее, они жгут прорву топлива, то и дело падают и гробят массу невинных людей... но зато каждая из них летит сама! Не завися ни от кого! Суверенно!!»

Там нет больше Российской империи, и Германской и Китайской тоже, кстати, нет, зато там были две мировые войны и... о, да чего уж там говорить, и так ясно, что там было!

Прильнув к окулярам, князь Трубецкой видит и себя — своего тамошнего двойника, опустившегося, грязного субъекта, отнюдь не полковника госбезопасности и не коммуниста. Это российский интеллигент, работающий сельским учителем в бывшем совхозе, на полях которого наемные чеченские профессионалы сражаются с русскими фашистами, и кончающий свои дни в нужнике... Князь Трубецкой для этого своего двойника — поистине то самое светоносное и эфирное существо, кото-

рое видели после клинической смерти люди, опрошенные доктором Моуди.

Время от времени двойники из подкотельного мира проникают в мир надкотельный, и коммунист Кисленко, померший при очередной московской революции, переселяется в коммуниста Кисленко, верноподданного Российской империи.

Роман Рыбакова специфически литературен, п р е д н а з н а ч е н д л я ч т е н и я, имея положенные форму, сюжет и содержание и при этом искусно трансформируя внятные каждому культурные архетипы (гомункулусы, представление о «внешней душе», странствие Ивана-царевича в иномирные пределы).

Идеи безлики — о них можно только рассуждать. Волшебные перстни, чудесные шапки и зловредные порошки, выдуманные революционерами, суть овеществления добра и зла. Их можно похищать, за ними можно охотиться, о них можно повествовать...

Итак, поворотным моментом истории выбрана не какая-то дата — 1 марта или 25 октября, — которую как опорный костыль забивает в наше сознание существующая история, а 70-е годы XIX века. Действительно, в те 30 — 70-е впервые в истории человечества под двойным влиянием контовской религии прогресса и «научной религии» Сен-Симона родилась идея триумфального выращивания в экспериментальной теплице нового, совершенного человека или, по крайней мере, совершенного революционера, — идея, позднее проникшая и в утопическую литературу, во второразрядные, впрочем, романы Ле Хона и Тарда.

Историк описывает то, что было, а не то, что могло быть, если бы... Любая попытка рассуждения на тему, «что было бы, если бы не было революции...», гражданской войны, смерти Александра II (нужное подставить), однозначно выносит такое рассуждение за рамки науки истории, а также науки социологии, науки политологии и любой науки вообще. Наука, по определению, занимается тем, что было, а не сослагательным наклоном.

Однако описание того же самого пути благостной России внутри благостного мира, которое в истории или публицистике вызывает насмешку, в литературе, будучи подано с тактом и умением, оказывается более чем правомерно. Ведь где-то она, эта хорошая Россия, существует? Не один же господин Жириновский носит ее в своей груди?

Ведь литература сродни парадоксу лжеца — она говорит правду в том и только в том случае, если выдумывает. А политики, увы, если лгут, то без всяких парадоксов.

Впрочем, то, что у Рыбакова Россия остается монархией, — следствие не столько законов политического бытия, сколько законов утопического текста. Еще Платон помимо шести существующих форм правления выделил седьмую, идеальную, но неосуществимую, — монархию, во главе которой стоит Некто, абсолютно добрый по природе и не допускающий ошибок. А текст Рыбакова, как я уже сказала, утопичен; зло здесь имеет какое-то внешнее, механическое происхождение, наподобие вытаскиваемой занозы. (Даже любовный треугольник героя призван продемонстрировать, как легко разрешаются человеческие отношения в мире неиспорченного человечества — легче, чем среди новых людей из «Что делать?».)

Несмотря на добротный, уэллсовского вида котел, в котором князь Трубецкой рассматривает своего кристаллического двойника, и безупречную технику отделки сюжета под *science fiction*, книга востоковеда Рыбакова напоминает нам об одном из типичных приемов средневековой китайской литературы, где героями романа становятся не люди, а божества, изгнанные за какой-то поступок с небес. Та жизнь, которую они ведут на земле, неистинная и ненастоящая. Жизнь есть сон — Сон в Красном Тереме, Облачный Сон Девяти, Сон в Нефритовом Павильоне, — и, претерпев некоторое количество превратностей, герои просыпаются в истинную жизнь. (Пусть в жизни на этих небесах боги кушают и пьют, ссорятся и подсиживают друг друга при дворе Небесного Владыки — все равно это рай, красивый, как реклама мороженого.) В этом смысле основная метафора книги Рыбакова — то, что и делает эту книгу утопией, — противоположна одной из основных метафор постсоветской эпохи, явленной нам, например, в появившейся почти одновременно блистательной «Жизни насекомых» Виктора Пелевина.

Основная метафора книги Пелевина: «мы — насекомые». Мы думаем, что мы люди, а на самом деле мы жуки-навозники, которые обречены всю жизнь катить перед собой шарик дерьма, называемый «Я». Мир «Гравилета...» устроен обратным образом. Человек, который катит перед собой всю жизнь кучку дерьма, — это как раз ненастоящий человек из того самого злополучного кот-

ла, человек, которого химик Рашке опрыснул своей сывороткой ненависти. Настоящая же жизнь — за пределами проклятого автоклава. В ней нет иррационального зла. Когда-нибудь все мы безо всякого сверхъестественного рая, исключительно благодаря научным законам проснемся в той, настоящей жизни, где российские общедоступные супермаркеты завалены кубанской картошкой и гавайскими ананасами, где люди порядочны и честны, где их мучают личные, а не общеполитические проблемы (тут-то и проясняются причины той тщательности, с которой прописаны отношения полковника госбезопасности с двумя своими женами) и где группы, формируемые полковниками госбезопасности для расследования терактов, называются не «А», «Б», «В», а «Аз», «Буки», «Веди» и, главное, — «Добро».

Странный рай, не правда ли? Чего он только не напоминает: и чайновское «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», и рекламную заставку для шампуня, и тот самый уютный домик, в котором Воланд поселил заслужившего покой Мастера, и порядочную мызу, которую, как свадебный дар, преподносят в конце гофмановского «Крошки Цахеса» счастливым молодоженам.

Роман Рыбакова дышит вызывающим материализмом. Действительно, что за рай без супермаркета? И какая грустная ирония судьбы: по отношению к российской действительности мир западной массовой культуры выступает как утопия! А впрочем, не верящий в Бога полковник Трубецкой вдруг спохватывается: «Послушай, Альберт... а есть ли гарантии, что мы — не в котле?.. Ты назвал их чистилищем, а нас раем. Но ведь где-то должен, значит, быть и ад. Или, значит, ад они, а чистилище мы, но тогда... есть что-то еще выше?»

Рай, изображаемый Рыбаковым, покоится на трех китах: врожденной порядочности людей, избытку и — уважении к властям. Нельзя не заметить, что портрет Государя Всея Руси нарисован с той же почтительностью, с которой американские романы катастроф изображают президента, а средневековые китайские авторы рисуют императора, что диаметрально противоположно методам, от века и ныне принятым в русской литературе для изображения власть предержащих. Да и сам князь Трубецкой с его фамилией, пахнувшей декабризмом и евразийством, явно сле-

дует западной, а не российской аристократической традиции, которая презирала службу вообще, а службу в полиции — в особенности.

Парадоксальная вещь «Гравилет...». С одной стороны, если посмотреть на жизнь князя Трубецкого, — совершеннейшая утопия. «Вот она такая, настоящая жизнь». А с другой стороны, если посмотреть на жизнь обитателей котла, — злейшая антиутопия. Мало того что мы утопаем в грязи — это не просто естественная, прирожденная человечеству грязь, существовавшая до 70-х годов XIX века, а грязь внутри пробирки, полученная в результате экспериментов «раннекоммунистической секты ассасинов».

Наш XX век питает некоторое предубеждение против простых текстов. Мы часто и привычно говорим о произведении, что оно «глубоко». При этом имеется в виду, что чем больше в тексте размышлений о судьбах мира и чем меньше в нем приключений, тем текст глубже. Глубокими текстами стали называться те тексты, где повествование само по себе, а философия сама по себе. Философии много, а повествования мало.

Роман Рыбакова не глубокая вещь. В нем нет ни одного лишнего куска философии, который не являлся бы двигателем повествования. В нем нет ни одного рассуждения, которое не было бы мотивировано фабулой, а стало быть, нет ни одного рассуждения как такового. Рыбаков продолжил приметный ныне жанр: альтернативная история России, — тот же, к которому принадлежит «Остров Крым» Василия Аксенова или «Роммат» В. Пьецуха. Но в «Острове Крым» существование альтер-

нативной России лишь предлог для развертывания сюжета. Если есть остров Тайвань, почему не быть острову Крым? Напротив того, у Рыбакова существование альтернативной России — сюжетообразующая основа вещи.

Почему-то обычно полагают, что текст, написанный для массового читателя, заведомо несовершенен. В нем не использованы возможности интеллектуальной прозы. Но верно и обратное: текст, написанный лишь для элитарного читателя, несовершенен по сходной причине — в нем не использованы возможности сюжета.

Безусловно, тексты не должны быть, как шприцы, для одноразового пользования: следует ли отсюда, что они должны быть таковы, чтобы их вообще нельзя было читать? Но сюжет имеет еще одну, зачастую неприемлемую для современного интеллектуала особенность: если текст обладает сюжетом, значит, мир, изображенный в тексте, обладает смыслом. Если бы Мир в Котле у Рыбакова существовал сам по себе, как автономное образование, а в нем влачил бы призрачное бытие Герой-Неудачник, Который Кидается На Стены Лбом, этот мир был бы бессмыслен. Но так как Мир в Котле существует только внутри сюжета — мир приобретает смысл, а Герой из Неудачника Трубникова превращается в победительного полковника Госбезопасности князя Трубецкого.

Сюжет необходим в благоустроенном романе, как полиция и армия необходимы в благоустроенном государстве. Роман Рыбакова напоминает нам и о первом и о втором.

Юлия ЛАТЫНИНА.



«ОН УЖАСНО НЕТАЛАНТЛИВО РОДИЛСЯ...»

К. Леонтьев, наш современник. Пб. Издательство Чернышёва. 1993 (Серия «Русь многоликая», кн. 1). 463 стр.

Константин Леонтьев. Избранные письма. 1854 — 1891. СПб. «Пушкинский фонд». 1993. 637 стр.

Константин Леонтьев. Избранное. М. «Рарогъ»; «Московский рабочий». 1993. 399 стр.

А. Ф. Сивак. Константин Леонтьев. Л. Издательство Ленинградского университета. 1991 (Серия «Мыслители России»). 87 стр.

Еще совсем недавно в самых разных изданиях, включая вполне научные, Константина Николаевича Леонтьева упорно путали с его однофамильцем Павлом Михайловичем Леонтьевым, другом и единомышленником

М. Н. Каткова, довольно заурядным публицистом, тоже державшимся, конечно, консервативных воззрений. Ныне в представлении нуждается последний. Что же касается Константина Леонтьева, то — без всякого преувеличения и без

тени иронии говорю — его скоро будут изучать в средней школе. Разработают программы и методические указания, где в каждом предложении будет фигурировать слово «духовность». Почва для школы уже удобрена.

Несколько сборников публицистических статей, политических трактатов, повестей и очерков Леонтьева; отдельные издания его небольших произведений, начиная от мемуаров «Моя литературная судьба» и вплоть до программной работы «Как надо понимать сближение с народом?»; множество публикаций в толстых журналах, в ежедневной прессе, в научной периодике, не говоря уже о малотиражных академических изданиях; две монографии о нем, скромные, правда, по объему, но обе выпущенные Петербургским университетом и адресованные в основном студенту — вчерашнему школьнику; целые разделы в книгах по истории русской философии...

Весь этот поток обрушился на нас в последние шесть-семь лет, и можно бы, кажется, сказать, что произошло второе рождение Леонтьева — куда более счастливое, чем то, первое, о котором писал в начале 1917 года В. В. Розанов, самый проникновенный интерпретатор Леонтьева: «...он был всего только русским цензором, русским консулом и монахом в Оптиной, да вечным должником своих друзей <...> Он ужасно неталантливо родился, родился не для счастья. Но по условиям, но по качествам души он мог прожить счастливеешим в мире смертным, заливаясь смехом, весельем, «безобразием» (слишком желал), и ни чуточки не помышляя о смерти и монастыре». Редкая работа о Леонтьеве обходится без цитат из Розанова — и справедливо. Многие связывало этих людей, поддерживавших в течение года — последнего года жизни Леонтьева — бурную переписку, но так и не успевших встретиться. Леонтьев для Розанова навсегда остался загадочным знаком русской жизни — постоянно притягивал к себе и казался неисчерпаем. Но как раз эта процитированная здесь статья Розанова, относительно недавно републикованная за рубежом, меньше всего привлекает внимание сегодня, точнее — сегодняшних панегристов и ниспровергателей Леонтьева. Не интерпретаторов, не исследователей, не публикаторов — такие тоже есть, но их голоса тонут в мощном потоке апологетики и совсем не слышны в скромном ныне стане врагов. Ни тем, ни другим не нужен «всего только русский цензор, <...> консул и монах», за-

ливавшийся к тому же весельем и не помышлявший о монастыре. Сама по себе личность Леонтьева никого особенно не занимает сегодня.

Могло ли второе рождение Леонтьева оказаться в самом деле счастливым — сомневаюсь; но что оно могло состояться и могло быть не столь «ужасно неталантливым» — уверена, если бы... Этих «если» наберется немало.

Если бы попытки анализа не глушились «осанной», реже — проклятиями; если бы политические фантазии не объявлялись ясновидением; если бы из талантливого прозаика не лепился монументальный классик, с его привычными атрибутами державного символа; если бы прислушивались к нему самому, не подменяя его кем-то другим, более желанным... Хотя провидческая интуиция Леонтьева несомненна и его пророчества поражают иногда точностью попадания, хотя фактура его мысли — сочетание историсофского размаха с почти наивной обнаженностью страдающего «я» — неповторима, а масштаб личности вызывает пиетет, хотя импрессионистическая манера письма поглощает и завораживает, в Учители он не годится и в Классики не пройдет, несмотря на усиленные потуги реаниматоров. Леонтьев никогда не обретет широкого читателя, он просто не годен к массовому употреблению — природа его слова этому противится. И все, что происходит сегодня на наших глазах — спешная канонизация Леонтьева, бесцеремонная экспроприация его наследия (в первую очередь, конечно, историсофского), борьба за право вещания от его имени, — далеко уводит нас от самого Леонтьева. Еще несколько лет назад, на подъеме апологетической волны, С. Г. Бочаров прямо и очень точно сказал о том, что теперь переросло в эпидемию: «...нет худшего употребления леонтьевских афоризмов, чем сделать их политическими рецептами для дня сегодняшнего». Однако — сделали. Потому что была в этом общественная потребность.

В наши дни Леонтьев — фигура на редкость удобная для разного рода манипуляций. Его тексты обладают исключительными адаптивными возможностями, недаром их ныне с пиететом цитируют и в газете «Сегодня», и в журнале «Москва». В силу стереоскопичности его взглядов, способных рождать взаимоисключающие проекции (отсюда устойчивость представлений о противоречивости Леонтьева), в силу своеобразной эластичности его идей, которые он виртуозно умел натягивать на новые

политические реалии, Леонтьев поддается перетолкованию в разной системе убеждений. Но еще в большей мере его приспособляемость к нашим дням объясняется маргинальностью. Его политические идеи не скомпрометированы, подобно победоносцевским, его богословие никто не связывает с синодальной церковностью, его имя пока не звучит одиозно. Более того, Леонтьев ведь даже толком не прочитан. Его знают в основном по цитатам — и даже не из его текстов, а из статей о нем В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка. Причем по плохо понятым цитатам, не вписанным ни в контекст убеждений его интерпретаторов, ни в систему идей самого Леонтьева. Его пророчества о грядущем социализме — «феодализме будущего», его приговоры «среднему европейцу» знают и захлеб повторяют и союзники, и противники, но даже те — и может быть, в первую очередь те, — кто считает себя «леонтьевцами», изымают афористичные формулировки из мыслительной ткани тончайшего плетения и превращают их в плоские лозунги дня.

«К. Леонтьев, наш современник» — уже название этой совсем недавно появившейся книги с завидной лапидарностью и прямоотой обнаруживает задачу авторов. Все материалы сборника, за исключением «избранных сочинений» самого Леонтьева, составляющих первый раздел книги (за ним следует второй — «Причастные и посторонние. Современники о К. Леонтьеве», затем третий — «Далекое эхо. Петербургские философы 1990-х годов о К. Леонтьеве»), призваны иллюстрировать стержневую мысль: «Леонтьеву как никому было дано понять, что нашей славой, величием, даже долголетием мы обязаны <...> той религиозности и государственности, которые были унаследованы от Византии». И поскольку Леонтьев глубже всех понял прошлое и яснее всех провидел будущее, его надо «читать, изучать, усваивать». Леонтьевское наследие ценно главным образом тем, что «вольно или невольно пробуждает в русском человеке представителя великого народа, который, очнувшись от дурмана обступивших его со всех сторон демократических примитивов, поймет крайнее убожество современной буржуазной «цивилизации» и утвердится в сознании того, что русские — великий народ <...>».

Понятно, что возбудитель столь высоких национальных чувств должен быть очищен от разного рода сомни-

тельных идей, которых у Леонтьева найдется немало, если искать в нем кристальной чистоты источник национальной самоидентификации. Не знаю, намеренно или невольно, целенаправленно или по неведению, но авторы сборника освобождают Леонтьева от многого — от слишком уж многого. Они превращают его не только в «нашего современника», но и в своего единомышленника, уверенно объявляя, например, что Леонтьев «нимало не сомневался во всемирном призвании России, в великой нравственной значимости ее будущего <...>». Ни составителей сборника — Б. Адрианова и Н. Мальчевского, — ни автора этой громкой фразы Ю. Булычева не смутило то очевидное обстоятельство, что приведенной цитате противоречат даже включенные в книгу статьи Леонтьева, не говоря уже об общем пафосе его идей. Если бы Ю. Булычев успел «прочитать, изучить, усвоить» наследие Леонтьева в полном объеме, он, наверное, заметил бы леонтьевское предостережение, как будто специально обращенное к подобным интерпретаторам: «...мнительность и для государства, и для национальной культуры — гораздо полезнее, чем самоуверенность и беспечность». Образец этой трезвой мнительности нередко являл сам Леонтьев. В 1880-е годы, в эпоху победоносцевской реакции, он слышал немало барабанной риторики на тему «всемирного призвания», составлявшего для него самого «роковой вопрос»: «...нет мыслящего человека в России, который бы позволил себе еще теперь, даже в уме своем и с глазу на глаз с своею совестью, *произнести решительный ответ!*» Даже когда Леонтьев рассуждал о ближайших триумфах России — кстати, и эти рассуждения можно правильно понять лишь в историческом контексте, памятуя об общественном недовольстве исходом русско-турецкой войны, об ожидании реванша, — он бросал «охладительное слово»: «Сомнительна долговечность ее будущности; загадочен смысл этой несомненной будущности, ее идея».

Разочарованного, безотрадного мессианства нельзя не замечать в Леонтьеве, если, конечно, искать в его статьях его самого, а не нового спасителя нации, не образец для новых трафаретов.

В советское время от подобных процедур страдали Белинский, Чернышевский, Добролюбов. Их деформировали, подтягивая к неким заданным нормативам, но в силу приличной изученности материала усмирить их бывало труднее,

чем Леонтьева. И все же удавалось. Помню, с каким изумлением я прочитала размышления зрелого Белинского о младенствующем состоянии славянских народов, не способных претендовать на мощную государственность без поддержки России. Кстати, эти размышления должны были бы заинтересовать любителей Леонтьева, да и всех нас заставить призадуматься над мистифицированным характером истории нашей общественной мысли, где по-прежнему сплоченные революционеры-демократы решительно противостоят стройным шеренгам консерваторов. Жесткие слова Белинского, предвосхитившие бой панславистов с западниками, да и в целом проблематику середины — конца века, приходилось замалчивать или искажать. Нельзя же было ставить под сомнение гуманистический пафос первого революционера-демократа. Теперь замалчивают и искажают многое в Леонтьеве, пытаясь сделать его ключевой фигурой во вновь конструируемом культурном поле. Его православие силится подать как чисто национальное, абсолютно чуждое идеям христианского универсализма, а концепцию самодержавия отождествить с победоносцевской.

Многого нужно было никогда не читать, чтобы тешить себя надеждой, будто в зрелые годы Леонтьев «находился уже не на эстетских, как в молодости, а на ортодоксально-церковных позициях» (статья В. Кондратовича в том же сборнике). В ответ я долго могла бы цитировать и самого Леонтьева, и его противительных истолкователей, но ограничусь фрагментом предсмертного письма к В. В. Розанову: «Я считаю эстетику мерилом, наилучшим для истории и жизни <...> В эстетическом <...> мировоззрении *все вмести́мо!*.. И *все религии, и всякая мораль, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата*». Многого нужно не знать, чтобы видеть в Леонтьеве и сторонника «простого консерватизма», «силового «подмораживания» державы» (Ю. Булычев). Своеобразие политической позиции Леонтьева в том как раз и состояло, что он разрабатывал довольно сложную модель сохранения социальной стабильности при проведении экономических преобразований.

Сложность идей, исповедуемых Леонтьевым, трагизм его религиозного чувства, панические метания «между буйно-языческой эстетикой и ожесточенно-мрачной аскезой» (как точно писал о нем Ю. П. Иваск), дерзость мыс-

ли, «нестерпимая», по слову самого Леонтьева, сложность интеллектуальных потребностей — все это ускользает от большинства пишущих сегодня о Леонтьеве (исключение составляют яркие имена, такие, как С. Г. Бочаров и Г. Д. Гачев, но они ни в сегодняшнюю, ни во вчерашнюю волну не вливаются). И союзники и противники превращают его то в надоедливую, то в зловещую брызгу, обитающего в каком-то внеисторическом пространстве и чем-то удивительно знакомого, как знаком всякий примитив¹.

Поскольку составители решительно отказались от комментария и даже не проставили дат под текстами (зачем, в самом деле, к Леонтьеву комментарий? — он самодостаточен и самоценен!), читая книгу, нельзя понять, в какие годы были написаны леонтьевские статьи, в каком веке происходили обсуждаемые им события, изъятые даже из нынешнего вузовского курса истории, но лежащие в основе его историко-софской концепции, такие, например, как упоминаемая почти на каждой странице греко-болгарская церковная распря. И наконец, загадочным остается, когда появились работы о К. Н. Леонтьеве «причастных и посторонних». Не поможет здесь разобраться — даже скорее дезориентирует — и помещенный в сборнике «Краткий список литературы о К. Н. Леонтьеве за 1886 — 1992 гг.». Из знакомства с ним легко вынести впечатление, что статьи Л. А. Тихомирова, которого, кстати, составители выделяют особо, — «...о Леонтьеве писали многие, но всё не то, кроме, быть может, Льва Тихомирова», — пробились к печатному станку только в наше время, а в прошлом веке их то ли запрещала цензура, то ли не нашлось для них издателя.

¹ Любопытно, что Леонтий Савельев в своих «Записках по русской философии» («Москва», 1993, № 7) объявляет Леонтьева главой «русско-языческой философии», «оторвавшимся от родной почвы скитальцем, не принявшим до конца Евангелия <...>». Этот приговор нетрудно оснастить массой цитат из Леонтьева, что, собственно, и делает Л. Савельев, но обсуждать его работу не буду. Мне она представляется предельно огрубленной версией Флоровского, отягченной к тому же странными противоречиями: «герострат национальной духовности», склонный к «предательским философским поползновениям по отношению как к Православию, так и к своему Отечеству, народу и славянской расе», Леонтьев вместе с тем был, оказывается, во многом «близок к Истине» (обращаю внимание, к Истине с большой буквы).

Дело в том, что в библиографию включены только переиздания и републикации Тихомирова, ни словом не упомянуто о первопечатных текстах, как будто их и не бывало...

Вообще в этом «Кратком списке...» много курьезного. Ю. П. Иваск почему-то в 1955 году помещает в «Новом журнале» рецензию (!) на роман Леонтьева «Подлипки», опубликованный в 1861 году. Г. Д. Гачев почему-то переквалифицировался и отбивает хлеб у К. Д. Муратовой: его сборник эссе «Русская дума. Портреты русских мыслителей» включен в раздел «Энциклопедии и справочники», хотя главы из этой же книги, появившиеся ранее на страницах «Московского вестника», идут в общем перечне литературы о Леонтьеве. Если одна и та же работа Гачева упомянута дважды, что для «Краткого списка...» кажется излишеством, то двум современникам Леонтьева, А. А. Кирееву и П. Е. Астафьеву, с которыми он много полемизировал, причем как раз во включенных в сборник статьях, решительно не повезло: их выпады в адрес Леонтьева в библиографии вообще не отражены, как будто Леонтьев сражался с призраками. Зато множество газетных статей и даже мелких заметок, появившихся в юбилейном, 1991 году (160 лет со дня рождения и 100 со дня смерти) и носивших — за редкими исключениями — ритуальный характер, широко представлены в библиографии.

Не буду утомлять читателя дальнейшим обсуждением этого сборника. Многое можно еще поставить в вину его авторам, но это было бы просто несправедливо: по части отдельных курьезов и общей безграмотности исполнения он не выделяется в потоке леонтьевских изданий последних лет. Читая их, просто увязаешь в трясине фантазмагорической фактографии и с нежностью думаешь уже о составителях сборника «Леонтьев, наш современник», по крайней мере избавивших нас от непроверенных, перепутанных или непонятых фактов.

М. Н. Катков обнимается в 1880 году на пушкинском празднике с К. С. Аксаковым, к тому времени уже давно покойным, и редактирует «Русские ведомости», крупнейшую либеральную газету конца XIX века. Здесь по ошибке либо А. Ф. Сивака, автора книги «Константин Леонтьев», либо наборщика перепутан К. С. Аксаков с его братом Иваном, а действительно издававшаяся Катковым газета «Московские ведомости» неудачно контаминирована с его же

журналом «Русский вестник». Загадочным остается и комментарий к мистическим объятьям: А. Ф. Сивак почему-то склонен их рассматривать как важный эпизод в диалоге Каткова со славянофилами и тут же добавляет, что это примирение все-таки «не могло никого обмануть».

«Евразийцы» вдохновляют Леонтьева наряду со славянофилами и почвенниками, «стимулируют и упорядочивают его интеллектуальный и духовный поиск». Кого И. Н. Смирнов, автор предисловия к «Избранному» Леонтьева, спутал с евразийцами, не берусь гадать, но, когда он называет романом книгу об о. Клименте Зедергольме, жизнь которого служила для Леонтьева уникальным свидетельством силы православия (показательно, что в монашестве Леонтьев принял имя Климента), когда выясняется, что в философской системе Леонтьева «главенствует эстетика, которую он поднимает до уровня физики» (?), — становится, в общем, ясно, что И. Н. Смирнов крайне слаб в предмете, о котором он рискует писать.

Гоголь приезжает в Оптиную пустынь «для бесед со старцем о. Амвросием», сообщает нам Д. Соловьев, составитель и автор комментария к «Избранным письмам» Леонтьева. Гоголь действительно бывал в Оптиной, но умер задолго до того, как Амвросий был избран старцем. Довольно известный критик и драматург Л. Н. Антропов, статьи которого обсуждает Леонтьев с Н. Н. Страховым, почему-то объявлен Д. Соловьевым «неустановленным лицом», хотя о нем можно найти сведения в широко доступных справочных изданиях, как, впрочем, и о сотруднике газеты «Новое время», известном публицисте А. А. Дьякове, которого Д. Соловьев не угадал за его псевдонимами «Булгаков» и «Незлобин» и никаких «сведений» о нем не обнаружил. Немногим более надо было потрудиться — заглянуть, например, в академические издания русских классиков, чтобы обнаружить и несколько других «неустановленных лиц», но подобные требования даже неловко предъявлять комментатору, который решительно отказался от текстологической подготовки писем. В этом убеждает уже самый беглый просмотр текста, абсолютно лишённого курсива, тогда как автографы Леонтьева (и даже не вполне качественные дореволюционные публикации) пестрят всевозможными подчеркиваниями, которым он придавал всегда огромное значение. Хотя очень многие письма Д. Соловьев печатает

тает впервые, и, казалось бы, надо его благодарить за это — испытываешь лишь чувство растерянности, когда видишь, что ценнейшие документы просто наспех списаны и не сверены с источниками, ни с печатными, ни с архивными. Иначе не объяснишь, почему там, где Леонтьев пишет «Гончаров», в «Избранных письмах» стоит «Григорьев» (имеются в виду, конечно, знаменитые писатель и критик), там, где у Леонтьева упоминается граф Н. П. Игнатьев, — неожиданно появляется некий Иванов, насчет которого комментатор строит неопределенные предположения.

Многое, конечно, объясняется просто спешкой — стремлением во что бы то ни стало поскорее издать «забытого» Леонтьева, резервируя за собой право первому и погромче одернуть тех, кто десятилетиями, как пишет И. Н. Смирнов, пытался «извратить <...> политический образ» Леонтьева. Какой опять знакомый язык! Замечу, однако, что в советскую эпоху Леонтьева в прямом смысле слова изымали (как до недавнего времени отсутствовали в читательском каталоге бывшей Ленинской библиотеки карточки на собрание сочинений Леонтьева). А вот извращать как раз начали сейчас, когда стали раздумывать, подобно И. Н. Смирнову, нельзя ли «с помощью <...> философии» Леонтьева «направлять» «движение жизни».

Но, поскольку каждый намерен «направлять» ее по-своему, пишущие о Леонтьеве совершенно не слышат друг друга. Каждый как будто начинает заново и строит здание на пустыре: непременным атрибутом практически всех статей оказывается изложение одной и той же биографической канвы, составленной по одним и тем же источникам, которые никому не приходит в голову подвергнуть критическому анализу (тем более уместному, что все эти источники восходят к автобиографическим, в немалой мере мифологизированным, свидетельствам самого Леонтьева), в обязательном порядке дается краткий пересказ леонтьевских идей, с которыми, предполагается, читатель не знаком вообще. Конспектируя, штудировав, пересказывая и иногда уличая Леонтьева в противоречиях, о нем говорят таким стертым и вместе с тем абсолютно нетерминологичным языком, оперируют такими чуждыми ему категориями, что система идей Леонтьева предстает в бледном и неверном свете и, напротив, с редкой выразительностью обрисовываются стереотипы современного сознания. Даже

статьи авторов, поставивших перед собой, по-видимому, вполне академические задачи, чуждых, во всяком случае, политическим спекуляциям на имени Леонтьева, даже и они поражают неразработанностью категориального аппарата, слабым знанием исторического контекста, заменой анализа пересказом.

Читая книгу А. Ф. Сивака, аттестовавшего собственный труд как результат «тщательного сравнения провозглашаемых Леонтьевым идеалов с контекстом развития русской общественной мысли XIX в.», я была поражена возникающей буквально на каждом шагу путаницей, из которой автор безуспешно пытается выбраться. Сначала он нас убеждает, что «интеллектуально-философское одиночество» Леонтьева — «это миф, созданный с легкой руки В. В. Розанова», но буквально на следующей странице сообщает, что «голос его остался не услышанным современниками, даже представители охранительства отвернулись от него...». То объясняется, что «очень многое в его мировоззрении было обусловлено особенностями характера и пристрастиями вкуса», то обнаруживается, что общественно-политический «выбор» Леонтьева «вновь» «определяется отнюдь не чувствами его, не пристрастиями, а <...> системой мировоззрения...». То утверждается, что «отечественный консерватизм» Леонтьев «считал неприемлемым» и даже «совершенно не предполагал <...> сохранения того, что существует в России», то выясняется, что «создаваемая им политическая программа основывается на незыблемости самодержавия, укреплении православия, утверждении и развитии крестьянской общины, уменьшении <...> социальной подвижности государственного строя и, наконец, ограничении рынка <...>». Что же тогда понимать под консерватизмом, если это не консервативная программа?

Странное соседство взаимоисключающих суждений объясняется очень просто. А. Ф. Сивак пересказывает — иногда довольно точно, иногда крайне произвольно (но, надо ему отдать должное, всегда добросовестно ссылаясь на источник) — работы Леонтьева разных лет и разных жанров, написанные по разным поводам и на разные темы. Сведенные воедино, в некий общий конспект, очень удобный, например, для подготовки к экзамену, но совершенно непригодный для осмысления Леонтьева, его препарированные тексты кажутся свалкой недодуманных мыслей, мешаниной из банальных и экстрава-

гантных выкриков. Слово Леонтьева лишается многозначности, идеи утрачивают смысловую перспективу, оригинал заменен муляжом... Подняться над пересказом, синтезировать внешне противоречивые суждения Леонтьева исследовательская мысль оказывается не в силах.

Противоречия вырастают не на пустом месте, даже когда речь идет не о самом Леонтьеве, но о его репутации. Леонтьева в самом деле замалчивали современники — здесь А. Ф. Сивак (как, впрочем, и Розанов и многие другие) совершенно прав. Но он прав и тогда, когда склонен пересмотреть это общее место. Замалчивать замалчивали, но учитывали его идеи, часто вступали с ним в скрытую полемику. В свете этой полемики еще предстоит перечитать и позднего Ф. М. Достоевского, и Владимира Соловьева, под знаком которых, а значит, с неявной и даже отчасти неосознанной ориентацией на Леонтьева, сформировался весь русский религиозный ренессанс.

Книга А. Ф. Сивака — неудачная книга, но полезная, обнажившая глубокие изъяны современной отечественной науки, оказавшейся неготовой к адекватному прочтению Леонтьева. У нас не разработан инструментарий анализа, не создана источниковая база (редко появ-

ляются грамотные публикации текстов Леонтьева, нет квалифицированно составленной биографии), не вышло ни одного по-настоящему комментированного издания Леонтьева. Его работы лишь бездумно штампуются (в лучшем случае — не искажаются), а идеи подчиняются нынешним, часто миражным, нуждам. В тени остается уникальная фактура мысли Леонтьева, его масштабная человеческая индивидуальность, как кажется, таящая ключ к его взглядам. Ведь не случайно автобиографическими признаниями пронизаны даже его историософские размышления, а интимная переписка перерастает в политические трактаты. Трагизм религиозного чувства Леонтьева стал не только, по точному слову Г. В. Флоровского, «темой жизни», но и стержнем его системы убеждений, источником апокалипсического пафоса. Леонтьев сосредоточил в себе горечь саморефлексии XIX столетия, стал чем-то вроде предсмертного крика эпохи о самой себе, отчаянной попыткой сохранить разлагающееся в своих прежних основах общество. Вне диалога с этим обществом, изъятый из правильной исторической перспективы, Леонтьев вряд ли может быть истолкован...

Ольга МАЙОРОВА.



ВУЛКАН ДЫМИТСЯ

Освальд Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Пер. с нем., вступительная статья и комментарии К. А. Свасьяна. М. «Мысль». 1993. Т. 1. 667 стр.

«Россия, если не вывелась в ней эта благодатная страсть к «сумрачному германскому гению», воспримет Шпенглера... как одного из последних свидетелей Европы... Россия, Лета, Лоре-лея... Не будем забывать: это все-таки вышептывалось в России...»¹

Многое вышептывается у нас и сегодня; продолжаются, соответственно, и вечные споры. Авторы «последних слов» о русской идее в действительности произносят о ней лишь о ч е р е д н ы е слова.

Россию призывают быть как все — вот уж воистину по-славянофильски

о с о б ы й путь: ни одному великому народу он, похоже, не удался — так не попробовать ли нам?

Идеологическая неразрешимость споров корректируется взглядом на историю. Нас роднят с Западом христианская вера и культура. Родство это поглубже современного «мыльно-рекламного», и вряд ли самый ярый апологет «особого пути» станет его отрицать. Особость же определилась довольно давно: когда Римская империя распалась на Западную и Восточную свои части. Императоров бывало и более двух, но слово «империи» во множественном числе звучало бы бессмысленно для воспитанного в категориях е д и н с т в а византийца. Однако шли века; пути «империи Юстиниана» и «империи Карла» сталкивались, пересека-

¹ Из вступительной статьи К. Свасьяна. Одновременно в Новосибирске вышло еще одно издание «Заката Европы» — в переводе 1922 года, с предисловием А. П. Дубнова.

лись — но никак уже не были единым путем.

В своей схематизации истории Освальд Шпенглер «упрятал» византийское тысячелетие в «магическую культуру». Это словосочетание «прежде всего бессодержательно; в облике этой культуры можно выделить немало черт, которые будут много более характерными, принципиальными и специфическими для нее, чем „магизм”». Трудно не согласиться с такой оценкой С. Аверинцева. Истинно немецкий мыслитель, Шпенглер не чувствовал православия; судя по многочисленным досадным натяжкам в «Закате...», он попросту и не знал его в достаточной мере.

Тем симптоматичнее «русско-европейская» судьба великой книги — начиная с предыстории ее создания.

Выход в свет «Заката Европы» был встречен едва ли не всеобщим негодованием специалистов. Было отчего. «Я вижу во всемирной истории картину вечного образования и преобразования, чудесного становления и прехождения органических форм. Цеховой же историк видит их в подобии ленточного глиста, неустанно откладывающего эпоху за эпохой».

Такое не прощается. Можно было бы попытаться игнорировать книгу; но бывший учитель гимназии, провозгласивший, что «об истории нужно писать стихи», разом покончил с уютной схемой «древний мир — средние века — новое время» — профессионалы не могли, пусть интуитивно, этого не понимать.

Похоже, восприятие книги нередко и оставалось интуитивным. «Только господин Шпенглер понимает их (культуры. — В. С.) все вместе и каждую в отдельности и так рассказывает, так поет о всякой культуре, что любо-дорого слушать», — острит Томас Манн. Так обыгрывался «парадокс»: познавательной непроницаемости, по Шпенглеру, различных культур и, с другой стороны, самого факта существования «Заката...», претендовавшего на проникновение в каждую из них.

Однако автор педантично подчеркивал: «всечеловеческого значения» его книга не имеет — за полной, по его логике, бессмысленностью самого этого понятия. Лишь фаустовской личности доступна морфология культур — одинокому, затерянному в нелюдимых пространствах, сгорающему от жажды всепознания герою.

«Фаустовского» характера книги никто и не отрицал — равно как и «лидер-

ства» русских, Николая Данилевского и Константина Леонтьева, среди предшественников Шпенглера.

Странно — противоречие не бросалось в глаза. Фаустовские «шпенглеризмы» задолго до Шпенглера — в России? В варварски-юной, с точки зрения европоцентризма, стране — стране, современная литература которой насчитывала немногие десятилетия?

Посмотрим на происходившее с намеченных вначале «двуимперских» позиций.

«Империя Юстиниана» в ее российском изводе клонилась к окончательному закату. Государь, провозгласивший «православие, самодержавие, народность» формулой жизни страны, был, по слову Пушкина, «единственным европейцем в России». Пока единственным... Славянофилы возлагали надежды на далеких братьев по крови и на (быть может, еще более далекий) собственный народ. «Аксаков во время пожара читает благородную лекцию о будущей пользе взаимного страхования любви», — в отчаянии писал К. Леонтьев...

Закат — окончательный закат византизма, дожившего до XIX века, но не имевшего шансов его пережить. Реакция мыслителей была различной... стилистически: от полного, опрокидывающегося в прошлое отрицания в с е г о византизма Чаадаевым до славянофильских по внешней логике и протошпенглеровских (то есть фаустовских) по существу конструкций Данилевского.

Н. Данилевскому ситуация еще не была ясна: из русских авторов «морфологического» направления, пожалуй, лишь его одного и можно отнести к славянофилам. Но н а к р а ю б е з д н ы и он подводил итоги византизму, думая, что свидетельствует о восходе славянства.

Сложнее с К. Леонтьевым: он искал выход из капкана прогресса, причем на разных теоретических уровнях: от «чистого византизма» (в который с каждым годом верил все меньше) до «монархического социализма».

Удивительно, но его сходство с О. Шпенглером в этом пункте отмечается, в лучшем случае, мельком. Хотя важно именно оно. Без морфологии культуры мы обречены, как деликатно отмечал академик Бромлей, на крайне низкий потолок теоретического мышления; и кто «первый придумал» морфологический подход — вопрос столь же бессмысленный, сколь и несущественный.

Но не так со стихией — мертвящим валом прогресса после

культуры. И «монархический социализм» Леонтьева, и «прусский социализм» Шпенглера были гениально-обреченными попытками стихию заклясть.

«...византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов... он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства». «Не в том главное, что великорус своеобразен вообще. Характер трагического своеобразия — вот чем велика русская душа, и трагическое в жизни народа — все» (К. Леонтьев).

История западноевропейского человека «окончательно завершится... Кто не понимает, что ничто уже не изменит этой развязки, что нужно желать этого либо вообще ничего не желать, что нужно любить эту судьбу либо отчаяться в будущем и в самой жизни... тот должен отказаться от того, чтобы понимать историю, переживать историю, делать историю» (О. Шпенглер).

Без сомнения, этих братьев по духу не спутаешь друг с другом, не примешь за близнецов. В ошеломляющем мире Константина Леонтьева нашлось место романтизму рыцарских битв. Но тщетно все же было бы искать у него суровые оттенки римского стоицизма — оттенки, многое определившие в мировоззрении и стиле великого немца.

«Не бросать своего напрасного поста, без всякой надежды на спасение, — это долг. Выстоять, как тот римский солдат, останки которого нашли у ворот Помпеи, который умер, потому что при извержении Везувия его забыли снять с поста».

Равным образом бессмысленно искать на страницах Шпенглера — завершителя порожденной Иоахимом Флорским «германско-готической» культуры — естественный на строках Леонтьева отблеск ранних христианских веков.

...Умер великий Пан: Римская империя распалась. Но в преддверии общего конца встали в один строй последние мыслители ее, последние солдаты...

И Леонтьев и Шпенглер знали: выстоять можно только так. Знали и другое: так не будет. И предлагали паллиативы. Кто иной обладал столь чудовищным даром сопрягать отдаленное — все, что вообще возможно сопрячь?

Вынужденность, вымученность леонтьевского «социализма» сомнений не вызывает; читать же Леонтьева «товарищи» не стали, а в оценке его творчества

удовольствовались здоровой революционной интуицией — изгадили могилу и запретили книги.

Судьба «прусского социализма» Шпенглера оказалась сложнее.

«Значение этой небольшой по объему книги трудно переоценить; сам Шпенглер, во всяком случае, датировал ею начало национального движения в Веймарской Германии», — пишет о «Пруссачестве и социализме» К. Свасьян. Автор «Заката...» стремился влиять на конкретную политику; попытки его (подобно леонтьевским) были столь же активны, сколь и безрезультатны. Но значение «Пруссачества...» и впрямь трудно переоценить — для понимания другой, великой книги.

«Какой толк в людях, предпочитающих, чтобы им перед исчерпанным рудником говорили: «завтра здесь откроется новая жила» — как это делает нынешнее искусство со своими сплошь и рядом лжестилистическими образованиями, — вместо того чтобы отослать их к находящимся неподалеку и еще не обнаруженным богатым залежам глины?.. Если под влиянием этой книги люди нового поколения обратятся к технике вместо лирики, к военно-морской службе вместо живописи, к политике вместо критики познания, то они поступят так, как я этого желаю, и лучшего нельзя им пожелать».

Так был обречен писать Шпенглер. Он знал: в «чистом, оторванном от традиций... иррелигиозном, интеллигентном, бесплодном» мировом городе иных перспектив нет. И он вмешивал себя в глину будущего, втискивал в бездушные бетон. В этом смысле «Пруссачество...» — несомненная, полная удача: «стиль Гинденбург — лаконичный, ясный, римский» восторжествовал, материал не препятствовал ему.

Но ничего не было ненавистнее для Шпенглера, чем всякая глина и любой бетон. И последний свидетель Заката срывался, иступленно бился о камень. Тут было не до стиля, раздавался ничем уже не сдержанный стон.

«Я НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ ГЁТЕ, БЕЗ ШЕКСПИРА, БЕЗ СТАРОЙ АРХИТЕКТУРЫ!»

Жутко звучат эти простые слова в мерном контексте героической шпенглеровской философии судьбы.

Перед нами одна из главных разгадок колдовского, труднопостижимого воздействия книги. Как старательно клал он свой бетон в разверзшуюся яму цивилизации. А тысячелетия и пространства сжимались до точки в его душе. И

раздавался взрыв, вдребезги летели конструкции — вспыхнула напоследок в посеревшем небе «окаменевшая математика» готических соборов, прозвучали ошеломляющие, «инженерные» вариации песен принца Фогельфрай...

Странно, однако, перечитывать эту книгу — «после нашей эры». Каким же он был романтиком, Освальд Шпенглер, как пытался заклисть судьбу... «Да, да, я согласен, не будет больше ни Моцарта, ни Гёте. Но пусть хоть Цезарь, хоть Сесиль Родс...»

«Здесь лежит Родс», — завещал покоритель Африки выбить на надгробной плите. Он был убежден: на ближайшие тысячелетия этого хватит. Но давно стерто с карты имя его страны, и на оскверненной могиле вновь бьют там-тамы.

А цезари... что ж, их хватило на наш век. И Шпенглер едва не заставил себя поддержать одного из них. Но с отворачиванием отшатнулся: ясно разглядел философ под кривляющейся маской шута бездарную, мертвящую скуку. Фауста давно не было, произведенный в фаусты доктор Вагнер аккуратно скреплял печатью справку о своем дионисийском происхождении.

Яростные споры вокруг этой книги не умолкают, ее не приемлют даже в том, на что она, в сущности, и не претендует. Легко понять ниспровергателей: в самом деле — хоть в чем-то поверив «Закату...», — чего искать и как жить?

Ищут, как известно, там, где зарыто, либо под фонарем. Но все перепахано и светильники перебиты.

А как жить — разве нам не сказали этого ясно две тысячи лет назад? И следовать сказанному проще, чем когда-либо раньше: мы свободны от безвкусицы оптимизма и пошлости земных надежд.

Приободримся: вулкан дымится. И вспомним о римском солдате — он до конца выполнил свой бессмысленный трагический долг.

...Остается добавить, что вступительная статья К. А. Свасьяна (более 100 страниц!) «Освальд Шпенглер и его реквием по Западу» является во многих отношениях исчерпывающей. Статья С. С. Аверинцева «„Морфология культуры“ О. Шпенглера» («Вопросы литературы», 1968, № 1) и монографическая по характеру работа К. Свасьяна — наиболее серьезные источники на русском языке по рассматриваемой теме как в концептуальном, так и в фактологическом плане.

Примечания делают текст доступным современному читателю-неспециалисту, удовлетворяя, помимо прагматических целей, также и законам вкуса. Автор примечаний «научность... допускает ровно в той мере, в какой она не мешает чувствовать катастрофу и не засвечивает трепетно-ночную атмосферу сновидческой погруженности в прошлое». Эти слова К. Свасьяна об Освальде Шпенглере вполне применимы и к его собственной работе. Характер нового перевода требует отдельной подробной оценки, которую еще предстоит дать специалистам.

Валерий СЕНДЕРОВ.



ПЕРЕД ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ?

Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии.
Составитель Сергей Фомин. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1993. 382 стр.

Безусловно, каждый из нас — в меру своих духовных, интеллектуальных и житейских возможностей — на себе ощущает резкое убыстрение хода истории к покуда неизвестной развязке. Если, к примеру, для француза или американца за последние десять лет, в общем, мало что изменилось, то экс-советского человека буквально плющит во вдруг набравшей колоссальные обороты исторической центрифуге.

В столь судьбоносные времена неизбежно вглядываться в грядущее не про-

сто из любопытства, но с горячей надеждой: есть ли там просвет, облегчение, возможность воскресения родины?

Ведь все мы, несмотря на нередкие и объяснимые минуты отчаяния, уповаем на возрождение России, но разглядеть его нелегко — сквозь не осевшие густые клубы пыли от падения гигантской кровли тоталитарной империи.

И это — при атрофии национального самосознания у одних, считающих его досадным пережитком на пути к универсальному утверждению общечелове-

ческих ценностей, и — страшном ранении его у других, чье патриотическое мироощущение зажато в тиски взаимоисключающих одно другое явлений: советизма и — патриотизма, милитаризма и — экологической озабоченности, веры в промыслительность исторического процесса и — убежденности в его рукотворности посредством всеобъемлющего тайного заговора.

Понятно, почему немалый по нынешним временам стотысячный тираж сборника «Россия перед Вторым Пришествием», продававшийся в основном за свечными ящиками в церквях и в киосках религиозной литературы, быстро раскуплен: там по крупницам собраны многие и многие на глазах актуализирующиеся ныне пророчества наших национальных праведников и гениев, отделенных от нас, казалось бы, непреодолимым рвом времени, насыщенного невероятным трагизмом.

Хотя и то правда, что еще больше их — как противоречащих концепции составителя — осталось за скобками; так, лишь по касательной иллюстрирована грандиозная эсхатология Владимира Соловьева, для которого философствовать почти и означало — пророчествовать.

...Что такое пророчество и какова природа его? Эти вопросы вторичны по отношению к главному: что такое грядущее вообще? Является ли оно совокупным продуктом свободных человеческих волей или записано у вечности на скрижалях и лишь осуществляется по «записанному»? Тогда какова амплитуда возможных колебаний, вариаций и отклонений, обусловленных все же человеческою свободой, в какой мере формует она настоящее и грядущее? Степень детерминированности исторического процесса Промыслом или человеческой волей — до конца неразрешимая тайна.

«Великие задачи в жизни как отдельных людей, так и целых народов, — писал отец Сергей Булгаков, — вверяются их свободе. Благодать не насилует, хотя Бог поругаем не бывает».

Пророчество — разом и дар и опыт: оно улавливает будущее, основываясь на всеобъемлющих выводах из минувшего и целокупном понимании настоящего. На этом зиждутся провидения мыслителей. Но есть пророчество высшее, полученное через религиозное откровение. И «то, что открыто просвещенному духовному взору подвижников Самим Богом, — напоминает в кратком предисловии к сборнику, да-

тированном 3 января 1993, игумен Исаия, — никак нельзя равнять с предположениями тех, кого называют мыслителями и которые, обладая порой блестящей интуицией, все же не могут подняться выше обычных прогнозов ограниченного человеческого разума, по природе своей неспособного к познанию будущего».

Но что единит наших пророков, религиозных и светских, так это ясное предчувствие революционного катаклизма. Понятное, скажем, у Иоанна Кронштадтского, пережившего грозное приближение кризиса и само революционное беснование 1905 года, оно тем более поражает у тех, кто жил во времена сравнительно благополучные, когда еще сохранялась вся живительная инфраструктура России, — у преподобного Серафима Саровского, у Феофана Затворника, у Игнатия Брянчанинова... Достоевский в «Бесах» практически уже и описал революцию, дал срез всех ее движущих сил и импульсов. «...наши Романовы, — угадал за тридцать лет до 1917-го Константин Леонтьев, — при своей исторической гуманности и честности, — откажутся сами, быть может, от власти, чтобы спасти народ и страну от крови и опустошения». Но именно тогда, по Серафиму Саровскому, «кровопролитие будет ужаснейшее: бунты Разинский, Пугачевский, Французская революция — ничто в сравнении с тем, что будет с Россией».

Однако, предрекая историческую революционную катастрофу, никто из русских пророков не считал ее окончательной; предсказывали, что Господь «помирует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе». Даже с сильной поправкой на известную апокрифичность многих пророчеств, основная схема прослеживается четко: катастрофа — но с возможностью последующего возрождения. То есть падение России — это не то, что, скажем, гибель исторической Византии — раз и навсегда, в данном случае «воскрешение Лазаря» состоится. И это воскрешение напрямую связано с возрождением православия, без которого пророки наши существования России не мыслили.

Св. Иоанн Кронштадтский: «На костях... мучеников... как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, — по старому образцу; крепкая своей верою в Христа Бога и во Святую Троицу!»

Протоиерей Алексей Мечев: «Когда придет время, то Бог пошлет нужных людей, которые... уничтожат больше-

виков так, как буря ломает мачтовый лес».

Иеромонах Нектарий Оптинский: «Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата».

«Духом богата» — какое светлое, обнадеживающее пророчество! Но — «Русь новая по старому образцу» — не слишком ли приблизителен тут отец Иоанн Кронштадтский? Восстановление прерванных духовных традиций необходимо, но, разумеется, это ни в коем случае не должно означать простого копирования «старого образца» — на этом пути нас ожидает только политическая эклектика и бесплодная стилизация. Да, в конце концов, это даже и кощунственно по отношению к новомученикам: ежели возможно просто восстановить «старый образец» дореволюционного сознания, не важно, в какой его ипостаси — консервативной или освободительной, — то зачем же их жертва? Зачем тогда вопиют чуть не из каждой пяди земной неотпетые их останки?

Сборник «Россия перед Вторым Пришествием» актуален еще и тем, что — кажется, вопреки явственным намерениям его составителя, — помогает нам зримо увидеть и те ошибки и aberrации, что были, увы, часто соприсущи нашим пророкам — детям своего времени, несмотря на все их замечательное провидчество. Бывало, что весьма спорные государственные задачи наделяли они смыслом религиозным, противопоставляя революционной утопии утопию геополитическую, принимаемую ими за православно-миссионерское задание свыше.

Причем бодрые упования на Константинополь и проливы причудливо уживались с самыми апокалипсическими предчувствиями. Леонтьев напророчил нам уйму бед, острее ощущал богооставленность России и мира, казалось бы, было о чем молиться ему на покое в Оптиной. Так нет же: «Молюсь, — сообщает он 24 апреля 1889 года Т. И. Филиппову, — я о том, чтобы Господь позволил мне дожить до присоединения Царьграда. А все остальное приложится само собою!» Но ладно: 1889-й — еще относительно благополучное время Александра III; уже в 1916-м, прямо над разъявленной революционной бездной архиепископ Антоний (Храповицкий) «пророчествовал»: «...необходимо приложить все усилия к воссозданию Византийской Империи, Константинополь должен быть сделан столицей <...> и все греческие провин-

ции Балканского и Малоазийского полуостровов должны быть в нее включены». <...> В Сирии и Палестине «не должно препятствовать поселению <...> русских земледельцев и ремесленников, очищая для них и пустыни и магометанские поселения, которые, впрочем, и сами начнут быстро пустеть под русским владением. Если это будет сделано, то не пройдет и десяти лет, как вся Палестина и Сирия обратятся во Владимирскую или Харьковскую губернию. <...> Вот тогда со всею силою проснется русское самосознание; наука и поэзия возвестят миру о чувствах и молитвах русской души, и исполнятся чаяния последних Рюриковичей и первых Романовых» (курсив мой. — Ю. К.).

Идейный империализм и средневековую идеологию религиозных войн и колонизаторства архиепископ Антоний напрямую связывает с пробуждением национального самосознания — таков печальный итог многолетнего бытования константинопольской утопии в стане славянофилов...

Понадобилась революция, чтобы пришло отрезвление. И в вожделенный Константинополь наши «крестоносцы» пришли не победителями — изгнанниками, трагикомично воспользовавшись именно турецким, пусть и кислым, гостеприимством.

«...какая слепота, какая детскость была у нас, — понял отец Сергей Булгаков в январе 1923 года в Константинополе, — когда приготовили уже, говорят, крест в Петрограде, может быть, даже и указ Св. Синода об утверждении креста на Храм... Окровавленными сапожищами вступивши в Софию, завести в ней свои порядки, или пробовать синодальным хором покорить и убедить эти стены! Но в гневе воззрел Господь на дела сынов человеческих и посмеялся им. Правы пути Твои, Господи!»

Но поразительно, что едва нашей Церкви коммунисты — в целях спасения своей шкуры в войну — разрешили немного приподняться с колен, как патриарх Сергей сразу заговорил о своем главенстве над константинопольским первоиерархом, «о переводе, — как деликатно формулирует составитель сборника С. Фомин, — Московского Патриаршего Престола на первое место по диптиху. Такое заявление в то время могло появиться, разумеется, лишь после согласования с И. В. Сталиным, имевшим на Константинополь свои виды». Какая идиллия! Тут надобна кисть Иогансона или Герасимова: Сергей со Сталиным — за с о г л а с о-

в а н и е м заветной мечты русских славянофилов... Впрочем, в публицистике нынешних богомольных совпатриотов десятилетие 1943 — 1953-го все чаще именуется золотым.

...В хрущевские времена разоблачали культ личности, но всячески реанимировали ленинизм и революционные идеалы. В частности, поэты оттепельной плеяды значительно преуспели, разжигая именно эту идеологию («И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин». — А. Вознесенский). Теперь в патриотической прессе мазохистски склоняются нерусские имена именно «старых большевиков», и особенно Троцкого, которого при Хрущеве не реабилитировали, чтобы не создавать «великому Ленину» конкуренции. Зато на ее страницах все чаще приводят в содрогание каждого нормального человека сусальные портреты Сосо Джугашвили в наряде генералиссимуса: под влиянием Отечественной войны он якобы перековался из большевика в патриота. Из данного сборника мы узнаём обо всем этом немало любопытных подробностей.

«Б. М. Шапошников, царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, часами беседовал со Сталиным и все его советы (в том числе одеть войска в старую форму царской армии с погонями) были приняты. А. В. Василевский, по рекомендации Б. М. Шапошникова назначенный на смену ему начальником Генштаба, был сыном священника и отец его еще был жив». (И впрямь поразительная подробность: священник — и жив.) Антиохийскому митрополиту Илию явилась Богородица, «чтобы передать определение Божие для страны и народа Российского. Если все, что определено, не будет выполнено, Россия погибнет». После чего владыка буквально засыпал Сталина письмами и телеграммами, и тогда «Сталин вызвал к себе митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) и обещал исполнить все, что передал митрополит Илия, ибо не видел больше никакой возможности спасти положение. <...> 20 000 храмов Русской Православной Церкви было открыто в то время. Вся Россия молилась тогда! Молился даже Иосиф Сталин (об этом есть свидетельства)». Кого? Поскребышева?

...Но ежели религиозное обоснование панславистской геополитической утопии следует однозначно признать оши-

бочным, то с православным обоснованием царской самодержавной власти надо быть осторожнее. Именно религиозное ее понимание унаследовано нами от Византии, именно им крепилась монархическая Россия — во всей своей стержневой иерархической вертикали. «В сознании русского народа, — констатировал отец Павел Флоренский, — Самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, — милость Божия, а не человеческая условность, так что Самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную и государственную пользу».

Когда такое понимание онтологических основ самодержавия дало трещину (обусловленную десятилетиями работавшей на разрыв секулярной идеологией), оно рухнуло почти в одночасье, увлекая за собой отстраивавшийся веками традиционный государственный социум; эфемерную февральскую гуманистическую демократию быстро сменила большевистская диктатура, скоро вновь отстроившая властную вертикаль, но уже лишенную положительного религиозного смысла. А вместе с самодержавием рухнули и подпитывавшие его мифы. Это прекрасно выражено у отца Сергия Булгакова: «Я любил Царя. Хотел Россию только с Царем, и без Царя Россия была для меня и не Россия. Первое движение души — даже подсознательное, настолько оно было глубоко — когда революция совершилась и когда по-прежнему раздавались призывы: война до победного конца, было таково: но зачем же, к чему теперь и победа без Царя. Зачем же нам Царьград, когда нет Царя. Ведь для Царя приличествовал Царьград. <...> И мысль о том, что в Царьград может войти Временное Правительство с Керенским, Милюковым, была для меня так отвратительна, так смертельна, что я чувствовал в сердце холодную мертвящую пустоту».

Общеизвестно, что Булгаков смолodu был марксистом, и, по его собственному признанию, пережитки левых убеждений сохранялись у него и много позднее. Тем поразительней, что латентно дремавший до времени где-то на глубине монархизм — под влиянием тех или иных обстоятельств — вдруг мощно выходил на поверхность у самых, казалось бы, безусловно враждебных ему людей, смывая марксизм Булгакова, народовольчество Тихомирова...

Т а к у ю монархию (а другая будет не монархия — деспотия) нельзя учредить просто как государственно-политический институт; ныне отравлены ее религиозные, то есть, если угодно, генетические глубины.

Сегодня Россия стоит лицом к лицу с новым жизнеустройством, чья механическая заимствованность не может, однако, не настораживать. Сознание наших новых политиков материалистично: социальный и экономический строй они искренне считают производным от объективных законов плюс механизмов не национальной, а универсальной общечеловеческой психики. И это при явном недопонимании ими глобальности кризиса технократической цивилизации конца XX века, чья идеология неуклонной стимуляции потребления (и коммерческая культура как непременная составная ее) активно колонизируют опроставшееся от коммунизма «жизненное пространство» России.

Здесь кроется одна из причин тревоги, изматывающей каждого россиянина, не до конца растерявшего национальное чувство. Есть ли у России п р е д н а з н а ч е н и е и если да, то в чем оно теперь заключается? Сумеет ли выбраться родина из бездны, какое будущее ей уготовано? На что работает сегодня реальность — на распад или собирание народной души? Вопросов много, а ответы покуда невразумительны. Да и кто, как не мы сами, и должны отвечать. Словно после тысячи лет исторического развития великой стране все приходится начинать сначала — и притом в сверхнеблагоприятных условиях наката всеобщей экологической и демографической катастрофы. Кажется, что вполне «беззащитная» Россия, вся целокупная, измордованная душа ее пускается в бессрочное плавание по волнам того мира, которому Константин Леонтьев перед кончиной опрометчиво предпочитал даже социализм.

...В вышеупомянутом предисловии игумен Исаия обещает читателям «беспристрастие в подаче материала в книге», где «нет авторского текста, она — лишь собрание отдельных цитат, систематизированных в определенном порядке по отдельным темам». На деле же

Сергей Фомин сплошь и рядом выходит из амплуа составителя, выступая как комментатор и публицист, высказывая свои энергичные суждения, оценки, догадки: «Противостояние России и Европы, а в конечном итоге Православия и составных будущей единой религии антихриста продолжается и ныне», «В. В. Розанов типичный продукт неукорененности русской интеллигенции», «...место убитого по разработанному сценарию «красного дракона» занимает то же самое Мировое Зло» и т. п.

Как тут не встревожиться за марку издательства? Свято-Троицкая Сергиева Лавра, за которой века и века великой христианской культуры, не может, не должна была освящать своим авторитетом такие, например, пассажи составителя Фомина: «В Бруклине (Нью-Йорк) существует банк, куда можно войти только владельцу карточки с числом «666». С «666» начинаются номера новых кредитных карточек США, а также номера автомобилей, выданных арабам в Иерусалиме. Недавно в Париже была воздвигнута стеклянная пирамида (символ масонства), состоящая из 666 стеклянных элементов, что символизирует победу „Зверя”». (Имеется в виду новый оригинальный вход в Лувр всемирно известного архитектора И. М. Пея.) По Фомину, то же число «несут на себе <...> этикетки китайских сорочек, проездные карточки для бескассового проезда в автобусе Греции. На последних — как ни разверни — видны три соединенные шестерки (как и на украинских купонах)».

Такого рода мистические вкрапления в книге с эмблемой Лавры на обложке особенно вопиющи в соседстве со словом наших духовных светочей и пророков.

«Нам необходимо, — призывал праведный Иоанн Кронштадтский, — всеобщее нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские. Очистимся, омоемся слезами покаяния, примиримся с Богом и тогда Бог примирится с нами».

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ



I. ДНЕВНИКИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 1873 — 1891. СПб. «Эго», «Северный олень». 1993. 294 стр. Репринтное воспроизведение издания: М. — Пг. Государственное издательство. Музыкальный сектор. 1923.

Переиздание дневников П. И. Чайковского — событие сенсационное. Закрытые с начала 20-х годов, они практически не были никому известны после первого, ставшего раритетом, издания. Что же прежде всего останавливает внимание при этом новом, сегодняшнем прочтении дневников композитора, сочинения которого по массовости исполнения и грамзаписей во многих странах Европы и в США затмили другие всемирно знаменитые имена? Присутствие личности — открытой, активной и мужественной. Человека романтического, но и трезвого, консервативного ума. Требовательного, способного к жесткому самоанализу... Собственно, тот, кто пытался вникнуть в жизнь и, насколько возможно, в психологию П. И. Чайковского, все эти качества мог обнаружить и в грандиозной по объему его переписке, и в литературном творчестве, и, конечно же, в том облике, который возникает в воспоминаниях современников. И все-таки избыток энергии и какая-то праздничность (патетика) натуры Чайковского царят именно на этих страницах. Патетическое видится здесь как часть «русской натуры» композитора со всеми привычными ее проявлениями: кипением страсти, раскаянием, самобичеванием, успокоением... Любая натура с годами становится уравновешеннее — душевная эволюция коснулась и Чайковского (основная часть дневников написана в возрасте от 44 лет до 51 года, то есть завершаются они за два года до смерти). С годами тень все чаще набегает на эту праздничность духа, усталость гасит патетику. Чем ближе подступает день, когда Петр Ильич — цитируем Пушкина — «допьет до дна» свой «бокал», тем сдержаннее становится он. Смирнее...

Но жизненная сила не покидает его. Ощущение вечной молодости — вот неотступное впечатление от этих дневников. Оно создается не только доносящимися до нас отголосками темперамента Чайковского, его общительностью (какая здесь пестрота имен!), любвеобилием, постоянной «наэлектризованностью» внутреннего мира от внешнего бытия, — не главное здесь и «донжуанский» комплекс, и «фаустовский» порыв (отраженно прозвучавший и в «Пиковой даме»), — возникает оно от слышной вплоть до последних записей моцартовской мелодии любви и жизни (к «миру Божьему», о чем не раз говорит сам автор дневника). Помнится, в воспоминаниях о Чайковском-подростке было сказано: «хрустальный мальчик» (рядом с прозаическими сверстниками). «Хрустальность» жила в его душе и в его музыке, и дневник этого не скрыл.

Записи Чайковского, часто беглые, сокращенные, шифрованные (благодарная работа ждет комментатора), содержат несколько лейтмотивов, без которых не полны для него «впечатления бытия»: Моцарт, церковь, природа. Такие записи, периодически появляющиеся (о церкви почти ежедневно), воспринимаются как «формулы жизни». Поразительно, но Чайковский почти ничего не пишет о своей музыке; «занимался», «работал» — этих слов достаточно, чтобы упомянуть о деле жизни. Чаще говорит о музыке чужой: обязательно называет Моцарта, которого всегда играет (нередко «Дон Жуана»), кем восторгается, как божеством. Моцарт над всеми, он выше Баха и Бетховена; вечно юный, он восстанавливает жизненные силы, помогает творить.

Листаем ежедневные записи: завтра, обедня, вечерня... праздники, большие и малые... дома и за границей... посты... говенье... В храме ему уютно, все здесь вызывает слезы — пение (на плохое сердится), общение с клиром; посещение храма для него, как для множества русских людей, и часть быта,

и духовный стержень. А общаться с природой, всегда, ежеминутно, — значит жить на просторе, видеть далекие горизонты. Чайковский замечает, какое сейчас небо, море, степь или горы. Фиксирует каждую грозу, пишет о цветах — с тем нежным лиризмом, который заставляет вспоминать ювелирные партитуры его балетов-сказок... Церковь и природа сливаются в память о России, если он не дома. Благоговейное отношение к родине, какое-то наивное в своей чистоте, оно здесь неожиданно, когда знаешь, как не любил Чайковский распространяться на «патриотические» темы, как скептически относился к народничеству «могучей кучки».

Естественно, напрашивается вопрос: а как же пресловутый «пессимизм» и «тяга к смерти» у позднего Чайковского, о чем столько написано? Дневник не скрывает ни отчаянья, ни упадка сил, но они не доминируют, лишь отеняя восторг и патетику. Наше время сделало недоброе и по отношению к П. И. Чайковскому. Как есть Чайковский «секретный» в плане интимно-биографическом, так есть он и хрестоматийный «пессимист». Вина здесь и тех, кто о чем-то умалчивал, и тех, кто маниакально твердил об «инферральности» творчества Чайковского (что за вздор!), о той же «тяге к смерти» (вспомним безвкусные «коготки смерти» в статьях Игоря Глебова¹), равно как и о «критическом реализме» его творчества, о «социальном заказе» и т. д. и т. п. Вспомним, как воевал против такого Чайковского еще в 30-е годы глубокий И. И. Соллертинский, настаивая, например, на п р а з д н и ч н о с т и Четвертой симфонии вопреки ходячему мнению о ней как о «сумеречном» произведении, и поражая точной находкой: насчет близости симфонии к опере Бизе «Кармен».

Внезапная смерть П. И. Чайковского сегодня снова превратилась в «загадку века» (минувшего). Написанная Н. Н. Берберовой беллетризованная биография («Чайковский». СПб. «Петро-Риф». 1993), недавно пришедшая к нам с Запада и весьма там популярная, не дает ответа на вопрос, не наложил ли Петр Ильич на себя руки. В этой связи заслуживает внимания публикация композитора и музыковеда В. Соколова «До и после трагедии. Смерть П. И. Чайковского в документах» («Знамя», 1993, № 11), опровергающая версию самоубийства. А готовящееся

издание рукописей покойного Н. О. Блинова, возможно, опровергнет ее окончательно...

Предстоит многое пересмотреть, чтобы освободить Чайковского от прижившихся штампов; необходима серьезная издательская программа (что сегодня почти утопично). Дневники в будущем надо издать снова (тираж быстро разошелся), но обязательно с соответствующим научным аппаратом². Отсутствие его простительно лишь для подобного «экспресс-издания»... Кроме того, необходимо переиздать труд М. И. Чайковского «Жизнь П. И. Чайковского», трехтомную переписку П. И. Чайковского с Н. Ф. фон Мекк, как и другие его «переписки»; ждет возобновления свод воспоминаний о композиторе, в который следовало бы включить все прежде «не пуцаемое», рассеянное в периодике, существующее и в рукописях, в том числе раскрывающее религиозные стороны личности и творчества Чайковского, например, воспоминания выдающегося музыкально-церковного деятеля С. В. Смоленского... Повторной выверки требуют музыкально-критические статьи Чайковского, при публикации которых советские издатели допустили немало вольностей.

...Мы начали со слов «сенсационная книга». Не стоит их понимать как намек на содержащиеся в дневниках «интимные» моменты (из-за чего он и был закрыт). Упредить бы тех, кто начнет на этом спекулировать, хоть бы и набившей оскомину цитатой из письма Пушкина Вяземскому по поводу мемуаров Байрона: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением...» и т. д. (концовку все помнят: «Врете, подлецы...»). ...Сенсация в другом: петербургские издатели вернули нам из небытия хорошую книгу.

II. ПИСЬМА К ДРУГУ. ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ — ИСААКУ ГЛИКМАНУ. М. «ДСХ»; М. — СПб. «Композитор». 1993. 335 стр.

Издание — впервые такого массива: около трехсот писем (1941 — 1974) Дмитрия Шостаковича — факт тоже экстраординарный, даже рискованный: еще свежи общественные скандалы вокруг этого имени, к которым причастны многие из живущих. Не одна премьера нового сочинения Шостаковича вызвала судорожную, репрессивную реак-

¹ Б. В. Асафьева.

² Пропущенный 4-й том Полного собрания сочинений П. И. Чайковского должен включать дневники.

цию властей — и в сталинские, и в хрущевско-брежневские времена. Это были идиотические ситуации, когда враги приходили в бешеное возбуждение, друзья же до поры до времени отмалчивались. Чем лучше было сочинение, тем больше нагромождалось лжи борцами с «формализмом». Общественное одиночество композитора становилось вопиющим. Людоедская позиция сталинистов, как правило, провоцировала композитора на шаги отчаяния, когда он «наступал на горло собственной песне» и бросал властям, включая верхушку Союза композиторов, очередную «кость» в виде какого-нибудь «общественно значимого» опуса, и все начинали ломать голову: что это — искреннее признание «ошибок», коллаборационизм?.. Двусмысленность положения Шостаковича в духовно больном обществе, которое он (да, он!) пытался спасти своим творчеством, усугубляла абсурд. Критики забалтывали ситуацию, тоже «спасая» композитора, загоняя эти опусы в придуманные ими же «лузы» соцреализма и марксистско-ленинской музэстетики. Вот почему мертвящей скукой веет от монографий о Шостаковиче, выпущенных к настоящему времени.

Книга писем, подготовленная И. Д. Гликманом, в недавнем прошлом профессором Ленинградской консерватории, близким другом Д. Д. Шостаковича, снимает с имени композитора и его поступков всякую двусмысленность. Письма написаны достаточно бесцветным языком (не сравнишь их с роскошеством стиля писем М. В. Юдиной или изящным острословием С. С. Прокофьева), непосвященному, пожалуй, они покажутся скучными, но если знаешь их реальный исторический и музыкальный контекст, они способны потрясти. Контекст времени умело создан и самим комментатором, не поспеившимся на пояснения к письмам своего корреспондента. Раскрывая очень многое известное ему, кое о чем тактично умалчивая, он воссоздает атмосферу творческой жизни композитора, дает нам почувствовать его личность, его волю художника, закаленную «веком-волкодавом». Хотя Шостакович далек от полной откровенности — уж его-то переписка в сталинские годы перлюстрировалась, несомненно, из-за чего, кстати, и сухость языка, — письма эти говорят об одном: композитор, конечно, про все творящееся в стране знал и никогда ни в чем сталинизму не подыгрывал. Да, были и заблуждения, подо-

бные иллюзиям большинства, — имеем в виду его программные симфонии «1905 год» и «1917 год. Памяти В. И. Ленина», точно так же и его атеизм — печальный удел многих. Но по-человечески композитор всегда оставался честным и чистым (недаром о нем и при жизни говорили: «святой», а он с иронией звал себя — «убогий»). Имеется много примеров защиты и спасения им невинно осужденных, как и фактов щедрой житейской помощи. Письма Шостаковича к Гликману ими полны.

Сегодня, все трезвее оценивая происходившее в годы террора, мы приходим к выводу, что в ответ на него появлялись люди, как бы самой судьбой предназначенные стать неистребимой «солью» в этой почве, на этой земле. Так и алмазы созревают под действием чудовищного давления... Д. Д. Шостакович принадлежал именно к таким людям. Этот феномен, быть может, лучше других объяснил («ужели слово найдено?») композитор-мыслитель следующего поколения — Альфред Шнитке. Он считает, что Шостаковича спасла его «воля предназначения». Он «не мог себя разрушить... и, когда это делалось под давлением, оно (разрушение. — А. К.) не получалось». Согласно А. Шнитке, «персональная воля» у Шостаковича отсутствовала, он был «слабовольным по внешним признакам». Если бы «персональная воля» возобладала над «волей предназначения», Шостакович сломался бы. «Но у него, слава Богу, не было ее... это заложенное свойство, может, оно и генетического и рационального происхождения, может, наконец, и божественного, может, оно и необъяснимого порядка, но оно важнее всего».

«Воля предназначения» пульсирует в этих письмах: из текста в текст муссируется, как идет работа над новой вещью, кто исполнит ее и где; ни слова пустого, случайного об этом, за каждой строкой тревога истинного творца. В сочетании с малоизвестными до сих пор фактами личной жизни, деликатно, именно как другом прокомментированными И. Д. Гликманом, письма воссоздают образ Д. Д. Шостаковича — трагического художника трагической эпохи.

III. Д. И. ШУЛЬГИН. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. Беседы с композитором. М. «Деловая Лига». 1993. 110 стр.

Эти беседы — дело почти двадцатилетней давности. Записанные до

1977 года, они сегодня извлечены из-под спуда и бросают свет на первую половину пути замалчиваемого тогда у нас композитора, переживающего сегодня зенит мировой славы — не в России, а в Германии. Семнадцать лет — большой срок для требовательного к себе таланта. Много нового было сделано за это время, изменился и сам художник. От исполнения Первой симфонии в г. Горьком под управлением Г. Н. Рождественского, сопровождавшегося неряшливой возней вокруг нее, до мировой премьеры Шестой симфонии, проведенной М. Л. Ростроповичем в Москве с Вашингтонским Национальным оркестром, прошло ровно двадцать лет; в радикально новом сочинении не всегда узнается автор Первой симфонии (в книге бесед еще не имеющей номера). От «абстрактных» балетов, о которых здесь говорится, композитор обратился к операм в лучших традициях XX века — «Жизнь с идиотом» (1992) и «Джезуальдо» (1993). И еще создано много-много настоящей музыки, хотя бы так волнующий Хоровой концерт по «Книге скорбных песнопений» Нарекации... Сколько воды утекло с тех отчаянно трудных для А. Г. Шнитке лет, многое из того странного времени хорошо помнится, но собеседники — даже тогда! — почти не касались «житейской» судьбы сочинений Шнитке, и в этом ощущается его человеческая скромность, запоминающаяся всякому, кто хотя бы недолго общался с А. Г. Шнитке. Участников диалога интересует прежде всего внутренняя сущность конкретных произведений Шнитке, их форма и музыкальный язык. Композитор начинал свою деятельность тогда, когда в учебном процессе доминировала строгая регламентация техники сочинительства (так можно, а эдак нельзя). Жизнь художника с самого начала попадала в объятия «идиота» (воспользуемся символом из оперы Шнитке). Композитор рассказывает, как преодолевались «регламенты». Помогало тут и чутье добросовестных педагогов, и поиски коллег посмелее, и неизбежное проникновение «сюда» новой музыки «оттуда», да и родное, «хорошо забытое»... Главным же было, конечно, собственное стремление слышать «фонограмму эпохи» и лабораторно запечатлеть ее. Шнитке услышал и записал эту «фонограмму».

Книга ценна и тем, что мы можем сопоставить взгляды и позицию композитора в прежние годы с нынешними его взглядами, изложенными в послед-

них интервью и в единственной у нас монографии о нем — «Альфред Шнитке» В. Холоповой и Е. Чигаревой (М. 1990). В этом смысле примечательна последняя часть «бесед»: «1976». В ней выступает А. Шнитке-теоретик; его высказывания глубоки и взвешенны. Становится очевидно, что художественное кредо композитора сложилось именно тогда, до 1977-го, а в дальнейшем укреплялось. Остаться самим собой в условиях тоталитаризма — подвиг. Всем своим творчеством, духовно свободным и возвышенным, А. Г. Шнитке (как до него Д. Д. Шостакович) доказал, что это возможно. Из его «лаборатории свободы» до 1977 года уже доносится что-то пророческое.

Жанр «бесед с композиторами» у нас лишь осваивается, в то время как на Западе вышли десятки интереснейших книг: многотомные «Диалоги» И. Стравинского — Р. Крафта, беседы с К. Штокхаузеном, сборники интервью П. Булеза, М. Кагеля, Дж. Кейджа и т. д. Книга Д. И. Шульгина — первая ласточка и добрый пример.

IV. ВАЛЕНТИНА ЧЕМБЕРДЖИ. В путешествии со Святославом Рихтером. М. РИК «Культура». 1993. 134 стр.

«Музыкальное путешествие», то есть литературное описание впечатлений музыканта, вымерло как жанр, несмотря на то что сами «путешествия» — гастроли по городам и весям планеты, даже российских исполнителей, — сегодня идут в полную силу. Поездки ли стали стремительней и впечатления быстро рассеиваются?.. Любителям этого привлекательнейшего чтения остается перечитывать хрестоматийные, но не потерявшие живых красок записки Ч. Бёрни, Г. Берлиоза и П. И. Чайковского (заключительную часть его дневников, посмертно озаглавленную первым издателем «Автобиографическое описание путешествия за границу в 1888 году»). Тем неожиданней была инициатива В. Чемберджи, фрагментами печатавшей свою книгу в журналах «Советская музыка» (1987) и «Наше наследие» (1988), а теперь подготовившей ее отдельное издание с уточнениями, дополнениями, прекрасными фотографиями С. Т. Рихтера. В. Чемберджи сопровождала музыканта в его грандиозном турне по российским (и немногим казахским) городам — от Новгорода и Пскова до Хабаровска. Состоялись две беспрецедентных поездки, в 1986 и 1988 годах, — тысячи километров пути. Причем одну

из них С. Т. Рихтер совершил и вовсе в легковой машине. Специфические трудности не смутили «звезду». Равнодушные бюрократов от искусства, запущенная культура даже крупных центров, где порой нельзя было найти не только концертный зал, но даже рояль, компенсировались искренней, трогательной реакцией слушателей, впервые ставших свидетелями того, как «прилюдно» творится высокое искусство. Отсутствие снобизма, отзывчивость к простым слушателям, да и терпимость ко всяким безобразиям — все это типичные черты русского интеллигента, органично присущие и Святославу Рихтеру. Сколько раз он простужался на сибирских сквозняках, но ни разу не прервал гастролей. Никогда не упрощал программы; изматывающую («до боли в сердце») брамовскую программу, музыку Шумана, Листа играл в Ургале, Чегдомынс, Кульдуре и Тайшете с той же отдачей, что и в Париже, Нью-Йорке, Токио... Сам С. Т. Рихтер в значительной степени соавтор книги. В. Чемберджи тактично, в хорошей журналистской манере зафиксировала высказывания пианиста о музыке и музыкантах, о литературе и искусстве, о самом себе. Этих записей нельзя недооценить — ведь С. Т. Рихтер очень скупко дает интервью, по крайней мере на родине. В 1983 году были опубликованы выдержки из бесед с Рихтером ныне покойного музыковеда Я. И. Мильштейна. Услышанное и увиденное В. Чемберджи дополняет тот портрет Рихтера — художника чеховской и прустовской складки: мягкость и сдержанность, никакой рисовки, твердость убеждений при отсутствии желаний кому-либо их навязывать, широта познаний. Уже услышанный от Рихтера перечень его излюбленных композиторов поражает. Репертуар действительно безграничный. То и дело — возвращение к привычным пьесам: Скрябин, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев. Иногда чувствуешь оторопь: неужто и Метнера станет играть музыкант-мудрец... после Баха, Моцарта, Бартока?? И тут же подмывает сказать: ведь есть и Оливье Мессиан с его дивным циклом «Двадцать взглядов на Младенца Иисуса» или чудные наши модернисты из тех неисчерпаемых 20-х годов — Мосолов, Лурье, Рославец... Но нельзя объять необъятное.

Стиль — это человек. «Прустовское» Рихтера слышится в его тембрах. Его гениально обретенный «белый звук»

(определение туше С. Т. Рихтера, принадлежащее профессору Л. Е. Гаккелю) стал эталоном эмоциональной сдержанности. Пример достоин подражания — и такое возникло, вольное или невольное: взять хотя бы «матовые» тембры Андрея Гаврилова, когда-то игравшего в ансамбле с Рихтером, или Владимира Фельцмана... Но какую эволюцию пережил пианизм Рихтера! От ослепительного блеска в 40 — 50-е годы в традициях «Большого стиля» XIX века — до «неслыханной простоты» в интерпретациях последних двух десятилетий. Достаточно сравнить, скажем, старую запись (на диске-«грандике») Итальянского концерта Баха, запись обоих томов «Хорошо темперированного клавира» с последними по времени исполнениями Баха. Исполнение Концерта № 25 Моцарта осенью 1992 года и по сей день вспоминается как оглушительное событие, при том что внутреннее спокойствие пианиста, казалось, достигло крайней отрешенности, почти тишины... Плюсы и минусы «Большого стиля» хорошо изучены В. Чинаевым (см. в журнале «Музыкальная академия», 1993, № 3); гипноз лжеромантического и лжеклассического «стилей» искусственно поддерживался долгие советские годы. Грешным делом, мы, восторженные поклонники, тоже шли на поводу «Большого» — читай, официозного — «стиля», этим сбивая с пути и исполнителей. Дирижеры, скрипачи, пианисты, а особенно певцы (как и солисты балета, и драматические актеры, актеры МХАТа прежде всего) стали его жертвами, теряя естественную выразительность, ориентируясь на жанр парадных концертов, свивших гнездо в сталинских покоях и расплодившихся повсюду, от Таллинна до Магадана. Только со временем мы стали понимать, что рядом с непризнанным кричащим (и кровоточащим, если можно так сказать) искусством М. В. Юдиной или трагедийным — В. В. Софроницкого все то — и придворный пианизм тоже — было только лицедейством. ...Как это давно было! Как стали мы мудрее, интимно обращаясь к Баху и Моцарту в поисках утраченного.

Книга В. Чемберджи отчасти возникла по настоянию скрипача Олега Кагана, знавшего о ее замысле. Она, судя по всему, и дань памяти безвременно ушедшего талантливого музыканта.

Анатолий Кузнецов.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



ORŁOWSKI J. Z dziejów antypolskich obcesji w literaturze rosyjskiej: Od wieku XVIII do roku 1917. Warszawa. 1992. 244 s.

«Из истории антипольской мании в русской литературе» — так называется вышедшая недавно в Польше книга Яна Орловского. Орловский, однако, не занимается историей коллективных психозов или патологией культуры. Тема книги — образ поляка в дореволюционной русской словесности. Между крайними полюсами — полонофобией и полонофильством — располагался широкий спектр возможностей, пусть даже на протяжении большей части XIX века образ поляка был сдвинут скорее к негативной части этого спектра.

В екатерининскую эпоху польская тема возникает в похвальных одах императрице и еще в стихотворно-драматических «Димитриадах», повествующих об эпохе Смуты. Одописцы воспевали победы русского оружия и расширение пределов империи, «но о Польше писали без ненависти, а перед ее жителями рисовали картины счастья, ожидающего их под властью Екатерины». В первой из «Димитриад» — трагедии А. Сумарокова «Димитрий Самозванец» — поляки остаются на заднем плане; Димитрий интересен драматургу как коронованный тиран (мы бы сказали: как идеальный злодей), а не как пособник вражеских происков. Но уже в державинской оде «На взятие Варшавы» (1794) возникает образ «строптивой Польши», «гидры злобной».

В романтической повести 20-х годов появляются образы поляков со всеми признаками стереотипа: старопольский шляхтич, гордый магнат, прекрасная шляхтянка. Стереотипный шляхтич кичлив и задирист, любитель гулянок и выпивки, нередко сутяжник, а в эпоху Смуты он еще и захватчик, грабитель, святотатец. На этом не слишком радужном фоне выделяются (хотя бы в «Юрии Милославском» М. Загоскина) индивидуализированные персонажи, которые не укладываются в рамки стереотипа, отважные и рыцарственные.

Мы бы сказали, что они построены по канонам не этнического, а общеромантического стереотипа.

В пушкинском «Борисе Годунове» Орловский усматривает противопоставление русской и польской культур, «которые восходят к разным источникам и исторически друг другу чужды». Однако резкость м о р а л ь н о г о противопоставления поляков и русских в «Годунове» автор все же преувеличивает. Пушкин далек и от апологии «святой Руси», и от этического этноцентризма (вовсе не чуждого современным ему польским романтикам, а в русской литературе — поздним славянофилам и Достоевскому). Недаром жалуется Гаврила Пушкин Басманову на то, «что казаки лишь только селы грабят, / Что поляки лишь хвастают да пьют, / А русские... да что и говорить...».

Пример черно-белого видения своих и чужих у Пушкина — знаменитая строка «кичливый лях иль верный росс» из стихотворения «Клеветникам России» (обращенного, впрочем, не к полякам; по верному определению Орловского, стихотворение это — «антифранцузский памфлет»). Но мало кто помнит другую строку из того же стихотворения: «Борьбы отчаянной отвага». Отвага поляков в «неравном споре» ставит под сомнение однозначно негативный стереотип врага¹. «Наследственная распря» России и Польши, по Пушкину, — конфликт и н т е р е с о в, «геополитический» конфликт, но не борьба двух нравственных начал — хорошего и плохого, светлого и темного (как это изображалось, скажем, в «патриотической» литературе 60-х годов). Чрезвычайно знаменательно, что западнические и католические симпатии не помешали

¹ То же у К. Рылеева в думе «Богдан Хмельницкий», где образ поляка-врага («ляха», «сармата») рисуется при помощи разнонаправленных (в оценочном плане) эпитетов: «сармат и храбрый, и надменный».

П. Чаадаеву и М. Лунину резко осудить польское восстание 1831 года все с той же державной точки зрения.

«Химически чистым» образцом официальной антипольской пропаганды 30-х годов была драма Н. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834), вошедшая в историю русской литературы из-за скандала с закрытием «Московского телеграфа» (за неодобрительный отзыв о драме). Что же касается «Тараса Бульбы» Гоголя, то, несмотря на кричащую тенденциозность в изображении поляков (которую автор небезосновательно связывает с образом «ляха» в украинской народной традиции), центральной идеей повести Орловский считает «не национализм как таковой, а патриархально-республиканскую утопию, противопоставляемую элементам городской, европейской цивилизации (польское влияние)». Между прочим, эта утопия вовсе не сходна с российской патриархально-монархической утопией — как в ее официальном, так и в оппозиционном, славянофильском варианте.

Вообще же заметим, что обращение русских писателей к украинской теме (особенно в ее социальном аспекте) нередко диктовало им резко негативный стереотип поляка-врага. Пример Рылеева тут особенно показателен. В лирическом стихотворении Польша для него — «край далекий, край прекрасный» («В альбом Т. С. К.»). И там же: «Я вспомнил добрых земляков (поляков. — К. Д.), / Гостеприимные их нравы / И радость шумную пиров». А в думе «Наливайко», писавшейся в то же самое время, герой восклицает: «Жид, униат, литвин, поляк — / Как стаи кровожадных вранов, / Терзают беспощадно нас». Лирический и социально-исторический план не совпадают, больше того — взаимно отрицают друг друга.

Но особенно не поздоровилось полякам (литературным) после восстания 1863 года. В антинигилистической беллетристике 60-х годов усердно разрабатывался мотив всепроникающей «польской интриги» (мотив, заметим, предвосхищавший позднейшую теорию «еврейских происков»). В 70-е годы, когда шовинистический угар приутих, «зловредная натура поляка проявляется в русском романе не столько в диверсионной деятельности и вражеских заговорах, сколько в мошенничествах, аферах, сомнительных способах делать карьеру». У Достоевского поляки просто карикатурны. Автор, впрочем, отме-

чает, что в «Бесах» (1872) поляки играют мизерную роль. Это существенно. «Бесы» Достоевского — насквозь свои, а не орудие какого-то внешнего по отношению к России заговора.

Не слишком симпатичны поляки (как правило, обрусевшие) у Тургенева, а позже у Чехова. Хотя для нынешнего русского читателя это не слишком заметно; ему приходится напряженно припоминать: а какие, собственно, поляки выведены у Тургенева или Чехова? Гораздо сложнее обстояло дело с Лесковым. «Плохие» поляки в его прозе явно преобладают; а вместе с тем Лесков создал несколько образов поляков и полек, вызывающих безусловную симпатию у читателя, вплоть до образа поляка-праведника. И уж совсем особняком стоит А. К. Толстой, который в самый разгар антипольской истерии в «Смерти Иоанна Грозного» (1864) показал моральное превосходство польского посла Гарабурды над московским тираном.

Ближе к концу века изображение поляков в русской литературе становится более спокойным и уравновешенным. В социально-бытовой прозе они выступают как всего лишь часть национальной мозаики Российской империи. Типичен в этом отношении Д. Мамин-Сибиряк, у которого появляется образ поляка — предпринимателя и финансиста. Хорошо известны полонофильские мотивы в позднем творчестве Льва Толстого («За что?», «Хаджи-Мурат»). Сочувственно писали о поляках и Польшу поэты-символисты (К. Бальмонт, А. Блок, Ф. Сологуб). А в поэме М. Сандомирского «Марина Мнишек» (1911) Марина играет ту же роль, что Прекрасная Дама в лирике Блока, — роль воплощения вечной женственности.

Настроения русского общества после начала первой мировой войны лучше всего выражает цитата из Т. Щепкиной-Куперник: «Край нам близкий, Польша, Польша, / Наша младшая сестра». Польша отныне — мученица в терновом венце, изнывающая под германским игмом. В военной прозе поляки (вместе с русскими) противостоят немцам — варварам, насильникам и грабителям. В литературном стереотипе поляка сохраняются лишь положительные черты: гордость, патриотизм, гостеприимство. Весьма част любовный мотив: очаровательная полька и русский офицер. Старые клише и лозунги переосмысляются: «Мы дружно пойдем / Единым путем / За нашу свободу

и вашу!» (Бальмонт). Пойдем, разумеется, против немцев. Все это приводит автора к выводу, что «стереотип Польши и поляка вплоть до новейшего времени трактовался в России инструментально и складывался в зависимости от конъюнктурных политических целей». Так оно, пожалуй, и было, если речь идет о «текущей словесности», выражающей сиюминутные настроения общества (или же — после 1917 года — установки директивных органов).

Книга Орловского по жанру скорее обзор (иногда — с высоты птичьего полета), нежели проблемное исследование². А проблем здесь возникает немало. О некоторых было сказано выше; а вот еще одна. Автор неоднократно, по разным поводам, упоминает о существовании в русской литературе образа (даже стереотипа) «прекрасной польки». Заметим, что этот образ существовал в двух основных вариантах: демоническом, начиная с Марины Мнишек в драме Державина «Пожарский» (1806), и лирическом (хрестоматийный пример — Мария Потоцкая в «Бахчисарайском фонтане» Пушкина). Не так давно образ

² Таким исследованием была вышедшая двумя годами ранее книга А. Кэмпиньского «Лях и москаль. Из истории стереотипа» (Краков, 1990), оставшаяся у нас незамеченной. «Мы ленивы и нелюбопытны...»

прекрасной польки в «Тарасе Бульбе» побудил Вл. Солоухина — читателя отнюдь не рядового — переосмыслить идейное звучание повести и сделать вывод (быть может, поспешный, но все же знаменательный) о тайной любви Гоголя к католической Польше (см. его «Камешки на ладони». М. 1988, стр. 387—388).

Так что когда В. Хлебников (в книге Орловского не упомянутый) говорит о себе: «...гонимый... песнью про прелесть польки», он отсылает читателя к целому пласту русской культуры, к устойчивому культурному знаку. Любопытно не только существование в русской культуре этого образа-знака, но и то, что в XIX веке он часто встречается у художников, рисовавших «поляка вообще» по канонам негативного стереотипа. Не есть ли это выражение глубинной амбивалентности тогдашнего отношения к полякам и Польше? Как видно, несмотря на «старый спор славян между собою», несмотря на резкое несходство исторических традиций обоих народов, несмотря, наконец, на укорененные в общественном сознании предубеждения, было в «польскости» что-то притягательное для русского человека... Было и остается — но это уже сюжет для другой монографии.

К. ДУШЕНКО.

В МИРЕ ИСКУССТВА

В ближайших номерах «Нового мира»
читайте статью Татьяны Чередниченко
«Музыкальные увеселения:
культура радости вчера и завтра».

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!**

КНИЖНАЯ ПОЛКА (2)*



Агада. Сказания, притчи, изречения талмуда и мидрашей. Перевод С. Г. Фруга. Вступительная статья В. Гаркина. М. «Раритет». 1993. 320 стр. 50 000 экз.

Василий Аксенов. Московская сага. Трилогия. Кн. I. Поколение зимы. М. «Текст». 1993. 319 стр. 50 000 экз.

Иосиф Бродский. Каппадокия. Стихотворения. СПб. Типография ПО-3. 1993. 44 стр.

Встречи и расставания. Лирика китайских поэтесс I — XX веков. Перевод, составление, вступительная статья М. Басманова. М. «Художественная литература». 1993. 352 стр. 30 000 экз.

Ясунари Кавабата. Избранные произведения. Танцовщица из Идзу. Озеро. Спящие красавицы. Повести. Старая столица. Роман. Рассказы. Перевод с японского В. Марковой, Б. Раскина, Л. Левыкиной, Т. Г. Григорьевой. М. «Панорама». 1993. 446 стр. 52 000 экз.

Анри де Монтерлан. Парижские очерки. *Espana sagrada*. Девушки. Перевод с французского Т. Чесноковой, И. Карабутенко, И. Кабалкина. Составление и послесловие В. Никитина. М. «Молодая гвардия». 1993. 270 стр. 50 000 экз.

Один из известнейших на родине французских писателей нашего столетия, первую книгу издавший в 1920 году, последнюю — в 1972-м, за год до смерти. Работал в классических для французской литературы жанрах эссеистики и психологической прозы. Был популярен и как драматург. На русский язык переводился очень мало. Сборник знакомит с романом «Девушки» и эссеистикой писателя.

В. Набоков. *Bend Sinister*. Романы. Перевод с английского С. Ильина. СПб. «Северо-Запад». 1993. 527 стр. 100 000 экз.

В книгу вошли романы, написанные Набоковым по-английски в первые двадцать лет его жизни в США: «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин», «*Bend Sinister*». Можно предположить, что сборник является первым томом задуманного издательст-

вом собрания английских романов Набокова.

Марианна Новикова. Любовь и монастырь. Роман. Киев. «Український письменник». 1993. 206 стр.

Новый роман русской писательницы, живущей на Украине, изданный в Киеве на русском языке в 1993 году, — это некоторым образом прецедент в условиях, когда издательская политика на Украине жестко сориентирована на издание сугубо украинской литературы. Выход книги М. Новиковой внушает некоторые надежды на сохранение того культурного пространства, которое взаимно обогащало русскую и украинскую культуры. Роман написан на современном материале. Герои его — люди театра.

Ольга Новикова. Женский роман. М. «Книжный сад». 1993. 192 стр. 30 000 экз.

Автор, известный читателю как исследователь творчества В. Каверина, выступает в новой для себя роли прозаика. Названа книга точно — перед нами действительно роман в традиционном значении этого слова: судьба молодой женщины, горожанки, филолога и издательского работника, любовь, разочарования, надежды. В книге сделана попытка воссоздать своеобразную атмосферу конца 70-х.

Франческо Петрарка. Сонеты. Перевод с итальянского Е. Солоновича и др. М. «Художественная литература». 1993. 174 стр. 20 000 экз.

Кристоф Рансмайр. Последний мир. Роман с Овидиевым репертуаром. Перевод с немецкого Н. Федоровой. Предисловие А. Карельского. М. «Радуга». 1993. 208 стр. 50 000 экз.

Появившийся в 1988 году роман тридцатичетырехлетнего австрийского писателя стал литературной сенсацией и принес автору мировую известность. Повествование, формально относящееся к жанру биографического романа, представляет собой неожиданный по образному ряду опыт художественного прочтения творчества и судьбы Публия Овидия Назона через призму современной культуры и цивилизации.

Анри де Ренье. Каникулы скромного молодого человека. Страх любви. Амфисбена. Перевод с французского О. Брошниковской, А. Чеботаревской,

* Первый выпуск рубрики см. в № 3 с. г.

М. Кузмина. СПб. «Современный писатель». 1993. 414 стр. 25 000 экз.

Мишель Турнье. Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Роман. Перевод с французского Ю. Яхниной. Предисловие З. Кирнозе. М. «Радуга». 1993. 320 стр. 5000 экз.

Роман одного из крупнейших современных писателей Франции, с творчеством которого связаны самые заметные достижения философской, экзистенциалистской прозы последних десятилетий, написан по мотивам евангельского рассказа о трех царях-волхвах. Публикацией этого романа издательство продолжает знакомить отечественного читателя с творчеством Турнье, началом же было издание в 1992 году одного из самых знаменитых романов Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб» (1967). Третий роман писателя, переведенный на русский язык, «Жиль и Жанна», опубликован в журнале «Иностранная литература», 1993, № 10.

Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном: Подлинное военно-судное дело 1837 г. Репринтное издание (СПб., типография А. С. Суворина, 1900). Типография ВВИА имени М. Е. Жуковского. 1993. 168 стр. 500 экз.

Ф. Юсупов. Перед изгнанием. 1887 — 1919. Мемуары. Перевод с французского О. Эдельман. М. АО «Московский центр искусств». 1993. 255 стр. 10 000 экз.

В отличие от сенсационно известной и многократно издававшейся у нас в последние годы книги «Конец Распутина» мемуарная книга «Перед изгнанием» представляет собой впервые выполненный полный перевод воспоминаний, написанных князем Юсуповым в эмиграции по-французски и охватывающих период жизни его семьи с конца XX века до 1919 года. Эпизод с Распутиным в этом повествовании отнюдь не центральный. Издательство планирует выпуск продолжения воспоминаний Юсупова, относящихся к жизни его семьи в изгнании с 1919 года по конец 40-х.

А. Лосев. Бытие. Имя. Космос. Составление А. А. Тахо-Годи. М. «Мысль».

В связи с отсутствием надежных источников информации о выходящих в стране книгах журнал обращается к издателям с предложением знакомить редакцию со своими новыми изданиями. Книги можно приносить для ознакомления (проезд до станций метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», здание бывшей монастырской гостиницы, примыкающее к кинотеатру «Россия», вход со двора, первый этаж, комнаты 7, 10, отдел критики) или высылать по адресу: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2, редакция журнала «Новый мир», отдел критики.

Российский открытый университет. 1993. 958 стр. 50 000 экз.

Первый том из предполагаемого шеститомника Лосева, приуроченного к столетию философа. В книгу вошли ранние и труднодоступные сегодня работы Лосева: так называемое «восьмикнижие» и некоторые более поздние работы — «Эрос у Платона», «Античный космос и современная наука», «Вещь и имя» и др.

Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. Редакторы-составители, авторы вступительной статьи Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. М. «Наука». 1993. 368. (В серии «Русские источники современной социальной философии».) 7000 экз.

Малоизвестные работы идеологов евразийства. В книге два раздела. В первом — «Исход к Востоку» — статьи Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Л. П. Карсавина, Н. Н. Алексеева и др. В приложении к разделу — «Лирическое отступление» — работы А. С. Хомякова, Вл. Соловьева, А. Блока. Во втором разделе «Pro и contra» представлена полемика вокруг евразийских идей (Г. В. Флоровский, Н. А. Бердяев, П. М. Бицилли, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов и др.).

Э. Фромм. Психоанализ и этика. Перевод, составление П. С. Гуревича, С. Я. Левит. М. «Республика». 1993. 416 стр. 55 000 экз.

«Для памяти потомству своему...» Народный бытовой портрет в России. Альбом. Из собрания Государственного исторического музея. Автор-составитель Н. Н. Гончарова и др. М. «Галактика АРТ», 1993. 272 стр. 15 000 экз.

Китайская культура 20 — 40-х годов и современность. Сборник. Ответственный редактор В. Ф. Сорокин. М. «Наука». 1993. 262 стр. 500 экз.

Ю. Холопов, В. Ценова. Эдисон Денисов. М. «Композитор». 1993. 289 стр. 5000 экз.

Составитель Сергей Костырко.

SUMMARY

The poetry section presents poems by Vladimir Sokolov, Joseph Brodsky and Sergey Averintsev.

In the issue you can find the final part of Mikhail Arlov's book of memoirs «The Legendary Ordynka» (begun in № 4) and Eugene Fedorov's «Odyssee» (with a foreword by E. Meletinsky), continuing his famous «The Roasted Rooster» (winner of the Vladimir Dal prize) and describing the trials of a young man in Stalin's camp.

The publicistic section contains a historiosophic article by Yury Kagramanov, «At the Turn of the Epoch».

«Diaries Memoirs» section presents notes of physicist E. L. Feinberg about Andrey Dmitrievich Sakharov.

In the section «Comments» Alla Marchenko enters into polemics with literary critic Vyacheslav Kuritsyn on his review of Andrey Bitov's «Waiting for the Monkeys».

The section of literary criticism is occupied by Andrey Nemzer's essay «Modern Dialogue with Gogol», about Gogol's traditions in contemporary Russian prose.

«Book Review» contains reviews: of Valery Popov's stories — by Dmitry Bykov, of Vyacheslav Rybakov's fantastical novel — by Julia Latynina; of the new editions of Konstantin Leontyev — by Olga Mayorova; of the reprint of O. Spengler's «The Decline of Europe» — by Valery Senderov; of the Christian collection «Russia Before Second Advent» — by Yury Kublanovsky.

In the section «Bookshelt» you will find annotated lists of recent books (compiled by Sergey Kostyrko).

◆

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
НОВУЮ ПОВЕСТЬ ВАЛЕРИЯ ПИСКУНОВА
«СВОИ КОЗЫРИ. (Записки наемника)».**

**В редакции имеются в свободной продаже номера журнала
за 1993 — 1994 гг.**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Г л а в н ы й р е д а к т о р С . П . З а л ь г и н

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, И. П. Борисова,
А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин,
С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко,
П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин,
З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора),
М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Коммерческий директор А . О . П е т р о в

Технический редактор А . С . Г и н з б у р г

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.01.94 г. Подписано к печати 10.03.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отг.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 53 100 экз. Зак. 1142. Цена: в России — 290 р., в странах СНГ — 500 р.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1994 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Борьба с логосом (эссе);

ДАНИИЛ ГРАНИН. Бегство в Россию (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. В дороге (очерки);

АНДРЕЙ КУРАЕВ. Новомодные соблазны (Рерихи: оккультизм для интеллигенции);

МОДЕСТ КОЛЕРОВ. Самоанализ интеллигенции как политическая философия (эссе);

ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА. Демократия и свобода (эссе);

Д. С. ЛИХАЧЕВ. Нельзя уйти от самих себя... (Историческое самосознание и культура России);

ОЛЬГА МУРАВЬЕВА. «Вражды бессмысленной позор...» (Ода «Клеветникам России» в оценках современников);

НЕИЗВЕСТНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВ (публикация И. Мочалова);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Казенная сказка (роман);

ИНГА ПЕТКЕВИЧ. Свободное падение (главы из книги);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Д* элегии (строки разной длины);

ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ. Свои козыри (повесть);

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Неизданные рукописи. Документы к биографии (из архива М. А. Платоновой);

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ. Политбюро и Церковь. 1922—1923 (три архивных дела);

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Сапжок (из книги итальянских стихов);

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. Изгнание бесов (рассказики);

БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыкальные увеселения: культура радости вчера и завтра;

ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР. Ценности, которые мы выбираем (эссе);

ДОРА ШТУРМАН. Дети утопии (фрагменты идеологической автобиографии);

ДМИТРИЙ ШУШАРИН. Возвращение в контекст (эссе);

а также новые произведения **ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА**, **НАУМА КОРЖАВИНА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **ВЛАДИМИРА МАКАНИНА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА**, **АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1994 ГОДА!**